

АЛЕКСЕИ́
ТОЛСТОЙ

Scan Kreyder - 16.06.2014
STERLITAMAK



Селена Морозова

БИБЛИОТЕКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЛАССИКИ

АЛЕКСЕИ ТОЛСТОИ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ВОСЬМИ ТОМАХ

1

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК». ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА. 1972

Собрание сочинений выходит
под общей редакцией
В. Р. Щербинь

А. Н. ТОЛСТОЙ

I

Алексей Николаевич Толстой — выдающийся русский писатель, внесший большой вклад в сокровищницу нашей отечественной культуры. Художник многогранного таланта, он писал эпопею революционной современности и исторические романы, рассказы и пьесы, научно-фантастические произведения и политические памфлеты. Много сделано им и для развития советской художественной публицистики. Его художественное слово еще раз раскрыло неисчерпаемые богатства и красоту великого русского языка.

Литературное творчество А. Н. Толстого формировалось на рубеже двух эпох. Великая Октябрьская социалистическая революция круто повернула творческую биографию писателя.

О возвышающем воздействии Великой Октябрьской социалистической революции и советской жизни на художественное творчество много раз говорил сам писатель. В день своего пятидесятилетия (10 января 1933 года) он выступил со статьей «Октябрьская революция дала мне все», в которой заявил:

«Если бы не было революции, в лучшем случае меня бы ожидала участь Потапенко: серая, бесцветная деятельность дореволюционного среднего писателя. Октябрьская революция как художнику мне дала все. Мой творческий багаж за 10 лет до Октября составлял 4 тома прозы, за 15 последних лет я написал 11 томов наиболее значительных моих произведений.

До 1917 года я не знал, для кого я пишу (годовой тираж моих книг, кстати, был в лучшем случае 3 000 экземпляров). Сейчас я чувствую живого читателя, который мне нужен, который обогащает меня и которому нужен я. 25 лет назад я пришел в литературу как к приятному занятию, как к како-

му-то развлечению. Сейчас я ясно вижу в литературе мощное оружие борьбы пролетариата за мировую культуру, и, поскольку я могу, я даю свои силы этой борьбе. Это живущее во мне сознание является могучим рычагом моего творчества. Я вспоминаю, как в первое свое литературное десятилетие я с трудом находил тему для романа и для рассказа. Теперь я задумываюсь, как мало осталось жить и как мало сил в одной жизни, чтобы справиться с замечательными темами нашей великой эпохи»¹.

Своим особым, сложным путем пришел А. Н. Толстой в советскую литературу, по праву навсегда занял прочное место одного из ее виднейших деятелей. Его творческое развитие — живое воплощение преемственных связей русской классики и советской литературы.

Во многих книгах и статьях утверждается, что А. Н. Толстой впервые выступил в литературе в период реакции с символистскими подражательными стихами, объединенными в сборнике «Лирика». В настоящее время исследование наследия писателя привело к выводу о несостоятельности такой точки зрения. Путь молодого писателя был иным, более сложным.

Духовное формирование А. Н. Толстого проходило в начале девятисотых годов, в то время, когда всюду в стране чувствовалось приближение «великой бури» первой русской революции. И Толстой, студент Петербургского технологического института, в 1905 — 1906 годах наряду с лирикой пишет стихи — отклики на события революции, проникнутые мотивами общественного протеста. Некоторые из этих стихов были напечатаны в казанской газете «Волжский листок» («Далекие», «Сон», «Новый год»). Много юношеских стихотворений такого же рода сохранилось в архиве писателя. Хотя эти произведения в идейно-политическом отношении еще наивны и неопределенны, а в художественном тусклы и риторичны, они служат прямым доказательством того, что их молодой автор не оставался равнодушным к революционным событиям, стремился выразить свое сочувствие борцам против самодержавия.

Однако впоследствии писатель, чувствуя незрелость этих стихов, никогда не включал их в собрания своих сочинений.

Творчество А. Н. Толстого складывалось под влиянием классических художественных традиций, но в своей литературной деятельности молодой писатель испытал временное воздействие символизма, наиболее резко сказавшееся в годы реакции в раннем сборнике стихов «Лирика» (1907). Преодоление этого инородного его таланту влияния, утверждение реализма составляют главное направление первых лет литературного развития молодого писателя.

Догмы символизма оказались чуждыми «земному» таланту А. Н. Толстого. Но освобождение от них молодого писа-

¹ А. Н. Толстой. Полн. собр. соч., М., Государственное издательство художественной литературы, т. 13, стр. 494.

теля шло не прямолинейно, а в причудливом взаимодействии различных направлений, в напряженных поисках жизненных и художественных основ для своего творчества. Искания эти сказались в его второй и последней книжке стихов «За синими реками» (1909), в которой отчетливо видны различные источники и линии раннего творчества писателя. Авторское предисловие к этой книге свидетельствует о характере художественных исканий молодого, только еще определяющего свои творческие задачи писателя: «Эта книга — первое, что я написал. Мне казалось, что нужно сначала понять первоосновы — землю и солнце. И, проникнув в их красоту через образный, простой и сильный народный язык, утвердить для самого себя — что да и что нет, и тогда уже обратиться к человеку, понять которого без понимания земли и солнца мне не представлялось возможным. Верен ли этот выбранный, быть может бессознательно, путь — укажет дальнейшее»¹.

В книге «Сорочьи сказки» еще много следов символистской, эстетской стилизации, но в ней наглядно проявился интерес А. Н. Толстого к фольклору. Несомненно, в творческом развитии писателя эти книги имели серьезное положительное значение. Они свидетельствуют о его стремлении пробиться к первоосновам простого, образного и сильного народного языка, показывают любовь к подлинной жизни, к родной природе.

С самого начала своей литературной деятельности писатель, стремясь преодолеть отвлеченность искусственной символистской стилизации, выдвигал на первый план предметность языка, призывал литературу возвратиться к образности, к конкретности, чувственности изображения. Убежденно развивает молодой автор мысль о народных корнях искусства. «Язык — душа нации,— писал А. Толстой в заметке «О нации и литературе»,— потерял свою метафоричность, сделался газетным, без цвета и запаха. Его нужно воссоздать таким, чтобы в каждом слове была поэма. Так будет, когда свяжутся представления современного человека и того, первобытного, который творил язык.

Воссоздаются образы, полные эпического величия и нетронутой красоты горящего неба»². Еще отчетливее определено стремление А. Н. Толстого к земному, вещественному искусству, насыщенному красками и запахами жизни, в статье «Об идеальном зрителе» (1912). Эта чрезвычайно характерная, постоянная для А. Н. Толстого эстетическая идея получила прочное развитие в его дальнейшем творчестве.

Уже первые реалистические произведения А. Н. Толстого обратили на себя внимание изобразительной точностью и образностью языка. Каждая фраза была прозрачной и тонкой.

¹ А. Н. Толстой. Собр. соч., «Книгоиздательство писателей», М., 1913, т. IV, стр. 5.

² Журнал «Луч», 1907, № 2, стр. 16.

Мастерски рисовал художник картины русской природы. Поля и леса, озера и реки, безмятежность синевы в солнечный день и блеск молний на почерневшем грозном небе, густые тени угасающего зимнего дня, стелющийся весной с прогалин туман над сверкающей, как чешуя, длинной лентой Волги — все это живое, дышащее, насыщенное красками подлинного бытия.

Начиная с 1909—1910 годов реализм уже становится главным, определяющим в творчестве А. Н. Толстого. В 1908 году в журнале «Нива» публикуется рассказ «Старая башня» — первое его прозаическое произведение, появившееся в печати. Рассказ навеян впечатлениями от пребывания на Урале в 1905 году. Последующие рассказы — «Соревнователь», «Яшмовая тетрадь», «Архип», «Смерть Налымовых», «Неделя в Турене» («Петушок») — автор считает началом своей художественной прозы.

Вспоминая о своих литературных исканиях того времени, он говорит:

«Я начал с подражания, то есть я уже нащупал какую-то канву, какую-то тропинку, по которой я мог отправить в путь свои творческие силы. Но пока еще это была дорожка не моя, чужая.

И потоки моих ощущений, воспоминаний, мыслей пошли по этой дороге. Спустя полгода я попал на собственную тему. Это были рассказы моей матери, моих родственников об уходящем и ушедшем мире разоряющегося дворянства. Мир чудаков, красочных и нелепых. В 1909—1910 годах на фоне наступающего капитализма, перед войной, когда Россия быстро превращалась в полуколониальную державу, — недавнее прошлое — эти чудаки предстали передо мной во всем великолепии типов уходящей крепостной эпохи. Это была художественная находка»¹.

Сопоставление ранних рассказов А. Н. Толстого говорит о наличии в этой ранней прозе писателя двух борющихся тенденций — стилизаторской, отражающей влияние эстетского окружения, и реалистической, наиболее ярко сказавшейся в рассказе «Смерть Налымовых». Как разъясняет сам автор, стилизацией под XVIII век он скрывал недочеты и трудности в начале своей литературной работы, когда не хватало жизненного материала, а язык «представлялся студенистой массой», не желающей застывать в кристалл точной и выразительной фразы.

Реалистическое начало в раннем творчестве постепенно одерживало верх над стилизаторскими тенденциями. Прошло несколько лет после опубликования первых произведений А. Н. Толстого, и читатели увидели, что появился новый писатель сильного, своеобразного дарования, продолжающий традиции русского классического реализма.

Наиболее значительные произведения А. Н. Толстого до октябрьского периода — цикл рассказов «Заволжье», романы

¹ А. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 13, стр. 411.

«Две жизни» («Чудаки») и «Хромой барин». Реалистичность и беспощадность обличения вырождающегося дворянства резко отличают А. Н. Толстого от других современных ему писателей, рисовавших распад усадебного быта в элегических тонах. В образе Мишуки Налымова и ему подобных подчеркнуты отвратительные черты реакционности и вырождения. Другую заметную группу персонажей А. Н. Толстого составляют чудаки — люди с необычайными, странными чертами характера, внутренняя жизнь, представления и помыслы которых, по существу, уже переключены из реальной действительности в сферу болезненных мечтаний и иллюзий. В «чудаках» — Аггее Коровине и генерале Брагине — резко выделено их главное свойство — бездейственность, неприспособленность к жизни, паразитизм.

Материалом для произведений заволжского цикла А. Н. Толстого послужили семейные архивы и воспоминания. Исследователями найден целый ряд прототипов его персонажей. В этом направлении уже сделано много ценных открытий. Но, конечно, значение дореволюционного творчества А. Н. Толстого не в создании просто семейной хроники. Самое главное, что эти исходные материалы и наблюдения были писателем подняты до высоты типических художественных обобщений.

Реалистическое дарование молодого автора первый прощательно оценил А. М. Горький. Ознакомившись с томом «Повестей и рассказов» А. Н. Толстого, он писал М. Коцюбинскому 20 ноября 1910 года: «Рекомендую вниманию Вашему книжку Алексея Толстого, — собранные в кучу его рассказы еще выигрывают. Обещает стать большим, первостепенным писателем, право же!»¹. В письме слушателям Высшей социал-демократической агитационно-пропагандистской школы для рабочих в Болонье А. М. Горький подчеркивал критическую направленность произведений А. Н. Толстого: «Хотелось бы побеседовать с Вами о Толстом и о целом ряде литературных явлений последнего времени... Обратите... внимание на нового Толстого, Алексея — писателя, несомненно, крупного, сильного и с жестокой правдивостью изображающего психическое и экономическое разложение современного дворянства...

Вам было бы приятно и полезно познакомиться с этой новой силой русской литературы»².

На реалистическую направленность произведений А. Н. Толстого обратила внимание в 1914 году большевистская «Правда» в статье «Возрождение реализма». «В нашей художественной литературе, — писал автор статьи, — ныне замечается некоторый уклон в сторону реализма. Писателей, изображающих «грубую жизнь», теперь гораздо больше, чем

¹ А. М. Горький. Собр. соч. в тридцати томах, М., Государственное издательство художественной литературы, т. 29, стр. 138.

² Там же, стр. 142.

было в недавние годы. М. Горький, гр. А. Толстой, Бунин, Шмелев, Сургучев и др. рисуют в своих произведениях не «сказочные дали», не таинственных «таитян», — а подлинную русскую жизнь, со всеми ее ужасами, повседневной обыденщиной»¹. Статья «Возрождение реализма» верно определяет место А. Н. Толстого в литературной жизни того времени, решительное размежевание писателя с декадентством, раскрывает общественное и художественное значение его творчества.

Наряду с сочувственными отзывами А. М. Горького и революционной критики вполне закономерно отрицательное отношение к реалистическим произведениям А. Н. Толстого декадентов. Наиболее ожесточенно нападают на его творчество З. Гиппиус (А. Крайний), Л. Гуревич. В противовес революционной прессе эти литераторы совершенно игнорировали реализм и критическую направленность произведений А. Н. Толстого. Его оценивали только как бездумного бытописателя, стихийный талант, далекий от каких-либо социальных и философских проблем современности. Такое тенденциозное представление, конечно, не соответствовало подлинному облику творчества А. Н. Толстого.

С большим талантом созданы писателем образы, представляющие облик уходящего прошлого. Таков самодур Налымов («Мишука Налымов»), похотливый Николушка («Петушок»), безвольный Собакин («Архип») и многие другие. Засилье тупых, опустившихся помещиков, разложившихся декадентствующих интеллигентов было ненавистно А. Н. Толстому. Беспощадно-правдиво обличая их, он стремился к другой, одухотворенной жизни, пытался найти свой жизненный идеал, своих героев.

Пафос творчества А. Н. Толстого — в здоровой, земной привязанности к жизни, не позволявшей ему как-либо идеализировать дворянское существование или по примеру других уйти в мистику. В этом отношении творчество А. Н. Толстого резко противостояло декадентской, антиреалистической литературе, воспевавшей смерть, безнадежность и цинизм. Толстой не хотел остаться вместе с отживающим. Это стремление отличает художественные картины разрушения дворянских гнезд у А. Н. Толстого от произведений ряда других современных ему писателей, идеализировавших помещичье прошлое, окрашивавших его в элегические тона. Толстой стремился к другой, еще неясной для него самой жизни, озаренной большими и яркими чувствами.

Но в дореволюционный период своего творчества А. Н. Толстой не смог найти и художественно воплотить силы будущего, облик положительного героя. Это ограничивало его художественное проникновение в сущность исторических процессов и не позволяло всесторонне типизировать явления

¹ «Дооктябрьская «Правда» об искусстве и литературе», Гослитиздат, 1937, стр. 15.

действительности. Писатель не был связан по-настоящему с народными массами и смутно представлял суть революционного движения. Поэтому его гуманистические устремления носили тогда отвлеченный морально-этический характер. Он думал, что преобразование окружающей его жизни можно решить путем внутреннего самоочищения души человека. Некоторое время писателю казалось, что человек может найти удовлетворение во всепоглощающем чувстве любви, движущем на путь духовного возвышения, добра. Отсюда общественная и духовная ограниченность персонажей, вызывавших его сочувствие, как, например, Аггей Коровин («Мечтатель»), Вера Ходанская («Мишука Налымов»), Соня Смолькова («Чудаки»), Завалишин («Овражки»).

Особенно показателен в этом отношении роман «Хромой барин» (1912). Он посвящен утверждению неодолимой и благодетельной силы любви. Хромой барин, князь Краснопольский, провел беспутную и полную светских удовольствий жизнь. Ни богатство, ни успех в светских кругах, ни военная карьера не приносят ему счастья. В результате все помыслы влекут Краснопольского к человеку, отдавшему ему всю душу, свои лучшие чувства,— к жене, ранее им оставленной. В Екатерине Волковой есть черты тургеневских русских девушек. Ее любовь и чистота облагораживающе воздействуют на «хромого барина».

Изломанной, болезненной эротике, воспеваемой декадентами, здесь полемически противопоставляется сила подлинно человеческих чувств, возрождающая и очищающая человека. Конец романа «Хромой барин» символичен: князь, измученный и смирившийся, на окровавленных коленях преодолевает долгий путь к ожидающей его жене, несущей ему счастье и прощение.

Попытки А. Н. Толстого вывести свое творчество и своих героев тех лет на дорогу большой общественной жизни не удались. Например, в первом варианте романа «Хромой барин» писатель предполагал в эпилоге нарисовать картины политической борьбы накануне 1905 года и показать князя Краснопольского в качестве участника революционных событий. Но вскоре он отказался от такого эпилога, почувствовав немотивированность сближения своего ущербного героя с революцией.

Облик и деятельность передовых людей эпохи, способных преобразовать действительность, были тогда вне поля его зрения. Поэтому А. Н. Толстой — правдивый и беспощадный обличитель темных, жестоких сторон прошлого, продолжатель традиций классического критического реализма — вначале искал своих положительных героев в пределах старого общества, хорошо знакомой ему дворянской и интеллигентской среды.

А. Н. Толстой, развенчивая легенду об особой возвышенности и сложности чувствований дворянства, наиболее обнаженно выразил свое отношение к его культуре в небольшой повести «Приключения Растегина». Разбогатевший биржевой

делец Растегин в поисках «стильной» мебели и произведений искусства отправляется в путешествие по помещичьим усадьбам. Но он находит там только запустение, грязь, разврат, пошлых скандалистов: «А я представлял помещичью жизнь стильной, как говорится, поэтичной. Вот тебе и Борис Мусатов!»¹ — с горечью замечает неудачливый искатель «красивой жизни».

Постепенное проникновение писателя в новые грани общественной действительности ввело в произведения А. Н. Толстого наряду с образами опустившихся дворян образ разночинца, несущего идею социального протеста. Впервые новый герой воплощен в образе доктора Заботкина (роман «Хромой барин»). Донесшиеся в деревенскую глушь революционные идеи он воспринимает смутно, скорее чувством, нежели сознанием. Заботкин уже готов вступить на новый путь, хотя в конце романа эта линия развития характера героя отодвигается на второй план, уступая место изображению его трагической любви. С появлением нового героя в творчество А. Н. Толстого входят первые размышления о России, о скорбной участи русского народа, могучего, но еще придавленного вековой нуждой.

Одновременно с прозой А. Н. Толстой в дореволюционный период создает ряд драматургических произведений — «Насильники», «Выстрел» («Кукушкины слезы»), «Касатка», «Ракета», «День битвы», «Нечистая сила», «Горький цвет» («Мракобесы»). Большинство этих пьес построено на сюжетах, темах и мотивах, которые находили воплощение в его рассказах и романах. Наибольшим успехом из них в театральных постановках пользовалась «Касатка».

Романами «Чудаки» и «Хромой барин» заканчивается ранний период повествовательного искусства А. Н. Толстого, связанный со средой, окружавшей его в юности. В 1912—1913 годах писатель ясно понял, что он уже исчерпал темы заволжского поместного быта, остро почувствовал наступление застоя, творческого кризиса в своей литературной работе.

Несмотря на мрачность изображенного А. Н. Толстым общественного бытия, лучшие из его ранних произведений полны жизнелюбия, свежих и сочных красок, замечательных картин русской природы, веселого и лукавого юмора, доброжелательности к человеку. Ему никогда не были свойственны пессимизм, отрицание жизни.

А. Н. Толстой — писатель человеческого, гуманного таланта. Для него никогда не было самоцелью копание в низких, темных человеческих инстинктах. Во всяком случае, он не преподносил их как извечное и обязательное во все века. Охотнее всего изображал он духовное возрождение человека, возникновение у него возвышенных чувств. Эта черта творчества с каждым годом становится все более рельефной и отчетливой.

¹ А. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 2, стр. 357.

В годы первой мировой войны А. Н. Толстой — военный корреспондент газеты «Русские ведомости» — на фронте ближе знакомится с новой для него действительностью — с жизнью народных масс, обогащается впечатлениями. С военным периодом писатель связывает значительные перемены в своем творчестве. На фронте и в тылу он наблюдал трагедию русского народа, вовлеченного царизмом в империалистическую войну, был свидетелем бедствий трудового населения, вызванных войной. Работа А. Н. Толстого как военного корреспондента сыграла значительную роль в его литературной биографии, вплотную приблизила к крупным политическим событиям, приучила оперативно отзываться на явления общественной жизни. Вместе с тем в творчестве А. Н. Толстого появились новые, глубокие противоречия.

Подлинный патриотизм, готовность защищать отечество А. Н. Толстой находил в простых людях. Поэтому основными положительными героями его произведений военного времени выступают обыкновенные люди. Наиболее отчетливо черты нового героя в произведениях А. Н. Толстого выражены в образе офицера Демьянова из рассказа «Обыкновенный человек». Демьянов горячо любит родину, храбро воюет, но, как и все другие положительные персонажи А. Н. Толстого того времени, чужд восприятию общественных противоречий, верит в справедливость империалистической войны.

Среди литераторов оборонческого лагеря А. Н. Толстой занимал своеобразные позиции. В его изображении война лишена ложной романтической эффектности, представлена в будничных тонах, как тяжелый, жертвенный труд. В некоторых произведениях верно схвачены черты военного быта, например, в рассказах «Обыкновенный человек», «Под водой». Но все же подлинный политический и социальный характер войны долго оставался для него неразгаданным. Писатель разделял националистические идеи, нередко трактуя их в мистико-идеалистическом духе. И это наложило свою печать на его реалистические в своей основе картины войны. Особенно увлекся он ложной идеей очищающего воздействия испытаний войны на чувства и отношения людей, властно переключаящих героев из плоскости обычного, повседневного существования в плоскость героического, возвышающего бытия. Духовно опустошенной дворянско-буржуазной интеллигенции и обывателям писатель противопоставляет людей, перерождающихся в огне войны.

Герои военных рассказов А. Н. Толстого в отличие от большинства персонажей его прежних произведений, как правило, вызывают симпатии своими личными человеческими свойствами: помыслы их устремлены к добру, к хорошим чувствам. Они являются как бы предшественниками некоторых персонажей трилогии «Хождение по мукам». Искания бывшего художника, офицера Демьянова («Обыкновенный

человек»), Обозова («Прекрасная дама»), командира подводной лодки Андрея Николаевича («Под водой») продолжают в биографиях героев трилогии — Рощина и Телегина. Эти люди искренне считали себя слугами отечества, а участие в войне — патриотическим делом. Только впоследствии, после социалистической революции, они поняли, что война 1914—1918 годов была империалистической, чуждой интересам народа. Поиски нового героя, его новые привлекательные личные черты были положительным явлением в творчестве писателя. Но ложна была шовинистическая идея о якобы возвышающем и очищающем воздействии происходившей войны. Правдиво обнажая опустошенность и глубину падения индивидуалистической интеллигенции, он настойчиво утверждал, будто испытания войны кладут конец взаимному непониманию людей, обывательскому эгоизму, ссорам, изменам, возрождают большую любовь, дружбу, самые лучшие чувства. Таков смысл перемен в сознании и отношениях персонажей рассказов «На горе», «Буря», «Под водой».

В свете огромной исторической трагедии империалистической войны с предельной ясностью обнаружилось для писателя реакционность и антинародность индивидуализма декадентствующей буржуазно-дворянской интеллигенции. Ряд произведений прямо направлен против безжизненной мистики декадентов. С 1914 года борьба против растленного декадентства, защита реалистического искусства, основанного на жизненной правде и уважении к достоинству человека, становится одной из постоянных тем творчества А. Н. Толстого. Эта черта литературной деятельности писателя еще недостаточно оценена критикой.

Страстным протестом против «модных» декадентских течений наполнены рассказы «Без крыльев», «В гавани», «Утоли моя печали». В 1914 году была начата работа над романом «Болотные огни» («Егор Абовов»), в котором писатель задумал передать настроения в среде русской интеллигенции с начала девятисотых годов до первых лет империалистической войны. Опубликованные главы и фрагменты из этого незавершенного произведения — «На вернисаже», «Егор Абовов» — представляют значительный интерес благодаря их полемической заостренности против символизма, футуризма, отрицавших все лучшие гуманистические традиции нашей отечественной общественной мысли и литературы. Писатель настойчиво критикует кривлянье и реакционный нигилизм непризнанных декадентских «гениев».

Пошлость трескучих фраз декадентов он обычно разоблачает, сталкивая их со здоровым восприятием и моралью простых людей. В этих людях он видит воплощение подлинной человеческой правды, которой нет у эстетствующих обывателей. В рассказе «Без крыльев» встреча чистой и непосредственной женщины с писателем-мистиком Кашиным раскрывает духовную растленность и аморальность внешне эффектных, туманных словоизлияний символистов. Герой рас-

сказа «Ночные видения» провинциал Иван Петрович идет на вечеринку жрецов «нового искусства» в надежде услышать действительно новое слово, найти ответ на вопрос «Где у нас прекрасное, какой мечтой надо жить?». Но кривляющиеся футуристы — развязные молодые люди с размалеванными физиономиями — обрушивают на него поток гнусностей. Разочарованный и оскорбленный уходит от них герой рассказа. «Это какие-то мертвецы...»¹ — метко определяет он их социальную и творческую сущность.

Верно показано главное, что объединяет всех декадентов, независимо от течений и оттенков, — нигилистическое пренебрежение к культуре, индивидуалистическое отрицание общественных идеалов, прекрасного в человеке. Читатель ясно видит, что все эти декадентские «апокалипсические звери» на самом деле пошлые и вредные ничтожества, враждебные народу, его благородным чувствам и стремлениям. Сельский учитель Соломин в рассказе «Утоли моя печали», указывая на декадентский журнал, говорит приезжему столичному литератору: «...вот один здесь пишет: сам ты — зверь, жена твоя — самка, а любовь — инстинкт. Скажем, я согласился с таким определением. Теперь другой режет напрямки: все равно ни до чего хорошего не доживешь, пускай пулю в лоб... А третий, совершенно непонятно для чего, уныние и скуку напускает на меня, — дышать нельзя. Помилуйте, думаю, мне и без того жить мудрено, для чего же еще мордовать»².

Вслед за классической русской литературой А. Н. Толстой отстаивает подлинные культурные ценности, высокое достоинство человека, благородные, здоровые чувства; бесплотным декадентским призракам творчески противопоставляет самые земные, как бы из живой плоти, жизненно-полнокровные образы. Он искал в действительности все прекрасное, в него он верил, хотя и не представлял себе, какие общественные силы очистят родную землю от той нечисти, которая давила людей, мешала им раскрыть свои лучшие черты и таланты. А. Н. Толстой твердо верил в то, что русский человек нравствен, добр, честен и талантлив.

Большие исторические события войны расширили масштабы творчества А. Н. Толстого. Ближе узнав народ, он проникся верой в его гигантские жизненные силы и высокие нравственные устои. Но писатель еще не рассмотрел глубинные процессы, бурлившие в толщах народных масс, неодолимое нарастание революционных настроений, сил, готовившихся смести буржуазно-помещичий строй.

С первых своих шагов в литературе А. Н. Толстой остро воспринимал противоречия действительности. Но он их склонен был представлять не как историческую закономерность, а как извечные явления общечеловеческого происхождения.

¹ А. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 2, стр. 516.

² Там же, т. 3, стр. 297.

С этим связаны его высказывания о некоем мистическом «народном духе», объединяющем всех людей вне классов и сословий. Ошибочность такого взгляда наглядно раскрылась для писателя впоследствии в свете событий социалистической революции.

А. Н. Толстой приветствовал свержение самодержавия в феврале 1917 года, восторженно заявляя, что страна вошла в новый век, ошибочно считая, что Февральская революция даст свободу народу. Но буря Великой Октябрьской социалистической революции рушила старые, привычные представления А. Н. Толстого о характере русских людей, по-новому раскрыла духовный мир, стремления и силы народа. Не сразу писатель разобрался в происходившем. «Путь добра», открытый революцией, с каждым днем начинал казаться «бесконечно более жестоким и кровавым»¹, чем представлялся раньше.

Революция наполнила творчество А. Н. Толстого новым жизненным содержанием, властно поставила перед писателем проблемы судеб России, закономерностей истории. Перед Октябрьской революцией писатель глубоко задумался об исторических судьбах России. Не случайно в «Рассказе проезжего человека» наряду с убежденностью в великой исторической миссии России мы находим впервые в его творчестве упоминание о «вольном, гулком, таинственном ветре истории»².

В этом рассказе выражено отношение писателя к назревавшей в то время социалистической революции. Рассказ этот, написанный накануне Великого Октября 1917 года, очень противоречив. Герой его явно не симпатизирует большевикам, но рассказ свидетельствует о том, что А. Н. Толстому было чуждо кликушество контрреволюции, предвещавшей гибель отечества, если победят большевики. Даже мысль о возможности гибели России была для него неприемлема. Его никогда не покидала вера в великое будущее родины.

Людей, против которых направлено полемическое острие «Рассказа проезжего человека», писатель полно обрисовал в следующем, послереволюционном году, когда до конца раскрылось подлинное лицо буржуазной интеллигенции. Примечательны повести «Милосердие» и «Человек в пенсне» (1918), являющиеся, по словам писателя в его автобиографии, «первым опытом критики российской либеральной интеллигенции в свете октябрьского зарева». Величайший исторический перелом в судьбе народа с неопровержимой наглядностью обнажил ничтожество «медных господ», вроде присяжного поверенного Шевырева, в дни самой напряженной борьбы замкнувшегося в мирке своих мелочных интересов. Из отрицательных типов, выведенных в это время А. Н. Толстым, характерен «человек в пенсне» Стабесов. Пошляк-индивидуалист, он вызывает омерзение своим эгоизмом, низ-

¹ А. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 4, стр. 435.

² Там же, стр. 671.

менностью чувств. Логическое завершение политической судьбы людей, подобных Шевыреву и Стабесову, изображено в эпосе «Хождение по мукам», в лице бывших либералов Смоковникова и Булавина, ставших предателями своих близких и родины.

Растущее ощущение прочной связи со своей родиной отличало А. Н. Толстого от других современных ему дворянско-буржуазных писателей. Гигантские масштабы новой истории народа открыли писателю глаза на то, как узки были его старые представления и темы. Государственные, исторические и политические проблемы прочно входят с тех пор в его творчество.

Скорей инстинктом художника, чем сознательно, он искал в прошлой эпохе разгадки законов развития истории и характера народа. В это время А. Н. Толстой особенно остро почувствовал несоответствие своих художественных средств большим историческим событиям, о которых ему хотелось писать: «Я писал все хуже, все ненужнее... Я работал ощупью. У меня было всегда очень критическое отношение к самому себе, но я начинал приходить в отчаяние: я не могу идти вперед»¹. Большую роль в становлении художественных средств А. Н. Толстого сыграло знакомство с архивами Тайной канцелярии и Преображенского приказа «Слово и дело». Писатель утверждал, что здесь для него открылись законы русского народного языка: «И вдруг моя утлая лодчонка выплыла из непроницаемого тумана на сияющую гладь... Я увидел, почувствовал, — осязал: русский язык... И здесь я видел во всей чистоте русский язык, не испорченный ни мертвой церковно-славянской формой, ни усилиями превратить его в переводную (с польского, с немецкого, с французского) ложно-литературную речь... Язык чистый, простой, точный, образный, гибкий, будто нарочно созданный для великого искусства. Увлеченный открытыми сокровищами, я решился произвести опыт и написал рассказ «Наваждение». Я был потрясен легкостью, с какою язык укладывался в кристаллические формы»².

Несомненно, что в записях XVII века писатель открыл для себя много нового, в первую очередь — богатство и безыскусственность слова, принципы строения лаконичной, энергичной фразы. Однако А. Н. Толстой несколько преувеличивал значение этого эпизода в своей творческой биографии. Истоки его литературного языка более многообразны и глубоки.

Он широко использовал в своем творчестве богатство русского фольклора. Писатель превосходно знал устную народную поэзию, песни, сказки. Последние годы своей жизни он много работал над созданием полного свода устного народного творчества. В полное собрание сочинений А. Н. Толстого включен, кроме его сказок и рассказов для детей,

¹ А. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 13, стр. 566—567.

² Там же, стр. 567.

большой цикл русских народных сказок. Писатель любовно обработал их, выбирая из многочисленных вариантов народной сказки наиболее коренные, интересные, обогащая их из других вариантов яркими языковыми оборотами и сюжетными подробностями.

Литературный язык А. Н. Толстого так же, как и язык других классиков русской литературы, постоянно впитывает в себя живую речь современности.

Первый исторический рассказ «Наваждение» отмечен лишь внешним историзмом. Автор, впервые познакомившийся по подлинникам с сокровищами русского языка XVII—XVIII веков, всей душой погрузился в новую увлекательную стихию. Полновесная, живая речь героев рассказа резко отличается от дилетантских славянизмов стандартной исторической прозы, в изобилии появлявшейся в конце XIX и в начале XX века. В этом главное достоинство рассказа.

После Октября 1917 года появляется небольшая повесть «День Петра». В отличие от «Наваждения» автор в этом произведении показывает огромный масштаб деятельности Петра, его колоссальную волю и энергию. Сила повести — в смелом изображении резкости и решительности исторического перелома. Трагическими тонами окрашены противоречия эпохи, варварски беспощадны методы проведения реформ. Совершая преобразования, Петр, в представлении Толстого, один восстал против всей страны: «...царь Петр, сидя на пустошах и болотах, одной своей страшной волей укреплял государство, перестраивал землю»¹. Петр наделен сверхчеловеческими свойствами и в то же время трагичен в своем одиночестве. Народ персонифицирован автором в образе фанатического защитника старинного благочестия Варлаама, который гневно обличает мероприятия Петра, нарушившие привычные жизненные устои. Повесть заканчивается выводом о «непосильной человеку тяжести», взваленной на свои плечи императором. Этот вывод говорит о том, что писатель еще был в плену взглядов на историю, отрицавших плодотворность резких переломов в развитии страны.

Через несколько лет А. Н. Толстой сделал попытку выйти за пределы одностороннего трагического восприятия истории — в «Повести смутного времени» (1922). Содержание ее своеобразно развивает летописное сказание, в котором говорится о несокрушимости русского народа. Повесть принадлежит к числу наиболее художественно интересных созданий Толстого: в рельефности ее образов и яркости слова проявилось большое мастерство. А. М. Горький высоко оценивал художественные достоинства этой повести. Он противопоставил ее историческим романам Алданова, Мережковского, Мануйлова. «...маленькая вещь Ал. Толстого,— писал М. Горький А. Чапыгину 20 мая 1927 года,— ...содержит в себе больше искусства и больше исторической правды, чем все три ро-

¹ А. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 4, стр. 393.

маниста, названные выше»¹. Однако исторические идеи «Повести» все же не вышли за пределы взглядов, выраженных в «Наваждении» и «Дне Петра».

Писатель искренне хотел разобраться в современности, обратившись к опыту сходной, на его взгляд, эпохи. Но он преувеличивал сходство этих эпох, поэтому реальные закономерности истории зачастую подменялись внешними аналогиями. Искания автора шли еще окольными дорогами исторической науки. Нужно было время, чтобы художник глубже продумал и верно понял события революции и гражданской войны, чтобы у него выработалось новое политическое мировоззрение.

«Гулкий ветер истории», который так ясно ощущал писатель, беспощадно смел с лица России власть помещиков и буржуазии. А. Н. Толстой не понял в то время великой правды и красоты Октябрьской социалистической революции. Творческий путь А. Н. Толстого отмечен сложными конфликтами и заблуждениями, которые ему пришлось потом с трудом преодолевать и исправлять.

Искаженные представления писателя о смысле величайшего революционного перелома в истории страны привели его в 1918—1919 годах к серьезным политическим заблуждениям. Горячо любящий свою страну, он временно оказался в эмиграции, прожил несколько лет, полных горечи и боли разъединения с отчизной, мучительной тоски по родной земле.

Чувство жизненной правды рождало у А. Н. Толстого стремление по-новому осмыслить происходящие события, обострило у писателя тоску по родине. Настроение это нашло тогда яркое выражение в повести «Детство Никиты» (1919—1920), произведении, полном подкупающего лиризма, неотразимого обаяния и правды, высокой поэзии народной жизни, живого восприятия природы, красоты родного языка. Все свое внимание автор отдает воплощению поэтических начал бытия русской деревни, очарования невозвратной поры детства. Картины русской зимы, необозримых снежных равнин, весенних звонких дней, летней страды, золотой осени сменяют одна другую естественно, как движение самого времени, переданного в живых образах. Смена времен года изображается не как пассивно-созерцательное движение, а как активное, затрагивающее все стороны существования и деятельности людей. Такое восприятие понятно,— оно определяется всем трудовым распорядком окружающей крестьянской жизни.

На первый взгляд «Детство Никиты» напоминает старые дворянские семейные хроники, однако повесть отличается от них. Обращенный в далекое прошлое взор писателя ясно увидел, что истинный хозяин родной страны — простые тру-

¹ А. М. Горький. Собр. соч. в тридцати томах, М., т. 30, стр. 25.

довые русские люди. О деревенских ребятах и крестьянах в повести сказано много и тепло. И образы прочно стоящих на своей земле сельских мальчиков, товарищей Никиты — Мишки Коряшонка и Степки Карнаушкина с его «заговоренным кулаком», — и их отцов вырастают в фигуры широкого общественного смысла. Без них нет России: они хозяйева земли, неотделимы от нее. Из всей совокупности картин повести встает образ Родины, чистый, как детство, незабываемый, как первая любовь, дорогой, как сама жизнь.

Волнующий образ Родины, горячее дыхание живой поэзии, пластичность изобразительных средств, глубокая лиричность и реалистическая красочность ставят «Детство Никиты» в ряд лучших произведений А. Н. Толстого.

Всепоглощающий пафос поисков родины наполняет также фантастический роман А. Н. Толстого «Аэлита» (1922). «Аэлита» и другой роман такого же рода, «Гиперболоид инженера Гарина» (1925), отличаются резко выраженной двуплановостью. Фантастичность сюжета в этих романах оригинально сочетается с реалистичностью характеров. Двуплановость фантастических произведений А. Н. Толстого определена жизненной актуальностью задач, которые ставил перед собой автор. В романе «Аэлита» писатель перенес действие на далекий Марс. Но он говорит о земных, волнующих его вопросах. Впервые А. Н. Толстой делает попытку создать героический образ бойца Октябрьской революции и гражданской войны. Гусев дорог автору как человек родной страны, к которой он так стремится. Мечта о родной земле пронизывает весь роман. Именно это чувство и стремление определяют политическое своеобразие романа, его реалистические черты. Образ Гусева уже не похож на прежние, схематичные фигуры революционеров, снижавшие художественную убедительность произведений писателя.

Живо и любовно показаны глубокая убежденность Гусева во всепобеждающем торжестве идей революции, готовность бороться за них. «Нет такого закону,— говорит Гусев,— чтобы страдать безвинно до скончания века,— не робей. Одолеем — заживем не плохо». Колоритная, полная стихийных сил фигура Гусева свидетельствует о решительном сдвиге в мировоззрении автора, начале понимания им глубочайших жизненных корней, народного характера революции.

Другой основной персонаж произведения, инженер-индивидуалист Лось, во многом поддается влиянию целеустремленного Гусева, в то же время он зачастую колеблется: поглощенный чувством к Аэлите, в самый разгар революционного восстания на Марсе, Лось просит Гусева на время оставить его в покое. И все же видно, что многолетняя вера писателя в вечную спасительную силу любви, противостоящую общественным бурям, уже поколебалась. Самым прочным, самым сильным, говорит писатель, является стремление к Родине.

В 1921 году А. Н. Толстой переезжает в Берлин, начинает сотрудничать в «сменовеховской» газете «Накануне». У писателя устанавливаются близкие, дружественные отношения с А. М. Горьким. В это время белоэмигрантская, анти-советская пресса начинает ожесточенную травлю писателя. В ответ А. Н. Толстой публикует в «Накануне» свое известное письмо к одному из лидеров белой эмиграции Н. Чайковскому. Это письмо заканчивается выражением уверенности, что новые формы политического устройства в России будут созданы самим народом, его волей и разумом. Советская общественность одобрила решительный шаг А. Н. Толстого. В номере газеты «Известия» (25 апреля 1922 года), в котором был напечатан этот ответ Чайковскому, говорилось, что письмо Толстого «не забудет русская литература, как не забыла письма Чаадаева и письма Белинского к Гоголю».

Искренность и решительность разрыва писателя со старым миром раскрываются в ряде других художественных произведений А. Н. Толстого — в рассказах «В Париже» (1921), «На острове Халки» (1922), «Рукопись, найденная под кроватью» (1923), «Похождения Невзорова, или Ибикус» (1924), в повести «Эмигранты» («Черное золото»), опубликованной в 1931 году. Никто из писателей не нарисовал такой беспощадно правдивой картины разложения, опустошенности, вырождения белой эмиграции. Художник представил различные колоритные типы белых эмигрантов, от патологического ненавистника — бывшего аристократа Епанчина, готового уничтожить все русское, начиная с русского языка, до расторопного спекулянта, бывшего конторщика Невзорова. Но все они раскрыты в своей подлинной сущности — ничтожестве, враждебности родине, народу.

Возвращение А. Н. Толстого в 1923 году на родину открыло перед ним новые перспективы творчества, навсегда связало его с жизнью советского народа.

III

Постижение сущности Великой Октябрьской социалистической революции, героика строительства социализма произвели решительный перелом в мировоззрении А. Н. Толстого. Идеи советского патриотизма несоизмеримо возвысили его творчество, одухотворили новым пафосом и целями. Совершенно в новом свете предстают перед писателем казавшиеся известными ему ранее исторические события, глубже вникает он в смысл борьбы народа за новую жизнь. Теперь он по-иному смотрит на мир, ставит перед собой другие творческие задачи и прежде всего — задачу воплощения величия революционного народа.

Для А. Н. Толстого характерно стремление к широкому, эпическому охвату действительности. Мастерство реалистического воспроизведения целых исторических эпох во всей их неповторимости, со сложным переплетом классовой борь-

бы, социальных, идейных и психологических конфликтов — отличительная черта монументального искусства А. Н. Толстого.

В своих произведениях он красочно воссоздал жизнь классов, сословий, нарисованных во всем своеобразии быта, культуры, образа мыслей и чувствований. Много раз радуется он искусством изображения пейзажа, обстановки батальных и камерных эпизодов, совокупности всех разнообразных явлений, составляющих в своей целостности облик действительности. И все это одухотворено, живет, переливается всеми красками жизни, волнует читателя потому, что всегда в центре внимания художника находилось изображение человека во всей его исторической и психологической правде.

А. Н. Толстого особенно интересовало создание художественных, типических образов советских людей, свершивших социалистическую революцию, отстаивших ее завоевания, строящих новую жизнь. Прежде всего о них хотел рассказать миру художник. «А те новые типы, кому еще в литературе нет имени,— писал автор,— кто пылал на кострах революции, кто еще рукою призрака стучится в бессонное окно к художнику,— все они ждут воплощения. Я хочу знать этого нового человека»¹.

В начале двадцатых годов советская литература создала ряд значительных произведений, ярко выразивших ее новаторские черты. «Чапаев» Д. Фурманова, «Железный поток» А. Серафимовича, стихи В. Маяковского превосходно раскрыли главные движущие силы социалистической революции, организующую роль партии большевиков. В этих произведениях впервые нашел правдивое изображение новый герой советской литературы — целеустремленный борец за революцию, создатель социализма. Однако многие наши писатели начала двадцатых годов еще изображали революцию и гражданскую войну как гигантский стихийный процесс.

Характер творческих исканий и высказываний А. Н. Толстого наглядно свидетельствует о решительном переломе в его понимании задач литературы. Советская действительность, размах творческого, созидательного труда советских людей вызывали у писателя стремление противопоставить размагниченным персонажам эстетской литературы нового героя, целеустремленного и смелого. Нового героя А. Н. Толстой всегда показывает в преодолении жизненных противоречий, в суровой борьбе с силами старого мира.

Рассказы «Голубые города» (1925) и «Гадюка» (1928) проникнуты восприятием революции как гигантского стихийно-романтического восстания невиданно смелых людей против буржуазии и мещанства. Но в это время их автор еще преувеличивал силу обывательщины, остатков «окуровщины».

¹ А. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 13, стр. 285.

Симпатии писателя всецело на стороне борцов революции, но эти люди изображены одинокими. Столкновение героев рассказов «Голубые города» и «Гадюка» с обывательской стихией приводит к катастрофе. Преувеличение силы обывательщины, разбивающей мечты людей о будущем, вносит в произведения А. Н. Толстого этого периода несвойственное его «доброму таланту» трагическое звучание. Оно порождено неверным представлением его о людях революции как одиночках, которые после гражданской войны в период нэпа якобы опять попали в незыблемую мещанскую среду. В этих рассказах есть много реалистических черт, но все еще вне поля зрения писателя остается организующее, направляющее руководство партии, готовившей полную победу социализма.

Путь А. Н. Толстого к созданию реалистических образов, раскрывающих основные процессы революционной эпохи, полон сложных творческих исканий. Ему пришлось критически переоценить многое созданное в прошлом, искать типическое не там, где он находил его раньше. Творческие поиски художника в этом направлении отличаются напряженностью и целенаправленностью. От стихийно-романтических образов борцов революции в повестях «Голубые города» и «Гадюка» он поднимается к воплощению самых передовых людей современности.

Смелее, шире, значительней становятся творческие замыслы А. Н. Толстого. Он предъявляет к себе все более строгие требования, стремится создать большую эпопею, посвященную русскому обществу в годы революции и гражданской войны. Писатель отлично понимал сложность и ответственность этой задачи. «Революцию одним «нутром» не понять и не охватить,— писал он.— Время начать изучать революцию,— художнику стать историком и мыслителем. Задача огромная, что и говорить, на ней много народа сорвется, быть может,— но другой задачи у нас и быть не может, когда перед глазами, перед лицом — громада Революции, застилающая небо»¹.

Всю значительность пути, пройденного А. Н. Толстым, приведшего его в ряд самых выдающихся художников советской литературы, наиболее наглядно можно увидеть на примере создания трилогии «Хождение по мукам».

Алексей Николаевич Толстой писал трилогию «Хождение по мукам» более двадцати лет. Когда автор приступил к работе над первой книгой трилогии — романом «Сестры» (1919), он не думал, что произведение развернется в монументальную эпопею. Бурное течение жизни привело его к убеждению в необходимости продолжить работу. Нельзя было поставить точку и оставить своих героев на бездорожье. В 1927—1928 годах выходит в свет вторая книга трилогии — роман «Восемнадцатый год». 22 июня 1941 года, в первый день Великой

¹ А. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 13, стр. 296.

Отечественной войны, была дописана последняя страница романа «Хмурое утро».

Своеобразное отражение нашли в трилогии меняющиеся, обогащающиеся представления автора о социалистической революции, черты его политической и творческой биографии. Говоря о длительности срока своей работы над эпопеей, писатель подчеркивал, что он не жалеет об этом: «...за это время я сам, в своей жизни, в своем отношении к жизни, к действительности, к нашей борьбе стал относиться гораздо более зрело, гораздо более углубленно»¹.

По словам Толстого, работа над трилогией «Хождение по мукам» была для него процессом познания действительности, «вживания» в сложную, полную противоречий историческую эпоху, образным осмыслением драматического опыта своей жизни и жизни своего поколения, обобщением исторических уроков грозных лет революции и гражданской войны, поисками верного творческого пути.

Характерные поучительные особенности формирования творчества А. Н. Толстого и других выдающихся советских писателей старшего поколения подчеркнул К. А. Федин. «Советское искусство,— говорил К. А. Федин,— рождено не в кабинете начетчика и не в келье отшельника. Старшие и тогда не старые русские писатели в грозные годы гражданской войны очутились перед выбором: на какую сторону баррикады стать? И они делали свой выбор. И если ошибались в выборе и находили в себе силы исправить заблуждение, исправляли его. Замечательный советский писатель Алексей Толстой оставил нам сурово восторженное свидетельство в рассказах о таких мучительных заблуждениях. И он же в начале двадцатых годов исторгнул гимн обретенному новому своему читателю: «Новый читатель это— тот, кто почувствовал себя хозяином Земли и Города. Тот, кто за последнее десятилетие прожил десять жизней. Это тот, у кого воля и смелость — жить...» Толстой утверждал, что писатель в тайнике сердца слышал зов этого нового читателя, гласивший так: «Ты хочешь перекинуть ко мне волшебную дугу искусства,— пиши: честно, ясно, просто, величаво. Искусство — это моя радость».

...Всякий опыт складывается из плюсов и минусов. Опыт судеб старших писателей, опыт трагедий, как уроки жизни, усваивался советскими писателями наряду с тем величайшим историческим уроком, который черпали они в клокотавшей гуще своего революционного народа»².

Первая часть трилогии — роман «Сестры» — привлекает читателей пластичностью картин, словесным искусством. Художественные достоинства этого чудесного русского романа огромны. Как живые, стоят перед нами его главные герои — Катя, Даша, Телегин, Роцин. Однако сила этого произведения не только в его словесном мастерстве. Роман «Сестры»

¹ А. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 14, стр. 377.

² «Правда», 1963, 22 июня.

отличается глубоким реализмом в изображении старого дворянско-буржуазного общества. Правдиво, в широких типических обобщениях показано здесь лицо верхушки царской России, чуждость народу декадентской разложившейся интеллигенции. Здесь образы и картины в полной мере реалистически убедительны. Роман привлек к себе широкое внимание, вызвал и вызывает большой интерес, создает ощущение грандиозности и решительности исторических преобразований, заставляет с волнением переживать судьбу его героев. Судьба героев стала особо интересной и поучительной благодаря тому, что роман проникнут пафосом основного исторического вопроса — о смысле революционного преобразования и дальнейшей судьбе нашей страны, с огромной силой и искренностью поставленного художником. Именно в этом — один из источников значительности романа «Сестры». Во время создания этого произведения автор не имел ясного представления о дальнейшем пути России, еще не решил трудную задачу — найти самого себя и верно увидеть эпоху. Мучительные размышления и искания пронизывают роман, создают его основной тон.

Черновые записи замыслов А. Н. Толстого и сохранившиеся наброски одного из первых вариантов плана задуманного романа свидетельствуют, что первоначально он думал положить в основу своего нового крупного произведения тему «распыления нации», через историю «небольшой, но чрезвычайно сложной человеческой ячейки, распылившейся по Европе»¹.

Как основной материал для этого произведения А. Н. Толстой хотел в первую очередь использовать свои личные впечатления в годы революции и эмиграции. Вскоре у него созрело убеждение о насущной необходимости показать социальные и идейные предпосылки, вызвавшие нарастание революционного взрыва. Эту задачу он и осуществил, создав роман «Сестры», события которого охватывают период с начала мировой войны до Октябрьской революции.

Как и многих других писателей старшего поколения, А. Н. Толстого в то время более всего интересовало определение отношения интеллигенции к революции, нежели конкретно-историческое изображение происходивших событий. Воспринимался роман «Сестры» прежде всего как повествование об ищущей нового пути в годы революции интеллигенции, о личных судьбах героев. Именно на эти черты произведения обратил внимание А. М. Горький в своем отзыве о романе «Сестры» в 1923 году: «Хождение по мукам» чрезвычайно интересно и тонко рисует психологию русской девушки, для которой настала пора любить. Фоном служит жизнь русской интеллигенции накануне войны и во время ее. Есть интересные характеры и сцены»².

¹ Архив А. Н. Толстого.

² А. М. Горький. Письмо к К. Ронигеру. 1923. Архив А. М. Горького.

Как известно, роман «Сестры» завершался противопоставлением непостоянству, изменчивости истории вечных, устойчивых человеческих чувств и связей. «Пройдут годы, утихнут войны, отшумят революции, и нетленным останется одно только кроткое, нежное, любимое сердце ваше», — говорит Роцин Кате¹.

Вскоре воздействие логики самой действительности изменило характер воззрений А. Н. Толстого на общий ход истории. Уже в 1922 году в статье «О новой литературе» писатель отверг свое прежнее понимание истории как неразумного, стихийного, иррационального процесса: «Нет разума в истории, — бытие — бессмысленный и кровавый хаос, вечные и бесплодные попытки создать порядок и счастье, вечно разрушаемый муравейник.

История разумна, — великая радость осмысленности, вечный пафос жизни, торжественность ежечасно приносимой жертвы»². Впоследствии писатель значительно переработал роман «Сестры». Самым существенным изменениям текст произведения подвергся в 1925 году. Наряду с изображением исканий, «хождений по мукам» своих героев теперь на первый план выдвигается в романе патриотическая тема — утверждения величия и непобедимости русского народа.

Автор утверждал, что роман «Сестры» не исторический. Он писал его как произведение о современности, о судьбе своей, своего поколения. Создавая последующие книги трилогии — романы «Восемнадцатый год» и «Хмурое утро», А. Н. Толстой ставит перед собой новую цель — «оформить, привести в порядок, оживотворить огромное, еще дымящееся прошлое»³, художественно запечатлеть грандиозные события социалистической революции и гражданской войны. Писатель, расширяя рамки своего повествования, обращается к воплощению жизни своего народа в переломный момент его развития, определяющий будущую историю всей страны. Другой, несоизмеримо более широкий смысл в единстве с последующими частями трилогии приобрел и роман «Сестры», ставший органической частью монументального эпического произведения.

Широкое введение темы народного движения как главной силы истории определило не только своеобразие идейной концепции, но и всей композиционно-сюжетной структуры трилогии. Содержание «Хождения по мукам» воплощено в самых емких и свободных формах современной реалистической литературы. Широкая, многоплановая структура этого произведения вызвана масштабностью изображаемых исторических событий, остротой классовых конфликтов, сложностью общественных процессов, богатством характеров.

¹ А. Н. Толстой. Хождение по мукам. Берлин, 1922, стр. 456.

² А. Н. Толстой. О новой литературе. Литературное приложение к газете «Накануне», 1922, № 7.

³ А. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 13, стр. 563.

В советской литературе тема революции и гражданской войны получила широкое и многокрасочное воплощение. И в этом художественном богатстве трилогия «Хождение по мукам» является одним из самых выдающихся произведений.

Писатель нарисовал многокрасочную панораму родной страны, охваченной огнем гражданской войны. Он воспроизвел главнейшие исторические факты, боевые эпизоды. Действие стремительно переносится на громадные расстояния. Быстрая смена фактов, событий, людей, иногда создающая впечатление разорванности композиции, продиктована самим характером эпохи. При создании двух последних книг трилогии А. Н. Толстой широко пользовался архивными материалами и документами, предоставленными ему редакцией «Истории гражданской войны». Это придает трилогии большую познавательную ценность. Но писатель не хотел создавать историческую хронику. Все время он старался подчинить обильный и многообразный документальный материал строго продуманному творческому плану, отразить историю в ее наиболее характерных процессах, в живых образах.

Обращение А. Н. Толстого и других советских писателей к емкой монументальной форме романа-эпопеи определялось самой жизнью, грандиозностью событий, требованием широкого и правдивого воплощения коренного исторического перелома в жизни народных масс, ставших главной, определяющей общественной силой.

Было бы односторонне ограничиваться только утверждением эпичности трилогии А. Н. Толстого. Все время здесь чувствуется горячая исповедь автора, включенная в рамки реалистического повествования. Жанр трилогии «Хождение по мукам» нередко характеризуют как роман-исповедь. Бесспорно, подобное определение является узким, оно не учитывает огромного эпического содержания произведения. Эта исповедь писателя связана с автобиографической линией романа, прежде всего с темой потерянной и возвращенной родины. В полемике Телегина и Рощина мы чувствуем столкновение различных точек зрения, присущих сознанию автора. Отсюда следует сделать вывод о неоправданности попыток представить одного из названных героев воплощением исканий самого автора. Взгляды А. Н. Толстого не персонифицированы в воззрениях какого-либо одного из героев трилогии. Они представлены в целостной концепции произведения, в борьбе различных мировоззрений, в уроках жизни героев.

С поисков личного счастья начинают свой путь основные персонажи трилогии. В первой ее книге Телегин, Даша, Рощин и Катя вначале во многом напоминают старых положительных героев А. Н. Толстого. Они так же честны и отзывчивы, в такой же степени уповают на всемогущую силу любви. История здесь лишь фон, на котором разворачиваются личные судьбы и переживания героев романа, аполитичных, еще наивно надеющихся, что буря революционного движения пройдет стороной, мимо них. Приобщение их к борю-

щемся революционному народу уничтожает противоречие между личным и общественным, гармонично сливающимся в понятие и чувстве родины.

Следует особо выделить из героев трилогии наиболее близкий писателю образ инженера Телегина, человека, обаятельного своей простотой, честностью и искренностью. В этом образе воплощен приход к революции, духовный рост сотен тысяч людей из трудовой интеллигенции.

Художник в живых образах нарисовал небывалое по размаху историческое столкновение сил старой и новой России. Трилогия полна острой драматической борьбы, глубочайших переломов как в общественной жизни, так и в судьбе отдельных персонажей.

Особенно серьезный внутренний перелом происходит у Рощина, человека остро, драматично переживающего события революции и вместе с тем наиболее глубоко заблуждающегося. Можно сказать, что Рощин уже стоял на краю пропасти, в которую катились остатки старых классов. Но, твердо веря в неодолимую силу народного движения, автор приводит Рощина к духовному возрождению, открывает перед ним дорогу в новую жизнь.

Через восприятие действительности Рощиным писатель показывает антинародность и растленность белогвардейщины, ее чуждость подлинному патриотизму. В этом смысле образ Рощина в трилогии приобретает особенно важное значение.

Реалистически убедительно рисует А. Н. Толстой образы врагов народной России — лагерь контрреволюции. Здесь не только портреты Корнилова, Деникина, Маркова и других белых генералов и офицеров. Писатель превосходно раскрывает враждебность революции эсеров, анархистов, либералов, пытавшихся примазаться к народному движению.

Книга «Сестры» заканчивалась словами Рощина о том, что войны и революции пройдут, останется нетленной только любовь и привязанность близких. В последующих частях трилогии эта идея развенчивается и отодвигается на второй план, воспринимается лишь как одна из точек зрения, принадлежащая только определенной группе персонажей. Как неопровержимо показала жизнь, непрочной, иллюзорной оказывается мечта об изолированности от общества, маленьком личном счастье, счастье вопреки войнам и революциям, вопреки всем историческим потрясениям, волнующим человечество. Основная линия, выражающая пафос трилогии, — изображение пути превращения рефлексивных, малоприспособленных интеллигентов в активных борцов, в подлинных «делателей» истории.

Развитие сознания героев трилогии — Телегина, Рощина, Кати и Даши — проходит в мучительных размышлениях, во внутренних противоречиях и конфликтах. Преодоление отживших представлений под влиянием действительности у них зачастую проходит в острой внутренней борьбе, в столкновениях противоположных точек зрения. Первоисточником

таких переживаний героев А. Н. Толстого всегда служат реальные факты, неумолимо разбивающие их прежние хрупкие камерные представления и мечты.

Сила таланта А. Н. Толстого во всей полноте сказалась и в широких эпических картинах и в воспроизведении тончайших интимных переживаний. История любви Телегина и Даши проникнута подлинной поэтичностью. Писатель заставляет нас живо ощущать тонкость и сложность самых сокровенных человеческих чувств. По глубине передачи духовной жизни героев произведение А. Н. Толстого принадлежит к числу лучших произведений советской литературы. Автор, раскрывая несостоятельность попыток своих героев-интеллигентов в суровую революционную эпоху укрыться от бурь истории, замкнуться в пределах своего скромного личного счастья, показывает органическую взаимосвязь человека со временем. Драматическое развитие биографий основных героев трилогии наглядно, с тонким проникновением в глубины человеческой души раскрывает сложный процесс приобщения человека к истории, раскрепощения тем самым его духовных возможностей. Жизненный опыт Телегина, Рощина, Даши и Кати зримо свидетельствует о том, что именно включение истории в душу человека обогащает духовное содержание личности, дает возможность наиболее полно выявлять индивидуальные свойства.

Глубоко почувствовал и передал автор героический пафос эпохи, остроту общественных конфликтов этого переломного периода, невиданный взлет человеческого героизма, переплавки человеческих характеров в огне революции. И отличительная черта этого периода состоит в том, что он ломает сложнейшие порядки и отношения, перестраивает убеждения и характеры многих людей, заставляет их по-новому смотреть на действительность, искать новое место в жизни и борьбе. В этом свете переход интеллигентов — героев романа А. Н. Толстого на сторону революции представляется обоснованным и закономерным.

Выдвижение во второй и третьей частях трилогии, особенно в романе «Хмурое утро», новых героев — коммунистов, революционных рабочих и крестьян, характеров цельных, целеустремленных, творящих в борьбе новую историю, имеет большой принципиальный смысл: в трилогию широким потоком врывается и, как безбрежный океан, все заполняет деятельность народных масс.

Особое значение в трилогии приобретает образ Ивана Горы. Такие рабочие-коммунисты, как Иван Гора, спасали страну от немецкой оккупации, боролись против интервентов и контрреволюции. Иван Гора — путиловский рабочий, красногвардеец, командир роты, а затем комиссар полка, проходит большую жизненную школу. У него есть незаменимое умение находить доступ к душе каждого бойца, каждого трудового человека, спланивать самых различных людей идеями революции. Иван Гора героически погибает весной во время ожесточенных боев на реке Маныч. При всем своем

индивидуальной своеобразии по своему духовному складу он близок Клычкову из «Чапаева» Д. Фурманова, Суркову из «Последнего из Удэге» А. Фадеева, Давыдову из «Поднятой целины» М. Шолохова, Рагозину из «Необыкновенного лета» К. Федина.

А. Н. Толстой создал целую галерею реалистических положительных образов, людей разных биографий и индивидуальностей. Они не похожи на схемы «идеального героя». Это простые, скромные люди — рабочие, крестьяне, интеллигенты. Но они окрылены самыми передовыми идеями современности, свершают историческое дело социалистической революции и строительства социализма. В своем единении миллионы таких людей составляют самую мощную, непобедимую силу в мире — хозяина истории, советский народ. И для выявления исторического значения своих героев — рядовых трудовых людей — А. Н. Толстой раскрывает эту нераздельную связь обычного и простого с возвышенным, великим.

Народ, героика его борьбы воплощены А. Н. Толстым в трилогии не только в определенных лицах, но и в массовых сценах, в обобщающих поэтических образах. Неизгладимый след в памяти оставляет сцена перед большим сражением на реке Маныч. Художник создал впечатляющую картину, где фигуры простых людей вырастают в образы большого исторического обобщения. Величие исторического дела, судьбу которого в боях решают эти простые люди, выводит их образы за пределы обычного, придает им черты гигантов, шагающих выше облаков. Перед нами уже не просто Иван Гора и его товарищи, а как бы легендарные великаны, свершающие титанические подвиги. Реалистическое зримое изображение бойцов, как бы ставших во весь рост над земным шаром, — это замечательный образ освобожденного народа, поднявшегося на битву за свое будущее.

Трилогия «Хождение по мукам» стоит в ряду лучших произведений советской литературы о революции и гражданской войне. Но она созвучна также произведениям, посвященным теме труда. Тема творческого характера революции находит завершающее патетическое выражение в финале трилогии, изображающем переход страны к решению задач мирного строительства. В конце трилогии выступает народ-победитель, показано начало новой эпохи в истории Родины — эпохи великого социалистического созидания.

А. Н. Толстой достигает неоспоримого художественного богатства своих произведений многообразными средствами и приемами. Однако вся его творческая работа подчинена единым реалистическим принципам, связана с задачей наиболее полного раскрытия облика времени, облика человека.

Писатель стремится воплотить образы людей и события осязаемо, зримо, чувственно. Отсюда следует особая взыскательность и целенаправленность его работы над языком своих произведений, постоянное настойчивое стремление писателя находить новые изобразительные возможности слова,

обогащать «образный, меткий, практически-точный, поэтически-гибкий, роскошный русский язык»¹. «Язык — это есть живая плоть идеи, чувства, мысли»², — утверждал он. Требовательное и творчески смелое отношение А. Н. Толстого к родному языку стало основой его больших художественных достижений.

Язык не только форма мысли: язык есть точная, активная сила, орудие мышления. Активную силу языка А. Н. Толстой усматривает также в его «обратном воздействии» — в его влиянии на художника. Двойное действие языка выражается в том, что он не только воплощает мысль, но и, воплощая, возбуждает, стимулирует ее. По убеждению А. Н. Толстого, язык готовых форм, в известной мере используемый художником, не может составить словесной плоти искусства. И сам процесс литературного творчества всегда в известной степени включает в себя борьбу с готовыми выражениями, шаблонными рамками, в которые вначале стремятся вылиться мысли и впечатления. Поэтому писателю нельзя ни на мгновение терять напряженность языка. А. Н. Толстой советовал беспощадно вычеркивать места, написанные приблизительно, скучно, мертвыми фразами, добиваться какой угодно ценой, чтобы они засияли и засверкали.

Писатель всегда выделяет специфику языка художественной литературы, его образно-изобразительное, эстетическое качество. Не ограничиваясь познанием общих внутренних законов языка, он старался выяснить конкретные формы соприкосновения и сложного взаимодействия языка писателя с его мировоззрением, творческим замыслом. В его суждениях на эту тему подчеркивается, что в литературе язык обусловлен определенной стилистической задачей, без чего невозможно осуществление его образно-изобразительных функций.

Цель литературы — «чувственное познание Большого Человека»³. Искусство должно «пахнуть плотью и быть более вещественным, чем обыденная жизнь»⁴. Тяготение к вещественности, предметности, зримости изображения — главная черта эстетики А. Н. Толстого, противостоящая теориям декадентского искусства, отрицающим образную основу художественного творчества. Достижение образной чувственности изображаемого — вот первая художественная цель, которую преследовал А. Н. Толстой в своей работе. Сторонник весомого слова, дающего не общее определение или обозначение предмета, а его предметный образ, он хотел писать так, чтобы читатель воспринимал изображенное словами как доступное зрению и осязанию.

¹ О великом русском народе, 4 июля 1936 г., Архив А. Н. Толстого.

² А. Н. Толстой. Лекция «Слово есть мышление», 10 апреля 1943 г., Архив писателя.

³ А. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 13, стр. 282.

⁴ Там же, стр. 288.

Он защищал язык правдивый, точный, идущий от острого наблюдения, от глубоко чувственного восприятия предмета. Фигуры героев в его лучших произведениях как бы физически зримы, осязаемы. В этом значение тщательных поисков художником наиболее точного, наиболее подходящего «единственного» слова. С этим связан дар «второго зрения» — способность художника явственно видеть людей, рожденных воображением, «вживаться» и «вчувствоваться» в судьбы своих героев, читать в их сердцах, представлять во всех деталях внутреннего и внешнего облика.

Многоплановость сюжета, сочетание лирики и сатиры, философских раздумий и конкретно-бытовых деталей, органическое вплетение в сюжет хроники и публицистики — свойство, присущее всем большим эпическим произведениям А. Н. Толстого. Центральный конфликт трилогии определяет также целую гамму частных производных противоречий, отражавших важные процессы в бурную эпоху революции и гражданской войны. Все они находят выражение в обилии и взаимодействии различных сюжетных линий и столкновений, отражающих различные стороны развития действительности. Художник чрезвычайно внимательно следил за композицией, за ясностью, выразительностью и законченностью всех этих многочисленных сюжетных линий, составляющих живую ткань произведения, его зримую, осязаемую образную полноту.

События в трилогии «Хождение по мукам» представлены преимущественно через восприятие героев произведения — Телегина, Рощина, Даши и Кати. Точка зрения главных героев трилогии композиционно объединяет и одухотворяет изображаемые факты исторического и бытового характера. Со строго продуманной сюжетной линией каждого из персонажей связан четко выраженный цикл эпизодов, определенная, наиболее естественно и близко связанная с ним социальная среда.

Наряду с совокупностью сюжетных линий, непосредственно скрепленных с судьбой героев, в произведении большое место занимает историко-хроникальная линия. Наиболее обнажена она представлена в романе «Восемнадцатый год», отличающемся изобилием авторских историко-публицистических отступлений, а также описаний эпизодов гражданской войны. Таковы, например, картины боев под Екатеринодаром, восстания чехословацких частей и захвата ими Самары, потопления Черноморского флота. В романе «Хмурое утро» автор реже обращается к таким отступлениям, последовательно включает все историческое содержание в сюжетную структуру произведения.

Для А. Н. Толстого характерна широта охвата общенародного языка, художественного проникновения во все его пласты, в многообразие его диалектных, классовых, социальных, профессиональных делений. Как уже было сказано выше, писатель освещает события через призму восприятия разных героев. Это определяет в пределах ярко выражено-

го своеобразия художественного языка А. Н. Толстого живое многоголосие его монументальных произведений. Это многообразие речи и создает впечатление естественности, полноты и широты охвата действительности, раскрываемой в ее многоцветности и движении. В зависимости от характера повествования автор широко привлекает все разновидности национального языка: книжно-литературный, эпистолярный, фольклорный, просторечие. Но все они подчинены образно-эмоциональным задачам искусства, входят составной частью в единую изобразительную систему.

Для произведений А. Н. Толстого характерно органическое слияние общего исторического колорита с индивидуальным своеобразием речи героев. Богатству человеческих характеров в его творчестве соответствует и разнообразие выразительных средств языка. Проблему собственной речи персонажей художник разрешал как важнейшую, необходимую часть создания целостного типического образа.

В речи футуриста Сапожкова, профессора, идеалиста-мистика Вельяминова, поэта-символиста Бессонова художник отражает не только общее в облике предреволюционной буржуазной интеллигенции, но и их личные человеческие особенности. «Одессизмы» Левки Задова, бессвязные, порожденные манией величия истерические выкрики Нестора Махно, доморощенные суждения анархистского горе-теоретика Лео-на Черного дают ясное представление о жаргоне махновских бандитов. Простая, рассудительная речь Ивана Горы соответствует его облику сознательного рабочего-коммуниста.

Язык каждого персонажа находится в неразрывной связи с сущностью его характера, как производное от его общественно-психологического своеобразия, как незаменимое средство типизации образа. Выбор слов, стилистическое строение фразы, ритм речи, интонация определяются поставленными творческими задачами, служат прежде всего цели индивидуализации характеров. Без этого А. Н. Толстой не мыслит художественное бытие и реалистическую убедительность своих героев.

Художник избегает простого изложения фактов, однолинейного повествования. Изображение событий он обычно дает не путем отвлеченного описания, а в восприятии их героями произведения. Естественно и просто вводятся в повествование слова, взятые из самой изображаемой среды. Собственная речь героев и авторский текст у А. Н. Толстого всегда находятся в сложном взаимодействии, служат единой цели наибольшей полноты реалистического изображения героев. Различные общественные группы характеризуются свойствами им речевыми средствами. Прямая речь, таким образом, драматизируется, сливается с речью косвенной. Это способствует включению описательных мест в динамику сюжета. Индивидуальные особенности того или иного персонажа выявляются не только в его собственной речи. Они накладывают свой отпечаток на весь повествовательный текст.

Замечательное художественное мастерство А. Н. Толстого наглядно видно в создании вокруг каждого героя своеобразной стилистической атмосферы, дающей образу пластичность и индивидуальную полноту жизни. При художественной целостности произведений А. Н. Толстого с каждым из его героев связана своя органическая языковая среда, свой стилистический колорит, наиболее соответствующий его исторической и психологической сущности. Склад повествовательной речи автора определяется у А. Н. Толстого не только характером того или иного персонажа. Художник всегда находил стилистическое своеобразие повествования, производил очень тонкий отбор слов и выражений, наиболее соответствующих настроению героя.

Образному, характерному языку А. Н. Толстого чужды стремления к обнаженной фигуральности, необычности выражений, цветистости слова.

Обращает на себя внимание его требовательность в выборе синонимических средств языка. Его художественные средства — перифразы, сравнения, аллегории, образные определения — создаются преимущественно на творческом использовании неограниченного многообразия значений, смысловых оттенков слов и их фразеологических связей. Обычные слова у него в сочетании с другими приобретают новую, особую смысловую и эмоциональную тональность. Главные свои усилия художник здесь направил на то, что метко названо Пушкиным «неистоцимостью» языка «в соединении слов». Художник стремился к стройности и простоте каждой фразы, избегал нарочито усложненных стилистических конструкций. В этом направлении, в частности, он редактировал свои произведения, подготавливая их для переиздания.

IV

На успехи и новаторский характер советской историко-художественной литературы в свое время обратил внимание А. М. Горький, поставивший «Петра Первого» А. Н. Толстого первым среди лучших исторических романов.

Нарастание могучего народного движения перед Октябрем 1917 года обратило А. Н. Толстого к исторической теме, особенно к переломным эпохам в развитии страны. Можно предположить, что именно в это время у писателя возникает замысел его первых рассказов на историческую тему («Первые террористы», «Наваждение» и «День Петра»), осуществленных несколько позже, в начале 1918 года. Увлечение красотой и образностью старинного русского языка совпало у него с неодолимой потребностью найти в прошлом разгадку исторических закономерностей движения России.

Как известно, тема Петра Первого получила развитие и широкое воплощение также в драматургии А. Н. Толстого. И здесь художник прошел своеобразный, сложный путь. Пер-

вая пьеса его на эту тему («На дыбе», 1929), как указывал сам автор, «попахивала Мережковским».

Писатель искренне хотел разобраться в современности в закономерностях развития общества, понять события революции в цепи многовековой истории родной страны, обратившись к опыту сходных, на его взгляд, эпох. Но он преувеличивал близость этих эпох, поэтому подлинные закономерности истории зачастую подменялись их обманчивыми, произвольными аналогиями. Только впоследствии марксистско-ленинское мировоззрение помогло А. Н. Толстому начисто отбросить остатки мистических взглядов на исторический процесс. Новые передовые идеи дали писателю доступ к правде истории.

Творческая история «Петра Первого» — наглядное свидетельство упорного приближения художника к научному пониманию истории. Сам он вспоминал: «На «Петра Первого» я нацеливался давно,— еще с начала Февральской революции. Я видел все пятна на его камзоле,— но Петр все же торчал загадкой в историческом тумане. Начало работы над романом совпадает с началом осуществления пятилетнего плана. Работа над «Петром» прежде всего — вхождение в историю через современность, воспринимаемую марксистски. Прежде всего — переработка своего художнического мироощущения. Результат тот, что история стала раскрывать нетронутые богатства»¹.

В 1930 году была написана первая книга романа «Петр Первый». Вторую книгу романа А. Н. Толстой заканчивает в 1934 году. Первые две книги, по мысли автора, представляют вступление к третьей книге, охватывающей события от взятия Нарвы до апогея, до кульминационной точки государственной деятельности Петра — Полтавской битвы. В одном из своих последних писем автор писал: «Роман хочу довести только до Полтавы, может быть, до прутского похода, еще не знаю. Не хочется, чтобы люди в нем состарились, что мне с ними, со старыми делать?»².

В «Петре Первом» воплощены лучшие черты советского исторического романа. Совершенство художественной формы, тонкая психологическая характеристика героев сочетаются с широким воспроизведением исторической эпохи. Эпическое повествование об эпохе неразрывно слито с богатством индивидуальной жизни героев.

Для успешного выполнения замысла своего романа А. Н. Толстому нужно было найти верное решение вопроса о взаимоотношениях государственного деятеля и эпохи, исторической личности и народных масс. Сила великих деятелей определена тем, насколько они умеют правильно понять и использовать реальные общественно-экономические закономерности. Писатель показывает, что преобразования конца XVII

¹ А. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 13, стр. 323.

² Алексей Толстой. О литературе. Статьи, выступления, письма. «Советский писатель», М., 1956, стр. 412.

и начала XVIII столетия вызваны не случайными обстоятельствами, а порождены условиями и требованиями исторического развития России. Рисуя Петра, автор не идеализирует его. Петр в романе не имеет ничего общего с лубочными приукрашенными портретами царя-народолюбца. Варварскими способами проводит он свои мероприятия по укреплению классового государства. Во всем он человек своей эпохи, своего класса, действующий дальновидно, но беспощадно. Наряду со своими положительными качествами он вспыльчив, необуздан, иногда страшен. Перед нами живой, ярко очерченный человек, с резко выраженным индивидуальным характером и внешностью, со своей манерой смотреть, двигаться, говорить.

Много раз писатель заявлял, что он очень дорожит найденной им человечностью Петра, категорически возражал против попыток какой-либо символистской трактовки его образа. В своих беседах с критиками и актерами он решительно подчеркивал чуждость облику своего героя всяких абстрактно-мистических истолкований. Перед опубликованием третьей книги романа А. Н. Толстой несколько раз с гордостью подчеркивал реалистическую зримость и земную весомость облика Петра. Своим большим художественным достижением автор считал то, что в изображении Петра он преодолел всякую «отвлеченность».

В воплощении образа Петра и его времени художник шел по пути, проложенному А. С. Пушкиным. В своих записках о Петре Пушкин писал о его двойственности: «Достойна удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые нередко жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом. Первые были для вечности или по крайней мере для будущего,— вторые вырвались у нетерпеливого самовластного помещика»¹.

А. Н. Толстой не пытается как-либо идеализировать личность Петра, приукрасить его, показать более мягким и гуманным, нежели он был в действительности. Это был бы ложный, антиисторический путь. Значительность деятельности Петра писатель находит прежде всего в его реальных замыслах и мероприятиях по укреплению централизованного государства.

Правдиво раскрывая острейшие драматические противоречия и конфликты эпохи, художник дал яркую картину поступательного движения страны вперед. Укрепление Петром классового русского государства, борьба варварскими средствами против варварства и отсталости, тяжелое положение крестьянства раскрыты правдиво, естественно, с большим художественным тактом.

¹ А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. Изд-во «Academia», М.-Л., 1936, т. V, стр. 427.

«Петр Первый» — произведение об эпохе, о жизни народа. В этом смысле он заметно отличается от так называемого историко-биографического романа. Судьба человеческая, судьба народная — вот главная, всеохватывающая тема и пафос произведения. Историческое движение страны художник характеризует как результат усилий всего народа. Роман проникнут стремлением показать самое главное — творческий гений русского народа, без которого были бы невозможны никакие преобразования.

Советский исторический роман уже определил свои принципы. Они основываются прежде всего на устоях исторической правды, на которых строится вся работа художника над материалом далекого прошлого, на бережном отношении к лицам и событиям прошедшей эпохи. Наиболее существенная новаторская черта советского исторического романа — взгляд на народные массы как на главную, решающую силу, как на творцов истории, освещение событий прошлого с их точки зрения. Такая позиция ведет к решительной переоценке событий прошлого, являющейся, по словам М. Горького, одной из главнейших черт советской историко-художественной литературы.

История в изображении А. Н. Толстого исполнена мужественного драматизма. Созидательная сила народа пробивает себе дорогу, несмотря на самые серьезные препятствия. Тоской по труду проникнут рассказ Кузьмы Жемова толпе бездомных, как и он сам, мужиков. Нельзя без волнения читать о неудавшейся судьбе этого талантливого самородка — изобретателя летательного аппарата. В дальнейшем мы встречаем Жемова на постройке корабля. Вот братья Осип и Федор Баженины, построившие водяную пильную мельницу без заморских мастеров. Оружейник Кондратий и Иван Воробьевы — русские богатыри. Галерея образов простого люда богата и разнообразна: особенно радует в этом отношении третья книга романа. Характерна фигура живописца-самоучки Андрея Голикова.

Развитие промышленности и культуры приобщило ряд новых людей к государственной работе. Таковы купцы и предприниматели — Демидовы, Шорины, Свечин, Жигулин, Бровкины; чиновники — изобретатель гербовой бумаги Курбатов, секретарь царя Возницын.

Миллионное же большинство населения пахало землю, строило, тянуло тяжелую солдатскую лямку. Труды их не были бесплодными: именно они кирпич за кирпичом воздвигали здание мощи и славы нашей родины.

Источник эпичности романа в том, что именно в жизни многомиллионного большинства нации, а не в дворцовых интригах писатель видел объяснение всех исторических событий. Колоритное изображение сложного мира человеческих отношений проникнуто желанием показать духовное величие народа, с особой силой раскрывающееся в моменты исторических потрясений. В народе всегда таятся повседневно незаметные героические силы, грандиозность которых в полной

мере можно понять в переломные периоды национального существования. Все содержание романа иллюстрирует эту мысль.

Сила народа еще отчетливей подчеркивается в произведении А. Н. Толстого противоречивостью общественных отношений в России того времени. Реалистически показано тяжелое положение народа. Вторая книга кончается суровой и многозначительной картиной. Бывший монастырский холоп Федька Умойся Грязью, закованный в цепи, забивает первые сваи там, где впоследствии вырастет Петербург. Прошедший сквозь многие беды, этот человек все же сохранил в себе силу и духовную крепость. Образ этот символизирует богатство русской земли непреклонными свободолюбивыми характерами.

Образ крепостного «ломаного» мужика с новой стороны развивает линию крестьянской жизни, художественно раскрывает корни революционных традиций в истории русского народа. В этом подлинно реалистическом образе превосходно переданы особенности национального характера, народного самосознания, колорит жизни масс прошедшей эпохи. В сцене беседы царя с бородатым мужиком, строителем Петербурга, можно ясно различить художественное воплощение мотивов исторических песен о Петре, запечатлевших сложные отношения народа к его личности и преобразованиям.

Писатель раскрывает вольнолюбивую душу народа. Он показывает, что народ свято хранил поэтический образ Степана Разина. Крестьянская революционность первоначально в романе нашла эпизодическое воплощение. Драматична судьба соседа удачливого Ивашки Бровкина крестьянина-бедняка Федора Цыгана. У него остается только один путь — в числе таких же бездомных, обездоленных беглых «уходить в леса дремучие, за Дон или еще куда-нибудь, где вольнее». Колоритно нарисовав эти образы крестьян-бунтарей, А. Н. Толстой тем не менее вначале не дал им движущей роли в развитии основных линий сюжета романа. В последующих частях произведения тема крестьянской революции проходит отчетливее и последовательнее. Материалы архива писателя дают представление, насколько тщательно готовился он к воплощению в будущих главах романа темы крестьянской революции, в первую очередь восстания Булавина.

Петр жестоко подавлял не только своих врагов, заговорщиков из боярской среды, но и сопротивление других слоев населения. Трагичной и в то же время исторически необходимой выглядит в романе расправа с мятежными стрельцами.

Много внимания уделяет А. Н. Толстой раскольническому движению. За уральский камень, в Поволжье, на Дон к раскольникам от поборов бежали люди, но попадали в условия еще более тяжелого гнета сектантского невежества и притеснений. Художник сорвал декоративную романтику

с раскольников. Вопреки либеральной и народнической историографии, идеализировавшей раскол и стрелецкие бунты, писатель раскрывает объективно реакционный характер этих движений, их враждебность интересам нации.

В ожесточенной борьбе, в глубоких классовых противоречиях представлено в романе движение истории.

Романтическое или односторонне трагическое понимание истории, самоцельное стремление к изображению ярких личностей нередко приводит в литературе к созданию «демонических» образов героев. Таким демоническим характером являлся Петр в ранних произведениях А. Н. Толстого. В романе же выведена сильная, многогранная личность, наделенная ясными конкретно-историческими чертами своей эпохи.

В характеристике Петра выделены его энергия и государственный разум. Он не лишен личных и сословных слабостей, многие свойства героя романа, с точки зрения нашего времени, подлежат осуждению. Правдивость художественного воспроизведения истории помогает пониманию истинного смысла деятельности Петра. Критикуя «левое ребячество», Ленин в 1918 году писал: «...Петр ускорял перенимание западничества варварской Русью, не останавливаясь перед варварскими средствами борьбы против варварства»¹. Мысли об укреплении Петром национального государства и о борьбе с варварством варварскими методами раскрываются в романе правдиво и с тактом. Без этого писатель едва ли смог бы поднять идейное значение романа на уровень требований современности.

Произведения А. Н. Толстого — мастера исторического жанра — наглядно раскрывают лучшие своеобразные черты советского исторического романа.

В то время когда создавался «Петр Первый», в критике усиленно дебатировался вопрос об отношении автора к изображаемой им эпохе, о том, должен ли писатель, чтобы достигнуть максимальной правдивости, раствориться в прошлой эпохе, то есть смотреть на события не с наших позиций, а с позиций людей давно прошедшего времени. А. Н. Толстой проницательно указал на ложность такой постановки вопроса и нашел верное решение. Автор исторического романа обязан оценивать события прошлого с позиций самых передовых идей современности и судить о них с высоты всего опыта человечества. Растворение писателя в мировоззрении людей прошлых веков не дает ничего другого, кроме примитива или наивности. Но знать тонкости этого мировоззрения, заставить своих героев думать и говорить, как действительно исторических людей, — это обязанность писателя. Следуя принципу исторической правды, А. Н. Толстой не допускает модернизации характеров, языка, мышления и эмоций героев, то есть навязывания понятий и чувств, несвойственных их эпохе, порожденных современной нам жизнью. Ху-

¹ В. И. Ленин. Соч., изд. 5-е, т. 36, стр. 301.

дожник руководствовался в своем творчестве реалистическим принципом: «...исторические герои должны мыслить и говорить так, как их к тому толкает их эпоха и события той эпохи»¹.

Роман «Петр Первый» направлен против реакционных исторических концепций, проникнут высоким патриотическим пафосом. Однако писатель далек от метода переодевания современных героев и идей в старинные одежды. Было бы ошибочным и несправедливым считать роман историческим маскарадом, а его героев переряженными современниками, занятыми решением проблем наших дней; на высказанные некогда подобные предположения А. Н. Толстой отвечал: «Что привело меня к эпопее «Петр I»? Неверно, что я избрал ту эпоху для проекции современности. Меня увлекло ощущение полноты «непричесанной» и творческой силы той жизни, когда с особенной яркостью раскрывался русский характер»².

Писатель-реалист А. Н. Толстой воспроизводит историю во всей ее истине и чувственной полноте. Художник идет по пути конкретного воплощения своеобразия эпохи, рисует историю народа, а не историю отвлеченных от реальной действительности идей. По его убеждениям, живой опыт наших предков гораздо интереснее и величественнее, нежели всякие субъективистские измышления. Правильно осмысленная история сама по себе идейно богаче и поучительнее, нежели все попытки модернистов ее поправить, втиснуть прошлое в прокрустово ложе своих абстрактных, подменяющих подлинную историческую правду, произвольных домыслов.

Исторический роман представляет особый вид творчества, в котором научное познание прошлого сливается с искусством. В своих произведениях на темы о прошлом писатель стремится добиться слияния художественного творчества с передовой исторической наукой. Еще В. Г. Белинский в свое время предсказывал рождение будущей литературы, в которой поэзия предстанет в единстве с историей. Творчество А. Н. Толстого развивалось в этом направлении.

Живое ощущение давно прошедшей эпохи с ее бытом и психологией нельзя было дать только на основе исторических документов. Здесь во всей силе сказалась творческая фантазия художника, высоко развитое у него с детства патриотическое чувство родной страны, со всей ее правдой быта, ее языка, преданий, песен и сказок.

Изобразительная выпуклость и психологическая правдивость характеристики образов, их естественность, гармоничность композиции — все это придает роману впечатляющую художественную выразительность и действенность. Эту реалистическую силу А. Н. Толстого, выдающиеся достоинства произведения отметил А. М. Горький. В 1933 году он с горячим одобрением писал автору «Петра Первого»: «Петр» —

¹ А. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 13, стр. 593.

² Там же, т. 1, стр. 88.

первый в нашей литературе настоящий исторический роман, книга — надолго. Недавно прочитал отрывок из 2-й части, — хорошо! Вы можете делать великолепные вещи»¹.

Роман «Петр Первый», как и другие лучшие произведения А. Н. Толстого, получил широкую известность за рубежами нашей страны, высокую оценку передовых деятелей литературы всего мира. В письме к А. Н. Толстому Ромен Роллан восторженно отзывался о романе: «Я восхищен той мощью, тем неисчерпаемым изобилием творчества, которые у Вас кажутся простыми слагаемыми... Меня особенно поражает в Вашем искусстве, твердом и правдивом, то, как Вы лепите Ваши персонажи в окружающей их обстановке. Они составляют неотъемлемую часть воздуха, земли, света, которые их окружают и питают, и Вы умеете одним взмахом кисти выразить тончайшие оттенки среды»².

С каждой новой книгой романа мастерство А. Н. Толстого становится все полнокровнее. Творческая щедрость автора неразрывно связана с суровой требовательностью. Материал жизни в строгих и взыскательных руках художника приобретает все большую пластичность форм, скульптурную выпуклость.

В первых двух книгах автор еще прибегает к символизации, обнаженно-публицистическим высказываниям. Здесь в художественной ткани романа еще проглядывают выдержки из исторических источников, отрывки из записок современников, эпистолярных материалов, следственных дел и всякого рода других официальных документов. В третьей книге нет вставок, связок и пояснений историко-справочного характера. По свидетельству близких, А. Н. Толстой в третьей части романа старался добиться полного отсутствия вставок справочного характера, считая, что мастерство исторического романа заключается прежде всего в том, чтобы в книге не чувствовался поучающий автор XX века и чтобы вся описательная часть была передана глазами современников событий. По мнению художника, это дает возможность читателю перенестись в отдаленную эпоху и ближе почувствовать ее.

Роман чужд всякой идеализации старины. Писатель смело показал борьбу старого и нового. Всякие попытки идеализировать сокрушенные абсолютизмом патриархальные отношения прошлой эпохи привели бы к фальши. А. Н. Толстой хорошо понимал это. Он нарисовал правдивую картину того, как в муках, тяжко сопротивляясь, «кончалась византийская Русь». Художник, рисуя все противоречия и жестокость абсолютизма, не ищет примиряющей середины между противостоящими классовыми силами. С суровой правдивостью показывает он остроту общественных противо-

¹ А. М. Горький. Собр. соч. в тридцати томах, т. 30, стр. 280.

² «Алексей Толстой — кандидат в депутаты Совета Союза Верховного Совета СССР», Лениблиздат, 1937, стр. 12.

речий, жестокость и беспощадность борьбы этой далекой эпохи.

Проникновенно А. Н. Толстой раскрыл поэтические глубины, самый дух русской истории, выпукло передал ее драматизм и стремительное движение. Обаяние выведенных в романе «Петр Первый» лиц состоит в том, что автор в первую очередь изображает духовную силу и созидательный пафос народа, его подвиги, составляющие нашу национальную гордость. Поэтому «Петр Первый» по праву занял свое место в ряду произведений литературы, воспитывающих патриотическое чувство народа.

Язык исторических произведений А. Н. Толстого находится в полном соответствии с его общими стилистическими принципами. Менее всего писатель склонен к реставраторству временных, проходящих речевых явлений. Ему чужда самоцельная архаическая стилизация, ориентирующая прежде всего на омертвевшие, вышедшие из обихода слова и выражения. Экзотика, речевые уникамы, сохранившиеся только в архивных глубинах, мало привлекают А. Н. Толстого. Для романа «Петр Первый» типична ориентация на жизнестойкие речевые элементы. Художником запечатлеваются устойчивые, развивающиеся коренные основы русского языка.

А. М. Горький вполне обоснованно оценивал язык историко-художественных произведений А. Н. Толстого как важную и актуальную тему для исследования, особенно для выяснения проблемы отношения языка произведений устного народного творчества и литературного языка. Утверждая значение фольклора для развития литературного языка, он считал чрезвычайно поучительным в этом смысле язык А. Н. Толстого. При разработке тем, на которые, по его мнению, следовало бы обратить внимание исследователям литературы, он рекомендовал: «Прекрасная тема для литературоведа: язык А. Н. Толстого в «Петре» и в «Житии Нифонта»...»¹

К работе над историческими документами А. Н. Толстой относился как к одному из важнейших процессов литературного творчества. Создавая «Петра Первого», он привлек огромное количество материалов — исторические исследования, записки и письма современников, дипломатическую переписку, военные донесения и указы, судебные архивы, памятники литературы и искусства. Писатель был хорошо знаком с многими редкими, еще не опубликованными архивными материалами.

¹ А. М. Горький. Письмо к Н. Пиксанову, 12 июня 1933 г. Летопись жизни и творчества А. М. Горького. Изд-во Академии Наук СССР, 1960, т. 4, стр. 300. Писатель имел в виду повесть А. Н. Толстого «Краткое жизнеописание блаженного Нифонта (Из рукописной книги князя Туренева)». Позже автор ее озаглавил «Повесть смутного времени».

Метод творческой обработки А. Н. Толстым историко-архивного материала представляет большой интерес. Приемы использования автором «Петра Первого» исторических документов свидетельствуют об его стремлении наиболее последовательно провести принципы реализма в художественном воспроизведении истории родины. Решительно отвергал А. Н. Толстой в художественном творчестве натуралистическую компиляцию из историко-архивных материалов. «К каждому документу,— писал он,— надо относиться критически, искать, где в нем правда, где ложь... Вы знаете, часть воспоминаний очевидцев записывается много лет спустя, в них много неточностей. Эту неправду нужно уловить, нужно выработать историческое чутье, которое несомненно развивается практикой»¹.

Главной задачей творческой переработки исторических материалов А. Н. Толстой считал воссоздание живой картины эпохи, освещение ее с верных исторических позиций. «Исторический материал,— говорил он,— нужно хорошо переварить, чтобы он из материала стал богатством образов и мыслей»². Свои историко-художественные произведения он представлял не как исторические хроники, а как «книги о жизни, о характерах, о героических людях, о героических событиях». Из исторических материалов А. Н. Толстой создает широкие художественные обобщения, осмысливает события прошлого в свете принципов социалистического реализма. Так, например, на основе краткой записи в «Дневнике путешествия в Московию» И. Корба о женщине, за убийство мужа зарытой в землю, писатель создает художественную картину, воплощающую трагическую судьбу простой русской женщины.

Вообще творческий метод писателя противостоит историческому натурализму в литературе, приводящему к преобладанию археологии над искусством. Писатели, гонящиеся за исторической экзотикой, то есть только за всем непохожим на современное, невольно для себя ставят барьер между прошлым и настоящим, затрудняют понимание смысла исторических событий. Можно сказать, употребляя выражение Марлинского, что у Толстого старина говорит языком ей приличным, но не мертвым. Старинная речь героев не звучит романтической декламацией: до нас доносится живой голос человека давно прошедшей эпохи.

Роман «Петр Первый» опирается на активный фонд современного русского языка. В историко-художественных произведениях А. Н. Толстого читатель наглядно видит устойчивость основного словарного фонда и грамматического строя русского языка. В то же время художник умело использует ценное и выразительное из языкового и стилистического наследия прошлых веков. Архаические слова служат для более

¹ А. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 13, стр. 495—496.

² Там же, стр. 505.

яркого воспроизведения колорита эпохи, своеобразия мышления, чувствований и речи героев.

Стилевые переходы между авторским повествованием и языком исторических лиц в произведениях А. Н. Толстого неуловимы. Голос автора смешивается с голосами людей прошлого. Это дает возможность ослабить архаические элементы в языке персонажей. Достигается глубокое ощущение времени, но без резких переходов, разрывающих целостность художественного восприятия картины.

Неразрывное единство характера, ситуаций и слова типично для творчества А. Н. Толстого. Своеобразие стиля романа прежде всего характеризуется слиянием исторической колоритности с индивидуализированностью речи персонажей. А. Н. Толстой художественно постиг дух эпохи и своеобразие характеров; следовательно, в его произведениях отпадает надобность в постоянном напоминании об истории путем архаических слов и выражений. Он свободно обходится живым, общедоступным языком современной литературы. Вместе с тем иногда он несколько отходит от обычных языковых норм, чтобы выразить дистанцию времени. Писатель строго соблюдает художественную меру. Он прибегает к старинным словам и оборотам, когда в современном лексиконе нельзя найти точно совпадающее по значению слово или выражение. Ясная и доступная всем речь приобретает, таким образом, историческую тональность. Колорит ее не уводит от установившихся норм реалистического изображения. Язык органически сливается с образами людей прошедших веков и выступает как важнейшее проявление их самосознания.

V

С художественной деятельностью А. Н. Толстого органически связана его превосходная публицистика. Острая отзывчивость, жажда познания самых разнообразных сторон действительности проявлялись в его творчестве в самых разнообразных формах.

Алексей Николаевич Толстой стал писать публицистические очерки и статьи еще в 1914 году, посвящая их событиям первой империалистической войны. Но, в значительной степени подчиненные шовинистической идее, эти статьи и очерки не стали крупными явлениями русской литературы. Такова же судьба публицистических выступлений А. Н. Толстого в 1917 году, не проникающих в сущность политических событий. Только обращение к волнующей теме родины, осознание справедливости и плодотворности революционного пути народа приобщили публицистику А. Н. Толстого к передовым явлениям русской литературы, придали ей жизненную убедительность и силу. К числу таких первых значительных публицистических выступлений А. Н. Толстого можно отнести его известное письмо к Н. Чайковскому.

Содержание статей и очерков, написанных А. Н. Толстым в разные годы, наглядно показывает, как постепенно взгляд писателя все глубже проникал в действительность, все более метко находил и запечатлевал существенные процессы жизни.

Наиболее широкий размах публицистика А. Н. Толстого закономерно приобретает в 30-е годы. Один из важнейших вопросов, занимавших большое место в публицистике и выступлениях А. Н. Толстого в эти годы,— это вопрос о судьбах гуманизма, о судьбах человечества. Подчеркнутое внимание к этому вопросу было обусловлено внутренней и международной обстановкой. Наша литература высоко подняла знамя гуманизма, противопоставив его античеловеческим целям черных сил фашизма. И Толстой в своих статьях, пропагандируя гуманистическую сущность советского строя, твердо заявлял о необходимости борьбы против тех, кто посягает на мирный труд и жизнь миллионов людей.

Много раз А. Н. Толстой выступает представителем советской общественности на международных съездах и конференциях против фашизма, за великое дело мира. Вместе с М. Горьким он активно содействует объединению сил интеллигенции всех стран против поджигателей войны. Великая историческая роль нашей родины — знаменосца мира во всем мире — важнейшая тема его публицистических выступлений. «Мир — первое условие развития культуры»¹. Эту мысль писатель развивает во многих своих статьях. Постоянная и последовательная борьба писателя в защиту мира и свободы народов получила глубокую признательность советских людей.

Особенно широко развернулась публицистическая деятельность А. Н. Толстого в первые дни Великой Отечественной войны. Среди множества книг о Великой Отечественной войне никогда не затеряется его умная, страстная публицистика. Всем памятны его статьи «Родина», «Что мы защищаем», «Москве угрожает враг», «Народ и армия», «Великая сила», «Разгневанная Россия».

Публицистика А. Н. Толстого в полном смысле слова является художественной, она сохранила в себе все особенности его всегда живого и полновесного слова. Писатель превосходно знал и учитывал своеобразие приемов публицистического письма, специфические закономерности этого жанра. В своей публицистике, так же как и в своих романах, рассказах, драматургии, он всегда оставался писателем большого эпического масштаба, стремившимся широко изображать жизнь народа, давать большие исторические картины и обобщения.

Одно из наиболее выдающихся произведений такой публицистики — знаменитая статья «Родина», опубликованная 7 ноября 1941 года. В этой статье писатель ярко выразил патриотическую убежденность в несокрушимости силы наше-

¹ А. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 13, стр. 170.

го народа. На Москву надвигалась опасность. И писатель обращался к народу, призывая его к мужеству и стойкости.

В своих статьях он говорил миру о благородных, справедливых идеалах советских людей, борющихся за правое дело. Нравственные идеалы, утверждал А. Н. Толстой, в Великой Отечественной войне приобрели решающее значение. «В этой войне не счастье, не случай,— писал он,— и не только талант полководца принесут победу; победит та сторона, у которой больше моторов и тверже нравственный дух народа»¹. Он непоколебимо верил в победу советского народа над фашистскими захватчиками, ибо никогда не сомневался в духовном превосходстве нашего народа. Низменной, разбойничьей психологии врагов он противопоставлял благородные, справедливые идеалы, ведущие наших людей в бой. Его слова о том, что в годы тяжелой, решающей борьбы мы все глубже познаем кровную связь с отечеством, еще больше любим родину, нашли доступ ко всем сердцам.

Великая Отечественная война с небывалой силой раскрыла духовные свойства и силу советского народа, его величие. Сама жизнь дала исчерпывающий ответ на вопросы, которые десятилетиями волновали А. Н. Толстого.

Многие публицистические статьи А. Н. Толстого тесно связаны с его художественным творчеством общностью тематических, идейных и стилевых особенностей. В годы войны он создает цикл «Рассказов Ивана Сударева» — художественные наброски, в которых воспроизведены различные эпизоды Великой Отечественной войны, отражающие облик советского человека. В «Рассказах Ивана Сударева» он воспроизвел ряд типических черт советских людей.

В зарубежной печати во время войны появилось огромное число работ, посвященных разгадке «таинственной русской души». При этом «тайна русской души» «разгадывалась» буржуазной зарубежной печатью довольно примитивно, а по большей части клеветнически. Если внимательно прочитать статьи в английской и американской печати о «тайне русской души», то станет очевидным стремление объяснять стойкость и мужество наших людей пассивностью и равнодушием к жизни.

А. Н. Толстой дал веский и ясный ответ на эти тенденциозные измышления. Русский советский человек — человек больших идей, стремлений к добру, к справедливости, к знанию. Это человек активный, советский патриот, сознательно готовый отстаивать свое социалистическое отечество. В передовой идейности, благородстве советского человека и его стремлений — в этом источник наших побед. В своем художественном творчестве, в публицистике писатель показал народ в его стремительном историческом росте, живо передал его движение в будущее. «Родина,— писал он,— это движение народа по своей земле из глубин веков к желанному бу-

¹ А. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 14, стр. 346.

дущему, в которое он верит и создает своими руками для себя и своих поколений. Это — вечно отмирающий и вечно рождающийся поток людей, несущих свой язык, свою духовную и материальную культуру и непоколебимую веру в законность и неразрушимость своего места на земле»¹.

Миллионы советских читателей высоко оценили публицистическую деятельность А. Н. Толстого. В одном из писем фронтовики писали ему: «В дни Великой Отечественной войны Вы, Алексей Николаевич, тоже являетесь бойцом, и мы чувствуем, как будто Вы находитесь с нами совсем рядом, плечом касаясь каждого в строю. У Вас иное оружие. Но оно так же остро, как наши штыки, как клинки наших красных конников; его огонь такой же убедительный, как огонь наших автоматов и пушек. Мы вместе громим обнаглевших фашистов»².

Много раз А. Н. Толстой подчеркивал, что процесс творчества носит глубоко индивидуальный характер, обусловлен своеобразием художника. Однако он всегда отвергал возможность создания подлинно реалистических произведений искусства без наличия у художника идеи, обобщающей и пропитывающей весь материал действительности.

При всем разнообразии творчества А. Н. Толстого в нем отчетливо вырисовывается основная, всеохватывающая тема, как узел, стягивающая к единому центру все написанное им, — тема Родины. Эта всепроникающая тема предстает в произведениях А. Н. Толстого в самом различном воплощении. Пафосом горячего патриотизма проникнуты произведения художника и о героической революционной современности и о прошлом нашего народа. Без этой главной, патриотической идеи не было бы А. Н. Толстого — большого художника, одного из классиков советской литературы. В этом смысле его творчество отличалось ясностью и последовательностью основных мотивов, особенно отчетливо воплощенных как в его монументальных художественных произведениях, так и в публицистических статьях.

Мотив величия русского народа звучит в творчестве А. Н. Толстого патетически взволнованно. В своих художественных произведениях, в публицистике писатель показал родину в ее стремительном росте, в годы высочайшего напряжения ее исторической жизни, всю проникнутую устремленностью в «будущее». А. Н. Толстой берет в основу многих своих произведений тяжелую борьбу, влекущую за собой лишения, жертвы. Но творчество его совсем не мрачно, а наполнено светлыми предчувствиями торжества добра и правды.

Жизнелюбие и гуманность творчества А. Н. Толстого метко охарактеризовал А. М. Горький. В письме к автору «Петра

¹ А. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 14, стр. 159.

² Писатели в Отечественной войне. 1941—1945 гг. Письма читателей. Гослитмузей, М., 1946, стр. 19.

Первого» он отметил: «Вы знаете, что я очень люблю и высоко ценю Ваш большой, умный, веселый талант. Да, я воспринимаю его, талант Ваш, именно как веселый, с эдакой искрой, с остренькой усмешечкой, но это качество его для меня где-то на третьем месте, а прежде всего талант Ваш — просто большой, настоящий русский и — по-русски — умный...»¹.

Огромный художественный опыт А. Н. Толстого, его победы и неудачи, его яркий путь восхождения к вершинам мастерства в полной мере сохранили свое значение и в настоящее время. А. Н. Толстым представлен в нашей литературе тип художника, занятого разработкой больших общественных вопросов, принципиально отвергавшего мысль о писателе как иллюстраторе готовых положений. Всегда он исходил из убеждения, что художник должен быть исследователем общества, пролагателем новых путей в познании души человеческой. Образно назвал он писателей «каменщиками крепости невидимой, крепости души народной»². В этих словах замечательно выражена мысль о высокой патриотической миссии советской литературы. Этой образной формулой А. Н. Толстой и определил пафос и смысл своей блестящей многолетней литературной деятельности.

¹ М. Горький. Собр. соч. в тридцати томах, т. 30, стр. 279.

² А. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 14, стр. 346.

КРАТКАЯ АВТОБИОГРАФИЯ

Я вырос на степном хуторе верстах в девяносто от Самары. Мой отец Николай Александрович Толстой — самарский помещик. Мать моя, Александра Леонтьевна, урожденная Тургенева, двоюродная внучка Николая Ивановича Тургенева, ушла от моего отца, беременная мною. Ее второй муж, мой вотчим, Алексей Аполлонович Бостром, был в то время членом земской управы в г. Николаевске (ныне Пугачевск).

Моя мать, уходя, оставила троих маленьких детей — Александра, Мстислава и дочь Елизавету. Уходила она на тяжелую жизнь, — приходилось порывать все связи не только в том дворянском обществе, которое ее окружало, но и семейные. Уход от мужа был преступлением, падением, она из порядочной женщины становилась в глазах общества — женщиной неприличного поведения. Так на это смотрели все, включая ее отца Леонтия Борисовича Тургенева и мать Екатерину Александровну.

Не только большое чувство к А. А. Бострому заставило ее решиться на такой трудный шаг в жизни, — моя мать была образованным для того времени человеком и писательницей. (Роман «Неугомонное сердце» и повести «Захолустье». Впоследствии ряд детских книг, из которых наиболее популярная «Подружка».) Самарское общество восьмидесятых годов — до того времени, когда в Самаре появились сосланные марксисты, — представляло одну из самых угнетающих кар-

тин человеческого свинства. Богатые купцы-мукомолы, купцы — скупщики дворянских имений, изнывающие от безделья и скуки, разоряющиеся помещики-«степняки», — общий фон, — мещане, так ярко и с такой ненавистью изображенные Горьким...

Люди спивались и свинели в этом страшном, пыльном, некрасивом городе, окруженном мещанскими слободами... Когда там появился мелкопоместный помещик — Алексей Аполлонович Бостром, молодой красавец, либерал, читатель книг, человек с «запросами», — перед моей матерью встал вопрос жизни и смерти: разлагаться в свинском болоте или уйти к высокой, духовной и чистой жизни. И она ушла к новому мужу, к новой жизни — в Николаевск. Там моей мамой были написаны две повести «Захолустье».

Алексей Аполлонович, либерал и «наследник шестидесятников» (это понятие «шестидесятники» у нас в доме всегда произносилось, как священное, как самое высшее), не мог ужиться со степными помещиками в Николаевске, не был переизбран в управу и вернулся с моей мамой и мною (двухлетним ребенком) на свой хутор Сосновку.

Там прошло мое детство. Сад. Пруды, окруженные ветлами и заросшие камышом. Степная речонка Чагара. Товарищи — деревенские ребята. Верховые лошади. Ковыльные степи, где лишь курганы нарушали однообразную линию горизонта... Смены времен года, как огромные и всегда новые события. Все это и в особенности то, что я рос один, развивало мою мечтательность...

Когда наступала зима и сад и дом заваливало снегами, по ночам раздавался волчий вой. Когда ветер заводил песни в печных трубах, в столовой, бедно обставленной, штукатуренной комнате, зажигалась всякая лампа над круглым столом, и вотчим обычно читал вслух Некрасова, Льва Толстого, Тургенева или что-нибудь из свежей книжки «Вестника Европы»...

Моя мать, слушая, вязала чулок. Я рисовал или раскрашивал... Никакие случайности не могли потревожить тишину этих вечеров в старом деревянном доме, где пахло жаром штукатуренных печей, топившихся кизяком или соломой, и где по темным комнатам нужно было идти со свечой...

Детских книг я почти не читал, должно быть у меня их и не было. Любимым писателем был Тургенев. Я начал его слушать в зимние вечера лет с семи. Потом — Лев Толстой, Некрасов, Пушкин. (К Достоевскому у нас относились с некоторым страхом, как «жестокому» писателю.)

Вотчим был воинствующим атеистом и материалистом. Он читал Бокля, Спенсера, Огюста Конта и более всего на свете любил принципиальные споры. Это не мешало ему держать рабочих в полуразвалившейся людской с гнилым полом и таким множеством тараканов, что стены в ней шевелились, и кормить «людей» тухлой солониной.

Позднее, когда в Самару были сосланы марксисты, вотчим перезнакомился с ними и вел горячие дебаты, но «Капитала» не осилил и остался, в общем, при Канте и английских экономистах.

Матушка была тоже атеисткой, но, мне кажется, больше из принципиальности, чем по существу. Матушка боялась смерти, любила помечтать и много писала. Но вотчим слишком жестоко гнул ее в сторону «идейности», и в ее пьесах, которые никогда не увидели сцены, учителя, деревенские акушерки и земские деятели произносили уж слишком «программные» монологи.

Лет с десяти я начал много читать — все тех же классиков. А года через три, когда меня с трудом (так как на вступительных экзаменах я получил почти круглую двойку) поместили в Сызранское реальное училище, я добрался в городской библиотеке до Жюль Верна, Фенимора Купера, Майн-Рида и глотал их с упоением, хотя матушка и вотчим неодобительно называли эти книжки дребеденью.

До поступления в Сызранское реальное училище я учился дома: вотчим из Самары привез учителя, семинариста Аркадия Ивановича Словоохотова, рябого, рыжего, как огонь, отличного человека, с которым мы жили душа в душу, но науками занимались без перегрузки. Словоохотова сменил один из высланных марксистов. Он прожил у нас зиму, скучал, занимаясь со мною алгеброй, глядел с тоской, как вертится жестяной вентилятор в окне, на принципиальные споры с вотчимом не слишком поддавался и весной уехал...

В одну из зим,— мне было лет десять,— матушка посоветовала мне написать рассказ. Она очень хотела, чтобы я стал писателем. Много вечеров я корпел над приключениями мальчика Степки... Я ничего не помню из этого рассказа, кроме фразы, что снег под луной блестел, как бриллиантовый. Бриллиантов я никогда не видел, но мне это понравилось. Рассказ про Степку вышел, очевидно, неудачным,— матушка меня больше не принуждала к творчеству.

До тринадцати лет, до поступления в реальное училище, я жил созерцательно-мечтательной жизнью. Конечно, это не мешало мне целыми днями пропадать на сенокосе, на жнивье, на молотье, на реке с деревенскими мальчиками, зимою ходить к знакомым крестьянам слушать сказки, побасенки, песни, играть в карты: в носки, в короли, в свои козыри, играть в бабки, на сугробах драться стенка на стенку, наряжаться на святках, скакать на необъезженных лошадях без узды и седла и т. д.

Глубокое впечатление, живущее во мне и по сей день, оставили три голодных года, с 1891 по 1893. Земля тогда лежала растрескавшаяся, зелень преждевременно увядала и облетала. Поля стояли желтыми, сожженными. На горизонте лежал тусклый вал мглы, сжигавшей все.

В деревнях крыши изб были оголены, солому с них скормили скотине, уцелевший истощенный скот подвизывался подпругами к перекладинам (к поветам)... В эти годы имение вотчима едва уцелело... И все же через несколько лет ему пришлось его продать... Вся Самарская губерния отходила к земельному магнату Шехобалову, скупившему все дворянские земли и бравшему с крестьян цены за годовую аренду, какие ему заблагорассуживалось.

В 1897 году мы навсегда покинули Сосновку, купленную «почтарем» — кулаком, знаменитым тем, что он начал свое кулацкое благосостояние, ловко ограбив почту и спрятав на десять лет (до срока давности) ограбленные деньги. Мы переехали в Самару, в собственный дом на Саратовской улице, купленный вотчимом на остатки от уплаты долгов по закладным и векселям.

В 1901 году я окончил реальное училище в Самаре и поехал в Петербург, чтобы готовиться к конкурсным экзаменам. Я поступил в подготовительную школу к С. Войтинскому (в Териоках). Сдал конкурсный экзамен в Технологический институт и поступил на механическое отделение.

Первые литературные опыты я отношу к шестнадцатилетнему возрасту,— это были стихи,— беспомощное подражание Некрасову и Надсону. Не могу вспомнить, что меня побуждало к их писанию — должно быть, беспредметная мечтательность, не находившая формы. Стишки были серые, и я бросил корпеть над ними.

Но все же меня снова и снова тянуло к какому-то неоформленному еще процессу созидания. Я любил тетради, чернила, перья... Уже будучи студентом, неоднократно возвращался к опытам писания, но это были начала чего-то, не могущего ни оформиться, ни завершиться...

Я рано женился,— девятнадцати лет,— на студентке-медичке, и мы прожили вместе обычной студенческой рабочей жизнью до конца 1906 года. Как все, я участвовал в студенческих волнениях и забастовках, состоял в социал-демократической фракции и в столовой комиссии Технологического института. В 1903 году у Казанского собора во время демонстрации едва не был убит брошенным булыжником,— меня спасла книга, засунутая на груди за шинель.

Когда были закрыты высшие учебные заведения, в 1905 году, я уехал в Дрезден, где в Политехникуме пробыл один год. Там снова начал писать стихи,— это были и революционные (какие писал тогда Тан-Богораз и даже молодой Бальмонт) и лирические опыты. Летом 1906 года, вернувшись в Самару, я показал их моей матери. Она с грустью сказала, что все это очень серо. Тетради этой не сохранилось.

Каждой эпохе соответствует своя форма, в которую укладываются думы, ощущения и страсти. Этой новой формы у меня не было, создать ее я еще не умел.

Летом 1906 года умерла от менингита моя мать, Александра Леонтьевна. Я уехал в Петербург, чтобы продолжать учебу в Технологическом институте.

Начиналась эпоха реакции, и с нею вместе на сцену к огням рампы выходят символисты...

С их творчеством — Вячеслав Иванов, Бальмонт, Белый — впервые меня познакомил чиновник министерства путей сообщения и яхтсмен Константин Петрович Фан дер Флит, — чудака и фантазера. По ночам у себя в мансарде на Васильевском острове, при свете керосиновой лампы, он читал мне стихи символистов и говорил о них с неподражаемым жаром фантазии.

Тогда же, — весной 1907 года, — я написал первую книжку «декадентских» стихов. Это была подражательная, наивная и плохая книжка. Но ею для самого себя я проложил путь к осознанию современной формы поэзии. Уже через год была написана вторая книжка стихов — «За синими реками». От нее я не отказываюсь и по сей день. «За синими реками» — это результат моего первого знакомства с русским фольклором, русским народным творчеством. В этом мне помогли А. Ремизов, М. Волошин, Вячеслав Иванов.

Тогда же я начал свои первые опыты прозы: «Сорочьи сказки». В них я пытался в сказочной форме выразить свои детские впечатления. Но более совершенно это удалось мне сделать много лет спустя в повести «Детство Никиты».

Близостью к поэту и переводчику М. Волошину я обязан началом моей новеллистической работы. Летом 1909 года я слушал, как Волошин читал свои переводы из Анри де Ренье. Меня поразила чеканка образов. Символисты с их исканием формы и такие эстеты, как Ренье, дали мне начатки того, чего у меня тогда не было и без чего невозможно творчество: формы и техники.

Осенью 1909 года я написал первую повесть «Неделя в Турене» — одну из тех, которые впоследствии вошли в книгу «Заволжье», а еще позднее — в расширенный том «Под старыми липами» — книгу об эпитафиях дворянского быта той части помещиков, которые перемалывались новыми земельными магнатами — Шехобаловыми. Крепко сидящее на земле дворянство, перешедшее к интенсивным формам хозяйства, — в моей книжке не затронуто, я не знал его.

Затем следуют два романа: «Хромой барин» и «Чудаки», и на этом оканчивается мой первый период повествовательного искусства, связанный с той средой, которая скружала меня в юности.

Я исчерпал тему воспоминаний и вплотную подошел к современности. И тут я потерпел крах. Повести и рассказы о современности были неудачны, нетипичны. Теперь я понимаю причину этого. Я продолжал жить в кругу символистов, реакционное искусство которых не принимало современности, бурно и грозно закипавшей навстречу революции.

Символисты уходили в абстракцию, в мистику, рассаживались по «башням из слоновой кости», где намеревались переждать то, что надвигалось.

Я любил жизнь, всем своим темпераментом противился абстракции, идеалистическим мировоззрениям. То, что мне было полезно в 1910 году, вредило и тормозило в 1913.

Я отлично понимал, что так быть дальше нельзя. Я всегда много работал, теперь работал еще упорнее, но результаты были плачевны: я не видел подлинной жизни страны и народа.

Началась война. Как военный корреспондент («Русские ведомости»), я был на фронтах, был в Англии и Франции (1916 год). Книгу очерков о войне я давно уже не переиздаю: царская цензура не позволила мне во всю силу сказать то, что я увидел и почувствовал. Лишь несколько рассказов того времени вошло в собрание моих сочинений.

Но я увидел подлинную жизнь, я принял в ней участие, содрав с себя застегнутый наглухо черный сюртук символистов. Я увидел русский народ.

С первых же месяцев Февральской революции я обратился к теме Петра Великого. Должно быть, скорее инстинктом художника, чем сознательно, я искал в этой теме разгадки русского народа и русской государственности. В новой работе мне много помог покойный историк В. В. Каллаш. Он познакомил меня с архивами, с актами Тайной канцелярии и Преображенского приказа, так называемыми делами «Слова и Дела». Передо мной во всем блеске, во всей гениальной силе раскрылось сокровище русского языка. Я, наконец, понял

тайну построения художественной фразы: ее форма обусловлена внутренним состоянием рассказчика, повествователя, за которым следует движение, жест и, наконец,— глагол, речь, где выбор слов и расстановка их адекватны жесту.

К первым дням войны я отношу начало моей театральной работы как драматурга. До этого — в 1913 году — я написал и поставил в Московском Малом театре комедию «Насильники»... Она вызвала страстную реакцию части зрителей и вскоре была запрещена директором императорских театров.

С четырнадцатого по семнадцатый год я написал и поставил пять пьес: «Выстрел», «Нечистая сила», «Касатка», «Ракета» и «Горький цвет».

С Октябрьской революции я снова возвращаюсь к прозе и осуществляю первый набросок «День Петра», пишу повесть «Милосердия!», являющуюся первым опытом критики российской либеральной интеллигенции в свете октябрьского зарева.

Осенью восемнадцатого года я с семьей уезжаю на Украину, зиму в Одессе, где пишу комедию «Любовь — книга золотая» и повесть «Калиостро». Из Одессы уезжаю вместе с семьей в Париж. И там, в июле 1919 года, начинаю эпопею «Хождение по мукам».

Жизнь в эмиграции была самым тяжелым периодом моей жизни. Там я понял, что значит быть парием, человеком, оторванным от родины, невесомым, бесплодным, не нужным никому ни при каких обстоятельствах.

Я с жаром писал роман «Хождение по мукам» (первая часть «Сестры»), повесть «Детство Никиты», «Приключения Никиты Рощина» и начал большую работу, затянувшуюся на несколько лет: переработку заново всего ценного, что было мной до сих пор написано...

Осенью 1921 года я перекочевал в Берлин и вошел в сменовеховскую группу «Накануне». Этим сразу же порвались все связи с писателями-эмигрантами. Бывшие друзья «надели по мне траур». В 1922 году весной в Берлин приехал из Советской России Алексей Максимович Пешков, и между нами установились дружеские отношения.

За берлинский период были написаны: роман «Аэлита», повести «Черная пятница», «Убийство Антуана Ри-

во» и «Рукопись, найденная под кроватью» — наиболее из всех этих вещей значительная по тематике. Там же я окончательно доработал повесть «Детство Никиты» и «Хождение по мукам».

Весной 1922 года в ответ на проклятия, сыпавшиеся из Парижа, я опубликовал «Письмо Чайковскому» (перепечатанное в «Известиях») и уехал с семьей в Советскую Россию.

Началом работы по возвращении на родину были две вещи: повесть «Ибикус» и небольшая повесть «Голубые города», написанная после поездки на Украину (не считая нескольких менее значительных рассказов).

«Письмо Чайковскому», продиктованное любовью к родине и желанием отдать свои силы родине и ее строительству, было моим паспортом, неприемлемым для троцкистов, для леваческих групп, примыкающих к ним, и впоследствии для многих из руководителей РАППа.

С 1924 года я возвращаюсь к театру: комедия «Изгнание блудного беса», пьесы «Заговор императрицы» и «Азеф», комедия «Чудеса в решетке», «Возвращенная молодость» и театральные переработки: «Бунт машин», «Анна Кристи» и «Делец» (по Газенклеверу).

Рапповское давление на меня усиливалось с каждым годом и, наконец, приняло такие формы, что я вынужден был на несколько лет оставить работу драматурга.

В 1926 году я написал роман «Гиперболоид инженера Гарина» и через год начал вторую часть «Хождения по мукам» — роман «18-й год».

В то же время я не прекращал переделку и переработку всего ранее написанного мною.

В 1929 году я вернулся к теме Петра в пьесе «На дыбе», где не совсем освободился от некоторых «традиционных» тенденций в обрисовке эпохи. В 1934 году пьеса была мною коренным образом переработана (постановка Александринского театра) и в 1937 году — в третий раз, уже окончательно (новая постановка Александринского театра).

Постановка первого варианта «Петра» во 2-м МХАТе была встречена РАППом в штыки, и ее

спас товарищ Сталин, тогда еще, в 1929 году, давший правильную историческую установку петровской эпохе.

В 1930 году я написал первую часть романа «Петр I». Через полтора года — роман-памфлет «Черное золото», который в 1938 году был переработан мной и опубликован под названием «Эмигранты». Вторую часть «Петра» я закончил в 1934 году.

Обе опубликованные части «Петра» — лишь вступление к третьему роману, к работе над которым я уже приступил (осень 1943 года).

Что привело меня к эпохе «Петр I»? Неверно, что я избрал ту эпоху для проекции современности. Меня увлекло ощущение полноты «непричесанной» и творческой силы той жизни, когда с особенной яркостью раскрывался русский характер.

Четыре эпохи влекут меня к изображению по тем же причинам: эпоха Ивана Грозного, Петра, гражданской войны 1918—1920 годов и наша — сегодняшняя — небывалая по размаху и значительности. Но о ней — дело впереди. Чтобы понять тайну русского народа, его величие, нужно хорошо и глубоко узнать его прошлое: нашу историю, коренные узлы ее, трагические и творческие эпохи, в которых завязывался русский характер.

Две или три попытки вернуться в тридцатых годах к театру были встречены решительным отпором троцкистствующей части печати и РАППа. Только после роспуска РАППа, после очищения нашей общественной жизни от троцкистов и троцкистствующих, от всего, что ненавидело нашу родину и вредило ей, — я почувствовал, как расступилось вокруг меня враждебное окружение. Я смог отдать все силы, помимо литературной, также и общественной деятельности. Я выступал пять раз за границей на антифашистских конгрессах. Был избран членом Ленсовета, затем депутатом Верховного Совета СССР, затем действительным членом Академии наук СССР.

В 1935 году я начал повесть «Хлеб», которая является необходимым переходом между романами «18-й год» и задуманным в то время романом «Хмурое утро».

«Хлеб» был закончен осенью 1937 года. Я слышал много упреков по поводу этой повести: в основном они сводились к тому, что она суха и «деловита». В оправдание могу сказать одно: «Хлеб» был попыткой обработки точного исторического материала художественными средствами; отсюда несомненная связанность фантазии. Но, быть может, когда-нибудь кому-нибудь такая попытка пригодится. Я отстаиваю право писателя на опыт и на ошибки, с ним связанные. К писательскому опыту нужно относиться с уважением,— без дерзаний нет искусства. Любопытно, что «Хлеб», так же как и «Петр», может быть, даже в большем количестве, переведен почти на все языки мира.

Весной 1938 года я написал пьесу «Путь к победе» и осенью того же года — политический антифашистский памфлет «Чертов мост».

Параллельно с этими литературными работами я готовлю для Детиздата пять томов русского фольклора. Я отказываюсь от переделки или переработки сказок. Сохраняя девственность изустного рассказа, я свожу варианты сказочного сюжета к одному сюжету — с сохранением всех особенностей народной речи, с очищением сюжета от тех деталей и наносов, которые произошли либо от механического добавления рассказчиком деталей из других сказок, либо из несовершенства рассказчика, либо от местных и нехарактерных особенностей речи.

В день начала войны — 22 июня 1941 года — я окончил роман «Хмурое утро». Готовя к печати всю трилогию, проредактировал первые две части этой эпопеи. Трилогия писалась на протяжении двадцати двух лет. Ее тема — возвращение домой, путь на родину. И то, что последние строки, последние страницы «Хмурого утра» дописывались в день, когда наша родина была в огне, убеждает меня в том, что путь этого романа — верный.

Оглядываюсь сейчас на два страшных и опустошительных года войны и вижу, что только вера в неиссякаемые силы нашего народа, вера в правильность нашего исторического пути, тяжелого и трудного, справедливого и человеческого пути к великой жизни, только любовь к родине, жаркая боль к ее страданиям,

ненависть к врагу — дали силы для борьбы и для победы. Я верил в нашу победу даже в самые трудные дни октября — ноября 1941 года. И тогда в Зименках (недалеко от г. Горького, на берегу Волги) начал драматическую повесть «Иван Грозный». Она была моим ответом на унижения, которым немцы подвергли мою родину. Я вызвал из небытия к жизни великую страстную русскую душу — Ивана Грозного, чтобы вооружить свою «рассвирепевшую совесть». Работая над пьесой, я продолжал публиковать статьи; из них наибольший резонанс получили: «Что мы защищаем», «Родина», «Кровь народа». Статьи, опубликованные в газетах за время войны, собраны в два сборника. Первую часть «Грозного», «Орел и Орлица», я закончил в феврале сорок второго года, вторую — «Трудные годы» — в апреле сорок третьего года. Помимо этого, были написаны «Рассказы Ивана Сударева» и другие...

ПОВЕСТИ
И
РАССКАЗЫ



АРХИП

1

Над белой скатертью, растопыбив лохматые ноги, висит паук, у абажура легко кружится зеленокрылая мошкара, карамора обжег длинную лапу и волочит ее по столу... Шелестит плющ у балкона, и возится сонная птица в кустах.

Александра Аполлоновна Чембулатова разламывает бисквит, качая черной наколкой, которая на седых ее волосах похожа на летучую мышь.

— Сад охраняет Володя,— говорит Александра Аполлоновна и ласково взглядывает на собеседника своего, молодого помещика и соседа, Собакина,— я подарила ему пистолет.

Собакин улыбается, раздвигая розовые и полные щеки.

— Я вас уверяю, что нет никакого Оськи-конокрада. Увели у попа тройку, и по уезду полетели слухи — пришел, мол, Оська, а Оська просто собирательное имя,— народная фантазия одарила его таинственной силой и удальством.

Старушка покачала головой.

— Нет, все это верно; украл лошадей он вечером, а наутро видели его уже за триста верст...

— Разве видели?..

— В том-то и дело; говорят, он необыкновенно низкого роста, лыс, силен и с большой, до пояса, черной бородой...

Собакин чуть-чуть улыбнулся и пожал плечами.

— Появлялся он в уезде два раза,— продолжала старушка,— и наводил такой страх, что помещики приковывали лошадей, а конюхам давали ружья заряженные... И все-таки умудрялся.

— Если его знают в лицо, почему не поймают?

— Мужики никогда не выдадут, боятся, что палить будет, как сжег он вашу Хомяковку года за три до вашего сюда приезда.

— Право, Александра Аполлоновна, я начинаю бояться.

— Вам-то особенно надо позаботиться; имея такого жеребца, я бы ночи не спала, все караулила...

— Да, Волшебник — чудо что за лошадь; увидите, на рождестве поведу его на бега.

— Да, нехорошо, нехорошо; тем более что ваш Архип...

— Нет, Архип мрачный, но очень надежный; мужик косматый, глаза волчьи, но верный...

— Ох... ох...— сказала старушка.

Из сада на балкон вышел гимназист, положил пистолет на перила и застонал:

— Бабушка, чаю.

— Осторожнее с пистолетом, смотри, куда кладешь,— заволновалась Александра Аполлоновна.

— Он, бабушка, не заряжен.

— Все равно.— И бабушка, шурша широким платьем, поднялась и загородила пистолет салфеткой.

— Что, Володя, как твои разбойники? — спросил Собакин.

— Ничего,— набивая рот ватрушками, говорит Володя.

— Убил кого-нибудь?

— На плотине за ветлами кто-то, кажется, стоит, только на плотину ходить страшно.

— У пруда ночью сыро,— сказала Александра Аполлоновна.

Гимназист лукаво прищурился.

— А у меня, бабушка, порох есть...

— Откуда ты взял! Отдай сию минуту... Володя, не смей убегать. Пожалуйста, Собакин, догоните его, отнимите у него порох.

Улыбаясь, Собакин сошел в сад и скоро пробежал уже мимо балкона, размахивая руками, потеряв всю солидность, а Володя, приседая, визжал, не давался в руки.

«Дети, дети», — подумала Александра Аполлоновна и стала считать, как в столовой часы били одиннадцать.

— Володя, где ты? — позвала она. — Иди спать, — одиннадцать часов...

В это время мимо изгороди проскакал верховой, встал у крыльца, и чей-то чужой голос позвал:

— Барин Собакин здесь?

— Кто спрашивает? — по-хозяйски сухо ответила Александра Аполлоновна.

— Работник их, Михайло.

На балкон, обняв за плечи гимназиста, вошел, отпихиваясь, Собакин.

— Кто меня спрашивает? Это ты, Михайло? Что случилось?

— Несчастье у нас, барин, — сказал из-за плетня невидимый работник, — увели Волшебника.

Когда Собакин, во весь опор скакавший по темному полю, влетел, пыльный, на вспененном коне во двор, у растворенной конюшни, размахивая фонарем, галдели мужики.

— Что, Волшебника увели? — крикнул Собакин.

— Беда-то какая, недоглядели...

Собакин побежал в конюшню. Болт у стойла был сорван, и под наружной стеной у пола сквозила дыра, в которую, должно быть, и пролезли воры...

— А где Архип? — спросил Собакин.

— Будили мы его, спит, пьяный.

На вороху сена, закинув бледное в черной шапке волос лицо, лежал Архип.

— Жив, ничего, не тронули, пьяный очень, — успокаивали работники.

— Облейте его водой, вот мерзавец.

Принесли конское ведро, подняли Архипу голову и полили.

— Лейте, лейте все ведро.

Когда голова, рубаха и порты намокли, Архип приподнялся, сел и повел налитыми кровью глазами.

— А? — спросил он.

— Архип, где Волшебник?

Сутулый Архип поднялся и долго осматривал болт и обрывок недоуздка, в дыру даже заглянул и так же спокойно ответил:

— Увели, барин. Недосмотрел...

— Легли это мы спать, — шумели работники, — а Михайло и говорит: пойду-ка я посмотрю лошадей, а потом прибежал и кричит: увели, увели...

— Что же вы не догнали, черти окаянные!.. — на-скакивал на них Собакин.

Работники вежливо посмеялись.

— Где ж догнать, разве мыслимо? Он это.

— Кто он?

— Да Оська.

— Ерунда, никакого Оськи нет...

— Очень есть, его это работа, вы, барин, не сомневайтесь.

— Ерунда, — кричал Собакин, — сию минуту на лошадей!.. Догнать!..

Работники помялись, но с места не тронулся ни единый.

— Ну?

— Нет, нельзя нам.

— Где его догнать...

— Он теперь за двести верст махает.

Собакин побежал к дому и оттуда крикнул:

— Седлайте сию минуту верхового! Да зайди ко мне хоть ты, Дмитрий, за письмом к уряднику, живо!

...Утром на вопросы урядника Архип отвечал, что был вчера выпивши, ничего не слышал и помнит только, как пал ему кто-то на грудь и скрутил руки, а были то двое или один и какие из себя — не помнит.

Так ничего и не добились от угрюмого, косолапого Архипа и отвели его в холодную, а урядник, выпив поднесенную на тарелочке рюмку водки и крепко на прощанье пожав Собакину руку, сказал:

— Архип в сем деле причиной, с него и взыщем, — и уехал.



«АРХИП»



«ПЕТУШОК»

Затих под горой колокольчик, Собакин вышел на балкон, посвистал и, спустившись в сад, зашагал по липовой аллее.

«Следствие,— думал Собакин,— суд будет, а Волшебника не видать мне, как ушей своих. Черти, ах черти, какую лошадь увели».

Собакину с досады хотелось сейчас же куда-нибудь поехать, вообще суесться.

— Ну нет, я разыщу лошадь, под землей достану,— бормотал он и прислушался.

Близко, словно вынырнув из-за акации, зазвякали сборные бубенцы, промелькнула за кустами и остановилась у дома коляска Чембулатовой.

— Как я вам благодарен, Александра Аполлоновна,— говорил Собакин, идя навстречу старушке,— поверите ли, увели Волшебника и следа не оставили...

— Я предупреждала вас, не верили, а вышло по-моему,— торжествуя говорила старушка,— всему причиной ваш Архип, вот у моего братца так было...

Оба они, заложив руки, заходили по аллее. Александра Аполлоновна объясняла:

— Сейчас в Уральске конская ярмарка. Поезжайте туда как можно скорее, нигде как там ваш Волшебник...

— В Уральск?..

— Поедете верхом— это и скорее и удобнее для дела: братец мой тоже верхом ездил, у него увели Вадима от нашей Звезды и воейковского Черта.

— Ну и что же?

— Нашел, конечно, нашел мужика, который увел Вадима,— его арестовали, а жеребца отдали братцу.

— Я еду, Александра Аполлоновна, с вашего благословения...

— Помоги вам бог,— и старушка поцеловала в лоб приложившегося к ее руке Собакина...

Долго еще ходили они по липовой аллее, Александра Аполлоновна в шелковом колоколом платье, Собакин в куцем пиджачке из чесучи, и старушка давала подробнейшие наставления— куда ехать и как сохранить лошадь, чтоб прошла четыреста верст в четверо суток, и где остановиться...

— С казаками будьте осторожнее,— хитрые они...

Тепла темная степь, светят на дорогу звезды, и дорога, чуть серая, глушит частые удары копыт, и кричит коростель в колдобине; где-то, значит, близко степной хутор...

Безлесные, безводные, как дождевики, растут хутора на гладкой, человечьими курганами усеянной степи, вековой дороге кочевников. Потянуло сыростью и дымом. Собакин привстал на стременах, взгляделся и, увидев огонек, свернул напрямик по полю. Сначала, услышав его топот, залаяли негромко, но все дружнее и звонче собаки, забил в колотушку ночной сторож, и перед Собакиным выдвинулись из темноты амбары и хлевы, крытые соломой, и под самую морду лошади, сзади и с боков, запрыгали охрипшие от ярости хуторские псы.

Подошел сторож, свистнул на собак и запахнулся в глубокий чапан...

— Здравствуй, дядя,— сказал Собакин, стараясь рассмотреть в темноте его лицо.— Чей это хутор?

— Казака Ивана Ивановича Заворыкина будет...

— А до села далече?

Сторож помолчал и тихо, в сторону, ответил:

— Далече,— словно не знал, какие тут села бывают, одна степь.

— А нельзя ли переночевать у вас? Спроси хозяина, чай, не легли еще?

— Легли,— уныло ответил сторож,— давно полегли.

— Так как же?

— Спрошу, ты погоди тут.— И он ушел.

А немного спустя зажегся свет в трех окнах, и подошедший сторож взял лошадь под уздцы, промолвив:

— Просят заехать.

Собакин прошел через сени, мимо сундуков, крытых коврами, в горницу, где пахло шалфеем, полынью — домашнее средство от блох — и кожей.

По стенам висели седла, уздечки, нагайки, и в красном углу стоял темный большой образ.

«Неловко,— подумал Собакин,— затесался ночью».

Из боковушки, глядя бороду, вышел высокий и костлявый старик — Заворыкин. Синий чекмень его перетя-

нут был узким ремнем, ворот ситцевой рубахи расстегнут.

Собакин назвал себя.

— Милости просим,— густым басом приветствовал Заворыкин,— гостю всегда рады.

В свете лампы лицо его, обтянутое желтой кожей, узкий и прямой нос и темные глаза представлялись такими, какие писали на раскольничьих образах.

— Прошу садиться, куда путь держите? В Уральск... Так...— пробасил Заворыкин, кивнул и провел ладонью вниз и вверх по лицу.— На ярмарку много коней нагнали сегодня, не в пример прочим годам.

Босая девка внесла самовар, закуску и водку.

Стесняясь и все еще не зная, как держаться, выпил Собакин водки и, должно быть с усталости, сразу захмелел и рассказал, зачем едет в Уральск — всю историю до конца.

— Из-под земли, а достану Волшебника,— разгорячась, окончил он.

Заворыкин слушал, не поднимая глаз, нахмурясь, а когда Собакин окончил, постучал пальцами и сказал:

— Я так полагаю,— ехать вам туда незачем.

— Почему?

— Убьют.

— То есть как убьют?

— Мой совет — вернуться домой, жеребца наживете еще, а жизни из-за скотины лишаться не стоит.

— Поймите, мне не жеребец дорог, а добиться своего.

— Понимаю. Молоды вы, господин Собакин, хороший барин, а разума в вас настоящего нет. Приехали вы ко мне, меня не знаете и рассказываете всю эту историю, а жеребец-то ваш, может быть, у меня. А? Для примера я говорю. Ну, вот после этого я себя позорить не дам. У нас в степи законы не писаны, колодцы глубокие,— бросил туда человека, землицей засыпал, и пропал человек. Да вы не пугайтесь, для примера говорю, бывали такие случаи, бывали. У нас в степи казак на сорока тысячах десятинах — царь, не только в чем другом, в жизни людской волен.

У Собакина от духоты, от речей Заворыкина кружилась голова, и казалось — похож старик хозяин на древ-

нее черное лицо образа, что глядело строго и упорно из красного угла,— те же рыжеватые усы над тонкой губой, и вытянутые щеки, и осуждающие глаза.

Казалось, две пары этих глаз глядят неотступно, и те, облеченные в потемневшие ризы, страшнее...

«Бог это их,— подумал Собакин,— степной».

— Чудно вам слушать, господин Собакин,— у вас в городе по-иному: тело вы бережете, а душу ввергаете в мерзости. А здесь душа вольна у каждого, как птица. Душа немудрая, нечем запятнать ее, степь — чистая... В степи бог ходит. Здесь нас за грехи и судить будет. Много грехов на нас, а многое и простится.

Собакин поднялся.

— Душно у вас...

И было ему страшно, хотелось уйти от стариковских глаз...

— Марья! — крикнул босую девку Заворыкин.— Принеси барину студеной водицы да отведи в сени на кровать.

Плыли, качались сундуки, покрытые коврами, в сенях, и все еще гудел, казалось, голос: «Бог здесь ходит, бог...»

«Страшный у них бог,— думал Собакин, лежа на сундуке,— травяной...»

Наутро он, чтобы не обидеть хозяина, поехал будто бы домой, но, когда в сизой дали утонули соломенные кровли хутора и шесты с бараньими рогами, пошел к полудню широким проездом, радостный от солнца, и душистого ветра, и веселой игры горячего иноходца.

На крепком пырейном выгоне, в наскоро связанных калдах, стоят полудикие табуны злых сибирских лошадей.

Положив большие морды на спины друг другу, обмахиваются кони хвостами и жмурятся на белое солнце.

Кругом желтая степь, ни холма на ней, ни дерева, а позади гудит ярмарка и дымят железные трубы пекарен.

Вот не вытерпел рыжий конек, махнул через изгородь и частым галопом, раскинув гриву, поскакал в степь, заржав навстречу ветру.

Затараторили конюхи-башкиры, в линялых халатах, в ушастых шапках, пали на верховых, поскакали в угон. Один впереди всех размахивает арканом. Двое скачут наперерез...

Куда ни взглянет рыжий конек, мчатся на него ушастые башкиры: метнулся направо, налево, и тут захлестнул ему горло аркан, закрутили хвост, стегают нагайкой, заворачивают башкиры к табуну... Захрапел, взвился и упал рыжий конек; тогда ослабили на шее его аркан, отвели в калду.

— Что, не убежит больше? — спрашивает башкирина Собакин.

Башкирин ослабил белые на морщинистом лице зубы и забормотал:

— Не, не, умный стал, купи, господин...

— Нет, такого мне не надо, вот если бы вороной полукровный был, вершков четырех...

Подошли мужики, все в новых рубахах. Облокотясь на жердь калды, слушали, и веяло от их выцветших глаз покоем тепла и отдыха.

Подслеповатый мужичок протиснулся туда же, в рваном полушубке, заморгал собачьими глазами:

— Покупаете, барин, лошадку? Извольте посмотреть, — и заторопился, побежал было и вновь вернулся...

— Какой у тебя?

— Сивонькой.

— Нет, не надо, я вороного ищу.

— Вороного продать не умеешь, — заговорил вдруг круглолицый толстый парень, — вот я продам жеребца. Или я продал. А? — И он уставился, как баран, даже рот разинул.

Мужики засмеялись.

Парень громко икнул и, подняв мозолистую ладонь, запел:

Когда я, мальчик, был свободный...

— Скрутили малого, — смеялись мужики.

— Пути нет.

Собакин улыбался, парень был пьян, лез грудью и под носом махал желтым ногтем, говоря:

— Шут его знает, хотел тебе продать, ан продал, жеребца, вороного, в чулках...

— Здорово же ты выпил,— сказал Собакин,— с чего гуляешь?

Парень замолчал, и белые глаза его наливались и багровели... Собакин сжался.

— Гуляю...— сказал парень, придвигаясь.

Подслеповатый мужичок захопотал:

— Брось, милый, барину интересно, а ты ответь и отойди в сторонку,— и потянул парня за рукав.

— Не хватай!— заревел парень, и все жилистое тело его развернулось для удара; но сзади, поперек живота, ухватила его цепкая волосатая рука, увлекла из мужичьего круга.

— Иди, иди, разбушевался,— говорил лысый мужик, смешно маленького роста, на солнце лоснилась черная борода его и бегали глаза, как две мыши.

— Брось, пусти!— кричал парень и вырывался, взмахивая руками, но все дальше к возам увлекал его товарищ.

— Кто это?— быстро спросил Собакин.— Вон тот, лысый?

Мужики переглянулись, один-двое отошли, а старик, в расстегнутой на черной шее посконной рубахе, сказал:

— Кто — Оська,— и прищурился.

Осипа взяли очень быстро. Собакин с понятыми нагнал его у чайной и окликнул. Осип обернулся и словно паук заворочался в костяных, навалившихся на него руках понятых, но веревкой скрутили его плечи, повели в холодную.

А позади, набегаая, гудела толпа. Многим, должно быть, досадил Осип, и боялись его сильно, а теперь улюлюкали вслед, ругали, или вывернется кто, присядет, да в глаза: «Что, вор, взял?» — и ударит.

Понятые насилу сдерживали народ, да бравый урядник, в рыжих подусниках, вырос как из-под земли и крикнул: «Разойдись!»

До вечера гудела и волновалась ярмарка. Осип сел в темную избу, за железную решетку, и на допросе отрёкся:

— Осип я — это верно, а лошадей никаких не крал, понапрасну только меня томите.

Собакин решил сам выпытать, где лошадь; напугать, если можно, посулить заступиться, и, поздно вечером, один, вошел в камеру, где сидел Осип.

Остановясь посредине избы и в темноте различая только дыхание, сказал Собакин кротко и, как ему показалось, вкрадчиво:

— Осип, все знают, что ты угонял лошадей, грехов за тобой много, сознайся лучше, я за тебя похлопочу.

Осип молчал.

— Ты пойми, не дорога мне лошадь, а дорого, что выходил ее на руках, как родная она мне.

— Это верно,— сказал Осип спокойно.

— Ну видишь, ты сам понимаешь, зачем же хочешь доставить мне еще огорчение...

— Огорчать зачем.

— А ты огорчаешь. Я за четыреста верст верхом приехал, измучился и вдруг из-за твоего упрямства лишуюсь лошади. Осип, а Осип.

И, тронутый словами, двинулся Собакин поближе.

— Не подходи, барин,— глухо сказал Осип.

Собакин остановился и от щекотного холодка вздрогнул.

— Осип? — спросил он тихо, после молчания, повторил: — Осип, где же ты?

Что-то больно толкнуло Собакина в колено, распахнулась дверь, и Осип, нагнув, как бык, голову, побежал по избе, оттолкнул сонного десятского, упавшего, как мешок, и выскочил на волю.

Зашмыгали торопливые голоса: «Держи, держи!» В темноте засуетились понятия.

А вдали, как огонь, вспыхивали крики: «Держи, держи!»

Застегивая сюртук, прибежал урядник, крикнул:

— Убежал... Кто?

— Осип-конокрад,— сказал Собакин,— я сам виновен...

И скоро загудела невидимая ярмарка, низко у земли закачались железные фонари, голосила баба, лаяли собаки. Бежали, неизвестно куда и зачем, мужики, крича: «Лошадь отвязал... Да кто? Да чью? Спроси его, кто... На ней и убежал... Верховых давайте, верховых!»

Над толпой, словно поднятые на руках, появились верховые и, раздвигая народ, поскакали к городу, к реке, в степь...

Собакин наскоро сам оседлал иноходца и поскакал мимо возов на чьи-то удаляющиеся голоса и топот.

Коротко и мерно ударяли копыта его коня, гудел в ушах теплый ветер, и возникали и таяли невидимые крики... Наперерез промчался кто-то, крича: «Поймаем, не снести ему головы».

Впереди топот стал как будто тише и громче голоса...

Перепрыгивая через водомоины, похрапывая, несся иноходец и вдруг резким прыжком стал на краю кручи, недалеко от верховых. Послышались голоса:

— Река, братцы, поворачивай назад.

— Переедем.

— Круча, голову сломаешь.

А вдали, направо, опять возникли крики и топот.

Собакин поворотил и скоро нагнал вторых кричавших, спросил:

— Что, поймали?

Мужики в ответ захохотали.

— Теленка, милый барин, загнали, дышит сердешный, испугался, уши мокрые.

— Ну, вы и охотники.

— Ушел, больно уж ловкач,— отвечали мужики с уважением.

Иноходец тяжело поводил боками, и Собакин, отделившись от мужиков, ехал шагом вдоль реки.

Потянул теплый, смешанный с болотными цветами ветер, и издалека долетел протяжный звериный крик и стих.

— Что это? — невольно крикнул Собакин, чутко слушающая; крик не повторялся, и сердце сжалось тоскливо.

Собакин уже спал, утомленный всеми событиями, когда кто-то, громко постучав в спальню, сказал:

— Ваше благородие, Оську привезли.

Собакин спросонок вскочил, старался понять, что говорят...

— Оську привезли,— странным голосом повторил десятский...

— Сейчас иду, подожди, или нет, иди...

И, уже выйдя на воздух, понял Собакин, что случилось несчастье. В земской избе пахло крепким и кислым, у печи на полу, покрытое рогожей, лежало тело..

Десятский, присев у тела, жалостливо говорил:

— Побили его мужики наши, вон как дышит... Ах, грехи!

Собакин откинул рогожу. На боку, поджав к животу голые и содранные колени, лежал Осип, часто дыша, и глаза его сквозь полуоткрытые веки были точно стеклянные.

— Что с ним? — дрожа мелкой дрожью, спросил Собакин, боясь догадаться...

Белый зад Осипа был запачкан землей и кровью, оттуда на вершок торчал кусок дерева.

— Что это? — визгливо закричал Собакин.

Еще дальше откинул Осип серое лицо свое и запекшиеся губы быстро облизнул языком...

Плетью лежала сломанная рука его; другая, застыв, вцепилась в ягодицу и посинела.

Собакин, придерживаясь за стену, вышел в сени, дурнота подступала к горлу, и везде слышался этот кислый и крепкий запах, и вспоминался убитый на охоте тетерев, когда дробью ему вынесло весь живот...

Урядник, теребя жесткие усы, говорил:

— Вот как они расправляются по-турецки, неприятно... Осип-то признался, просил кучера вашего освободить, будто бы он в краже не замешан, и, лошадь, сказал, где находится...

— Бог с ней, с лошадью, ах, зачем я все это затеял,— сказал Собакин.

— Вы, что же, ни при чем, мужики давно случая ждали. Поверите ли, мы даже боялись Осипа... А лошадка ваша в степи у казака Заворыкина.

Старик Заворыкин долго не выходил. Собакин, измученный дневным перегонном и волнениями прошлого дня, ходил, покачиваясь, по душной горнице, и звенело у него

в ушах, и тошнило его от набившейся в горло и в нос дорожной пыли.

— Расскажу попросту всю историю, конечно, старик отдаст лошадь,— бормотал Собакин.

Над столом, засиженная мухами, пованивала лампа...

«О, черт, еще угоришь; что же старик не идет? А вдруг возьмет и рассвирепеет, самодур; конечно, на счет колодцев он прихвастнул, но надо бы политичнее подойти к делу, исподволь. О, черт, как лампа воняет...»

— Здравствуй, барин,— басом, громко и вдруг сказал Заворыкин,— стоял он в дверях и похлопывал себя по голенищу плетью.— За конем приехал?

— Нет, я не требую, совсем не требую,— засеменил Собакин,— вы уже знаете, какая история вышла смешная.

— История смешная, а не знай, кто смеяться будет,— сказал Заворыкин.

Молча, не сводя глаз, подошел, положил на плечо Собакину тяжелую свою руку и вдруг крикнул:

— Щенок!

И высоко поднял плеть.

— Не позволю,— пискнул было Собакин, запахло тошной пылью и кислым, зеленые круги пошли перед глазами, похолодело горло и лечь потянуло, прижаться по-ребячьи к прохладному полу...

Очнулся Собакин в постели, в сенях, и первое, что он увидел,— склоненный профиль Заворыкина, худой и резкий под сдвинутыми бровями... Собакин застонал и отодвинулся в глубь кровати.

А старик, наклонясь, зашептал:

— Очнулся... Нехорошее дело вышло, попутал меня бес, думал, приехал ты срамить меня, а ты, видишь, простой, как малое дитя. Ах, барин, прости меня, гордый я, разгорелось с обиды сердце, убить ведь могу тебя, и никто не узнает... А ты,— видишь,— прост.

Старик качал головой, и ласково глядели потемневшие его глаза.

Собакин протянул руку.

— Я не сержусь.

Заворыкин погладил его по волосам:

— Христос на нас смотрит да радуется. Вот как бы жить надо, а мы не так живем, нет...

Долго говорил Заворыкин,— туманно, сурово, истово...

— Ну ладно, спи, барин. Домой-то завтра попозже поедешь; ко времени и жеребца твоего из табуна пригонят. Избави бог, не возьму с тебя денег; да иноходец-то твой устал, ты моего возьми, сам не часто на нем выезжаю...

3

Александра Аполлоновна разрезывает толстый журнал; в зале, где уже топили сегодня, пахнет кофеем, и старые кресла заманивают развалистыми своими спинками на осенний покой.

Гимназист сидит на окошке, болтает ногами. Тусклый сад совсем беспомощен под долгим дождем.

— Расскажите еще про ваши приключения,— приставал он к Собакину.

— Я все рассказал, что ж еще...

— Володя, не приставай,— строго молвила бабушка, взглянув поверх очков на Собакина, который на чистом листе разбирал зерна пшеницы.

— Щуплое зерно,— сказал Собакин.— Что же вам рассказать?

— Ну, хоть про кучера, которого связали тогда,— он ужасно таинственный.

— Архип-то...— засмеялся Собакин,— таинственный.

— В самом деле, что с ним, выпустили его? — спросила Александра Аполлоновна.

— Кажется, да,— я ездил, хлопотал, мне сказали, что без суда не отпустят, а суд, кажется, был на днях...

— Не любила я вашего Архипа, злой он, и глаз у него черный, приедет и все по конюшне ходит, все чего-то высматривает, и непременно что-нибудь после случится...

— У Белячка,— помнишь, бабушка? — мокрецы на щетках сели,— подсказал гимназист...

— У Беляка мокрецы; нет, нет, не люблю я таких, и пусть бы сидел в тюрьме. Да невинный ли он? — Старушка сняла очки.— Еще до вашего приезда в дерев-

ню он избил моего объездчика за то, что тот не позволил ехать в телеге по хлебу,— представляете, нарочно едет в телеге по хлебу...

— Я помню,— сказал гимназист,— объездчика привезли, вот страшно-то: голова болтается, и по лицу мухи ползают.

— Странно,— протянул Собакин.— Архип никогда не дрался, исполнительный всегда, тихий... Хотя был странный случай... Вот, помните, в прошлом году я ехал от вас вечером, когда еще отец Иван индюка изображал; не знаю почему, взяли мы не обычной дорогой, а напрямик по выгону, а там за межевым столбом — глубокая водомоина; я говорю Архипу: ночь темна, помни кручу налево. А он прикрикнул на лошадей. Тише говорю, Архип, и знаю, сейчас круча, а он словно тройку не сдержит...

— Ужасно,— вздрогнула Чембулатова,— ну и что же?..

— Лошади сами круто повернули. Я кричу: «Что ты делаешь?» — а он обернулся и глухо так говорит: «Бог спас, барин, беду отвел».

— Вот-вот, я говорила, завтра же велю загородить это место...

— Я думаю все-таки, что это случайность; чем ему помешали я и мои лошади? Наконец он сам мог убится.

— Такие, как Архип, безземельные, бессемейные мужики на все способны, в них бес сидит. Служит он у вас, все ничего,— только угрюм да молчит, а потом возьмет да вас и сожжет...

— Бабушка, смотри, проясняет,— крикнул Володя и, не успела бабушка ахнуть, распахнул балконную дверь, и сырой, пахнувший землею и листьями, осенний ветер ворвался, растрепал книгу, брызнул капелью, и солнце в прорыве между туч блеснуло на каплях, на стеклах, на желтой листве...

А дверь уже закрыли, и в столовой застучали посудой.

— Бог с ними, с Архипами,— сказала, проплывая в столовую, Александра Аполлоновна,— только расстроишься, а причина всему, конечно, что нет настоящей опеки над крестьянами. Мужик обращается в первобытное состояние...

Собакину вспомнился фельетон, месяц назад читанный в случайно залетевшей петербургской левой газете, но думать об этом не хотелось,— так было уютно и тепло.

К вечеру ветер стих, и низкое солнце залило багровым светом лиловые у земли тучи и, протянув бледные, словно прощальные крылья в глубь желтой и мокрой степи, закатилось.

Но четко еще виднелись репы на темных курганах, лужи на глянцевитой дороге лиловели, тускнели.

Почмокивая, вертелись колеса, ударяли в лицо свежей грязью, пачкали вожжи и руки.

Собакин, расстегнув кожан, потряхивался на сиденье и думал:

«Так вот они — степные дали, неезженные дороги, забытые курганы. Нет конца им, и селения такие же серые, забытые, и люди в них, как травы, молчаливые, живут бог знает зачем, из века в век одни и те же, как дикая рожь».

Ходит с дороги на дорогу, с кургана на курган, по пашням, по селам и поет унылые песни — тоска, сестра осеннему ветру...

Дребезжала железка на колесе, и топали, скользя под горку, копыта...

Одноколка скатилась, тряхнула на водомоине, и, поскользнувшись, лошадь упала на колени.

«Трудно некованой взобраться на гору», — подумал Собакин и ударил вожжами...

А сзади затопали частые шаги, как будто молча кто-то догонял...

Собакин обернулся: плохо видный в полумраке лошадины, бежал к нему мужик, размахивая левой рукой.

«Странно!» — подумал Собакин и, еще не понимая того, что было уже ясно, сильно ударил лошадь кнутом.

Человек настигал, по траве бежать ему было легче, не так скользко...

«Черт знает, гонка какая-то, что ему нужно?» — подумал Собакин и еще раз, привстав, хлестнул кнутом. Лошадь прыгала в хомуте, поскользнулась и, вздыбившись, вынесла одноколку на ровное место.

— Эх! — резко крикнул мужик и откинулся...

— Архип — ты?..

— Эх! — опять крикнул Архип, на бегу остановился, поднял руку и кинул блеснувший топор, и наклонился весь, ожидая... Топор тяжело ударил в переднюю доску козел, упал в ноги...

— Ты что это! — закричал Собакин и сдержал лошадь. Архип устало шел вслед... — Ты с ума сошел?..

— Теперь что хочешь со мной делай, — сказал Архип и смотрел на багровую полосу заката, — поседевший, весь обвеянный ветром.

— За что ты меня, Архип? Архип, я же не виноват...

— Сына моего убил.

— Какого сына?

— Осипа...

Темнела закатная полоса, суживаясь, закрыла багровое веко.

Собакин ехал шагом, Архип шел сбоку и немного сзади...

— Архип, я ничего никому не скажу, поклянись, что это более не повторится. Послушай, Архип. Осипа убили мужики, я бы никогда не допустил до этого.

Тогда Архип негромко засмеялся, словно конь дикий поржал, и белые зубы его впервые увидел Собакин.

4

Прошло более года. Опалая землю, пронесло золотые свои ризы новое лето, пожали хлеб, и на гумнах запахло свежей соломой; каждый день до заката гудела молотилка; на заре опускался иней и взлетал, увидев солнце; только в темном саду да на лугу, где падала тень от дома, серебрил он мелкий гусиный щавель.

Утром к Собакину опять приходили мужики жаловаться на Архипа.

Все лето Архип передохнуть не давал: то скотину загонит, то вывалит из телеги траву, что мужик на барском поле под сиденье себе накосил, и кушак с мужика снимет или шапку — приходи, мол, жаловаться, неси штрафные.

А испольного хлеба, пока деньги за него до полушки в контору не внесены, не даст свезти ни снопа. Такой уж Архип ретивый приказчик, откуда только злоба взялась.

Мужики бить его хотели, а он либо увертывался, либо на барина валил: не моя в том воля. Мужики тайли злобу, а осенью, когда на барском поле пшеница родилась сам-десять, а на мужицком не сняли и сам-трех, решили, каждый про себя, барина спалить.

Так уже стариками заведено.

К тому же на село пришла золотая грамота, читать ее не читали и не видели, пожалуй, но всякий знал, что в ней прописано: грамота старинная, давно по земле ходит.

А вслед за грамотой подкинули листки; их прочли и волновались глухо, как подземный ключ.

— Ну что, Архип, как мужики? — отдав на завтра распоряжение и позевывая, спрашивал Собакин.

Архип повел плечом:

— Что же, дурачье...

— Утром опять приходили на тебя жаловаться, нельзя так, Архип, ты портишь мои отношения с народом.

— С мужиком по-другому нельзя, — притесни, он тебе что хочешь сделает, а с доброго слова сядет на шею.

— Я слышал, палить собираются.

— Кто их знает.

— Вон у Чембулатовой спалили же гумно.

— То озорство, барыня в город уехала, они и озорничают.

— Ну, иди, Архип. Завтра позаботься, чтобы лошади с утра готовы были.

— А вы разве куда едете?

— В город.

Архип ушел, а Собакин лег и перед сном раскрыл каталог садовых цветов и овощей; но скоро цветы стали походить на дам и все на одну и ту же, со вздернутым носиком; кочан капусты, отряхиваясь, надел очки и стал старушкой Чембулатовой.

Собакин улыбался в полусне, думая, как ему хорошо, что он, вот такой здоровый и молодой, скоро опять

увидит лукавые глаза, вздернутый носик, русые волосы...

Разбудил Собакина громкий шепот:

— Барин, барин, вставайте.

Собакин вскинул на пол голые ноги и, не понимая, глядел на стоящего перед ним со свечой возбужденного Архипа.

— Ты что?

— Мужики идут.

— Какие мужики, куда?

— Сюда, к вам. Как я побежал, они уже на площадке шумели...

Собакин прислушался и беспомощно взглянул на крепкого, угрюмого Архипа.

— Архип, что же делать?

— Двери, барин, я запер, а вы достаньте-ка ружья, поугатать придется.

— А окна, ставней же нет.

Трясущимися пальцами, спеша, всовывал Собакин патроны в охотничьи ружья, сдернув их со стены над кроватью.

— Я бекасинником заряжаю, Архип, еще убьешь кого.

— Заряжайте картечью, не будет повадно...

— Господи, какой ужас!

В темноте стал явственнее гул голосов и крики, слышны были даже отдельные возгласы, и вдруг все стихло и стало тягостно ожидать...

— Чтс они?..— прошептал Собакин.

Со звоном разбилось стекло, и камень, упав на письменный стол, опрокинул вазу с ковылем, и в разбитое звено влетели крики:

— Бей окна, пусть выходит.

— Эй, барин, выходи, говорить хотим.

— Архипа нам давай...

Архип, ловкий и гибкий, отпрыгнул к стене и с глаз отбросил густые волосы, повелительно сказал:

— Свет, барин, туши.

Собакин дунул на свечу, и стало невыносимо страшно, и яростнее закричали мужики:

— Выходи!..

Несколько стекол со звоном вылетели, и Архип дико вскрикнул...

Прижимаясь к пахнувшей потом его спине, шептал Собакин:

— Что же это будет?.. Боже мой.

— Не выйдешь, сами достанем,— кричали мужики, и несколько голов в шапках появилось в окне.

— Лезь, братцы, нечего глядеть...

Архип выстрелил... Сразу все стихло... И часто и пронзительно застонали под окном.

Мужики отступили, совещались, заспорили все громче...

— Неси, сена неси, соломы,— закричали голоса.

— Подпалим.

— Выкурим голубчика.

— Лови!.. Лови его!..— разгорелись крики.

Визг, топот, глухие удары.

— Работников наших бьют,— прошептал Архип.— Теперь нам не иначе, как в сад бежать, палить сейчас будут...

— Балконная дверь замазана наглухо.

Архип помолчал, потом приложился и выстрелил. Осветилась стена, поваленное кресло и Собакин без штанов, в ночной рубашке...

Архип, не целясь, выстрелил еще, и едкий дым наполнил комнату. Собакин тоже выстрелил, сильно отдало в плечо и щеку.

Вдруг под окнами осветилось красное пламя и бойко затрещало.

Стало яснеть, мужики с радостными криками отбежали, камень ударил Собакина в лицо... Пошла кровь, и Собакин стиснул зубы, застонал. Архип, пригнув его к полу, пополз в коридор. Сквозь распахнутые двери изо всех комнат лился алый свет...

— Вот что, барин,— сказал Архип,— давно я хотел тебя поблагодарить...— И, толкнув Собакина, он сел ему на грудь и засмеялся.

— Архип, что ты, Архип...— шептал Собакин, стараясь высвободиться, разорвал на Архипе рубашку, царапнул по телу, и Архип словно опьянел и весь налился злобой.

Надавив коленом горло, вынул он складной с костяной рукояткой нож, зубами открыл его и, глядя прямо в белые, обезумевшие глаза Собакина, занес и опустил.

Дом пылал. Молча стояли озаренные светом его мужики, серьезно глядели, как дикий огонь пожирал сухие стены, дымя, вылизывал из-под крыши... Носились розовые голуби...

Кто-то крикнул:

— Гляди-ка, у конюшни Архип...

Поспешно выводил Архип за повод Волшебника и, когда, крича, подбежали мужики, кинулся животом на конскую спину и погнал, прильнув к холке, залитый алым, в степь...

Только его и видели...

ПЕТУШОК

Неделя в Туреневе

1

У тетушки Анны Михайловны, чтобы мыши не ели мыло, всегда под рукомойником стояла тарелка с накрошенным в молоке хлебом, и тетушка ни под каким видом не позволяла заводить в доме ловушек, говоря про мышь:

— Что же, она ведь тоже живая, а ты ее в мышеловку, а она еще поперек живота прихлопнется.

Кроме рукомойника, в спальне у тетушки стояли шифоньерки по углам, на одной из них — подчасник с прадедовскими часами, над кроватью — коврик, изображающий двух борзых собак, и на ночном столике — баулка с папиросами.

Тетушка курила табак дешевый и крепкий, — не вредный для здоровья. Любила она, выйдя на крыльцо, покурить, поглядеть на сизые осокори за прудом, на синие дымы села.

Дверь спальни отворялась в широкий и низкий коридор, куда выходили бывшие лакейские; в конце его витая лестница вела наверх, в девять барских комнат; туда никто теперь не ходил, и деревянная решетка в зале, когда-то обвитая плющом, и огромные очаги, похожие на пещеры, высокие шкафы в библиотеке, столы и кресла, сваленные в углу друг на дружке, — все

это было покрыто густой пылью, потому что во всех комнатах на пол-аршина лежала пшеница и хозяйничали мыши.

Иногда по ночам от тяжести хлеба трещали поперечные балки, и тетушка, в нижней юбке, с узелочком волос на маковке, шла со свечой посмотреть — где треснуло.

Но к стукам в доме привыкли. Болезненная Дарьюшка-ключница спросонок только крестилась на кухне, веруя, что стучит это, бродя по дому, прадед барынин, Петр Петрович, который изображен на портрете в пестром халате, на костылях и со сросшимися бровями, — как коршун.

Пожалуй, и не один Петр Петрович шагал осенними ночами по колена в пшенице, — много их огорчалось запустением шумливой когда-то туреневской усадьбы, но некого больше было пугать, некому жаловаться...

Все вымерли, унеся с собою в сырую землю веселье, богатство и несбывшиеся мечты, и тетушка Анна Михайловна одна-одинешенька осталась в просторном туреневском доме. Каждый вечер выходила она глядеть, как с поемных лугов, из Заволжья, поднимается туман, кутает сад, беседку с колоннами, обрывок веревки на качелях и ползет до крыльца.

Заложив руки в карманчики серой прямой кофты, тетушка ходит все по одной и той же аллее. Папироска ее давно потухла. Вот уже совсем и не видать деревьев. Пора и на покой.

В спальне, накрошив мышам хлеба и помолившись, тетушка ложится в кровать и долго не может заснуть — все думает: о прошлом, — перед ней встают любимые ушедшие лица, — о грехах, которые она натворила за истекший день, о несчастном, единственном своем племяннике Николушке, — что-то с ним сейчас? Или думает, — голову ломает, — как бы ей обернуться с платежами. Это обертывание было главным ее занятием с юности.

Сегодня, — не успела Анна Михайловна лечь, — вдруг слышит — едут с колокольчиком. Тетушка прислушалась и подумала: «Кому бы это приехать так поздно? Неужто Африкан Ильич? А кому же кроме?»

Накинув старенькую юбку — другой у нее не было, потому что по воскресеньям всякий мог просить у тетуш-

ки все, что угодно, и деревенские бабы еще за неделю нацеливались на какую-нибудь юбку поновее,— вышла Анна Михайловна в кухню, но, к удивлению, ни одной из девчонок, без дела живших при доме, не оказалось, а в дверь уже влезал высокий и сутулый человек в коричневом армяке. Влез и принялся трясти с себя пыль, которая по всему Поволжью такая густая и обильная, что при виде приехавшего не знаешь — арап это или просто черт?

Вытерев лицо, вошедший действительно оказался Африканом Ильичом, от природы темно-коричневым. Подойдя к тетушке, к ручке, он сказал весело:

— Вот и я, ваше превосходительство.

Анна Михайловна поцеловала его в коротко стриженную круглую голову, которой Африкан Ильич гордился, говоря: «Вот это голова, не то что у теперешней молодежи»,— и, боясь высказать радость, неуместную усталому с дороги человеку, проговорила только:

— Вот как хорошо, что вы приехали, Африкан Ильич, сейчас и самоварчик поставим. Только беда у меня с девчонками — разбегаются по ночам.

— Недурно — самоварчик,— скрипучим голосом сказал Африкан Ильич и прошел в столовую, где с удовольствием оглядел и необыкновенный буфет в виде ковчега, и спящих мух на стене, и недопитый на окне стакан с теплым квасом. Все было по-старому.

Тетушка вносила тарелки с едой, открывала и закрывала створки буфета и суежилась немного бестолково,— даже задохнулась,— покуда Африкан Ильич не прикрикнул:

— Да сядьте вы, ваше превосходительство! На кухне четыре дуры сидят, а вы тыркаетесь...

Тетушка сейчас же села, ласково улыбаясь, отчего овальное и морщинистое лицо ее стало милым. Африкан Ильич сказал:

— Новость привез. Расскажу, как поем.

Налив из рюмки половину водки на ладони, он вытер руки о салфетку, ставшую сейчас же черной, другую же половину рюмочки выпил и, крякнув, закусил маринованным грибочком. Отличные у тетушки были грибки.

— Какая же новость? — спросила тетушка.— Уж не про Николушку ли?

Но Африкан Ильич принялся рассказывать вычитанный им недавно из одной газеты прелюбопытный анекдот, причем ел и пил между словами, растягивая их на пол-аршина, а тетушка терпеливо слушала, глядела ему в лицо, улыбалась задумчиво и все думала — про кого же это новость? Когда Африкан Ильич, покончив с анекдотом, начал описывать земский съезд в Мелекесе, — как там пили, — тетушка спросила осторожно:

— Друг мой, а когда же о том расскажете?

Африкан Ильич сморщился до невозможности, насутился:

— Завтра Николай с Настасьей приезжают. Вот вам новость.

— Господи Иисусе! — тетушка перекрестилась.

— Со мной на лошадях ехать не пожелали. Приедут по железной дороге, по первому классу. Экипаж надо выслать...

— Как же они согласились? — воскликнула тетушка. — Ведь не хотели же, сколько я ни писала.

— Не хотели! — Африкан Ильич фыркнул носом и налил еще рюмочку. — Не хотели! А с голоду подыхать — хочется? Настасья все брильянты заложила — две недели отыгрывалась в карты, а Николушка в буфете шампанское в это время распивал. Все спустили до нитки.

— Как же вам удалось их уговорить, Африкан Ильич?

— Билеты железнодорожные купил, — очень просто, ваше превосходительство. Денег у них осталось рублей двадцать пять, не больше, и всюду долги — в гостинице, у портных, в ресторанах. (Тетушка часто начала крестить душку.) Я им сказал, — счет из гостиницы беру с собой, как сядете в вагон, так и заплачу. Они говорят, — мы тетушку стесним, и притом неудобно, что Настасья, мол, не жена, а так вроде чего-то. Я Николаю говорю, — тетушка тебе сто раз, дураку, писала, что если тебя эта самая Настасья любит и от прежней жизни отказывается, то будет она тетушке дочь, а тебе жена. Надоели они мне до смерти, я вперед уехал... Вчера — явились, прямо в гостиницу Краснова... Одним словом, ваше превосходительство, хоть и устроилось, как вы пожелали, но считаю всю эту затею ерундой...

— Друг мой, это не ерунда,— поспешно перебила тетушка. — Николушка — честная натура. (Африкан Ильич, не возражая, сильно почесал ногтями стриженный затылок.) А у Настеньки сердце не к шумной жизни лежит,— это ясно, если она решилась бросить Москву да ехать с ним к какой-то завалющей тетке. Вот я как понимаю... Одного боюсь, что им скучновато будет здесь после столицы... Ну, да уж я как-нибудь постараюсь...

— Что постараетесь? Я просил бы не стараться! — прикрикнул Африкан Ильич. — Довольно с них, что хлеб дадите...

Тетушка опустила глаза и покраснела.

— Не сердитесь на меня, дружок, позвольте уж послужить им,— сказала она мягко, но решительно.

Африкан Ильич, взяв пухлую, в морщинах, тетушкину руку, поднес ее к щетинистым губам и поцеловал:

— Вот вы какая у нас, ваше превосходительство,— бойкая.

2

Тетушка проснулась, по обычаю, до света, зажгла свечу и, осторожно ходя по комнате, где некрашенные половицы, такие еще прочные днем, теперь скрипели на все голоса, сокрушалась, что перебудит весь дом полоумной своей беготней.

Чтобы занять время до чая, она вытирала пыль на ризах старинных икон, с детства еще побаиваясь глядеть на фамильный образ нерукотворного спаса, темный, с непреклонными глазами, в кованой с камнями ризе. Перебрала в шкатулке бумажки с волосами милых ушедших. Припрятала подальше, вдруг вспомнив тяжелое, костяной футлярчик для зубочистки. Разыскивала и все не могла найти рамочку какую-то.

Все эти старые вещицы разговаривали на задумчивом языке своем с тетушкой Анной Михайловной, самой молодой среди них и последней. Изо всех вещей она любила, пожалуй, больше всего широкое красное кресло, обитое штофом, с торчащей из мочалы пружинной. На нем была выкормлена тетушка и все девять ее покойных сестер.

«Вот и пришло испытание,— думала Анна Михайловна, садясь в кресло,— хватит ли сил направить на путь истинный таких ветрогонов? Настенька, та, чай, попроще,— жила в темноте, полюбила, и раскрылась душа. Богатых поклонников побросала, продала имущество, значит полюбила. А вот Николенька — это козырь. Денег ни гроша, а шампанское в буфет — пить. Попробуй-ка такого приучить к работе. Скажет,— не хочу, подай птичьего молока. С нашим батюшкой нужно его свести, пусть побеседуют. Большая сила у отца Ивана. И не откладывать, а, как приедут,— сразу же и позвать отца Ивана».

Волнуясь, тетушка не могла усидеть на месте и вышла в коридор, где было прохладнее.

Там под потолком горела повернутая лампа в железном круге. Из полуотворенной двери слышен был храп Африкана Ильича, такой густой, точно в носу спящего сидел шмель. На сундуке, уронив худенькую руку, спала, оголив колени, любимица тетушки — темноглазая Машутка.

— Ишь разметалась как,— прошептала тетушка, наклоняясь над смуглым ее личиком, и поправила сползшее одеяло из лоскутков. На щеки девушки легла тень от ресниц, детский рот ее был полуоткрыт.— Красавица-то какая, господь с тобой...— Тетушка задумалась. И вдруг ноги ее подогнулись от страха. «Ну нет,— подумала она и потрясла головой в темноту коридора,— в обиду не дам...»

Наверху по пшенице бегали мыши. Хотелось чайку. А рассвет еще только брезжил. Тетушка вернулась к себе и закурила папирочку, все думая, часто моргая глазами.

Настал тяжелый день. Посланная для наблюдения на крышу, Машутка кричала оттуда, что — «никовошеньки не едет, кроме дедушки Федора, и пегая корова сзади привязана».

К полднику Африкан Ильич пришел заспанный и злой; прихлебывая чай, вздыхал и курил вертуны, сидя боком на стуле.

— Дарья! — позвал он наконец...

— Дарьюшка в погребице, я сама пойду распоряжусь.

— Насчет чего распорядитесь? Ведь вы не знаете, насчет чего распорядиться, ваше превосходительство.

— Лошадей...— тихо сказала тетушка.— Вы, друг мой, устали и кашляете. Позвольте, я уж сама съезжу на станцию. Право, мне даже полезно освежиться,— сижу здесь, сижу, совсем засиделась.

Африкан Ильич, выставив челюсть, медвежьими глазками уставился на тихую, но не робкую тетушку, и неизвестно, чем бы кончился спор их, но в это время неожиданно к дому подъехал экипаж.

Все обитатели поспешили на крыльцо. Африкан Ильич, с папиросой, сощутив один глаз, стоял — руки в карманы; за спиной его шушукались четыре простоволосые девчонки в красных кофтах; а тетушка, пожимая, точно от холода, узенькими плечами, добренько улыбалась,— глаза ее совсем сморщились.

Из тележки, ухватясь рукой в лайковой перчатке за козла, тяжело вылез Николушка, в верблюжьем армяке, и, расставляя по-кавалерийски ноги, поспешил в тетушкино объятие.

На высоких подушках сидела Настя, худая красивая женщина, с маленьким бледным лицом и серыми, как серое стекло, удивленными глазами. Тетушка подошла к плетушке, протянула руку молодой женщине:

— Ну вот, привел бог увидеться. Милости прошу.

Тогда Настя, поспешно одернув платье, выпрыгнула на лужок.

— А уж мы заждались,— говорила тетушка, ведя приехавших в приготовленные им комнаты, откуда испуганно выскочила Машутка с двумя ведрами.

Африкан Ильич шел сзади и хрипел:

— А мы-то ждали,— и к завтраку и к обеду. И обед был хороший, и весь его съели...

3

Николушка ходил по комнате тяжелой кавалерийской походкой, разводил руками и поднимал плечи. Розовое, с полным ртом и изломанными бровями, лицо его было бы красиво, если бы не легкая одутловатость щек и не беспокойство в глазах, больших и серых. Говорил он много и красноречиво.

— Моя душа опустошена, жизнь исковеркана и разбита. На моих плечах — существо, которое я люблю, существо беспомощное и усталое. Мы погибали, тетушка. Вы протянули нам руку. Теперь, среди этих дедовских стен, я чувствую прилив энергии. Я верю в будущее.

Взволнованная тетушка сидела в кресле. Позади нее сильно дымил папирсой Африкан Ильич... Настенька приютилась в тени, за кроватью.

— Тетушка, научите меня жить, научите работать, и вы спасете и меня и эту бедную женщину.

Тогда Анна Михайловна взяла Николушку за руку, посадила рядом с собою и некоторое время молчала.

— Николай,— сказала она наконец,— знаешь ты, что такое земля?

Николушка удивленно взглянул на нее и покусал губы.

— Вот то-то, что не знаешь. У вас в городе по земле-то, чай, никогда и не ходят, все по камням. А вот деды твои, Николушка, с земли-то никогда не съезжали. Бывало, в город Симбирск собратся,— комиссия: раз или два в год, не более того, и ездили,— на выборы или насчет закладной, или продажи... А о скуке или безделье — и думать-то было стыдно. Земля — твоя колыбель,— из нее вышел, к ней и вернись...

Николушка, глубоко вздохнув, опустил голову. Сидеть ему около тетушки было неловко, и, кроме того, подкуривал сбоку Африкан Ильич крепким табаком.

— Ты не смотри, что именье у нас разоренное,— все дела поправим. Об этом заботится Африкан Ильич не покладая рук, и большое ему от всего нашего туреневского рода спасибо. А вот ты покуда примись за дела небольшие, побочные. Можно раков ловить и делать из них консервы, пойдут в столицы,— дело верное. Или грибы можно сажать — дорогие сорта. Или разводить зайцев: мясо употреблять в пищу, а шкуру — за границу, там, говорят, русский заяц в большой ценс.— из него горностаи выделывают; правду я говорю, Африкан Ильич?

— Истинную правду, ваше превосходительство.

— Дела найдешь много, была бы охота. А лет через двадцать подрастет наш лесок — станем тогда на ноги. Примись, примись за дело, друг мой,— и именье спа-

сешь и сам человеком станешь. Вот Соловьев — философ так же, как и ты, в молодости неверующий был, а потрудился и в бога уверовал...

Тут тетушка, сильно взволновавшись, поднялась с кресла:

— В бога уверуешь! Теперь такая мода, что никто в бога не верит. А я говорю — есть бог!

При этих словах Анна Михайловна сильно стукнула ладонью по комоду. Африкан Ильич закутался дымом.

Некоторое время все молчали. Затем, без стука, дверь отворилась, и в комнату вошел длинный, как жердь, поп Иван, в парусиновом грязном подряснике, не спеша оглядел новоприехавших и ухмыльнулся большим ртом; при этом у него под редкими усами открылись желтые, как у старой лошади, зубы. Да и лицо его все походило на кобылье — с тяжелой челюстью и длинной верхней губой. Только темные глаза были прекрасны, но он нарочно придавал им сатирическое выражение, что происходило скорее от смущения, чем от насмешливости.

— Однако, — сказал поп Иван, — накурено! — И вслед за этими словами в комнату словно влетела, как розовая бабочка, его племянница Раиса, в розовом платице, вся в мелких светлых кудряшках.

— Ай да девица! — сказал Африкан Ильич и густо закашлялся.

Гости поздоровались, — поп Иван подавал руку лопатой, Раиса — кончики пальцев. Затем сели. Тетушка проговорила:

— Вот, батюшка, и прилетели птенцы назад в гнездо. Николушка с женой к нам — на всю зиму.

— Одобряю, — сказал поп Иван. — Позвольте узнать все-таки, какие причины побудили вас на такой необыкновенный шаг?

— Ну и язва, поп, — захохотал Африкан Ильич.

Николушка, скромно опустив глаза, ответил, что приехал сюда учиться труду — работать.

— Полезно, — сказал поп Иван, щурясь и показывая лошадиные зубы.

— Исполняя волю Анны Михайловны, я сделаю попытку еще раз подняться. Вот, — Николушка протянул

руки,— я смогу пойти за сохой. Но в душе моей останется вечная ночь. Я слишком знаю жизнь, чтобы еще чему-нибудь радоваться.

При этих словах Раиса открыла ротик и глядела на Николушку, как зачарованная птица. Наступило молчание, и вдруг в тени за кроватью громко засмеялась Настя. Поп Иван удивленно повернул к ней лошадиную голову, у тетушки затряслась папироска у рта. Николушка воскликнул сердито:

— Тебе нечему смеяться. Глупо!

Тогда поп Иван, кашлянув, заговорил:

— Уважаемая Анна Михайловна не раз в беседах высказывала мнение, что человек, трудясь, естественно доходит до понимания божественного промысла, то есть начинает верить в бога. Согласен, но отчасти. На прошлой неделе шел я по земскому шоссе, близ того места, где поденные рабочие бьют камень. И слышу,— сидят каменщики на камнях и сквернословят, понося не только подрядчика, но и господа бога. Поэтому, соглашаясь с Анной Михайловной о пользе труда, принужден добавить — не всякого.

— Ну и философ! — воскликнул Африкан Ильич, крутя папиросу и откашливаясь до того, что весь побагровел.

Из-за двери тоненький голос Машутки позвал:

— Анна Михайловна, кушать подано.

4

После ужина Николушка вышел в сад, глубокий и сырой под ясным месяцем, настроившим меланхолично томные голоса древесных лягушек. Резко и нахально врываясь в их хор, кричала квакуша, охваченная любовной тоской. На поляне, уходящей вниз, к реке; путался в траве туман.

Николушка вошел в полусгнившую беседку над заводью, куда каждую весну подходила Волга, и, чиркнув спичкой, спугнул бестолково завозившихся под крышей голубей.

Отсюда видны были поемные луга с клубами тумана над болотами, черная груда ветел у мельничной за-

пруды и далеко, на самом горизонте, высокая, сияющая местами, как чешуя, длинная полоса Волги.

Вдыхая ночной запах травы, земли и болотных цветов, Николушка вспоминал давнишнее. И то, что было, и то, что, быть может, видел он во сне — ребенком, — сплеталось неразрывно в грустные и прозрачные воспоминания.

Вспомнилось, как в этой беседке сидела его мать, в темном платье, пахнущем старинными, каких теперь не бывает, теплыми духами. Николушка так ясно это припомнил, что сквозь болотный запах лютиков, казалось, шел к нему этот забытый аромат. Мать обняла его за плечи, глядела, как играет вдали под лунным светом серебряная чешуя реки. Николушка спрашивал шепотом: «Мама, правда, мальчишки мне говорили, будто у нас в саду живет маленький-малюсенький старичок и продает ученых лягушек — по копейке за лягушку?»

«Не знаю — может быть, и живет такой старичок», — отвечала матушка, и на щеку Николушки падала слеза горячей каплей.

«Мама, ты плачешь?»

«Не знаю, кажется».

И в эту минуту маленький Николушка увидел под крышей беседки, на перекладине, не то птицу, не то маленького старичка, который, нагнув вниз птичью головку, смотрел на него.

Николушка невольно поднял голову к крыше беседки... Да, да, вот и перекладина, где он в далеко ушедшем тумане детства видел странную птицу. Николушка вздохнул и, облокотясь о балюстраду, продолжал глядеть на туманные очертания деревьев, на сияющую полосу вдали. И вспомнил опять... Вот, уже в городе, он сидит с ногами на диване перед горящим камином и смотрит, как, легко потрескивая, пляшут желто-красные язычки. Вдруг — звонок, и через едва освещенную камином гостиную проходит дама, шурша широким шелковым платьем. В дверях кабинета стоит отец, высокий, худой, с орлиным носом и глубоко запавшими глазами.

— Как вы добры, — говорит он вошедшей даме странным, враждебным Николушке голосом, — как вы добры! — И он и дама скрываются за дверью. У Нико-

лушки от сладкого ужаса бьется сердце, его тянет к той двери. Он слышит шаги отца, его глухие, отрывистые слова и торопливый шепот дамы... Что-то падает на пол. Наступает молчание, затем — задушенный вздох и звук поцелуя.

Николушка стискивает горло руками, хочет закричать, убежать, зарыться с головой... Но из другой двери ему кивает мать, вся в черном, как монашка, покинутая, бледная, ужасная. Ее внезапно так делается жалко, — Николушка бросается к ней, обхватывает ее ноги...

— Иди, иди отсюда, нельзя слушать, — говорит мать и увлекает Николушку в спальню...

Там, перед образницей во всю стену, зажжено несколько восковых свечей, стоит низкий стул с высокой спинкой для положения лба, — здесь на коленях долгие часы молится мать. Под платьем у нее, — если потихоньку тронуть пальцем, — железные прутья — вериги.

— Никогда, слышишь ты, никогда не смей подслушивать, — порывисто шепчет мать, — твой отец — страстной, огромной души человек, не тебе его судить!

Мать ставит Николушку рядом с собой на колени, и он глядит, как идут пушистые, длинные, желтые лучики от свечей. Здесь пахнет воском, лекарствами, тепло, томно и скучно...

Так растет Николушка между образницей и кабинетом, куда забегает потихоньку со страхом и жадностью посмотреть на портрет прекрасной дамы в красного дерева раме, потрогать необыкновенные вещицы на письменном столе, понюхать, как остро и удивительно пахнет окурок сигары.

Однажды Николушка поднял с ковра женскую перчатку, от непонятого волнения поцеловал ее и спрятал под курточку.

И часто, часто видел во сне какую-то узкую пустынную улицу, залитую мертвенным светом, и вдали — фигуру прекрасной женщины... Он бежит за ней, подпрыгивает и, быстро перебирая ногами, летит над тротуаром. Сердце тянется, заходится, но фигура ускользает все дальше — не догнать.

Николушка шумно вздохнул. Голубь, задев за ветки, вылетел из-под крыши. Невдалеке послышались негромкие голоса тетушки, Насти и Раисы.

— Меня ужасно поразило, как он говорит,— услышал Николушка тоненький голос Раисы.— Ах, Анна Михайловна, я ведь очень мало что видела, и мне сделалось так интересно... так интересно... Особенно, когда сказал: «Я все испытал в жизни, в душе моей вечная ночь»,— у меня что-то в сердце оборвалось.

Николушка видел, как женщины подошли к скамейке, тетушка и Настя сели, а тоненькая Раиса осталась стоять, оглядываясь на далекий свет окна.

— За последнее время у меня сердце стало постоянно биться,— продолжала она говорить,— по правде сказать, дядя Ваня стал очень сердитый. По ночам читает, ходит, стучит... Или примется говорить, так страшно громко,— слушаю, слушаю, да и заплачу. Плохо живем.

Тетушка засмеялась, притянула к себе Раису, поцеловала ее и посадила рядом.

— Вы все такие хорошие, Анна Михайловна... И всех жальче мне Николая Михайловича стало сегодня..,

— Смотрите, не влюбитесь,— с усмешкой сказала Настя.

И сейчас же тетушка проговорила деловито:

— Идемте-ка, Настенька, спать,— вот вы и чихаете. И вы тоже, Раечка, марш, марш — спать.

— Анна Михайловна, я бы еще посидела, уж очень здесь приятно. Дядя Ваня позовет меня, когда домой идти. Можно?

Тетушка, опять засмеявшись, поцеловала ее и ушла, увела Настю.

Тогда Николушка усталым шагом вышел из беседки. Раиса увидела его, ахнула, поднялась было со скамейки и опять села.

— Любуется ночью? — сказал Николушка, опускаясь рядом с девушкой, и подпер подбородок тростью.— Дай бог вам никогда не знать горя. Да, я завидую такой юности. Сколько прекрасных мечтаний впереди. Завидуешь красивой жизни и страшишься — неужели и она разобьется, упадет в грязь.— И он незаметно покосился на Раису. Она сидела, закусив березовый листик, опустив глаза...

— Расскажите вашу жизнь,— едва слышно прошептала Раиса.

— Рассказывать мою жизнь?.. Всю грязь, в которой я утопал, все пороки, унесшие мою молодость!.. Нет, вы не должны этого слышать. Мне бы хотелось теперь участия светлой, чистой женщины,— спасти, быть может, сохранить остаток живой души.

— Господи, что вы говорите!

— Да, этот лунный свет, вся эта красота не для меня. Мне двадцать восемь лет, но жизнь — кончена...

Он опустил голову. От дома позвал Настин голос: «Николай, иди спать...»

Николушка поднял голову и горько засмеялся.

— Вот он — мой жернов на шее. Что мне ждать,— ну, конечно — вниз головой на дно. Прощайте.

Он взял Раисину холодную маленькую ручку, стиснул ее, безнадежно кивнул головой — и зашагал к дому по дорожке, пятнистой от лунного света.

Сейчас же позвали и Раису. Поп Иван повел ее через ограду старой церкви по полю, прямой дорогой; шел, размахивая руками и опустив голову, фыркал носом, затем спросил:

— О чем говорила с этим, как его?..

— Николай Михайлович такой несчастный.

— Ага! Ты плакала, кажется?

— Ничуть не плакала. Стыдно вам, дядя Ваня, смеяться. Учите, что людей любить нужно, а сами о них так отзываетесь.

— Как отзываюсь? Я тебе ни слова о нем не сказал.

— И без того понятно...

— Ничего тебе не понятно,— сказал поп Иван, отворяя калитку своего палисадника, сплошь заросшего левкоями.— И ничего тебе не понятно...— И он замолчал, глядя туда, где между огромными спящими тополями были видны дымные луга, и зыбь месяца на воде, и редкие ночные облака, как барашки, набегающие на небо перед рассветом.— И ничего тебе, Раиса, не понятно.

Тетушка Анна Михайловна, морщась от папиросного дыма, стояла в комнате, приготовленной для молодых, перед двумя большими кожаными сундуками —



«МИШУКА НАЛЫМОВ»



«ЧУДАКИ»

остатками Николушкина благополучия, и раздумывала, что хорошо бы все это сжечь.

«На какие деньги куплено! Тряпки, притирания — грязь одна, — заживешь тут по-новому...»

— Ну, вот, нашли шатуна, — сказала она Насте, вошедшей вместе с Николушкой из сада. — А ночи-то, ночи какие у нас — чудные. Особенно в разлив — до свету не уйдешь с балкона.

Тетушка простилась, поцеловала обоих, покрестила и, уже совсем собираясь уходить, спросила вдруг деловито:

— В сундуках-то что?

— В этом платья вечерние и визитные, а в том — обувь, шляпы и Колины вещи.

— К чему вам это все теперь? — спросила тетушка. — Разве здесь станете наряжаться? Пожгли бы эти вещи, право, а? Тебе, Николушка, отличный дедовский сюртук приспособим, а вам, Настенька, можно перешить платья шелковые, старинные, — у меня их поискать — так много найдется. А, ну-ну, ладно, спите, потом поговорим...

И тетушка, виновато улыбаясь, ушла. Замкнув за нею дверь, Настенька, привычным движением — руки в бока, подошла к Николушке и проговорила:

— Ты что же это, — девчонке выдумал голову морочить? Думаешь — не знаю, как ты плакался перед ней? Все подлые слова твои знаю, — она ткнула его в лоб пальцем. — Этого, милый дружок, я не допущу в порядочном доме.

— Не смей меня тыкать в лоб, — сказал Николушка мрачно.

— А хочешь — сейчас все лицо твое паршивое расцарапаю...

Николушка зашел за кровать и, посматривая, как надвигается на него Настя, вдруг крикнул громко:

— Слушай, если ты сейчас не отстанешь — я тетку позову.

Сидя на высоком стуле перед конторкой, тетушка сводила счета по объемистым книгам, заведенным еще лет пятнадцать тому назад покойным братом Аггеем.

Брат Аггей был необыкновенно ленив и обычно целые дни проводил здесь около конторки, лежа на клеенчатом диване, и либо ничего не делал, либо читал роман Дюма-отца «Виконт де Бражелон», причем, когда доходил до конца, то начало как будто забывалось, и он опять читал книгу сызнова. А если во время этого занятия в окошечко, проделанное из конторы, стучал ногтем кто-нибудь, пришедший по делу, Аггей говорил, грузно поворачиваясь и скрипя пружинами:

— Ну, что тебе нужно, послушай? Пошел бы ты к приказчику, видишь — я занят...

Сегодня, против обыкновения, тетушка считала невнимательно — ошибалась.

— Сто двадцать три рубля шестнадцать копеек, — держа перо в зубах, щелкала она счетами, — шестнадцать копеек. Ах, боже мой, что-то будет, что-то будет?

В контору в это время вошли, стуча сапогами и снимая шапки, мужики, пять человек, старинные приятели тетушки. Она отложила перо и приветливо поздоровалась.

— Ну, что, мужики, хорошего скажете?

— Да вот, — сказал один из мужиков, лысый и пухлый, — мы к вам, Анна Михайловна, — и побряхтел, оглядываясь на своих.

— Если насчет лугов, мужички, цену последнюю я сказала. Уступить ничего не могу, разве рубля три, как хотите...

— Нет, мы не насчет лугов, — опять сказал первый, — с лугами — как порешили, значит, так и стоим, обижать вас не будем... Нет, мы насчет вот этого...

Он замолчал, помялся; помялись и остальные.

— Да вы о чем говорите-то, я не пойму? — спросила тетушка.

— Ребята наши озоруют, Анна Михайловна, спалить собираются.

— Кого спалить?

— Да вас, Анна Михайловна. Зачем же мы и пришли к вашей милости. Вы уж не обижайтесь, — на этой неделе и спалим.

— Это верно, — сказали мужики, — так и порешили — в пятницу или в субботу Анну Михайловну жечь.

Тетушка облокотилась о конторку и задумалась. Мужики кряхтели. Один, ступив вперед и отворив полу сермяжного кафтана, вытер ею нос.

— Гумна палить или дом? — спросила, наконец, тетушка.

— Зачем дом, оборони бог, — гумна.

Самый старый из мужиков, дед Спиридон, облокотился на высокую палку и, слезясь воспаленными веками, глядел на тетушку, весь белый, с тонкой шеей, обмотанной раз десять шерстяным шарфом.

— С батюшкой вашим, Михайлом Петровичем, на охоту я ходил, — проговорил он натужным, тонким голосом, — волка тогда убил батюшка ваш. Бывало, скажет: «Приведи, Спиридон, мне коня, самого резвого...» Вскочит на него, и — пошел... Да, я все помню, — он пожевал лиловыми губами, — и дедушку вашего, Петра Михайловича, помню... Все помню...

— Чайку приходи ко мне попить, Спиридон, — сказала тетушка ласково, — давно мы с тобой по душам не толковали...

— А я приду, приду, Анна Михайловна... Вот Михайлу Михайловича, прадеда, того не помню...

— За что же вы, мужики, такую мне неприятность хотите сделать, — вздохнув, проговорила тетушка и карандашом провела вдоль разгиба книги, — чем я провинилась перед вами?

— Да мы разве сами-то по себе стали бы озорничать, — заговорили мужики, — на прошлой неделе в деревню листки какие-то принесли, ребята листки читали, ну — и обижаются... Так, говорят, и в листках написано, чтобы беспременно господ — жечь.

После этого поговорили о лугах, о сенокосе, о запашке на будущий год, и мужики, простившись, вышли, оставив в комнате крепкий дух овчины и махорки. Тетушка сидела пригорюнясь. Когда вошел Африкан Ильич, заспанный и в расстегнутом жилете, она не спеша рассказала ему, по какому делу приходили мужики.

— А пускай их жгут — гумна застрахованы, — широко зевая, ответил Африкан Ильич.

— Мне не то горько, друг мой, а отношение.

— Добротой, ваше превосходительство, добротой до этого мужиков довели. Станет на него Анна Михай-

ловна жаловаться,— жги ее во все корки. А я вот сейчас к становому поеду.

— Нет, вы не ездите, Африкан Ильич.

— Нет, уж вы извините, я поеду.

— Я бы очень просила вас не ездить.

Тогда Африкан Ильич расставил ноги и стал орать на ее превосходительство. Но все-таки не уехал. И тетушка, сказав напоследок: «Так-то, ради гнилой соломой нельзя живого человека губить»,— попросила его позвать в контору Машутку.

Маша прибежала и стала близ тетушки, положив загорелую руку на конторку.

— Звали, тетинька?

— Вот что,— погладив ее, сказала Анна Михайловна,— ты помнишь, что бог всегда знает, кто правду говорит, кто лжет, и за неправду наказывает?

— Помню,— весело ответила Машутка.

— Ну, так вот,— знаешь, а как ты поступаешь?

— Разве я врала чего, тетинька?

— Нет, не врала, конечно. А вот что... О чем ты с молодым бариним нынче утром говорила? А?

Машутка опустила глаза и ногтем зацарапала конторку.

— Николай Михайлович спросил — сколько мне лет...

— Что же ты ему ответила?

— Шашнадцать...

— Еще что?

— А еще спросил — есть ли у меня полушалка шелковая...

— А на это что ты ему ответила?

— Сказала, что полушалки нету.

— Ну, вот что,— проговорила тетушка строго,— молодой барин с тобой все шутит... А ты ему не надоедай, часто на глаза не попадайся. Поняла?

И Анна Михайловна, закрыв конторские книги и отпустив Машутку, долго еще, покачивая головой, глядела, как за окном в сирени возятся и пищат серые воробьи. «Ох, трудно мне будет, трудно с ними со всеми»,— думала она.

Когда Анна Михайловна выходила из конторы, в дверях с ней столкнулся Николушка и голосом выздоравливающего человека проговорил:

— Тетя, дайте же мне работу, ради бога...

— Какую тебе, батюшка, дать работу? Отдохни сперва, отъешься...

— Я видел, у вас наверху — библиотека... Вот ее бы взять и привести в порядок.

— Удружишь, друг мой, вперед говорю — спасибо. Еще дед твой покойный все собирался разобрать книги... Сейчас народ к тебе сгоню, — обрадованная тетюшка поспешила распорядиться насчет людей.

7

В библиотеке было навалено на пол-аршина пшеницы; пыль густо покрывала шкафы, стекла, карнизы; на поверхности столов расходились следы мышиных лапок.

Матвей-кучер и девчонки лопатами погнали пшеницу из библиотеки в залу. Поднялось густое облако пыли; лица у всех стали серыми; бегали по пахучему зерну потревоженные мыши; в открытых гнездах шевелились розовые мышата; испуганный голубь летал под потолком, задевая крыльями поломанную хрустальную люстру.

— Довольно, — сказал Николушка, вытирая потное лицо, — подметите теперь и ступайте...

В библиотеке открыли окна, и влился в заплесневелую комнату травянистый воздух вечера. Николушка, стоя на лестнице, открыл узкую дверцу первого шкафа, — оттуда легко посыпалась труха съеденных мышами книг.

— Ай! — крикнула, отряхиваясь, Машутка.

Николушка обернулся, девушка стояла под лестницей, поглядывая исподлобья на молодого барина.

— Ты зачем тут? — сказал Николушка и, захватив обеими руками труху, бросил ее в Машутку. — А это видела?

— Только подмели, барин, а вы сорите, — сказала Машутка, махнула косенкой.

— Дай-ка я тебя отряхну.

Сойдя на несколько ступеней, нагнулся он и, растре-

пав Машутке волосы, легонько ущипнул ее за шейку под круглым подбородком.

— Вот барыне пожалуйюсь,— шепотом сказала Машутка, но не отошла.

Николушка рассмеялся и, открыв второй шкаф, где не хозяйничали мыши, с трудом вынул из плотной кипы книгу в желтой коже с золотом.

— Что с книжками-то сделаете? — спросила Машутка.

— Читать, глупая, буду. Вот слушай: сочинение Еккартгаузена — «Семь таинств природы». А вот «Путешествие Анахарсиса Младшего». Поняла? А вот,— Николушка сошел с лестницы и сел на нижнюю ступень, читая: — «Неонила, или Распутная дочь».

— Чего это?

— Слушай... «...погубивши в своем жестоком распутстве благородного кавалера виконта де Зарно, тщеславная продолжала гнусные козни, противные столь же людям, сколь и творцу, создавшему сию мерзкую тварь...»

Машутка, рассматривая картинку, изображающую Неонилу, без рубашки, в постели, лицом вниз, и камеристку около, приготавливающую аппарат для облегчения желудка, и в дверях кавалера де Зарно, придвинулась и дышала Николушке на щеку...

— «...но обладала распутная,— продолжал читать Николушка,— столь совершенной красотой, что не было земнородного, кой мог бы противостоять оному соблазну...»

Машутка дышала так близко и коса ее касалась лица так нежно, что Николушка, взглянув в простенькие глаза девочки, привлек ее и поцеловал в полуоткрытые холодноватые губы.

Случилось так, что тетушка, желая освежить пыльную залу, отворила балконную дверь и, войдя, увидела Машутку, перекинутую назад, с руками, упирающимися в плечо Николушки, и его, охмелевшего в поцелуе; кругом же — брошенные книги. Тетушка вскрикнула... Машутка, ахнув, убежала. Николушка же принялся сильно тереть нос.

— Николай! — в волнении ходя по библиотеке, говорила тетушка,— Маша взята мною на полную ответ-

ственность, ей шестнадцать лет. Ты понимаешь?.. Я знаю, человек ты молодой, кровь у тебя кипит, Машутка красавица... Да что в самом деле, мало тебе одной бабы! Да как ты догадался только так устроиться... Поклянись сию минуту перед крестом,— тетушка вынула из-под кофточки связку образков и крестиков,— на кресте поклянись не трогать Машутку. Не выпущу, пока не дашь честного слова.

Испуганный Николушка поклялся, и тетушка отвернулась к окну, где в зелени берез, скромный и старенький, горел в закате крест турневской церкви. В саду гуляли Настя и Раечка.

Охватив Раису углом пуховой шали за плечи, Настя говорила, близко наклоняясь к девушке:

— Вы ему ни словечку не верьте, миленькая... Он мастер чудеса плести: таким несчастненьким представится,— послушаешь его, послушаешь и заревешь, как дура... Я ведь его весь характер, как стеклышко, знаю... без разговоров — никак не может, такая у него природа. Для этого мы ведь и сюда приехали, чтобы разговаривать...

— Нет, я про то говорю, что несчастный,— сказала Раиса.

— Это он-то несчастный?.. Ах вы, милая, совершенный ребенок... Какой же он несчастный, когда бабы кругом него так и вертятся.— Настя при этом фыркнула носом.— Когда я-то его подобрала,— в него старая женщина, понимаете, влюбилась, и он ее всю обобрал и выгнал, милая, выкинул из дому...

Раиса отвернула лицо и некоторое время шла молча. Настя искоса поглядывала на нее, потом быстро растегнула рукав на кофточке, открыла руку до локтя:

— Вот, полюбуйтесь, как он со мной поступает... Вы видите — шрам ужасный, через всю руку...— Она, почти со слезами, прижалась ртом к розовой полоске у локтя, пососала ее и сердито одернула рукав.— Этого шрама ему до смерти не прощу... озверевает, ему — что человек, что собака... По нему каторга давно плачет... Я на него когда-нибудь в суд подам...

— Господи,— вскрикнула Раечка,— что вы мне говорите...

— А вам-то что? Жалко его?

— Не знаю... Неправда все, что вы говорите... Я знаю, что вы нарочно мне говорите...

— Так вы, значит, влюбились... Вот что? Так бы вы мне сразу и сказали... Значит, у нас теперь другой разговор начнется...

Настя уже давно оставила Раисино плечо и теперь уперла руки в бока, сощурилась, но продолжать разговора ей не пришлось. Раиса быстро села на лавочку, нагнулась к коленям, закрыла лицо ладонями и молча вздрагивала плечами...

Настя глядела на нее, морща нос: плечики у Раисы были худенькие, и вся она, как цыпленок... Настя закурила папироску, глубоко затянулась несколько раз, швырнула ее в траву и, стремительно сев около девушки, обхватила ее за плечи:

— Слушайте... Не ревите вы из-за этого черта... Я вам все равно его не отдам, это вы сами знаете... А отдала бы — так вы все глаза через него проревевте. Ладно вам в самом деле...

8

Николушку отправили в лес — проветриться. Узнав о том, что мужики собираются тетушку сжечь, он раскричался, вооружился дробовым ружьем, наведя этим великого страху на всех девчонок на кухне, и тетушке стоило больших трудов его уговорить — отказаться от расправы с мужиками. Ружье она отобрала и сказала:

— Вот бы в самом деле съездил, друг мой, осмотрел наши владения. Лес посмотри: Африкан Ильич уверяет, что через пятьдесят лет этот лес будет золотым дном.

Николушке подали к крыльцу тележку, дребезжащую так, будто она была и кузницей в то же время. Тетушка проводила его до ворот:

— Ступай, ступай, батюшка, просвежись...

Околица оказалась закрытой. Николушка долго кричал, чтобы ему отворили. Наконец из соломенного шалаша вышел согнутый ветхий старичок, снял шапку и глядел на проезжего.

— Эй, дед, отворяй! — сердито кричал Николушка.

— Сейчас, сейчас отворю,— старичок неторопливо снял лыковую петлю и отворил заскрипевшую на разные голоса околицу.— Откудова ты, милый?..

Николушка, не ответив, ударил вожжами и покатил под горку, и долго вслед ему глядел старичок,— плохо видел, а слышать — давно уже не слышал...

Лес, про который говорил Африкан Ильич, действительно был когда-то, при дедах Туреневых, могучим, мачтовым бором. С осени отборные мачты перекручивались у комля проволокой, чтобы дерево набухало смолой, делалось крепкое, как железо,— янтарное, и в январе их рубили. Но теперь Николушка, поминутно вывертывая вожжу из-под репицы ленивой лошаденки, мотающей головой на слепней, увидал лишь тощую сосновую поросль да чахлый, вдоль овражка, орешник, общипанный крестьянскими лошадьми, которые при виде едущего запрыгали на спутанных ногах подальше от дороги.

— Эй, молодой человек, где здесь туреневский лес? — спросил Николушка у подпaska — мальчика, сидевшего, подпершись на пне...

— Чего?

— Лес, я у тебя спрашиваю, где, дурак... Наш лес...

— А вот он лес,— сказал мальчик, сдвигая шапку на нос.

Николушка дернул плечами, доехал до того места, где лесок был погуще, замотал вожжи за облучок и, с трудом вылезши из тележки, пошел по мягкой похрустывающей хвое — лесному ковру. Кругом были пни, да корявые стволы, да поросль, шумел печально ветер над головой, по синему небу плыли облака. Николушка в тоске перелез через овраг, заросший папоротником, и лег на пригорке, закинув под затылок руки...

Ах, навсегда ушли хорошие времена — бессонные ночи, огни проспектов, снег, запах духов и меха, наслаждение тончайшего белья и скользящей шелком черной одежды... Настежь распахнутые привычно испуганным швейцаром хрустальные двери в ресторанный зал, где сразу все нервы натягивает музыка и играет на них пьяными пальцами... Огни люстр, сверкающие камни, теплая прелесть женских плеч... Запотевшее ведро

и золотое горлышко, покрытое снежной салфеткой... Пьянящий гул голосов... И в дымной мгле исписанного алмазами зеркала — красные фраки, летящие смычки, цветы и темные, как мрак души, встревоженной музыкой, черным кофе и сумасшедшим желанием, — глаза женщины...

Николушка зажмурился, замотал головой — и сел в траве; кругом — пни, чахлые елочки, шумит хвоя над головой... Уныл был туреневский лес... Господи, господа, и здесь — коротать дни!..

Николушка перевернулся на живот и грыз травинку. Скверная вещь уединение, да еще — в лесу, в жаркий полдень... Воспоминания прошлого лезли Николушке в голову, — вспоминались минуточки, от которых вся кровь закипала... Взять бы такую минуточку и туда, — в сумасшедшие зрачки глаз, в шорох шелковых юбок, в темноту женского благоухания, — вниз головой, навек... Перед самым лицом Николушки в траву упала с дерева шишка... Он раскусил травинку и усмехнулся: «Тетушка Анна Михайловна в бумазейной кофте, со своими мышами и религиозными вопросами... Африкан Ильич, храпящий на весь дом после обеда... Комнаты, заваленные пшеницей, книги, съеденные мышами... Настенька, знакомая до последнего родимого пятнышка... Бррр!.. Будни... Поди воспрянь, работай!.. Ни один человек не воспрянет в такой обстановочке... Болото!..»

Совсем близко, за елью, хрустнул сучок. Николушка поспешно обернулся и сквозь ветки увидел розовое платье Раечки... Край этой ситцевой юбочки словно махнул ему из безнадежной мглы... Николушка вскочил, одернул поддевку и подошел к Раисе, — она спиной к нему, нагнувшись, шарила рукой во мху. Он тихо позвал ее. Она выпрямилась, взглянула, ахнула и уронила из рук гриб...

— Вот, приехал посмотреть на наше запустение, — сказал Николушка, — а вы что делаете?..

— Грибы ищу, — ответила Раечка, словно с перепугу, тяжело дыша, — вот набрала грибов, все белые, боровики...

— Хорошие грибы... значит, вы любите грибы?..

— Еще бы...

— А я городской житель... Не умею их собирать, наберу еще поганок...

Раечка вспыхнула, залилась румянцем и засмеялась, немного закинув голову, открыв ровные зубки... Николушка едва мог отвести взгляд от ее нежного горла.

— Пойдемте уж вместе,— сказал он,— как-нибудь помогу вам...

— Ах нет, Николай Михайлович, это для вас совсем не подходящее занятие.

— Почему же для вас подходящее, а для меня вдруг не подходящее?..

— Ну, вы такой — столичный,— сказала Раечка, перекинула с груди на спину косу и пошла...

Николушка шел рядом с ней, нахмурясь, горько сжав рот...

— Ах, Раиса, вы напомнили мне о самом больном,— сказал он после некоторого молчания,— лучше не будем говорить обо мне... Эх, все равно, туда и дорога, — он на ходу сломал сухую ветку, разломал ее и отшвырнул,— моя жизнь кончена...

Раиса быстро нагнулась, взяла грибок и сунула его в корзиночку под кленовые листья...

— Люди слишком много мне нанесли зла,— растоптали в моей душе все святое... Что ж — буду жить здесь, забытый, никому не нужный... И жить-то мне осталось недолго с моей печенью... Пусть!.. Да иногда — гляжу вот так — и жалко,— почему я не крестьянин, здоровый, беззаботный, с топором в руках,— рублю огромные сосны, летят щепки...

— Перестаньте, Николай Михайлович,— чуть слышно проговорила Раечка, и он увидел, что глаза ее зажмурены и ресницы — мокрые...

— Раиса, Рая, девушка моя,— крикнул он пылким, самого его удивившим голосом,— вам жаль меня?.. Сердце мое родное!.. — И схватил ее за дрожащие, холодные, маленькие руки.— Да? Да?.. О, помогите мне...

— Чем же я могу помочь, я такая глупая, Николай Михайлович...

— Любите меня!

Эти слова вырвались у Николушки в неудержимом порыве, сами собой. Раиса до того растерялась,

что бросила лукошко с грибами, раскрыла ротик, слезы на ее синих глазах сразу высохли...

— Любите меня,— повторил Николушка и, опустившись на колени, обхватил Раису, поднял к ней взволнованное лицо.— Вы можете спасти меня... Вы спасете меня... С первой минуты, как только вы вошли — светлая, невинная, вся розовая,— я понял — сойду с ума... Или — вы, или — смерть...

Часа два спустя Николушка бегал по темному коридору и, растворяя двери, кричал в пустые комнаты:

— Тетя... Тетя же... Анна Михайловна, где вы?..

— Кто тебя, батюшка, укусил? — проговорила, наконец, тетушка, высовываясь из дверей угловой, сундучной комнаты...

— Мне необходимо с вами говорить...

— Господи, помилуй... Да на тебе лица нет!

Решительным шагом Николушка вошел в сундучную, полутемную комнату, где пахло мехом, нафталином и мышами, не снимая шапки, сел на сундук и ненавидящими глазами уставился на Настю, которая стояла у окна, у кресла, где они разговаривали с тетушкой...

— Уйди, Настя,— проговорил Николушка и вдруг бешено топнул ногой,— уходи, тебе говорят...

— Ты белены, что ли, объелся, дружок? — спросила Настенька, внимательно следя за его взглядом.

Николушка вскочил, но сел опять. Анна Михайловна с недоумением поворачивала голову то к Николушке, то к Насте.

— Если эта женщина не уйдет, я за себя не ручаюсь,— сказал он, глотая слюну.

Настя поджала губы, спрятала руки под косынку и вышла...

— Анна Михайловна,— заговорил Николушка, обхватив руками голову,— тетушка... Вы хотите, чтобы я стал человеком... Вы хотите, чтобы я стал молод, здоров, честно зарабатывал деньги... Но, куда около меня эта женщина, я — труп... Она тащит меня в бездну... Она, она виновата в моем позоре...

— Подожди, Николай,— перебила тетушка дрогнувшим от страха голосом,— говори по-человечески... у меня голова кружится... Что случилось?

— Тетушка, я женюсь на Раисе!..

В тетушкиной спальне пахло валерьяном. Анна Михайловна сидела в кресле, повесив нос, голова ее была обмотана компрессом. Около нее — Африкан Ильич, помалкивая, вздыхал и курил. Изредка вздыхала и тетушка.

Было после обеда, то время, когда по усадьбам и деревням дремлют куры и собаки, похрапывают люди в тени забора, в сараях, в каретниках; мальчуган какой-нибудь сидит на куче золы, в завязанной узлом на спине рубашонке, и сладко зевает, держа в грязном кулаке заморенного воробья; а где-нибудь в избе молодайка, на сносях, поет однообразно, — перед ней чашка с теплым квасом, по столу ходят мухи, тошно пахнет луком, сквозь засиженное окно виден все тот же амбар и желтый выгон... Сосет под сердцем у молодайки, негромко растягивает она слова песни, под окном слушает ее свинья, отмахивая искусанным ухом надоедливых мух. Так вот и сейчас на черном крыльце пела Василиса-стряпка такую же песню. Африкан Ильич слушал, молчал и, наконец, сказал с шумным вздохом:

— Ох, баба как воет, проклятая...

Не открывая глаз, тетушка кивнула.

Нелегко досталась ей вчерашняя история: Настя, подслушав у дверей Николушкино заявление, ворвалась, как зверь, в сундучную комнату. Николушка при виде ее блестящих глаз потерял присутствие духа и вдруг, обернувшись к тетушке, всхлипнул:

— Вот видите!

Тогда Настя ударила его кулаком по лицу и вцепилась в волосы. Николушка плюнул на нее, махал руками, тетушка самоотверженно проникла между враждующими — и ей попало; прибежавший Африкан Ильич оторвал Настю от Николушки и унес, и она кричала: «Я твоей шлюхе прическу поправлю». Николушка, мотаясь головой то на тетушкином плече, то на жилете Африкана Ильича, снова рассказал историю своей пропащей жизни... Его отпоили водкой. Далеко за полночь слышны были в старом доме всхлипывания, по-

рой дикие вскрики и монотонный голос отчитывающей тетушки. В тот же вечер Машутка, несмотря на страх к привидениям, бегала под поповское окно и рассказывала потом на кухне, что поп Иван без подрясника, в подштанниках, ходил, как журавль, по горнице и все чего-то бубнил, а Раечка горько плакала, спрятав лицо в подушку.

Рано поутру тетушка пошла к попу Ивану, но он уже усаживал Раису в старенький тарантас и, холодно объяснив Анне Михайловне безнравственность ее племянника, зачмокал на мерина и уехал, вея, как флюгером, оторванной полой шляпы.

Тетушка побрела домой, оглядываясь на уезжающих, и вдруг заметила, как навстречу им из-под плотины вылез Николушка и замахал картузом. Поп Иван, привстав, хлестал лошадь. Раечка потянулась было из тележки, но, прижатая поповской рукой, закрылась платочком. От всех этих переживаний у тетушки сделалась мигрень.

Сдвигая с глаз компресс, Анна Михайловна проговорила слабым голосом:

— Грех ждать награды от людей, друг мой, но все-таки обидно,— уж очень он неблагодарный...

— Н-да,— сказал Африкан Ильич,— племянничек ваш действительно — пенкосниматель...

— Подумайте — во всем обвиняет меня... И Настя на меня сердится, будто я его с Раисой сводила...

— Отодрать их обоих,— вот как я это понимаю...

— Ох, нет, только не это, Африкан Ильич.

— А если не драть, так что же?

— Ума не приложу... Вот как вернется батюшка,— пойдите к нему, друг мой, и скажите, что я хочу исповедоваться и в воскресенье, если допустит, приму святое причастие.

Африкан Ильич крякнул, так как был безбожником, но из уважения к тетушке не высказывал своих убеждений. Анна Михайловна опять принялась клеветать носом. На черном крыльце пела Василиса все одну и ту же песню. И лучше бы не было этой песни на крещеной Руси.

Прошло два дня. В туреневском доме было спокойно, но молчаливо. За столом не засиживались, — быстро расходились по комнатам. Анна Михайловна в доброте своей думала, что Николушкин страстный порыв миновал: действительно, Николушка ходил небритый, угрюмый, опустившийся, и только по внимательным взглядам Настеньки, по кривым ее усмешечкам можно было догадываться, что с Николушкой не все обстоит благополучно...

Так и вышло. К вечеру Николушка надвинул до ушей мягкую фуражку, закурил папироску и вышел из дому. Тетушка спросила — «ты куда?» Он пожал плечами — «так, никуда» — и пошел через плотину на мельницу. Африкан Ильич в это время еще опочивал в сундучной комнате, и тетущку некому было вразумить, что значит — «никуда»; она не приняла даже во внимание, что не более получаса тому назад сама услала Машутку на мельницу за раками, которых мельников брат и дьячок Константин Палыч ловили бреднем в пруду.

В конце плотины, из оврага, поднималась двускатная, покрытая лишаями крыша водяной мельницы. За нею, на лугу, в тени огромных и коряжистых осокорей стояли распряженные воза. Еще подалее — вдоль низкого берега медленно двигались, по колена в воде, дьячок с рыжими развевающимися волосами и — в воде по грудь — мельников брат; тащили бредень и кричали: «Куда же глыбже-то?» — «Лезь, тебе говорят!» — «Да куда же глыбже-то?» — «Лезь, тебе говорят, антихрист»...

Николушка не спеша дошел до мельницы, спустился вниз к водосливу, где по скользким, шелковым от плесени доскам тонким слоем бежала вода; где тяжело и нехотя, все мокрое и почерневшее, в зеленых волосах, скрипя, вертелось водяное колесо; где в зеленоватой полутьме пахло сыростью и дегтем и, сотрясая весь ветхий остов мельницы, скрипели, стучали, крутились деревянные шестерни; где не раз деревенские мальчишки, лавливая лягушек на тряпочку, видели сквозь щели мостков, внизу, в омуте, водяного, который сидел на самом дне, ухватив перепончатыми лапами зеленые свай...

Николушке торопиться было некуда. Он бросил окурок в пену, под колесо, поднялся по шаткой сквозной лесенке наверх, где в луче света крутилась мучная пыль, легко порхали тяжелые жернова, сыпалась пахучая ржаная мука в сусеки,— захватил щепоть муки, растер ее между пальцами и вышел за ворота.

Здесь, на лужку,— кто в траве, кто на разбитом жернове,— сидели мужики, до света еще приехавшие с возами, с помолом. Николушка, сделав строгие глаза, приветствовал их баском: «Здорово, ребята!» Из мужиков кое-кто снял шапку; мельник Пров, старый солдат, сказал приветливо: «Садитесь, баринок»,— и подвинулся, уступив на жернове место Николушке...

— Так-то оно было,— продолжал рассказывать Пров, прижимая черным пальцем золу в трубочке,— нельзя счесть — сколько он погубил нашего народу... Вышлет генерал Барятинский войск, и все это войско Шамиль погубит... Сколько наших косточек на этом Кавказе легло,— и-их, братцы мои... Шамиль упорен, а генерал Барятинский еще упорнее: нельзя, говорит, этого допустить, чтобы русский император отступился перед Шамилем.

— Досадно это ему, конечно, сделалось,— сказал один из мужиков, нагнув голову и трогая носок лаптя.

— Ну да, вроде как досадно. Собрал генерал Барятинский огромное войско, обложил Шамиля со всех сторон,— ни ему воды, ни ему пищи: забрался он на самый верх, на гору, с черкесами, и оттуда стреляет, не сдается... Наши поставили лестницы и полезли, и полезли, братцы мои,— одних убьют, другие лезут... Генерал Барятинский стоит внизу, бороду вот таким манером на обе стороны утюжит, ревет: «Не могу допустить русскому оружию позора...»

— Бывают такие задорные,— сказал тот же мужик.

— Долго ли, коротко ли,— вышли у черкесов все снаряды. Тут наши их и осилили. Взошли на гору и видят— стоят черкесы кругом, а посреди их — Шамиль сидит на камне и коран читает. Наши кричат: «Сдавайся!» И что же, брат мой, думаешь — черкесы эти сядутся на коней,— сядет, завернется в бурку и прыгает в море. А с той горы ему до моря лететь восемна-

дцать верст... Ну, тут наши солдатики подоспели, наско-чили на Шамиля, скрутили ему руки...

— Все-таки генерал своего добился,— опять сказал тот же мужик.

Николушка сидел на жернове и курил, часто моргая. Дело в том, что он давно уже заметил неподалеку, около возов — Машутку. Она стояла у телеги, подняв колено и упираясь пяткой в спицу колеса, и весело по-сматривала в сторону Николушки. На ней была прямая черная кофта с желтой оторочкой,— мода сельца Туренева,— желтый платочек и красная юбочка.

— Н-да-с,— деловито нахмурившись, проговорил Николушка,— ну, прощайте, мужички.— Он лениво поднялся и пошел к возам, расставляя по-кавалерийски ноги.

Машутка глядела на него смеющимися глазами. Он,— будто только что ее увидел,— остановился, покачиваясь:

— А, ты здесь?.. Ты что тут делаешь?..

У Машутки задвигались тоненькие, точно чиркнутые угольком, брови, она приняла босую ногу с колеса и усмехнулся:

— Тетинька за раками послали, а эти черти только кричат, ни одного не поймали.— Она сейчас же затрясла головой и звонко засмеялась, махнула локтем в сторону пруда: — Дьячок не хочет в воду лезть, говорит — я лицо духовное.

Николушка обернулся в сторону широкого, синеватого к вечеру пруда. На истоптанном копытами низком берегу дьячок и мельников брат, низенький мужик, все еще ссорились, вырывая друг у друга бредень. Особной причины для смеха в этой глупой сцене, конечно, не было. Николушка презрительно поморщился.

— А ты вот тут сидишь,— сказал он с расстановкой,— смотри — тетушка тебе задаст. Кого дожидаться?

Смеющееся Машуткино лицо вдруг стало серьезным, рот сжался. Тенистыми от ресниц глазами она внимательно, почти сурово, взглянула на Николушку, дернула на лоб платок и пошла, осторожно ступая босыми ногами, и еще раз быстро взглянула на Николушку...

— Ах, черт возьми,— пробормотал он, втягивая особенно ставший почему-то пахучим воздух сквозь ноздри,— ах, черт!

Знакомой томительной болью завалило грудь... Стало отчетливо ясно — какая-то сила подняла его сегодня спозаранку с постели, толкала из комнаты в комнату, в коридор, на кухню, в сад и привела на мельницу...

Ноги его стали легкими, глаза — зоркими, все силы его, наливаясь сладостью и огнем, устремились к уходящей по берегу пруда девушке,— ветер отдувал ее красную юбочку, желтый платок... Давеча, когда она стояла у колеса, ее поднятое колено помutilo голову Николушке,— сейчас желто-зеленая на закате трава стегала ее колени.

«Плевать на Настю, на тетку»,— с божественной легкостью подумал он и пошел,— сами ноги погнались по лугу за девушкой. Она обернулась, ее чернобровое личико испуганно задрожало, она пошла быстрее, он побежал. Около гумна, у омета прошлогодней соломы, запыхавшись, он догнал ее и схватил за руку:

— Куда ты бежишь?

— Пустите, Николай Михайлович,— проговорила Машутка быстрым шепотом и выдергивала руку, но силы у нее не было.

— Слушай, Маша, я с тобой хотел поговорить,— вот о чем...

— Барин, миленький, не говорите...

— Дело в следующем... Я больше так не могу... Они меня сгноили... Я сегодня всю ночь не спал... Я на тебе женюсь, честное слово...

— Барин, миленький, увидят...

— Ничего не увидят... Ты смотри, как темно... Садись вот сюда, в солому... Какая ты прелесть... Когда ты шла по траве — ты ноги не исцарапала, а?.. Какой у тебя рот... Чего на меня уставилась, Маша, Машенька...

Совсем темными, косившими от волнения, невидящими глазами Машутка глядела на страшное, красивое, улыбающееся, оскаленное лицо Николушки,— будто издали слышала его бормотание. Чтобы не дрожал подбородок, она закусилa нижнюю губу. И глядя,— все откидывалась, отстранялась.

Когда Николушка по берегу пруда бежал за Машут-

кой, мужики, сидевшие у мельницы, глядели им вслед и говорили:

— Ай, баринок-то в нашу кашу мешается.

— А женатый.

— Ну что же, что женатый... Еще хуже женатый: к сладкому привыкает.

— Испортит он девчонку.

— Чья такая?

— Василисина, — сирота.

— Хорошая девчонка...

— Ишь ты, как за ней подрал.

— Ест сытно, спит крепко — чего же ему не гонять.

— Прошлым летом у нас одному такому артисту ноги переломали.

— Да и этому не мешало бы...

— К гумну заворачивает... смекалистый... Там ее, в соломе, и кончит.

— Зря все это, нехорошо...

— Да уж это совсем зря...

Двое туреневских парней, лежавшие здесь же, в траве, поднялись и, переглянувшись, побежали через плотину на деревню. Глядя им вслед, мужики говорили:

— Побьют они его...

— Ну, что же, и побьют — ничего...

— Дорого баринок за сладкое-то заплатит!..

11

Настя сумерничала, сидя у тусклого окна, в спальне. Узкой холодной рукой она придерживала у ворота пуховый коричневый платок — подарок тетушки, любившей все коричневое, добротное и скромное. Насте и хотелось и не хотелось спать, на душе было так же тускло, как в этом пыльном окне с едва видными очертаниями кустов, унылых строений, прикрытых покосившимися соломенными крышами, и мутно белевшего в сумерках белья на веревке.

Вошла тетушка, различимая по огоньку папиросы, села у стены на сундук и проговорила негромко:

— Огня-то не зажигаешь?

— Нет... так что-то...

— Ну, ну.— Было слышно, как тетушка сдержала зевоу.— Одна сидишь, Настя?

— Да, одна...

— То-то я смотрю — Николушки все нет и нет. Ушел, — а я думала — вернулся.

— Придет.

Снаружи к окну поднялся на лапах серый кот, внимательно поглядел через стекло в комнату, убрал одну лапу и другую и скрылся. Настя зашевелилась в кресле.

— Не люблю, когда коты в окно заглядывают... У меня подруга была кокотка, до такой степени боялась кошек, — падала в обморок.

— И Машутка еще куда-то провалилась, — быстро сказала тетушка.

— Я раньше очень хорошо жила, — после молчания проговорила Настя, — своя квартира: мебель — голубой атлас, две шубы: одна — вся в соболях, другая — норка, сверху — горноста́й. Бриллианты какие были. Все, подлец, пропил...

— Ах, Настенька...

— Конечно — подлец, самый последний...

— Ах, Настенька!..

— Что, Анна Михайловна?

— Думаю я, Настенька, простить бы вам ему надо...

— Ах, будто я ему не прощала... А сюда зачем приехала?.. Знаете — какие у меня поклонники были?.. Один граф на коленях круг меня ползал, дом на Сергиевской хотел подарить, купчую принес, — я его с купчей вместе за дверь выкинула, потому что он мне противный был... Прощать!.. У меня до сих пор на теле раны не заживают от его побоев, — простила... А когда он последнее мое колье в ломбард потащил, — знала я, что ни копеечки этих денег не увижу... Колье заложил и деньги мои пропил с Сонькой Еврионом, с кокоткой, моей подругой... Я ему всю морду расцарапала, — простила... Я бы на каторгу за ним пошла, только бы он меня одну любил...

Настенька оборвала, шмыгнула, стала шарить под собою в кресле носовой платок.

— Лучше вы с ним об этом-то прощении потолкуйте, Анна Михайловна... Он только о том и думает теперь, как бы мне мстить, зачем я его от девчонки, от этой Раисы, оторвала... Я теперь знаю, что у него на уме: к вашей Машутке подбирается...

— Бог знает, что вы говорите! — воскликнула тетушка и встала с сундука. — Извините меня, Настенька, но у вас разнузданное воображение... Я давно к вам приглядываюсь... Трудно, трудно с вами...

Настя всхлипнула, откинулась в глубь огромного кресла. И странно, — лицо ее словно стало светлее, розовее. На коричневых цветках старой обивки все яснее выступал ее тонкий профиль, причудливый свет золотил ее волосы, и вот выступила вся освещенная ее голова с закрытыми глазами...

— Что это? — воскликнула тетушка. — Свет какой!

Настя открыла глаза и ахнула: на штукатуренной стене лежал багровый четырехугольник окна.

— Огонь! — крикнула она, срываясь с кресла.

Тетушка молча подняла руки к голове. В дому уже хлопали дверями, слышался топот ног, испуганные голоса звали тетушку. Дверь с треском раскрылась, дунуло сквозняком, вошел Африкан Ильич.

— Пожар, — сказал он густым голосом, — гумна жгут. — Остановился у окна и глядел на зарево, заложив руки за спину, сутулый и багровый.

Настя легла на кровать, вниз лицом, в подушки.

Тетушка звала в коридоре:

— Николушка? Где Николушка? Девки, девчонки, бегите, ищите молодого барина.

Зарево разгоралось. На дворе осветились бревенчатые стены служб. От кустов легли густые мерцающие тени, у ворот черными силуэтами стояли любопытные... Послышались испуганные голоса:

— Идет, идет...

В дом заскочила одна из девчонок, громко шепча на весь коридор:

— Матушка барыня, пришел.

Тетушка поспешила навстречу и вдруг надрывающимся голосом вскрикнула:

— Господи, боже мой!..

Африкан Ильич повернулся от окна. Настя подняла голову с подушек. Вошел Николушка, без шапки, включенный, с белеющей под мышкой из-под разодранного кафтана рубашкой. Рот его был черный, — разбитый, глаз запух, щека вздута... Он локтем оттолкнул семявшую сбоку его тетушку и повалился на стул...

— Всех под суд!.. Перестрелять! — с воплем выкрикнул он и, быстро нагнувшись, стал выплевывать кровь...

Тетушка была уже около него с полотенцем и кувшином воды. Настя сидела на кровати, прямая, с вытянутой шеей, и пронзительно глядела страшными глазами на Николушку.

— Успокойся, успокойся, друг мой,— бормотала тетушка, прикладывая мокрое полотенце к Николушкиному лицу,— надо же, в самом деле, случиться такому несчастью... Кто это тебя?..

— Я одному так закатил,— в зубы!

— Ну, ну, хорошо, хорошо, успокойся, батюшка.

Африкан Ильич, расставив ноги, заложив руки в карманы, разглядывал Николушку.

— Где же все-таки вас так отделали? — спросил он.— На гумне, что ли, вы были, у вас — солома в голове...— И, нагнувшись к нему, он спросил тихо и строго: — Машу видели?

— Убежала, — ответил Николушка, — вырвалась...

Африкан Ильич быстро взглянул на тетушку, она сердито замотала щеками и подбородком. Настя, странно улыбаясь, соскочила с кровати, присела перед Николушкой и вкрадчиво, словно даже весело, сказала ему:

— Расскажи, Кока, расскажи, как же ты с ней?..

Гумна еще пылали, когда Африкан Ильич вышел в сад. Тонкий дым стлался над влажной травой, багровели стволы берез, поблескивала кое-где влажная листва, черно-красные тени чертили луг, сухая вершина тополя четко рисовалась в небе.

Старый дом, глядя в дымные луга багровыми окнами, словно поднялся по пояс из темных кущ, оживший, угрюмо нарядный, торжественный, с облупленными шестью колоннами, с полуобвалившимся фронтоном, над которым кружились в свету зарева розовые голуби.

Во втором этаже, в одном из окон, Африкан Ильич заметил прильнувшее на одну только минуту и затем отшатнувшееся бледное личико. Африкан Ильич поспешно вошел на балкон, взялся за дверь,— она была приоткрыта,— вошел в залу, где на пустых штукатуренных стенах лежали, едва шевелясь, китайскими тенями очертания листьев и ветвей, прислушался и пошел, увязая по колено в пшенице, из комнаты в комнату.

В библиотеке, где валялись у лестницы старые книги, поблескивали стеклянные дверцы и медные уголки, за черным шкафом, в углу, он увидел Машутку,— она была простоволосая, стояла, втянув голову, глядела, как прижатая крыса. Африкан Ильич взял ее за руку. Она закричала слабо и рванулась. Он взял ее крепче и повел вниз, к тетушке.

12

Когда Анна Михайловна, у себя в спальне, увидела Машутку, растерзанную, с опущенной низко головой,— у нее начало дрожать лицо, закатились глаза, она села на пол и часто, часто застонала: с ней сделался сердечный припадок. К утру припадок повторился, послали за земским врачом. В доме все присмирели. Африкан Ильич ходил в одних носках, черный, как туча. Машутка, избитая за волосы Василисой, пряталась по темным пыльным чуланам, которых много было в турневском доме. Николушка лежал, не вставая с постели, закрывшись с головой,— не принимал ни питья, ни пищи. Настя бродила, не находя себе места, осунулась, нос у нее заострился, будто все в ней горело, жгло ее огнем...

На третий день тетушке стало легче, к ней пришел поп Иван, и она провела с ним несколько часов в беседе, никому не ставшей известной. К вечеру Африкан Ильич зашел к Николушке, выдержал минуту молчания, во время которой скручивал папироску и не спеша закуривал ее, затем сказал:

— Потрудитесь немедленно встать, привести себя в порядок и пройти к Анне Михайловне в спальню.

Николушка слабо застонал под одеялом, но все же встал, оделся и, еле волоча ноги, придерживаясь за стены, явился к тетушке и, когда ему знаком разрешили сесть,— опустился у двери на стул, уронил голову, страдальчески закрыл глаза, окруженные лиловыми кровоподтеками. Африкан Ильич сидел на тетушкиной кровати и курил, щурясь на струйку дыма, тетушка сидела в кресле, сутулая, сморщенная, едва живая...

— Во-первых,— сказала она едва слышным от слабости, но твердым голосом,— потрудись мне все рассказать... Во-первых, ты должен признаться чистосердечно...

Николушка начал раскачиваться на стуле и долго не мог произнести ничего, кроме мычания, затем, найдя линию, стал говорить о том, что вся его жизнь — сплошная борьба и трагедия: он мечтает о самосовершенстве, о честном и суровом труде, а всевозможные случайности снова и снова толкают его в бездну. Его кровь застывает, душа дремлет в отчаянии, и он жадно тянется к светлему, чистому огоньку, который зажег бы его кровь, пробудил бы его к деятельности... Но каждый раз этот чистый огонек оказывается бесовским наваждением... Третьего дня, например, он пошел к возам, чтобы прогнать Машутку домой, чтобы не болталась зря... А эта девчонка, вместо того чтобы послушаться, принялась так на него смотреть лукаво, так задирала коленку на колесо, что перед ним мгновенно раскрылась бездна...

— Тетушка, — ударив себя в грудь и падая на колени, воскликнул Николушка, — неужели не понимаете, до какого падения довели меня люди... Протяните же мне руку, поднимите меня из этой бездны...

Анна Михайловна слушала, опустив нос, закрыв глаза, из-под морщинистых ее век текли редкие, должно быть, горькие слезы...

Африкан Ильич иногда покашливал, подбадривая этим тетушку. Справившись со своим волнением и горем, она сказала Николушке:

— Ступай к себе.

Он поклонился, сделав даже ручкой, и так как был еще весь в запале разговаривать, то постучался к Насте и говорил с ней до рассвета. Всю ночь скрипели половицы под его шагами, слышался его глухой, бархатистый голос в затихшем туреневском доме. Всю ночь наверху, где лежала пшеница, пищали и бегали мыши. Всю ночь сквозь кусты горело окошко в комнате у Анны Михайловны: стоя на коленях перед нерукотворным спасом, она молилась о том, чтобы господь сошел своим светом в унылую темноту этого ветхого, развалившегося, грешного дома.

Наутро к чаю Николушка вышел просветленным, — все завалы души были очищены и выметены за эту ночь. Настя пришла грустная, усталая и тихая. Африкан Ильич, взглянув на них, крикнул и, повернувшись

спиной, продолжал пить чай с блюда. Николушка попросил у него табачку. Африкан Ильич двинул ему табачницу локтем. Настя, разливавшая чай, усмехнулась. Николушка сказал:

— Куренье — дорогая и нездоровая привычка, думаю бросить курить.

В это время в столовую вошла тетушка, в черной, чепчиком слежавшейся шляпке с лентами под подбородком, и, глядя в угол, сказала:

— Николай, собирайся, мы едем...

У Николушки задрожало блюдо и пролился чай.

— Куда, тетенька?..

— В монастырь, — твердо ответила тетушка и, взяв Африкана Ильича за рукав, отвела в сторону для секрета.

Настя сидела, раскрыв серые глаза, молчала. Николушка водил пальцем по мокрой клеенке...

— Возьми с собой самое необходимое, в дороге мы поговорим, — сказала тетушка и присела к столу — выпить чашечку перед дорогой.

Час спустя тетушка и Николушка сели в тарантас на вышитые крестиками подушки. Николушка, в криво надетом картузе, жалобно улыбаясь, помахал Насте рукой в последний раз:

— Прощай, миленький.

Настя стояла на крыльце, закрыв до половины рот пуховым платком, не то плача, не то смеясь. Тетушка сказала:

— С богом.

Лошади тронули. Из-под тарантаса выбежал пес. Закудаhtала, бросаясь в сторону, испуганная курица. Уехали.

Настенька сошла и села на ступени крыльца, облокотясь под платком о колени, подперев подбородок. В синем, синем небе, — над туреневской усадьбой, над дорогой, на которой на завороте еще раз показался тарантас, над погибающими родовыми лесами, — плыли белые, равнодушные облака.

Африкан Ильич, прислонясь к столбику крыльца, курил, вздыхая. Вдруг один глаз у него, отвислый, как у собаки, подмигнул:

— Ай, ай, укатали петушка.

МИШУКА НАЛЫМОВ

(Заволжье)

1

По низовому берегу Заволжья,— в тени сырых садов, с прудами, купальнями и широкими дворами, заросшими травой, с крытыми соломой службами,— издавна стояли помещичьи усадьбы дворян Ставропольского уезда.

Проезжему человеку, сидящему на подушке, вышитой по углам петушками, в тарантасе, запряженном парой облепленных слепнями почтовых лошадемок, не на что было смотреть сквозь сонные веки: жара, пыль, пыльная, чуть вьющаяся дорога по степи, жаворонки над хлебами, далеко — соломенные крыши да журавли колодцев... Лишь изредка из-за горки поднимались вершины ветел, и тарантас катил мимо плоского пруда с рябым от отпечатков копыт берегом, мимо канавы, поросшей акацией, мимо белеющих сквозь тополевою зелень колонн налымовского дома.

Хотя в этом случае знающий уездные порядки непременно сворачивал лошадей с дороги и ехал не через усадебный двор, а задами, особенно если у окна сидит в халате сам Мишука,— Михал Михалыч Налымов,— с отвислыми усами, с воловьим, в три складки затылком, и поглядывает, насупясь, на проезжающий тарантас.

Бог знает, что взбредет в голову Мишуке: велит догнать проезжего и звать в гости,— лошадей отпрячь и —

в табун, тарантас — в пруд, чтобы не разохся. Или — не понравится ему проезжий — перегнется за окошко и закричит: «Спускай собак, — моя земля, кто разрешил мимо дома ездить, черти окаянные!..» А налымовских собак лучше и во сне не видеть. Или в зимнее время прикажет остановить проезжего и дать ему метлу — замести за собою след через двор. Хочешь не хочешь — вылезай из саней, мети. А около сидят собаки с обмерзшими усами.

Так знающий уездные порядки далеко огибал по степи налымовскую усадьбу. Редко заезжали в нее и гости, но уже по другой причине.

После полудня Мишука сидел, как обычно, у раскрытого окна. На другом конце зеленого двора, в каретнике, ворота были раскрыты, ходили конюхи. Вот они расступились, и из каретника, разом отпущенная, вылетела караковая тройка, запряженная в венскую коляску, — описала по двору полукруг и стала у крыльца так, что, разом осаженные, пристяжные сели на хвосты, коренник задрал голову, вошел копытами в рыхлую землю. Кучер, в черной безрукавке, с малиновыми рукавами, снял осыпанную мелом перчатку и, приставив большой палец к ноздре, высморкался. Подбежавший напрямик от каретника конюх взял коренника под уздцы.

Мишука, перегнувшись за окно, смотрел на лошадей, — хороша тройка — львы. Наглядевшись, он поднялся с кресла, пошел в соседнюю комнату и крикнул: «Ванюшка!» Вошел толстомордый мальчик, называвшийся еще по старине — казачком. Мишука присел на деревянную кровать и протянул казачку одну за другою толстые ноги, на которые Ванюшка натянул просторные панталоны, наместо халата Мишука надел парусиновую поддевку, взял в руки белый картуз с красным околышем, короткий арапник, выпятил полную грудь и, тяжело ступая по половицам дома, вышел на крыльцо.

Коренник, завидев Мишуку, обернулся и коротко, нежно заржал. Подошел приказчик — Петр Ильич, в долгополом зеленом сюртуке, и стал докладывать почтительно:

— Барышня Марья, да барышня Дуня, ваше превосходительство, да барышня Телипатра лошадей требовали утрася,— я не дал.

Мишука сошел с крыльца, раскидывая ноги, и стал глядеть на окна мезонина, где были спущены занавески. Глядел долго, погрозил туда арапником, расправил усы.

— Без моего разрешения никаких лошадей никому не давать, черти окаянные,— сказал он и шагнул к коляске.

— Слушаюсь... И еще садовник приходил в контору — жаловался, что барышня Фимка да барышня Бронька малину порвали, всю ободрали...

— Ах, черт,— сказал Мишука и побагровел,— вот я им задам...

Он подумал и ступил в коляску, которую сейчас же перекосило, грузно опустился на пружинное сиденье и двинул большой козырек фуражки на глаза. Кучер подобрал вожжи, обернул голову.

— В Репьевку,— сказал Мишука и, когда лошади тронули, крикнул: — Стой! Эй, Петр Ильич, позови их сюда! Живо!

Приказчик побежал в дом. Скоро на крыльце показались, запахивая шали и капоты, девушки: высокая и худая Клеопатра, испуганная Марья — неряха, растрепанная, в башмаках на босу ногу, позади них прислонилась к колонне красавица Дуня,— равнодушно глядела на небо, в дверях жалась Фимка и Бронька, деревенские девчонки,— глядели на Мишуку, наморщив носы...

— Вы,— сказал Мишука, поводя рыжими усами,— смотрите, я на три дня уезжаю, так вы у меня,— он хлестнул арапником по голенищу,— смотрите, чтобы ни одна у меня... того...

— Очень нам нужно,— сказала Клеопатра, скривила рот.

Красавица Дуня лениво повела плечами.

— Привезите сладкого,— сказала она, глядя на небо.

Мишука насупился, засопел, хотел сказать что-то еще, но раздумал, только крикнул кучеру: «Пшел!» — и уехал.

Дорогой, глядя по сторонам на ржаные до самого горизонта и пшеничные поля, Мишука вытирал время от времени багровое лицо платком и особенно

ни о чем не думал. Навстречу проехал мелкопоместный дворянчик на дрожках. Мишука приложил два пальца к козырьку и строго, выпученными светлыми глазами, посмотрел на кланяющегося ему дворянчика.

Проехали овраг, где в колдобине едва не сели рессоры, окатило грязью, и пристяжные, взмылясь, вынесли на горку,— дорога пошла покосами, продувал ветерок.

— Репьевские,— сказал кучер, показывая кнутовищем вперед, на межу, по которой катила запряженная парой длинная линейка. В ней над белыми рубахами сидящих покачивался красный зонт. Когда тройка поравнялась с линейкой, оттуда закричали: «Дядя Миша, к нам, к нам!» Между молодыми Репьевыми, братьями Никитой и Сергеем, сидела молодая рослая, светло-волосая девушка. В руке она держала красный зонтик, соломенная шляпа ее откинута на спину, на ленте, светлые глаза, смеясь, встретились с выпученным взглядом Мишуки. Он снял картуз и поклонился. Тройка далеко ушла вперед, а Мишука все еще думал:

«Кто такая? Кому бы это быть? — и перебирал в медленной памяти всех родственников.— Не иначе, как это — Вера Ходанская,— она».

Так он раздумывал и поглядывал по сторонам, куда за горкой не показался большой репьевский сад и вдалеке играющая, как чешуя под солнцем, Волга.

2

На террасе, обращенной к саду и к прудам и тенистой от зарослей сирени, сидели на креслицах брат и сестра — старшие Репьевы.

Ольга Леонтьевна, в кружевной наколке и в круглых очках, поджав губы, вышивала шерстью дорожку для чайного стола, а Петр Леонтьевич, одетый, как всегда, в черную безрукавку, помалкивал, прищуря один глаз, другим же лукаво поглядывал на сестрицу и топал носком сапога, голенище которого из моржовой кожи любил он, бывало, подтянуть, говоря: «Ведь вот, двадцать лет ношу, и нет износа». На голове у него была надета бархатная скуфейка. Ветерок веял на седую его бороду, на белые рукава рубахи.

— Не понимаю,— сказала Ольга Леонтьевна,— чем это все кончится?

— А что, Оленька?

Ольга Леонтьевна взглянула поверх очков:

— Прекрасно знаешь, о чем я думаю.

— О Верочке? Да, да. Я тоже о Верочке думаю.— Петр Леонтьевич, опершись о кресло, привстал и сел удобнее.— Да, да, это вопрос — серьезный.

— Перестань стучать ногой,— сказала ему Ольга Леонтьевна.

Брат стукнул еще раза три и сощурил оба глаза.

— Сереже, по-моему, надо бы на время уехать,— сказал он и подтянул голенище.

— Ах, Петр, и без тебя давно это знаю... Но дело гораздо, гораздо сложнее, чем ты думаешь... Помяни мое слово...

— Вот как?

— Да нет же, нет, как тебе не стыдно, Петр... Но — гораздо, гораздо сложнее, чем это кажется...

Брат и сестра замолкли. Пели птицы в саду. Шелестели листья... Старичкам было тепло, покойно сидеть на балконе. Издалека доносился звон колокольчика.

— Чей бы это мог быть колокольчик? — спросил Петр Леонтьевич.

Ольга Леонтьевна сняла очки, вслушалась:

— Налымовский колокольчик. Неужели Мишука? Какой его ветер занес?

Мишука, взойдя со стороны сада на балкон, подошел к ручке Ольги Леонтьевны и поцеловался с Петром Леонтьевичем, подумав при этом: «Целуется старый, а именье протряс,— либерал».

Мишука сел, снял фуражку, вытер платком лицо и череп. Петр Леонтьевич, улыбаясь, потрепал его по коленке. Ольга Леонтьевна, продолжая вышивать, сказала не совсем одобрительно:

— Давненько. Мишенька, не был.

— Занят,— земские выборы.

— Ну, что,— она мельком взглянула на брата,— мужичков, видно, опять прокатили?

— Да, мужиков мы прокатили,— Мишука хмуро отвернулся к саду,— не то теперь время, крамольные времена пошли...

— Давно я хочу тебя побранить, — после молчания заговорила опять Ольга Леонтьевна, — недостойно, Мишенька, дворянину выкидывать такие штуки, какие ты выкидываешь.

— Какие штуки?

— А вот, как недавно: зазвал в Симбирске какого-то купчика в гостиницу, напоил, обыграл и выбросил его из номера, да еще — головой его сквозь дверь, и дверь сломал.

— А! Это когда я этого, как его, — Ваську Севрюгина...

— Ах, батюшки, что же из того, что Ваську Севрюгина... а того три дня в чувство приводили... Гадко. Мишенька, недостойно...

— Севрюгин под утро в уборную пошел, — сказал Мишука, — в коридоре увидел лакея без фрака, — тот окошко моет... «Как, — говорит он ему, — ты смеешь при мне без фрака!» И принялся его колотить. А лакей — Евдоким — у моего еще отца в казачках был, всех нас помнит, — почтенный. Севрюгин вернулся из уборной в мой номер и рассказывает, как он бил Евдокима... «Понимаете, говорит, я суконный фабрикант». А я ему говорю: «Ты — хам, тебя на ситцевого переверочу...» Он обиделся, я его толкнул и — угодил в дверь... Только и всего.

Мишука после столь длинной речи долго вытирался платком, а Ольга Леонтьевна, опустив вязанье, не выдержала — засмеялась, покрылась морщинками, вся тряслась — по-старушечьи.

Из сада на балкон вбежала Вера, за ней — Сергей, прыгавший через три ступеньки, позади шел Никита, улыбающийся застенчиво и добро. Вера протянула Мишуке обе руки, весело взглянула на него серыми быстрыми глазами:

— Познакомимся, дядя Миша. Помните, как вы меня катали на качелях?

— Да, да, вспоминаю, кажется, — Мишука поднялся с трудом, — ну, как же, — Верочка... Да, да, качал; вспоминаю совершенно теперь...

Он нагнул к плечу голову. Его медвежьи глазки округлились. Вера взглянула в них и вдруг покраснела. Лицо ее стало милым и растерянным. Но так было только с минуту, она приподняла платье и присела важно:

— Поздравьте, — завтра мне девятнадцать лет...

Петр Леонтьевич, глядевший с радостной улыбкой на Веру, засмеялся, толкнул локтем сестру. Никита приложил ладонь к уху:

— А? Что она сказала?

— Сказала, что завтра я старая дева. По этому случаю у нас — гости, будем кататься на лодках...

— Да, да, конечно, будем кататься на лодках, — подтвердил Никита и закивал головой.

Вера села на балюстраду, обняла белую колонку, прислонилась к ней виском, Сергей, черный, горбоносый, с веселыми и недобрыми глазами, стоял рядом с Верой, заложив руку за ременный пояс. Никита то подходил на шаг, то уходил и, наконец, уронил пенсне. Мишука, глядя на молодых людей, начал хохотать. Ольга Леонтьевна, быстро поднявшись с креслица, сказала:

— Вот что — идемте-ка пить чай.

Никита замедлился на балконе. Стоя у колонки, протирал он пенсне и все еще смущенно улыбался, затем лицо его стало печальным, — и весь он был немного нелепый — в чесучовом пиджачке, клетчатых панталонах, тщательно вымытый, рассеянный, неловкий.

Вера, обернувшись в дверях, глядела на него, потом вернулась и стала рядом.

— Никита, мне грустно, — не знаешь, почему?

— Что ты сказала?

— Я говорю — грустно. — Она взяла его за верхнюю пуговицу жилета.

Он вдруг покраснел и улыбнулся жалобно.

— Нет, Верочка, не знаю, почему...

— Ты что покраснел?

— Нет, я не покраснел, тебе показалось.

Вера подняла ясные глаза, глядела на облако, ее лицо было нежное, тоненькое, на горле, внизу, дышала ямочка.

— Ну, показалось, — проговорила она нараспев.

Минуту спустя Никита спросил:

— Верочка, ты очень любишь Сергея?

— Конечно. Я и тебя люблю.

Никита слабо пожал ее руку, но губы его дрожали, он не смел взглянуть на Веру. В дверях появился Сергей, жуя ватрушку.

— А, сентиментальное объяснение! — Он хохотнул. — Приказано вас звать к столу...

3

Вдоль камышей, под ветлами, плыли лодки. В передней сидели Вера, Сергей и Мишука, который греб, глубоко запуская весла, тяжелые от путавшихся водорослей. Поглядывая из-под мокрых бровей на Веру, Мишука сопел и думал, что вот — гребет, унижается из-за девчонки.

— Жарко, — сказал он, вытирая усы.

— Дядя Миша, пустите меня на весла, — Вера поднялась, лодка качнулась, с задней лодки закричали: «Вера, Вера, упадешь!»

В камышах тревожно закричала утка.

— Нет, я начал грести, я и буду грести, — сказал Мишука. Ему очень нравились ноги Веры в кружевных чулках, кружево ее подобранных юбок. «Ах, черт, девчонка какая, — думал он, — ах ты, черт. Приемьш, отца-матери нет, норовит замуж выскочить... Ах, черт!..»

Сергей сидел поджав ногу, наклонив горбоносое лицо к плечу, — играл на мандолине. Черные его, хитрые глаза весело блестели, шурились на воду и, словно нарочно, избегали взглянуть на Веру. Солнце уходило на покой, но было жарко. Летел пух от деревьев, садился на зеркальную воду. Над головой Мишуки некоторое время трещали два сцепленных коромысла. Далеко в беседке, отраженной шестью колонками в воде, сидел Никита...

— Ника, — звонко по пруду закричала Вера, — чай готов? — но сейчас же под взглядом Мишуки покраснела, как и вчера, слегка сдвинула брови.

Сергей сказал, перебирая мандолину:

— У тебя голос очень красивый, Вера, право, право, — очень красивый голос...

Вера еще гуще покраснела, закусила губы. Мишука ухмылялся.

Лодку их перегнала другая, где на руле сидела тетка Осоргина, та, которая не могла ездить на рессорах,— ломались. Она была одета в лиловое просторное платье, в наколке и в перчатках и строго из-под густых бровей глядела на Нуну, Шушу и Бебе — трех своих дочерей, сидевших на веслах.

Нуну, маленькая и полная, украдкой всплакнула, не в силах вытащить из водорослей тяжелые весла. Шушу была зла от природы,— худа, с длинным красным носом. Бебе — младшая, с распущенными волосами, хотя ей уже было за двадцать,— гребла неумело и капризно, зная, что она миленькая,— в семье ее считали красавицей и звали «капризуля».

Проплывая мимо, тетка Осоргина сказала грудным басом:

— Что же, новорожденная, пора нам пить и есть.

Лодки подъехали к беседке, где, подперев щеку, сидел Никита у накрытого снежной скатертью и синим фарфором чайного стола.

С пискom и вскриками, подбирая платья, вылезли барышни Осоргины, степенно вышла тетка, выскочили Вера и Сергей, треща ступенями, грузно поднялся в беседку Мишука.

Вера села за самовар. Ее красивые, голые до локтя, руки, на которые не отрываясь глядел Мишука, казались свежими и душистыми, как разливаемый ею чай. Тетка Осоргина, посадив дочерей по возрасту сбоку себя, приказала басом:

— По две чашки с молоком, кусок хлеба и масло.

— Прелестный пруд, такая поэзия,— сказала Бебе и откинула косу с плеча на спину.

Шушу сказала:

— Наш пруд лучше здешнего пруда, только что лодки нет. И сад лучше.

Нуну молча, с грустными глазами, уписывала хлеб с маслом, куда мать не сказала ей:

— Воздержись.

Никита сидел в стороне, молча поправляя пенсне, улыбался в чашку. Сергей опять взялся за мандолину. Вера, подавая ему блюдце с малиной, шепнула:

— Ты обидел меня на лодке, проси прощения.

— Губы так близко — сейчас поцелую, — так же быстро, шепотом, ответил Сергей, не глядя.

Мишука вдруг всполошился:

— Или шептаться, или не шептаться... Тогда уже все давайте шептаться...

Барышни Осоргины захихикали. Вера залилась румянцем, блеснула влажными глазами.

Из-за потемневших лип поднялся красный шнур ракеты и рассыпался звездами. Бух, — ахнуло в высоте, завозились на ветлах в гнездах грачи.

— Прекрасная иллюминация, пойдёте ее посмотрим хорошенько, — сказала тетка Осоргина и первая сошла по хлопающим мосткам на берег.

Беседка опустела. Круглая ее крыша и шесть облупленных колонок неясно теперь отражались в темном с оранжевыми отблесками пруду. Там, в воде, она казалась лучше и прекраснее, — совсем такая, какую ее задумал построить прадед Репьев в память рано умершей супруги. Галицкие плотники срубили ее из любимых покойницей деревьев, поштукатурили и расписали греческим узором. Посредине ее был поставлен купидон из гипса, — в одной руке опущенный факел, другою закрыты плачущие глаза. Над входом сделана надпись, теперь уже стершаяся:

Подруга милая, увы, —
Все в жизни нашей быстротечно...
Я уйду туда, где вы
Живете мирно и беспечно...

Прадед Репьев каждый вечер сживал в этой беседе один, думал, вспоминал и шептал имя ушедшей подруги. Осенью, когда пруд был покрыт падающими листьями, камыши застилало туманом и в тусклую полосу заката улетали утки, — прадед Репьев исчез. Его нашли баграми на дне пруда, среди водорослей.

В аллее, в сырой листве лип, догорали разноцветные фонарики. Сквозь ветви была видна низкая над садом, желтоватая луна. Кучкой между стволами стояли деревенские девушки. Только что они отпели, по просьбе

Ольги Леонтьевны, старинную песню и грызали подсолнухи, отмахиваясь локтями от парней.

Сидя на земле, играл на скрипке скрипач-татарин печальную степную, дикую песню, покачивал бритой головой в тюбетейке. На стульях, слушая, как играет татарин, сидели Ольга Леонтьевна, Петр Леонтьевич, Осоргина и Шушу. Остальные ушли костюмироваться. Ко всеобщему удивлению, с ними увязался и Мишука.

— Ох, не нравится мне сегодня Мишука,— шептала Ольга Леонтьевна брату.

В кустах посыпались искры, зашипела ракета, провела в ночном небе шнур и лопнула высоко... Девушки, татарин, переставший пикировать, гости — все следили за ней, подняв головы. Когда ракета ухнула, Ольга Леонтьевна сказала со вздохом:

— Как это было красиво.

Наконец появились ряженые: Вера в турецкой шалях, в старинном чепце — турчанка, Бебе — рыбачкой — в сетке на волосах, с веслом в руке, Нуну — в длинной черной вуали — «ночь», Никита, все время поправлявший пенсне, — оделся кучером. Мишука был в накинутой на голову простыне...

— Ну, уж это я не знаю, что это за маска,— сказала, указывая на него, Ольга Леонтьевна.

Тетка Осоргина вынула из сумки лорнет, посмотрела и сказала:

— Маска — привидение...

Татарин заиграл полечку. Вера закружилась с Никитой, Нуну с Бебе, Мишука потаптывал ногами один, как гусь. В ветвях загорелся фонарик и упал.

Вдруг из кустов на деревенских девушек выскочил черт, в овчине, весь измазанный сажей. Подпрыгнул, именно как черт, схватил отчаянно завизжавшую красавицу Васёнку и стал вертеть ее, приплясывая...

Вера оставила Никиту и, часто обмахиваясь веером, пристально, с улыбкой, глядела на прыгавшего чертом Сергея, на Васёнку. Мишука придвинулся к Вере, загудел на ухо:

— По-моему, это слишком: ничего смешного и непристойно...

Вера, не слушая его, подошла к запыхавшейся, поправлявшей сбитую полушалку Васёнке, взяла ее за

лицо, заглянула в глаза и поцеловала их, поцеловала в щеку:

— Какая ты красавица, Васёна.

Васёнка вырвалась, со смехом убежала, схоронилась за девушек.

Осоргина неодобрительно закачала головой. Барышни Осоргины зашушукали, как осиное гнездо. Ольга Леонтьевна поднялась и предложила гостям идти в дом—ужинать.

Вера вдруг сказала Мишуке:

— Идемте, дядя Миша.

Взяла его под руку, повела по влажной серебристой от лунного света поляне, дошла до скамейки и села:

— Душно под липами...

— Душно, да,— сказал Мишука.

Вера прислонилась головой к его плечу:

— Ах, дядя Миша...

— Что?

— Нет, я говорю только — ах...

Мишука сдержанно засопел:

— Вера?

— Что, дядя Миша?

Он стал глядеть на ее тоненький, бледный в лунном свете профиль, придвинулся ближе, сопнул:

— Какое твое отношение ко мне?

— Люблю, дядя Миша...

Тогда Мишука молча, медведем схватил Веру, страшно вытянул губы и зарылся губами и усами ей в шею, под ухо...

— Поедем ко мне. Ну их всех к черту! Обвенчаемся. Слушай, едем.

Молча, глядя ему в лицо, Вера боролась, царапалась, ломая ногти, вырвалась, накинув шаль и чепец, побежала по траве до середины луга. Мишука побежал за ней. Она, сжав руками грудь, крикнула:

— Вы с ума сошли!

Из-за сиреневой куртины, из тени выступил Никита. Мишука остановился, круто повернул и пошел назад, в гущу сада. Вера подбежала к Никите:

— Пожалуйста, доведи меня до комнаты. Голова закружилась, не знаю отчего.

Никита взял Веру под руку и, пройдя несколько шагов, сказал шепотом, заикаясь:

— Я видел, Вера...

Ее рука сразу стала тяжелой. Вера обернулась, потом подняла к нему лицо. Он увидел, — в лунном свете, — по щекам ее текли слезы.

4

Сад опустел, только несколько девушек осталось в липовой аллее: сели тесно друг к дружке на траву, шушукались, сдержанно посмеивались. Три китайских фонарика горели еще между ветвей. Один вспыхнул и упал, задевая за ветви. Луна стояла высоко. Сергей, положив измазанную сажей голову на колени красавице Васёнке, рассказывал страшные истории. Девки толкали друг друга, охали со страху, хихикали...

— Вот, значит, сидит ночью дед Репьев в беседке, — вполголоса говорил Сергей, — рука Васёнки лежала у него на голове, то поглаживая волосы, то перебирая их, — ну, хорошо, — сидит он, сидит, вдруг видит — кто-то идет к нему по воде...

— Ох!

— Васён, это ты толкнула?..

— Кто это трогает?..

— Тише, девки!

— Идет она, идет к нему по воде, — деда взял страх. Прижался он в беседке, в углу, не шевелится... А ночь была лунная, как сейчас... Это — белое — идет, идет по воде. Остановилось у беседки. И дедушка видит, что это покойная бабушка к нему пришла...

— Ой, боюсь!..

— Да кто это меня трогает, в самом деле?

— Будет вам, девки...

— Ну, хорошо. Надо бы ему тогда не глядеть, зажмуриться. А он — взгляни. Бабушка засмеялась и указала ему пальцем на глаза. Дед встал со скамейки и пошел... Сошел с лесенки в воду. А бабушка смеется, манит его, летит по воде... Дед уже по пояс зашел — она манит. Деду вода уже по горло — идет... А впереди — омут. Дед — поплыл, хочет ее схватить. А бабушка наклонилась к нему и ушла с ним под воду, в бучило, где сомы с усищами...

Девушки полегли друг на дружку...

— Сергей! — крикнул вдруг в кустах чей-то голос. Девушки тихо застонали от страха. Сергей поднял голову.

— Что тебе, Никита?

— Пожалуйста, — мне тебя нужно.

— Я после приду.

— Понимаешь, случилась неприятная история.

— Опять история.

Сергей с неохотой поднялся, перепрыгнул через ноги девушек и пошел за Никитой к пруду.

— Ай да Налымов, — засмеявшись, сказал Сергей, узнав обо всем. — Ай да Мишука. Надо его проучить. Где он сейчас?

— Кажется, сидит в беседке. Он ходил к Верочкину окну и кричал ей, чтобы вышла — разговаривать. Он уверен, что она придет.

Никита слегка задыхался, поспевая за широко шагающим по мокрой траве Сергеем. Заблестели лунные отблески черного пруда. В беседке белела поддевка Налымова.

Мишука, сидя в беседке, думал, что стариков Репьевых ни капли не боится, но все же ему было скверновато на душе.

«Завелись около два кобеля, — думал он, — хвостом завертела... Царапаться... Я сам царапну... Приеммыш, — моли бога, — жениться посулил... А Сережку с Никитой вот этим угощу...»

Мишука мрачно осмотрел волосатый кулак. В это время слышались голоса, раздвинулись кусты, на поляне перед беседкой забелел пиджачок Никиты, рядом с ним, шибко, дерзко шагал вымазанный, как черт, Сергей...

Мишука в уме быстро сосчитал до десяти, загадав, что если Сергей в это время не успеет дойти до мостков, то — хорошо. Сергей дошел. Мишука засопел. Сергей, встав перед ним, спросил нахально:

— Я бы хотел знать — что это все значит?

— То есть как это — что значит?

— Я спрашиваю: как понять твою наглость по отношению Веры?

Никита сочувственно закивал: так, так...

— Убирайся, послушай, к чертям,— сказал Мишука.

— С удовольствием. Предварительно нам только придется с тобой стреляться.

— Что? — Мишука привстал.

Но Сергей сейчас же ударил его по щеке. Мишука опять сел, страшно сопя,— начал расправлять локти, но соображение у него работало туго.

— Ну, ну,— только сказал он.

Братья Репьевы озабоченно ушли.

Мишука, все свирепея, сидел на лавке, пот лился по его вискам и носу из-под фуражки... Наконец он замахнулся и со всей силы ударил по столу — доска треснула.

Взяв дуэльный ящик, братья бегом вернулись к пруду, но беседка была пуста. Сергей крикнул:

— Налымов, Мишка, Мишука!

В ответ лишь завозилась грачиха в гнезде в темных ветлах.

— Вот тебе раз,— сказал Сергей,— удрал. Ну, погоди!

Он зарядил пистолеты и выстрелил два раза в воздух... Круглое эхо покатилося по пруду. Закричали грачи спросонок. Братья, смеясь, пошли к дому. В узком месте тропинки из акаций вышла навстречу Вера. Губы ее дрожали, пальцы на груди перебирали шаль.

— Простите меня, Никита, Сережа,— проговорила она, сдерживая короткие вздохи...

— Господь с тобой, Верочка, вот ерунда, иди спать,— проговорил Сергей и увидел ее огромные глаза, полные слез, и, чувствуя, что сейчас произойдет то, что не совсем было нужно, чтобы происходило, слегка, но твердо отстранил Веру, кивнул ей, блестя глазами, и ушел, посвистывая.

Никита задержался около Веры. Она медленно подняла на груди шаль и прикрыла ею низ лица и рот.

Никита сказал:

— Он, кажется, умываться пошел,— весь ведь в саже.

Вера глядела на месяц,— глаза ее были печальные, такие чудесные,— будь Никита не так робок, попросил бы позволения умереть сию минуту — такие любимые были глаза.

— Верочка, ты не думай,— Сережа тебя очень, очень любит,— проговорил он, запинаясь.

— Ну, хорошо... Пойдем домой, Никита, милый.

Мишука, ломая кусты, вылез из гущи сада и шел теперь по огородам и цветникам, перелезая через канавы и чертыхаясь.

Когда громыхнули вдали два выстрела, он сразу присел, бормоча:

— Афронт, афронт,— ух, пронеси, пресвятая богородица.

Но выстрелы не повторялись, погони не было слышно, и Мишука осмелел — опять начал ругаться, ломал по пути ветки молодых яблонь. Наконец, выбравшись из чертовых канав, зашагал по травянистой поляне вдоль пруда. Здесь у воды паслась, позвякивая железными путами, сивая лошадь.

— Ага, ты вот чья, сволочь вонючая,— сказал Мишука, выставляя челюсть. Подскочил к лошади, закрутил ей хвост и со всей силой пихнул ее с берега в воду.

Лошадь, фыркая и щеря зубы, поплыла к тростнику. У Мишуки немного отлегло сердце, мысли прояснились, и вдруг, потерев нос, он сказал:

— Отниму лес. Довольно я вам спускал. Выдумали,— межа через Червивую балку, врешь — межа через Ореховый лог. Вот вам и репьевский лес — кукиш.

5

— Три раза в прошлый год в Москву ездили: есть у нас там такая Софья Ивановна,— говорил налымовский кучер, лежа в траве около конюшни и грызя соломинку.— Барышень нам поставляет. Намеднись всучила Селипатру — худущую девку,— зла, как дьявол, но барину угодила. Привезли ее на усадьбу, сию же минуту устроила скандал: весь бутор, платишки, сундучишки других-то барышень из окошка как начала кидать... Барышни — ах, ах! — бегают по двору в одних рубашонках. Мы с барином животы надорвали.

— Татарин, прости господи, твой барин,— проговорила, сидя на траве около садовника, умильная скотница.

— Это он с жиру, — сказал садовник, — с жиру всегда человек бесится по бабьей части. Я знал одного человека — с шестью бабами жил, и хороший был человек.

Скотница вздохнула, поправила платок на голове. На конюшне топали лошади, хрустели сеном.

Налымовский кучер рассказывал:

— На прошлые именины гостей у нас два дня поили, которых поплоше — носили на ледник опамятоваться. Что же барин наш выдумал: повел гостей к барышням. Гости, конечно, рассолодели, а барин шепчет мне: «Поди принеси с пасеки колоду с пчелами». Принесли колоду, просунули ее в окно. Пчелы, известно, греха не любят и принялись гостей в голые места чкалить, а гости все до одного голые. Вот мы с барином животы и надорвали.

Скотница плюнула.

Садовник сказал:

— Да. Наши господа — это господа: аккуратные, правильные, не безобразничают.

— Мелкопоместные.

— Ну что ж из того! А ты бы лучше молчал, чем барина своего срамить,— холоп.

Налымовский кучер собрался ответить садовнику, но в это время к сидящим подошел Мишука.

— Запрягать! — крикнул он и уставился выпученными глазами на садовника и умильную скотницу. — Чего расселись, не видите, кто перед вами стоит?

Скотница поднялась. Садовник, сидя, свертывал папирску, закурил, осветил сернячком черную бороду.

— Я что тебе сказал, встать! — крикнул Мишука.

— Полегче, барин. Не на своем дворе.

Мишука фыркнул носом и повернулся к скотнице:

— Баба, ты кто такова?

— Мы скотницы, барин.

— Вот тебе, дура, три рубля. Отрежь у коров сиськи. Я завтра тебе еще три рубля подарю. Поняла?

— Что вы, батюшка, у коров сиськи резать!

— Я говорю — режь. Вот тебе еще полтинник.

— Натё ваши деньги... Грех, прости господи.

Лошадей подали. Мишука влез в коляску, плюнул на репьевскую землю и уехал — залился малиновым нальмовским колокольцем.

В репьевском доме все уже легли спать, только у Петра Леонтьевича еще теплился свет в окошке.

Каждый вечер, перед тем как помолиться на сон грядущий, Петр Леонтьевич заходил к сестре. Ольга Леонтьевна в это время либо сидела за приходо-расходными книгами, либо читала листок отрывного календаря, придумывая: что бы такое заказать на завтра вкусное?

Поцеловав руку сестре и дав ей свою руку для поцелуя, Петр Леонтьевич говорил неизменно:

— Не забудь, душа моя, помолиться.

Так было и сегодня. Петр Леонтьевич сказал Ольге Леонтьевне, поцеловав ей руку: «Не забудь, душа моя, помолиться» — и не спеша пошел в свою комнату, осторожно притворил дверь и вдруг увидел на белой печке таракана.

Петр Леонтьевич снял сапоги, осторожно и побряхтывая влез на лежанку и стал читать заговор. Таракан пошевелил, пошевелил усами и упал. Петр Леонтьевич сказал:

— Так-то.

И полез с лежанки. В это время вдалеке раздались два выстрела. Петр Леонтьевич открыл окно и стал слушать.

Долго после выстрела была тишина в саду, затем приблизились голоса — мужской и женский.

— Милый, голубчик, что мне делать? Я не могу.

— Конечно, конечно, Верочка, ты права, ты совершенно права...

— Не сердись на меня, Никита...

— Я повторяю — ты совершенно права, иначе ты и не могла мне ответить.

— Покойной ночи, Никита.

— Спи спокойно, Верочка.

Хлопнула балконная дверь. Петр Леонтьевич некоторое время подмигивал в темное окошко. Затем за стеной послышались шаги, скрипнула кровать. Это вошла Вера и начала плакать, сначала неслышно, потом все

громче. Сморкалась. Петр Леонтьевич накинул безрукавку и постучался в дверь к Верочке.

— Ну вот, ты и плачешь,— сказал он, садясь против нее и топая ногой.

— Дядя, уйдите.

— Уйти-то я уйду, а ты все-таки расскажи, отчего ты плачешь,— голова, что ли, болит?

— Да, болит.

— Кто стрелял-то?

— Сережа.

— В кого?

— В грачей.

— Ну-ну, Верочка,— Петр Леонтьевич положил ей руку на голову,— дитя милое?

— Что, дядя?— Вера сразу еще громче заплакала, легла лицом в подушку.

— Сережу очень любишь?

— Да.

— Это я все устрою,— сказал Петр Леонтьевич задумчиво.— Ты, знаешь что?— ты ложись-ка спать, а я пойду к себе, да и подумаю. А утром пойдем с тобой гулять в рощу. Сядем на травку, ты поплачешь немножко, мы поговорим, и все устроится.

Петр Леонтьевич поцеловал Веру и, вернувшись к себе, стал перед киотом, где горели лампы и восковые свечи, и долго не мог собраться с мыслями — начать молиться: все улыбался в бороду.

6

Приехав с подвязанным колокольчиком на восходе солнца к себе на усадьбу, Мишука оставил лошадей у конюшни и пошел по черной лестнице в мезонин к барышням, предполагая, что врасплох накроет девиц за блудом.

«Ну, уж накрою, ну, уж я накрою»,— думал он, распаляя сам себя. Ступени скрипели. Он ударил ногой в дверь и вошел в девичью, дико озираясь.

В душной девичьей, сумеречной от розовых штор, было тихо и сонно. Фимка и Бронька подняли взлохмаченные головы с подушки,— спали они в одной постели,— увидели грозного барина и спрятались под одеяло.

— Вставать!— крикнул Мишука.

Марья, зачмокав спросонок, потянулась так, что вся выворотилась, зевая оглянулась на барина и прихлопнула рот ладонью. Дуня повернулась голым боком. Клеопатра неподвижно лежала на спине, прикрыв остро торчащим локтем глаза.

— Водки,— сказал Мишука появившемуся в дверях неспроspanному Ванюшке,— закуски. Живо!..— И, подойдя к Клеопатре, потянул ее за локоть:— Продери глаза, грачиха.

Девушкам он приказал, не одеваясь, оставаться в рубашках. Снял кафтан, сел на диванчик за стол и довольно свирепо поглядывал, посапывал, покуда Ванюшка не принес на большом серебряном подносе разнообразную закуску, графин с водкой и прадедовскую круглую чарку.

Тогда Мишука, расставив локти, принялся за еду. Наливал чарку, сыпал в нее перец, страшно сморщившись, медленно выпивал,— дул из себя дух, затем принаравливался вилкой к грибку поядренее.

Марья, раскрыв глаза, следила за тем, как во рту Мишуки исчезают куски балыка, ветчины, целые огурцы, пирожки, помазанные икрой. Фимка и Бронька переминались у печки и тоже пускали слюни. Клеопатра, положив ногу на ногу, спустив с плеча рубашку, шибко и сердито курила. Дуня прибирала большие волосы. Вдруг Мишука поперхнулся, фыркнул и принялся хохотать, тряся животом стол.

Дуня сейчас же подбежала к нему, села на колени, ластилась:

— Что это мне спать хотелось, а увидела тебя — весь сон прошел. Чему смеешься-то?

— Подлиза,— проговорила Клеопатра, пустив дым через нос.

Мишука, захлебываясь, сказал:

— Как я мерина-то, мерина — в воду... А мерин-то — их любимый: старый, на покое, а я его — в воду...

Фимка и Бронька засмеялись, сделав куриные рты, и вытерлись. Мишука встал из-за стола, потянулся, все еще улыбаясь. Дуня заглянула ему в глаза:

— На мою постельку ляжете?

Мишука, не отвечая, подошел к Фимке и Броньке, взял их за загривки и стукнул друг о дружку. Девчонки

визгнули, присели. А он подошел к Марье и хватил ее ладонью по жирной спине. Марья ахнула:

— Ах, батюшки!

— Ничего,— сказал Мишука,— для этого тебя и держу, корова.

Затем начались возня и всевозможные игры. Мишука барахтался, хохоча под навалившимися на него кучей девушками, стаскивая их за ноги, за головы, катался, ухал. Половицы ходили ходуном, и внизу, в полутемном, всегда запертом зале с портретами дам и кавалеров в напудренных париках, с золоченой мебелью, изъеденной мышами, печально звенела подвесками хрустальная люстра...

Навозившись и взмокнув, утешенный и веселый, Мишука ушел по внутренней лесенке вниз, в кабинет и лег спать.

К вечеру надвинулась большая гроза, было душно,— погромыхивало. Пошел дождь — мелкий, отвесный, теплый, слабо шумел в сумерках в листве. Изредка озярялись окна далеким синеватым светом.

Мишука сидел на диване, подложив руку под острую морду борзой суки, любимицы,— Снежки, и слушал сонный, однообразный в сумерках, шум дождя за открытым окном.

Снежка взглядывала выпуклыми глазами на хозяина и снова опускала сонные веки. При раскатах грома она оборачивалась к окну и рычала. Мишука поглаживал ее голову и думал о происшествиях вчерашнего дня.

Только теперь, в эти дождливые сумерки, додумался он до того, что вчера произошел с ним жестокий афронт, что над ним насмеялись, потом его отвергли, потом его побили, потом напугали,— грозили застрелить.

Мишука даже зарычал, все это ясно себе представив:

— Не уважать меня, Налымова... Меня бить по щеке... Меня, Михала Михалыча Налымова,— оскорбить... Захочу — губернию переверну... А меня — они... Меня — эти...

Он спихнул собаку с колен. Снежка слабо визгнула, полезла под диван и там стала вылизываться, щелкать зубами блох. Мишука сидел, раздвинув ноги, глядя пе-

ред собою на неясные пятна портретов. Необходимо было что-то сделать: гнев подпирал под самую душу. Мишука стал было думать, как изорвет платье на Вере, как измочалит нагайкой Сережку,— но эти представления не облегчили его...

Он тяжело поднялся с дивана и зашагал по кабинету. «Ага, пренебрегаете, ну хорошо...— Он взял пресс-папье и расшиб его о паркет.— Ну и пренебрегайте». Гулкий стук прокатился по пустынному дому. Мишука стоял и слушал,— все было тихо. Он взял со стола переплетенную за пять лет сельскохозяйственную газету,— волюм пуда в два весом,— и тоже швырнул его на пол. Опять прокатился стук по дому, и — снова тихо,— никто не отозвался.

«Мерзавцы, никому дела нет до барина... Только бы воровать. Только деньги с барина тащить»,— подумал Мишука и вдруг с омерзением вспомнил давешнюю возню в мезонине.

— Твари,— уже совсем зарычал он,— я вам покажу, как на меня верхом садиться!.. Ванюшка!

Мишука пошел по темной комнате к лакейской и закричал:

— Ванюшка, беги на конюшню, скажи — барин приказал запрячь две телеги, живо... Да позови мне приказчика... Живо, сукин сын!..

Дождь хлестал в нарочно настежь раскрытые окна мезонина, где девушки, растрепанные и растерзанные, всхлипывая, завязывали в узлы платишки, бельишко, разные грошовые подарки. Дуня уже сидела внизу, на телеге под попоной, со зла — молчала. Промокшие рабочие ходили с фонарями, посмеивались. Дождь шибко шумел в тополях, наплюхал большие лужи. Сбежала с крыльца Марья, вспухшая от слез,— поскользнулась, и узел ее шлепнулся в лужу,— заржали рабочие, Марья завыла и полезла на телегу. В доме на мезонинной лестнице Мишука кричал, щелкая арапником по голенищу:

— Вон, грязные девки, вон!

Кубарем, с вытаращенными глазами, скатились вниз Фимка и Бронька,— Мишука для смеха подстегнул их по задкам.

— Батюшки! Убивают!— заорали Фимка и Бронька и заметались по лужам между телегами. Их посадили, прикрыли рогожей. Мишука кричал:

— Коленкой ее, коленкой поддавай ворону!

Приказчик и Ванюшка вывели, наконец, Клеопатру. Она отбивалась, кусала руки, выворачивалась, дикая, как ведьма.

— Врешь,— хрипло сказала она Мишуке и ощерилась,— не прогонишь, не уйду, я тебе не собака...

Наконец Клеопатру усадили. Возы тронулись. Рабочие, громко смеясь, раскачивая над травой фонари, ушли к людской, пропали за отвесной завесой дождя. Мишука, удовлетворенный, наконец, за эти два дня, отомщенный за все обиды, ушел в дом.

Никто, даже конюх, сидевший на переднем возу, не видел, как на повороте сплошь залитой водою дороги Клеопатра соскочила с задней телеги и скрылась за кустами в саду.

7

Петр Леонтьевич вошел в комнату мальчиков, которая называлась так по старой памяти. Комната была, как и все комнаты в репьевском доме,— высокая, штукатуренная, со старой попорченной мышами и молью мебелью. На одной стене, над диваном, висели распластанные крылья уток, стрепетов, кобчиков, грачей, давным уже давно насквозь пропыленные. Когда сюда входили со свечой, то казалось, будто по стене ползают безголовые чудища. Трофеи эти принадлежали Сергею, не позволявшему к ним притрагиваться. Лет двенадцать тому назад, когда ему подарили первое ружье, он с утра до ночи бухал по саду, на пруду, в лугах и до того провонял падалью и сад и дом, что Ольга Леонтьевна решила не выходить из своей спальни.

С улыбкой, глядя на стену, покрытую вороньими крыльями, вспоминал Петр Леонтьевич прошлое время. Хорошее было время. Многие, многие милые люди были еще живы. Сережа и Никита, славные мальчики, подавали большие надежды. Жива была дорогая Машенька, всегда в белом, всегда приветливая, всегда озабоченная,— как бы получше накормить гостей, или поженить

кого-нибудь из близких родных, или уладить какую-нибудь неприятность.

Каждый день в столовой или на балконе шумели гости, приезжал дядя, старый Налымов, большой шутник, — любил, бывало, на удивление всем, откусывать ломоть дыни с нюхательным табаком. Приезжала с прогулки Ольга, красивая, веселая и загадочная, в бархатной амазонке. Снимая высокую перчатку, давала целовать руку... Многие, многие были в то время влюблены в Ольгу Леонтьевну... Ушло все, как туман, ушли хорошие дни...

Петр Леонтьевич в то же время пытался поправить свои сильно запутанные дела: построил суконную фабрику, но не застраховал, считая, что страховка — величайший из грехов. Человек должен быть открыт перед богом, как Иов, но не перестраховывать свое счастье. Фабрика сгорела. Петр Леонтьевич придумал построить раковый консервный завод. В реке Чермашне водилось непостижимое количество матерого рака, — рвались бредни, и деревенские мальчишки, купаясь, бывали не раз ими шипаны за животы и другие места.

Раковый завод построили, даже заказали в Москве две майоликовые скульптуры, чтобы поставить у входа. Приготовлено было десять тысяч расписных горшочков, в которых предполагалось посылать прямо в столицы консервный биск. Но внезапно на раков в реке Чермашне напала чума, и рак полез подыхать на берега и весь вымер. Это было почти разорением.

Тогда Петр Леонтьевич стал придумывать что-нибудь более подходящее к современному веку пара и электричества и построил конный утюг для расчистки снежных дорог и заносов.

Издали съехались помещики и мужики глядеть, как в облаках пара и дыма двинулся сквозь сугробы огромный железный утюг, растапливая снег раскаленными боками. Шесть пар лошадей протащили его более чем с версту. День был морозный. Петр Леонтьевич вылетел на беговых санках на расчищенную дорогу, но раскатился, упал и вывихнул ногу.

Утюг он приказал поставить в сарай и с тех пор не изобретал более уже ничего, так как имение его, Соломино — Трианон тож, — пошло с торгов, и пришлось

с мальчиками навсегда перебраться к сестре в Репьевку, — доживать тихие дни.

Так, вспоминая, вертя в пальцах тавлинку с нюхательным табаком, Петр Леонтьевич не заметил, как в комнату вошел Сергей.

— Ты ко мне, папа?

— Да, да, к тебе, дружок. Притвори-ка дверь.

Сергей усмехнулся, затворил дверь и, став перед отцом, глядел в глаза с той же усмешкой. Петр Леонтьевич взял сына повыше локтя, сморщил нос:

— Сережа, скажи мне по чистой совести, — ты любить способен?

— Да, папа, способен.

— Видишь ли, дело вот в чем. Ах, Сережа, если бы ты знал — какой это удивительный человек. Ты прямо недостойн ее любви... У тебя, знаешь, в глазах что-то такое новое для меня, что-то легкомысленное...

— Ты хочешь меня спросить — люблю ли я Веру? — насмешливо, почти зло, спросил Сергей.

— Подожди, подожди, ах, как ты всегда забегаешь... Я говорю, — у тебя что-то легкомысленное... Вера — удивительная девушка, такое сокровище, такая милая, прелестная душа. Но опасно ее спугнуть. Спугнуть, и она на всю жизнь затаится, — ты понял?.. Нужно страшно деликатно с ней... Я, видишь ли, являюсь сватом, друг мой...

Сергей, нагнув голову, заходил по комнате. Петр Леонтьевич оборачивался к нему, как подсолнечник, мигал все испуганнее. Сергей остановился перед отцом и, не глядя на него, сказал твердо:

— Прости, но на Верочке я жениться не могу.

— Не можешь, Сережа?

— Я очень уважаю и люблю Веру. Да. Но — не жениться. На что мы будем жить? Зависеть от тети Оли? Поступить в земство статистиком? Народить двенадцать человек детей? Я — нищий.

Петр Леонтьевич, жалко улыбаясь, глядел себе под ноги. Сергей опять заходил.

— Я уезжаю в Африку, — сказал он.

— Так, так.

— В Трансвааль. Во-первых, — там меня еще не видели, — это раз. Во-вторых, — там есть алмазы и золото.

А Вера... — он опять остановился, черные глаза его блестя, — пусть Вера выходит за Никиту. Во всех отношениях это хорошо, честно, да.

8

Вера перебирала клавиши рояля. Ольга Леонтьевна, опустив на колени вязанье, глядела на спустившиеся за окном сумерки. Никита сидел у стены, опершись локтями о колени, и тоже молчал. Утихали птицы в саду. Вера брала теперь одну только ноту — ми, все тише, тише, потом осторожно, без стука закрыла крышку рояля. Помолчав, она сказала:

— Поеду в Петербург, поступлю на курсы, обрежу волосы, стану носить английские кофты из бумазеи.

— Вера, перестань, — тихо сказала Ольга Леонтьевна.

— Ну, никуда не поеду, волосы не обрежу, не буду носить английские кофты.

Никита осторожно поднялся со стула, постоял, плохо различаемый в сумерках, и на цыпочках вышел. Вера прижала голову к холодному роялю.

— Ох, — шумно вздохнула Ольга Леонтьевна, — какие все глупые.

— Я тоже, тетя?

— Ну, уж об этом сама суди.

— Тетя Оля, — сказала Вера, не поднимая головы, — я очень дурная?

— Знаешь, я вот сейчас уйду к себе и запрусь от всех вас на ключ.

— Мне, тетя Оля, Никиту жалко... Он такой — печальный. Все бы, кажется, сделала, чтобы не был такой.

Ольга Леонтьевна насторожилась:

— Верочка, ты серьезно это говоришь?

Вера молчала; не было видно, какое у нее лицо. Ольга Леонтьевна тихо подошла, остановилась за ее спиной.

— Я сама знаю, как тяжело быть отвергнутой, — даже самой красивой женщине это всегда грозит: не оценят сокровища, и все тут. — Ольга Леонтьевна помолчала. — Только иное сокровище должна ты охранять, Вера. Душа должна быть ясна. Все минет — и любовь,

и счастье, и обиды, а душа, верная чистоте, выйдет из всех испытаний... Теперь твои страдания очищают душу.— Ольга Леонтьевна даже подняла палец, голос ее окреп.— Посланы тебе твои страдания...

— Тетя Оля, не понимаю — о чем вы говорите, — какие страдания?

Ольга Леонтьевна помолчала. Осторожно взяла голову Веры, прижала к себе, поцеловала долгим поцелуем в волосы.

— Ты думаешь, — у нас, стариков, радостей было много? Ох, как тяжело в молодости вздыхалось.

Вера вытянулась, медленно сняла с плеча руку Ольги Леонтьевны:

— Хорошо, я останусь с вами. Навсегда. Замуж мне не хочется — я пошутила.

— Ах, не то говоришь. — Ольга Леонтьевна с отчаянием даже толкнула ее. — Не жертва мне от тебя нужна. Не в монастырь же я тебя уговариваю.

— Что же вам от меня нужно?

Ольга Леонтьевна даже сделалась как будто ниже ростом. Вера опять опустила голову. В доме — ни шороха. Зашелести ветер листьями за окном — Вера, может быть, и не сказала бы того, чего так добивалась тетка. Но в саду — та же ночная тишина. Все затаилось. И Вера сказала едва слышно:

— Хорошо. Я выйду замуж за Никиту.

Ольга Леонтьевна молча всплеснула руками. Затем пошла на цыпочках. Но за дверью шаги ее застучали весело, бойко — так и полетели.

Пришел Никита. Стал у печки. Вера, все так же, не поднимая головы, сказала:

— Знаешь?

— Да, знаю, Вера.

— Ну вот, Никита.

Она поднялась с рояльного стульчика. Взяла голову Никиты в руки, губами коснулась его лба.

— Покойной ночи.

— Покойной ночи, Верочка.

— Что-нибудь почитать принеси мне.

— Хочешь новый журнал?

— Все равно.

Никита долго еще смотрел на едва видную в сумерках дверь, за которой скрылось, легко шурша, милое платье Веры. Потом сел на рояльный стульчик и молча затрясся.

С открытой книгой, но не читая, Вера лежала на низеньком диванчике, обитом ситчиком. За бумажным экраном с черными человечками колебалась свеча. Брови Веры были сдвинуты, сухие глаза раскрыты. Она приподнималась на локте, прислушиваясь.

Уже несколько раз из кустов голос Сергея шепотом звал: «Вера, Вера». Она не отвечала, не оборачивалась, но чувствовала — он стоит у окна.

Затем стремительно она поднялась. Сергей стоял с той стороны окна, положив локти на подоконник. Глядел блестящими глазами и усмехался.

— Что тебе нужно? — Вера затрясла головой. — Уйди, уйди от меня.

Сергей легко вспрыгнул на подоконник, протянул руки. Вера глядела на его короткие сильные пальцы. Он взял ее за локоть, обвил ее спину. Вера присела на подоконник. Закрыла глаза. Молчала. Только по лицу ее словно скользил темный огонь.

— Люблю, милая, — сказал он сквозь зубы, — не гони. Не будь упрямая.

Вера коротко вздохнула, опустила голову на плечо Сергею. Он наклонился, но губы его скользнули по ее щеке.

— Не надо, Сережа, не надо.

Она слышала, как страшно бьется его сердце. Теперь она чувствовала эти удары — грудью, своим сердцем. Сергей охватил ее плечи. Стал целовать шею.

— Можно к тебе, Вера, можно?

— Нет. — Она откинула голову, взглянула ему в лицо, в красные глаза. — Не трогай меня, Сережа, я ослабею.

Он прильнул к ее рту. Она чувствовала — его пальцы расстегивают крючки платья. Тогда она медленно, с трудом оторвалась от него. Он упал ей головой в колени, дышал жарко. А рука все продолжала расстегивать крючки.

— Сережа,— сказала она,— оставь меня. Сегодня я дала слово Никите. Я его невеста.

— Вера, Вера, это хорошо... это хорошо... Я же не могу на тебе жениться... Тем лучше... Выходи, выходи, все равно — ты моя...

— Сережа, что ты говоришь?

— Глупенькая, пойми,— ты его не любишь, и не он будет...

— Что? Что...

— Он ничего не узнает. Пойми — он будет счастлив от самой скупой твоей милости... Но я, Вера... с ума схожу... Так все делают...

Сергей спрыгнул в комнату, дунул на свечу и опять плотно взял Веру. Но вся она была как каменная. Он бормотал ей в ухо, искал ее губ, но ее локти упрямо и остро упирались ему в грудь. Вера освободилась и сказала, отходя:

— Поздно уже. Я хочу спать. Покойной ночи.

Сергей шепотом помянул черта и исчез в окошке. Вера, не зажигая свечи, легла опять на ситцевый диванчик — лицом в подушку, прикрыла голову другой подушечкой и так заплакала, как никогда не плакала в жизни.

9

В доме появилась портниха, с треском рвала коленкор, стучала машинкой, поджав сухой ротик, совещалась с Ольгой Леонтьевной.

Никита несколько раз ездил в Симбирск, в Опекунский совет, в Дворянский банк. Дом чистился. В каретнике обивали новым сукном коляску.

Вера жила эти дни тихо. Редко выходила из своей комнаты. Садилась с книгой у окна и глядела, глядела на синюю воду пруда, на желтые, зеленые полосы хлебов на холмах. Слушала, как древней печалью поют птицы в саду.

Сергей пропадал на охоте, возвращался поздно с полным ягдташем, пахнул лесом, болотом, пухом птиц. На Веру поглядывал с недоброй усмешкой, много, жадно ел за ужином.

Петр Леонтьевич совсем притих, понюхивал табачок.

Однажды Сергей забрел с ружьем и собакой в налымовский лес, в топкую глушь. Пойнтер бодро колотил хвостом папоротники, шарил, время от времени поворачивая к хозяину умную, возбужденную морду. Сергей шел, задираясь ногами за валежник, проваливаясь в мочажники,— перед глазами мотался собачий хвост. Сергей неотступно, угрюмо думал о Вере.

Сколько десятков верст исколесил он за эти дни, только чтобы утолить, погасить в себе свирепое желание! Все было напрасно.

«Фррр»... Вылетел тетерев. Сергей, не глядя, выстрелил. Сорвалось несколько листьев. Собака унеслась вперед скачками, высматривая — взмахивала ушами из папоротника.

Почти сейчас же, неподалеку, гулко затрубил рог. Затрещали сучья. Зычный голос заревел в чаще:

— Кто стреляет в моем лесу, тудить в вашу душу! Кто смеет шататься по моему лесу!

Сергей быстро оглянулся. На поляне стоял вековой дуб, упоминавшийся во всех налымовских и репьевских хрониках,— дуплистый, ветвистый, корявый, подобный геральдическому дереву.

В ту же минуту с другой стороны поляны, валя кусты, выскочил на рыжей кобыле Мишука. Размахивая над головой медным рогом, орал:

— Ату его, сукины дети, ату!

Две пары налымовских зверей — краснопегих гончих — неслись напрямиком на лягаша. Сергей подхватил заскулившую у ног его собаку, посадил в дупло, подпрыгнул, подтянулся к ветви и живо влез на вершину дуба...

— Ату его, сукины дети! Улюю! — наливаясь кровью, вопил Мишука. Подскакал к дубу, закрутился, поднимаясь на стременах, хлестал арапником по листьям:

— Слезь, сию минуту слезь с моего дуба.

— Дядя Миша, не волнуйтесь,— хихикнул Сергей, забираясь выше,— желудок расстроите, вам вредно волноваться.— И он бросил желудем,— угодил в живот.

Мишука заревел:

— Убью! Запорю! Слезь, тебе говорю!..

— Все равно, дядя Миша, не достанете, только соскучитесь, и есть захочется.

— Дерево велю срубить.

— Дуб заветный.

— Слезь, я тебе приказываю,— я предводитель дворянства.

— Я вас не выбирал, дядя Миша, я на выборы не езжу.

— Крамольник!.. Стражникам прикажу тебя стащить. Высеку!

— Дядя Миша, лопнете.— Сергей опять бросил желудем, попал в картуз.

Гончие подпрыгивали, визжали от ярости. Лягаш скулил, высовывая нос из дупла, щелкал зубами. Мишука и Сергей долго ругались, покуда не надоело. Наконец Сергей сказал примиряющим голосом:

— Охота вам, в самом деле, сердиться, дядя Миша. Я ведь тоже с носом остался. Вера-то за Никиту выходит.

— Врешь? — удивился Мишука.

— Чем матерно ругаться, поехали бы мы на лесной хутор. Там выпить можно.

— Вино есть?

— Две четверти водки.

— Гм,— сказал Мишука,— все-таки это как-то так. Ты все-таки подлец.

— Вот это верно, дядя Миша.

Мишуке, видимо, очень хотелось, после всех волнений, поехать на хутор и выпить. Сергей спустился ниже, подмигнул и сделал всем понятный жест:

— И то найдется.

Задрав голову, Мишука заржал,— уцепился даже за седельную луку. Затем ударил кобылу арапником и ускакал на хутор.

Через час Мишука и Сергей сидели в жарко натопленной избе,— Мишука расстегнулся, пил водку стаканами, вспотел, тряс животом сосновый стол.

— Ха-ха... Смел ты, что пришел, Сережа.

— Нам делить с вами нечего, дядя Миша, я вас люблю...

— Рассказывай, ха-ха...

— Люблю, дядя Миша, в вас богатырство, не то что — теперешние дворяне, — сволочь, мелкота...

— Мелкота, говоришь, ха-ха...

— Вы, дядя Миша, все равно как князь в старые времена... Силища...

— Богатырь, говоришь? Князь? Ха-ха...

— Едемте, дядя Миша, вместе в Африку. Вот бы мы начудили...

— В Африку, ха-ха!..

— Эх, денег у меня нет, дядя Миша, вот бы я развернулся...

— Подлец ты, Сережа... Денег я тебе дам, но побью, ха-ха...

В избу вошла ядреная молодая баба, румянец во все лицо, — лукавая, сероглазая. Смело села рядом с Мишкой на лавку, толкнула его локтем. Мишука только ухнул. И начался пир. Изба ходуном заходила.

10

Ольга Леонтьевна и Никита с утра ходили по Симбирску из магазина в магазин, — сзади ехала коляска, полная покупок. Лошади осовели, кучер каким-то чудом успел напиться, не слезая с козел. Никита в тоске бродил за теткой из двери в дверь. Ничего этого не было нужно — ни суеты, ни вещей. Хоть скупи весь Симбирск, хоть ударься сейчас о камни, — разбей голову, — Вера не станет счастливее, не вернется к ней прежняя легкость, блеск глаз, веселый смех: не любит, не любит...

— Ну, уж, батюшка мой, ты — совсем мокрая курица, осовел, жених, — говорила ему Ольга Леонтьевна, — минутки без невесты не может — нос на квинту... Сейчас, сейчас мы поедem.

Тетка летела через улицу к башмачнику, нечесаная голова которого моталась в окошке, тоже пьяная... Лошади и Никита томились на горячей мостовой. Кучер время от времени громко икал, — каждый раз пугливо оглядывался:

— Вот притча-то, ах, господи.

К вечеру, наконец, Ольга Леонтьевна уgomонилась, влезла в коляску, много раз пересчитала вещи, махнув рукой:

— На паром, Иван. Смотри только — под гору держи лошадей, — ты совсем пьяный.

— Господи, — отвечал кучер, — напиться-то не с чего, весь день у вас на глазах, — и на всю улицу икнул: — Вот притча-то.

Поехали вниз, к Волге, к парому.

Река темнела. Зажигались огни на бакенах, на мачтах. Вдали шлепал по воде пароход. Тусклый закат догорал на луговой стороне, над Заволжьем. На берегу уютно осветились прилавки с калачами, лимонадные лавки, лотки, где бабы продавали жареное, соленое, вареное. Пахло хлебом, дегтем, сеном, рекой. Вдалеке, с горы — с Венца — уже слышна была духовая музыка, — в городском саду начиналось гулянье. Играли не то вальс, не то что-то ужасно печальное, улетающее в вечернее небо.

По реке, огибая остров, приближался паром, полный, как муравейник, голов, дуг, телег, мешков, поклажи.

Вот заскрипели связки прутьев у борта, конторку качнуло, зашумели голоса, затопали подковы по дереву, — теснясь, ругаясь, стали съезжать на берег возы.

Между телег, прижимаясь к оглоблям, фыркая тревожно, прогремела вороная горячая пара, запряженная в плетушку. Выскочила на песок, — мягко зашуршали колеса. В ту же минуту Ольга Леонтьевна метнулась к плетушке и крикнула диким голосом:

— Вера!

Закутанная темная фигура в плетушке поспешно обернулась. Кучер осадил вороных.

— Что с тобой? Лица на тебе нет. Что случилось? — спрашивала Ольга Леонтьевна, толкая народ, протискиваясь к Вере.

— Ничего не случилось, — ответила Вера холодно, голос ее задрожал, — я не за вами, я прокатиться. До свидания.

Тогда Ольга Леонтьевна молча ухватила коренника за узду, повернула лошадей назад, на паром, велела Никите идти к коляске, чтобы покупки не растащили, и сама села в плетушку рядом с Верой.

— Зонтик где? — сказала она и раскрыла зонт. — Не к чему, — закрыла зонт и сунула под козлы. — Ну, мать моя, спасибо, удружила.

Вера только низко наклонила голову и медленно закуталась по самые глаза в пуховую шаль.

За три дня до свадьбы большая родня Репьевых съехалась в Симбирск, в гостиницу Краснова.

День и ночь буйные крики вылетали из номеров, где резались в карты полураздетые помещики.

Выпито было необыкновенное количество вина, — в особенности пили коньяк. Бутылки складывались здесь же, кучами, в номере, для удивления вновь приходящих.

Очумелые половые без памяти бегали по коридору, сизому от дыма. На площади перед окнами торчали зеваки, привлеченные шумом и светом, и говорили, дивясь:

— Заволжье гуляет.

Никто из дам не решался заходить на мужскую половину в гостинице, потому что в коридорах устраивались кавалерийские атаки.

Молодежь — корнеты, поручики, вольноопределяющиеся гвардейских полков, — все в ночном белье, сажались верхом на стулья и скакали, размахивая саблями. Командиром был Мстислав Ходанский, двоюродный брат Веры, павлоградский гусар. Кавалерия налетала на проходящих по коридору, отбивала женщин, брала штурмом коньячные батареи.

Помещики, отсидев за картами зады, ходили — как были — в неглиже — под утро освежаться в городской сад, — выворачивали скамейки, боролись, качали деревья. Жутко было простым жителям, спросонок кидаясь к окошкам, глядеть на эти игры.

На четвертые сутки весь Симбирск поплыл в винном чаду. Полицмейстера пришлось увезти за Волгу в сосновый лес, чтобы пришел в себя. Помещик Окоемов видел черта на печке, в круглом отдушнике. Зеваки на площади божились, что слышали, как в гостинице ржут по-жеребьячи.

Но вот, наконец, приехал жених, а за ним и Ольга Леонтьевна с невестой и с братом. Много нужно было ушатов студеной воды — освежить хмельные головы. К двум часам вся родня собралась в собор.

Сергей и Мстислав Ходанский держали венцы. Невеста была бледна и грустна,—неописуемо хороша собой. Жених озабоченно прикладывал ладонь к уху, переспрашивая священника. Ольга Леонтьевна строго поглядывала на родственников: иные из них грузно стояли, выпучив глаза на плавающие огоньки свечей, иные начинали отпускать словечки.

Из церкви молодые проехали прямо на пароход. Там вся родня выпила шампанского, бокалы бросали в воду. Пароход заревел и отчалил. Вера вынула платочек и, взмахнув им, прижала к глазам. Никита рассеянно улыбался,—видимо, совсем ничего не понимал, не видел.

С парохода родня поехала в гостиницу пировать. В большом зале с двух концов на хорах одновременно заиграли два оркестра. После первого тоста об улетевших ласточках Ольга Леонтьевна заплакала. В это как раз время в залу важно вошел Мишука. Он был в черной поддевке, наглухо застегнут. Лицо его было желтое, отечное, под глазами собачьи мешки.

Мутным взором он обвел длинный стол. Все встали. У Ольги Леонтьевны затряслись руки. Мишука подошел к ее руке, затем поцеловал Петра Леонтьевича, не успевшего вытереть усов, и сел, больше не глядя ни на кого,—налил себе большой стакан водки...

Грянули было польку оркестры на хорах, но Балдрясов, чиновник особых поручений, распорядитель пира, зашипел, страдальчески выпучась на музыкантов, вытянулся на цыпочках,—тише!

Мишука съел половину судака, затем немалый кусок гуся, поморщился, отпихнул тарелку.

— Хотя племянница обидела меня,—хрипло и весьма громко сказал он и поднялся во весь огромный рост,—хотя я сказал, что на свадьбе мне не быть,—вот приехал. Пью здоровье молодой. Ура! За молодого не пью—сам за себя выпьет. А сам я скоро помру, вот как.

Он грузно сел... Балдрясов залихватным тенором крикнул: «Ура!» Грянули музыканты с хор, понесли спяна такой туш,—даже Мишука оглянулся на них: «Ну и хамы».

Пировали до заката. По просьбе дам отодвинули столы, и начались танцы, для чего пригнали из учили-

ща юнкеров. Раскинули карточные столы. Молодежь ломила буфет. Мишука бродил среди гостей скучный, грузный, брезгливо морщился. Развеселило его только небольшое происшествие, — случилось оно за полночь.

Около буфета, в дыму и толкотне, Сергей подошел к Мстиславу Ходанскому, взял его за шнуры гусарки и, качаясь, выговорил мокрыми губами:

— Стива, твоя сестра весьма умно поступила, а?

Мстислав Ходанский сразу вскинул голову, — был он высок, мускулист, с черными кудрями, бледный от вина.

— Стива, — опять сказал Сергей, — Вера умная женщина, ты понимаешь? — Он пальцем поводил у носа Ходанского. — Она хитрая, у нее тело горячее и хитрое.

— Поди выпись, — сказал Ходанский.

— Стива, понимаешь, — если бы я пальцем помянул, она бы с парохода убежала...

У Мстислава Ходанского дрогнули ноздри. В это время Мишука, подойдя к нему, ткнул волосатой рукой в Сергея:

— Плюнь ему в морду, он — хам.

— Я это вижу, — сказал Ходанский, показав ровные белые зубы.

Сергей засмеялся невесело. Затем толкнул Ходанского. Тогда Мстислав Ходанский взял его за живот и швырнул на буфет, на тарелки. Посыпалось стекло. Мишука громко захохотал.

— Скандал, скандал! — заговорили в надвинувшейся толпе.

Кто-то помог Сергею слезть с буфета. Балдрясов старательно отирал его носовым платком. Сергей, криво усмехаясь, глядел блестящими глазами на Ходанского:

— Хорошо, ты мне ответишь.

— Ага, дуэль, вот это дело, — захохотал Мишука.

Спустя некоторое время в номер, занятый Мишукой, собрались секунданты обеих сторон. Шибко пили коньяк, обсуждали условия предстоящей сатисфакции, — несли чепуху и разноголосицу.

— Ерунда,— сказал Мишука,— пусть стреляются у меня в номере.

Секунданты осели. Выпили. Придерживая друг друга за лацканы фраков, стали совещаться и решили:

— Место для дуэли действительно подходящее.

Один из секундантов даже заржал неестественно и повалился под стол. Принесли ящик с пистолетами, позвали противников.

Сергей вошел бледный, озираясь. Мишука толкнул его к столу:

— Выпей коньяку перед смертью.

Мишука сам зарядил пистолеты. Противников поставили в двух углах комнаты. Мстислав стал, расстегнув гусарку, раздвинув ноги, откинул великолепную голову. Сергей сгорбился, втянул шею, глядел колючими глазами.

— Господа дворяне,— сказал Мишука, высоко держа перед собой пистолеты,— мириться вы не желаете, надеюсь? Нет? И не надо. Стрелять по команде — раз, два, три,— с места.

Он подал пистолеты,— сначала Мстиславу Ходанскому, затем Сергею. Отошел в угол и разинул рот, очень довольный.

Два канделябра, поставленные на пол, освещали противников.

Секунданты присели, зажали уши, один, схватившись за голову, лег ничком на оттоманку.

— Раз, два,— сказал Мишука.

В это время четвертый секундант, помещик Храповалов, красавец в черных бакенбардах, во фраке и в болотных сапогах, крикнул:

— Подождите.

Взял с карточного стола мел, твердыми шагами подошел к Ходанскому и начертил ему на груди крест, пошел к Сергею и ему начертил крест.

— Теперь стреляться.

Храповалов отошел к стене и скрестил руки. Мишука скомандовал:

— Три!

Враз грохнули два выстрела, дым застлал комнату. Секундант, лежавший на диване, молча заболтал ногами.

Мишука сказал с удивлением:

— Живы.

Взял мел, повернул Мстислава Ходанского лицом к стене и на заду ему начертил крест:

— Стрелять сюда.

Сергею он тоже поставил крест поперек фалд фрака. Противники вытянули позади себя руки с пистолетами. Мишука стал командовать:

— Раз, два...

Сергей покачнулся и, бормоча несвязное, повалился на ковер.

— Готов,— крикнул Мишука,— суд божий!

Ходанский отошел от стены и выстрелил в горлышко бутылки — вдовы Клико. Сизый дым струей потянулся к Мишуке,— он чихнул, замотал губами:

— Шампанского. Лошадей. К девкам... Сережку отлить водой и ко мне в коляску.

Под утро шесть троек с гиком и свистом понеслись по мирным улицам Симбирска. Обыватели подымали головы и говорили заспанным своим женам:

— Заволжье гуляет,— Налымов.

12

Жарко натопленные печи, легкий запах вымытых полов, зимний свет сквозь морозные стекла покоят увядающие дни Ольги Леонтьевны. Тихо улетает время за письмами, разговорами вполголоса, за неспешным ожиданием вестей.

В чистой и белой, наполненной снежным светом комнате трещат дрова в изразцовой печи. Ольга Леонтьевна сидит близ окна за тоненьким столиком и пишет острым, мелким почерком длинные письма. Повернет хрустящий листочек и пишет поперек строк:

«...Я понимаю эту постоянную грусть — ты проверь хорошенько, непременно сходи к доктору. Мне кажется, что ты — в ожидании. Дай бог, дай бог.

Родишь, смотри — не пеленай ребенка, англичане давно это бросили, а уж я — скажу тебе по секрету — второй месяц шью рубашечки и подгузнички. Ты молода, смеешься над старой теткой, а тетка-то и пригодится...

...Пишешь — Никита утомляется на службе, плохо спит, молчалив. Это ничего, Верочка, — обойдется. Трудновато ему, но человек он хороший. Ходите почаще в театр, говорят, Александринский театр очень интересный. Познакомьтесь с хорошими людьми, сдружитесь. Нельзя же, никого не видя, сычами сидеть на Васильевском острове да слушать, как ветер воет, — этого и у нас с Петром Леонтьевичем в Репьевке хоть отбавляй...

...А мы с Петром поскрипываем. Только я беспокоюсь — брат по ночам стал свет какой-то видеть. Поутру встает восторженный. Работает — выпиливает и точит — по-прежнему. Недавно придумал очень полезное изобретение — машинку от комаров, — в виде пищалки. Эту пищалку нужно поставить в саду, она станет пищать, и комары все сядут на листья — не смогут летать и умрут от голоду. Жалко, что проверить нельзя — на дворе зима, комаров нет. И смех и грех... А ты, Верочка, поласковее будь с Никитой, — любит он тебя, любит и предан по гроб... Мороженых куриц и масло, что я тебе послала, — ешьте: к рождеству пошлю еще партию».

Гаснет зимний день. Лиловые студёные тени ложатся на снег, резче выступают следы от валенок. В столовой Ольга Леонтьевна и Петр Леонтьевич, сидя в конце длинного стола, пьют чай и помалкивают. Тонким уютным голоском поет самовар, — прижился к дому. Большие окна столовой запушены снегом.

— Сегодня опять письмо от Сережи получила, — говорит Ольга Леонтьевна, — прочесть?

— Прочти, Оленька.

Ольга Леонтьевна вполголоса читает:

«Вчера вернулся в Каир. Видел старичка сфинкса, лазил на пирамиды. (Петр Леонтьевич начал постукивать ногой, Ольга Леонтьевна взглянула на него, — он перестал стучать.) Пришла мне в голову блестящая идея, милая тетя: решил я здесь купить мумию, дешевка, рублей за пятнадцать. На спине где-нибудь у нее выпилю кусочек и спрячу его. Мумию запакую и — в Россию. В нашем лесу, — помнишь, в том месте, где, говорят, был скит, — закопаю этого фараона, посыплю сверху фосфором. Пущу слух: что, мол, в скиту могила по ночам светится. Народ — валом. Монаха туда нужно ка-

кого-нибудь заманить оборотистого.— Копайте. Раскопают — мощи. Пожалуйте,— продаю место с могилами, с мощами, с подъездной дорогой. Купят. Гостиницу построят. Государю императору пошлют телеграмму. А тут-то я кусочек и представлю: извините, это мой собственный фараон, вот кусочек из спины,— счетик из магазина. Стами тысячами не отделаются от меня монахи. Вот, милая тетя, что значит — африканское небо,— боюсь, что стану финансовым гением или женюсь на негритянке. Одновременно с этим пишу дяде Мише,— деньги у меня на исходе».

— Нехорошо,— после молчания сказал Петр Леонтьевич,— нехорошо и егозливо. Всегда он был безбожником, а теперь и кощунствует. Напиши ему, чтобы он больше нам не писал про фараонов.

Однажды в сумерки в Репьевку приехал нарочный, налымовский работник, привез Ольге Леонтьевне странное письмо. Каракулями в нем было нацарапано: «Приезжайте, Михайле Михайловичу вовсе плохо, хочет вас видеть».

Налымовский работник сказал, что действительно барин — плох, письмо же это писала Клеопатра, девка,— никакими силами барин ее выгнать из усадьбы не мог, потом привык, ныне она за ним ходит.

Ольга Леонтьевна немедленно собралась и в крытом возке поехала в Налымово по большим снегам, по мертвой равнине, озаренной ледяной и тусклой, в трех радужных кольцах, луной.

В полночь возок остановился у налымовского крыльца. Окна в столовой были слабо освещены. Брехали собаки.

В сенях Ольгу Леонтьевну встретила высокая тощая женщина в черной шали, поклонилась по-бабьи. Из дверей зарычала белая борзая сука.

— Что с ним? Плох? — спросила Ольга Леонтьевна, выпутываясь из трех шуб.— А вы кто такая? Клеопатра, что ли? Ведите меня к нему.

Клеопатра пошла впереди, отворяя и придерживая двери. Сука рычала из темноты. У дверей в столовую Клеопатра сказала шепотом:

— Сюда пожалуйста, они ждут.

У круглого стола, покрытого залитой пятнами, смятой скатертью, под висячей лампой увидела Ольга Леонтьевна Мишуку. Он был страшен,—распух до нечеловеческого вида. Облезлый череп его был исцарапан, желтые, словно налитые маслом, щеки закрывали глаза, еле видны сопящие ноздри.

Под локтями и сзади, придерживая затылок, привинчены были к креслу деревянные бруски,—на них, опустив опухшие кисти рук, висел он огромной тушей. Дышал тяжело, с хрипом.

Из студенистых щек устремились на Ольгу Леонтьевну зеленые его глазки. Она в великом страхе подбежала:

— Мишенька! Что с тобой? До чего ты себя довел!

— Сестрица,—с трудом проговорил Мишука,—спасибо,—и стал глотать воздух.—Все сижу, лежать не могу, водянка.

— Гниет у них в груди,—сказала Клеопатра.—А едят беспрестанно,—не успеваем подавать.

Действительно, на нечистой скатерти стояли тарелки с едой. Усы Мишуки, щетинистые, тройной подбородок были замазаны жиром. Озираясь, Ольга Леонтьевна увидела там же на столе большую банку с водой и в ней раскоряченную белопузую ящерицу.

— Крокодил,—проговорил Мишука.—Сережка из Африки прислал в благодарность живого. Сегодня подох, значит и я...

В ужасе Ольга Леонтьевна всплеснула руками:

— Доктора-то звали?

— Доктор сегодня был,—ответила Клеопатра, стоявшая, поджав губы, у буфета,—доктор сказал, что они сегодня помрут, в крайнем случае — завтра.

— Зав... зав... зав...—пробормотал Мишука, с усилием поднимая вылезшие брови.

Ольга Леонтьевна спросила:

— Что он говорит? Завтра? Ох, трудно ему помирать...

— Завещание спрашивают...

Клеопатра достала из буфетного ящика сложенный лист бумаги, подошла к лампе:

— Для этого вас и вызвали, для свидетельства.

И она стала читать:

«Пахотную землю всю,— луга, леса, пустоши, усадьбу и прочее,— жертвую, помимо ближайших родственников, троюродной племяннице моей Вере Ходанской, по мужу Репьевой, во исполнение чего внесено мною в симбирский суд векселей на миллион пятьдесят тысяч. Деньгами пятнадцать тысяч дать девке Марье Шитиковой, по прозванию Клеопатре, за верность ее и за мое над ней надругательство. Ближайшим родственникам, буде таковые найдутся, дарю мое благословение, деньгами же и землями — шиш».

Строго поджав губы, слушала Ольга Леонтьевна странное это завещание. Когда чтение окончилось и Мишука, кряхтя и морщась, сложил действительно из трех пальцев непомерной величины шиш,— который предназначался ближайшим родственникам,— Ольга Леонтьевна всполохнулась:

— Спасибо, Мишенька, что не обидел сироту, но скажи — почему ей такая честь?..

— Обесчестить ее хотел,— проговорил Мишука,— Веру-то, за это ей и дарю.

— Через нее всех нас выгнали из дому, как собак,— сказала Клеопатра.

Тогда Ольга Леонтьевна стала совать в ридикюль очки и носовой платок и решительно подступила к Мишуке:

— Да как ты посмел! Вотчинами хочешь откупиться, пакостник. Ногой в гробу стоит, кукиши показывает, а на уме — озорство. За могилой обесчестить женщину норовит... Дай сюда завещание.

Она вырвала у Клеопатры бумагу и, скомкав, бросила ее Мишуке в лицо:

— Прощай!

Мишука, глядя, как немощная собака, задышал часто, закатил глаза, захрипел. Клеопатра полезла под стул, куда откатилось скомканное завещание. Ольга Леонтьевна рысцой дошла уже до дверей, но обернулась и ахнула:

— Батюшки, да он кончается!

Багровея, пучась, Мишука стал приподниматься. Затрещали и сломались, посыпались на пол бруски, державшие его в кресле. Вдруг завывла диким голосом под

столом белая сука. Клеопатра, вытянув жилистую шею, вытянув нос, глядела колюче на отходящего.

Мишука, разинув рот, вывалил язык, будто собираясь заглотить черную девку.

— По... по... по... — выдавил он из чрева. И рухнул в кресло, в заскрипевшие пружины. Повалилась голова на грудь. Из рта хлынула сукровица...

Ольга Леонтьевна только мелко, мелко крестилась:

— Упокой, господи, душу раба твоего...

Клеопатра не торопясь подошла и прикрыла Мишуке лицо чистой салфеткой.

ЧУДАКИ

РОМАН



ГЛАВА ПЕРВАЯ

И тщетно там пришлец унылый
Искал бы гетманской могилы
Забыл Мазепа с давних пор

(«Полтава». Пушкин)

Мягко зашумевшие листья осин, возня воробьев под окном и свежий ветер, залетевший в комнату, разбудили Степаниду Ивановну. Она повернулась на бок и сейчас вспомнила не только вчерашнюю ссору, но и последние слова мужа, Алексея Алексеевича: «Старуха, старая старуха».

Гневно сдвинула Степанида Ивановна подведенные с вечера узкие брови и в досаде сбила все простыни из тончайшего холста.

Шелк Степанида Ивановна не употребляла на простыни и рубашки, полагая, что электричество, находящееся в телах спящих супругов, разъединяется от шелковой ткани, и слабеет любовное влечение, о котором, несмотря на свои шестьдесят лет, заботилась Степанида Ивановна, пожалуй, даже сильнее, чем в дни молодости.

Глядя в окно на мокрую зелень ветвей, думала она о жестоких мужниных словах, сказанных с хлопаньем дверьми, когда, противно всем долголетним привычкам, ушел Алексей Алексеевич спать один в кабинет.

— Не смей меня ревновать! — крикнул тогда он, топеща усы и багровея. — Гадко и гнусно. Э, да что с то-

бой говорить! — Отшвырнул ногою стул и распахнул дверь. — Пойми, что ты старуха, старая старуха...

«О жене вспомнил, о покойнице, — думала Степанида Ивановна. — И Софью любит потому, что с ней сходство».

Она быстро повернулась на другой бок, откинула на ногах одеяло. Свежесть утра ознобила тело.

— Нет, Алексей, — воскликнула она, — одна я для тебя, не смеешь ни о ком думать... Ах, боже мой!

Склонясь к подушке, Степанида Ивановна замерла в отчаянии. Но сухи были ее глаза и сердце ожесточенно.

Тридцать четыре года прожила Степанида Ивановна с мужем своим, теперь генералом в отставке, раньше красавцем военным, любимцем начальников, сотоварищей и женщин, проигравшим в карты три имения, знаменитым своими любовными и нелюбовными похождениями и в особенности женитьбой на Степаниде Ивановне.

Тогда она — девица на выданье — жила в уездном городе с отцом, помещиком, которого съел банк. Городишко был небольшой, пустынный, пыльный: дрянные деревянные домишки, выгоравшие время от времени целыми кварталами, собаки, сопливые мальчишки, чахлые палисадники, мухи — вот и весь город.

Мух же особенно было много. Отец Степаниды Ивановны — Иван Африканович — охотился на них, надевая даже очки, чтобы лучше прицеливаться. Салфеткой ударял по стене, убивал их сотнями и отдавал цыплятам.

Степанида Ивановна, девица на выданье, целыми днями сидела у окна и поглядывала на пыльную улицу. От мокрого удара салфеткой вздрагивала она каждый раз и, сжав маленькие губы, рассматривала, как напротив у забора стоит ободранный пес, жмурясь от солнца, или по жаре бредет акцизный чиновник, ковыряя на щеке прыщ.

— Замуж хочу! — говорила Степанида Ивановна сначала тихо, потом все громче и злее и, когда Иван Африканович входил в комнату, держа в одной руке салфетку, в другой банку с набитыми мухами, кричала ему в улыбающееся лицо: — Выдай меня замуж, старый мухой, выдай меня замуж! Хуже будет!

Худенькое ее тело выпрямлялось, глаза становились сухи и огромны. От тяжести черных волос, подрезанных на лбу челкой, болел затылок.

Однажды, услышав звон бубенцов, Степанида Ивановна выглянула в окно и увидела тройку серых лошадей, мчавшую блестящую коляску; в ней сидел молодой офицер в гвардейской фуражке набекрень.

Офицер обернул к изумленной девушке краснощекое усатое лицо, послал воздушный поцелуй, и тройка свернула за угол, где стоял дом уездного предводителя.

Степанида Ивановна побледнела, схватилась за грудь и едва не лишилась чувств — так пронзило ее предчувствие.

На следующий день предводитель устроил бал в честь приезжего офицера — племянника своего, молодого вдовца Алексея Алексеевича Брагина. Степанида Ивановна надела единственное свое нарядное платье из голубой кисеи и весь вечер следила из-за веера за Алексеем Алексеевичем, лихо отбивавшим мазурку в красных с золотыми шнурами чикчирах.

Алексей Алексеевич тоже, видимо, заметил красоту Степаниды Ивановны — и оглядывался на девушку неоднократно. Под конец бала сел рядом с ней на диванчик, вынул тонкий платок, отер прекрасный лоб свой.

Степанида Ивановна опустила было глаза, но офицер взглянул на нее так открыто, простодушно и весело, что не могло быть сомнений — его нужно полюбить как можно скорее, не теряя времени, не думая.

За стеной маленькой гостиной, где они сидели, слышались музыка, шелест и шорох платьев... И Степанида Ивановна никогда не могла вспомнить, что ей говорил тогда красавец офицер, что она отвечала... Выпуклые серые глаза его глядели и дерзко и нежно.

От мужского здорового запаха раздулись у нее ноздри, медленно клонясь, подставила она Алексею Алексеевичу пунцовые губы, — лишь ахнула негромко.

Хотя в двери гостиной не заглядывал ни один нос, все же минут через пять все узнали с большими подробностями, что Степанида Ивановна «целовалась».

Предводительша, желая рассеять сомнительное впечатление, велела играть русскую и сама пошла плясать

с платочком, причем полная ее грудь так подпрыгивала, что пришлось ее поддерживать сверху рукой. Предводитель, шелкнув тузом козырного короля у помещика Тараканова, крякнул и сказал: «Эге, племянник не дает маху!» Иван же Африканович, папенька, стоя в закуской около спиртного, только сморкался трубой и жалобно поглядывал на двух клюкавших с ним помещиков, не решаясь идти объясняться с обидчиком.

На все это Алексей Алексеевич объявил, что готов или стреляться, или жениться, как того пожелает Степанида Ивановна отец, но не раскаивается и при удобном случае готов опять целоваться.

Иван Африканович, папенька, услышав, что приезжий офицер готов целоваться, зарыдал и, водя носом, более похожим на огурец, чем на что-либо другое, по синему мундиру красавца Брагина, лепетал: «Ведь я же люблю мое дитя, сироту несчастную, сделай милость, женись на ней, благодетель».

Только долго спустя догадались, что Иван Африканович свыше всякой меры «набодался» наливками, и увели его в садовую беседку спать.

Степанида Ивановна, отклонив от себя заботы хозяйки и дам, сидела в гостиной, прямая и белая, как свеча, и, как свеча, горели ее глаза, так что страшно было взглянуть. Узнав, что Брагин не отказывается от предложения, она поднялась и вышла из дому, высоко подняв голову, сжав губы. Свадьбу сыграли через неделю. Напился весь город.

Так сменила Степанида Ивановна тоскливую девичью жизнь на новую, полную страсти, роскоши и горя.

Ревновала Степанида Ивановна мужа ко всем, но больше всего к памяти первой жены его, и если бы Алексей Алексеевич говорил о той первой, сравнивал бы их обеих, поддразнивал бы свою теперешнюю супругу, все же легче было бы Степаниде Ивановне.

Но Алексей Алексеевич никогда не вспоминал имя первой жены, и даже во время ссор, когда, побледнев, с трясущимися губами, выкрикивала Степанида Ивановна: «Ты ее любишь, ты о ней думаешь... поди ищи ее...» — только пожимал плечами, гладил задумчиво каштановые усы.

Со временем ревность к той не только не сгладилась, но «перешла в характер» Степаниды Ивановны. По ночам ей вдруг начинало казаться, что та, Вера, только что была между ней и Алексеем: невидимая и неслышная, ложилась она в постель к Степаниде Ивановне и делала свое страшное дело с мужем... Степанида Ивановна поспешно будила Алексея Алексеевича и, когда он, большой и сонный, мычал, закрывая голову одеялом, льнула к нему, вся обожженная ревностью, страстью, злостью.

Временами наступало затишье. Алексей Алексеевич, довольный миром, сидел дома в вышитых бисером туфлях и курил трубки. Но ненадолго успокаивалась горячая голова Степаниды Ивановны. Думая ли о мужниной военной карьере или о быстро уменьшающихся средствах,— Алексей Алексеевич крупно играл в карты,— шла она неуклонно в своих мыслях всегда к одному и тому же пункту: в такие-то часы муж был неизвестно где,— значит... Она опускала вязанье, начинала допрашивать, ставила колкие вопросы, и, смущенный, сбитый с толку, Алексей Алексеевич сознавался, что действительно поухаживал слегка за какой-то там Варенькой.

Степанида Ивановна швыряла вязанье, заламывала руки и лишалась чувств.

Не раз Степанида Ивановна выручала мужа из беды. Алексей Алексеевич уезжал иногда в провинцию и ежедневно с пути отправлял письма, полные уверений в любви и верности.

Однажды он уехал и замолчал. Прошло три дня. Степанида Ивановна не велела никого принимать, разогнала прислугу и день и ночь ходила по комнате, как дикая кошка. Ей представлялось бог знает что,— непереносимые ужасы.

На четвертые сутки пришла телеграмма: «Проиграл сорок тысяч, стреляюсь. Алексей».

Степанида Ивановна спокойно приказала себя одеть, взяла драгоценности, все серебро и поехала в ломбард.

Там ей выдали двадцать пять тысяч. В Дворянском банке, где был знаком директор, выдали под перезалог тульского имения еще пять тысяч, не хватало десяти. У кого достать? Степанида Ивановна боялась огласки. В этот день была минута, когда ей изменили силы.

К вечеру она решила. Накинула шубку, подошла к зеркалу и пронзительно взглянула на себя: «Хороша, хороша».

Карета, ждавшая у подъезда, помчала ее по мокрым улицам на Гагаринскую, где жил молодой, делавший блестящую карьеру дипломат — Ртищев. Он явно всегда ухаживал за красавицей Брагиной.

Без доклада войдя в кабинет Ртищева, Степанида Ивановна затворила дверь на ключ и молча сбросила с обнаженных плеч соболью шубку.

Что произошло в кабинете у Ртищева — Степанида Ивановна никому не рассказывала. С десятью добавочными тысячами помчалась она в той же карете на вокзал, откуда на следующее утро поезд привез ее в провинциальное городишко.

Она тотчас же отыскала гостиницу, где стоял Алексей Алексеевич. Половые немало были изумлены, увидав даму в бальном платье с кожаной сумкой в руке, бегущую, как сумасшедшая, по коридору.

Половой загородил было ей дверь, но Степанида Ивановна ударила его сумочкой и вошла в номер. На ковре, на диванах, положив ноги на кресла, дремали офицеры, валялись бутылки и карты, было сизо от табачного дыма. Пробежав меж спящими, Степанида Ивановна увидела на постели мужа, он крепко спал, зажав в руке цыганский платок с нашитыми монетами. Степанида Ивановна платочек вырвала и растоптала ногами, затем сумочкой, полной денег, принялась колотить Алексея Алексеевича по щекам. Но все же была слишком рада (или чувствовала и себя отчасти не безгрешной), чтобы долго сердиться.

Когда наступила турецкая война, Алексей Алексеевич перевелся в действующую армию, и Степанида Ивановна уехала с мужем.

В походе жила она в палатке, чинила мужнино белье, ругала денщика, который так боялся барыни, что только неестественно мычал, когда она его о чем-нибудь спрашивала, давала мужу военные советы, один раз даже собственноручно выстрелила в турка, оказавшегося бабой-маркитанткой.

В палатке в час, когда горнист играл утреннюю зорю, она родила девочку, но ребенок не прожил и трех дней.

На десятые сутки после родов Степанида Ивановна переезжала верхом Дунай...

Война окончилась счастливо для Алексея Алексеевича, он быстро пошел по службе, Степанида Ивановна была принята при дворе. Но волосы ее уже стали седеть, тело подсыхать, и, несмотря на удовлетворенное честолюбие, мучилась она пуще прежнего, глядя на дородную, веселую фигуру мужа, всегда окруженного хорошенькими женщинами.

Алексей Алексеевич получил генерала, но хватил его легкий ударчик, пришлось выйти в отставку, и он переехал с женой в деревню — родовую вотчину Гнилопята на луговой стороне Днепра.

Там, успокоившись от суеты, возобновил он переписку с некоторыми друзьями, в том числе с братом первой своей жены — Ильей Леонтьевичем Репьевым, отвечавшим пространными умозрительными рассуждениями о жизни и христианской любви на меланхоличные письма друга.

Начитавшись этих писем, Алексей Алексеевич решил сделать Репьеву удовольствие и попросил отпустить на лето погостить в Гнилопята дочку его Сонечку, которой сам Алексей Алексеевич доводился крестным отцом.

Степанида Ивановна отлично помнила, чья была Сонечка племянница, но без особенных споров согласилась на ее приезд оттого, что все помыслы ее заняты были новым, необыкновенным делом, о котором она никому пока еще не сообщала.

Про дело это прослышала Степанида Ивановна перед отъездом в деревню от старичка шведа (приходившегося Алексею Алексеевичу дальним родственником по бабушке шведке, урожденной Вальдштрем) и теперь на свободе обдумывала план, долженствующий имя Алексея Алексеевича внести в страницы истории.

Но для выполнения этого необычайного плана надобно было много денег, состояние Брагиных сильно поиздержалось, Гнилопята приносили тысяч пять дохода, чего вместе с пенсией только в обрез хватало на жизнь. Степанида Ивановна решила искать клад.

По берегам Днепра, в размываемых половодьем кручах, на островках, открывались время от времени богатые клады, — зарывали их с незапамятных времен и ва-

ряги, и запорожцы, и гайдамаки, и польские паны, и булавинцы,— все, кто прошли по днепровским берегам. Рассказы об этих кладах слышала Степанида Ивановна от монашенок соседнего с Гнилопятами монастыря. Монашенки толком ничего не знали, но однажды одна из них сообщила, что недавно у игуменьи появился план сокровищ украинского гетмана Мазепы, собранных им для воцарения на малороссийском престоле и покинутых во время бегства со шведским королем.

Монашенка во всем этом клялась и божилась. Степанида Ивановна собралась к игуменье, но приезд Сонечки отвлек на время ее внимание на мужа и эту девушку, так похожую на портрет покойной Веры.

Вчера произошла ссора с мужем, не первая, но особенно язвительная для генеральши, и Степанида Ивановна, припомнив поутру все мучения долгой своей жизни, едва не ослабела духом.

ГЛАВА ВТОРАЯ

— Боже мой, сколько тягот! Ах, Алексей, и все, все это — для тебя. Неблагодарный, жестокий!

Степанида Ивановна села в кровати, натянула на колени одеяло, поправила чепец и позвонила.

Вошла горничная Люба с чашкой шоколада и серебряным подносом с печеньями. У окна закричал в клетке попугай:

— Любочка!

Люба, улыбаясь, поставила поднос на столик, подошла к клетке и просунула между прутьями палец.— попугай тотчас же стал тереться о него зеленой головкой.

— Оставь попугая,— сказала генеральша, сердито глядя на молоденькую горничную.— Генерал встал?..

— Их превосходительство сюда идут,— улыбаясь, ответила краснощекая Люба.— Барышня давно в столовой.

— Подай зеркало и пуховку. Скорее же!

Люба, подняв овальное в бронзовой раме зеркало, подошла и, опершись коленом о кровать, откинулась так, чтобы Степанида Ивановна, поднимая руки к седым буклям, могла видеть маленькое свое, с синевой под черными глазами, смуглое лицо в мелких морщинах.

Степанида Ивановна провела пуховкой по щекам, налила из хрустального флакона на плечи и руки сладких духов и карандашом отчеркнула тонкие брови...

— Теперь хорошо, ваше превосходительство,— сказала Люба.— Только бровка левая чернее вышла...

Степанида Ивановна посмотрела на круглое с поднятым носом веселое лицо горничной, перевела взор на себя, повернулась в профиль и подрисовала бровь.

В дверь постучали. Люба поспешно прислонила зеркало к кровати и побежала отворять. Вошел генерал.

Высокую его дородную фигуру свободно охватывал китель без погон, на ногах были панталоны с лампасами и бархатные туфли. Львиное, слегка насупленное лицо розовело от здоровья, полные губы добродушно улыбались. Белые, с подусниками, усы — расчесаны.

— Проснулись, ваше превосходительство,— сказал Алексей Алексеевич и заложил руки в карманы.— А ведь я недурно выпался в кабинете. А! — и, взглянув на горничную, захохотал, довольный, что победа на его стороне...

Люба выскользнула из комнаты. Алексей Алексеевич прошелся по ковру.

— С вечера у меня, ваше превосходительство, в бок немного кольнуло, а я и думаю: пусть лучше покалывает, чем упреки твои, душа моя, слушать...

Генерал прищурил один глаз, желая, очевидно, примирения, и болтал всякий вздор. Степанида Ивановна поджимала губы, ноздри у нее вздрагивали.

— Я ответственна за Софью,— вдруг ни с того ни с сего сказала она сухим голосом.— Я не допущу, чтобы ты ее целовал и сажал на колени.

Генерал сразу остановился, вынул из карманов руки.

— Она не кровная родня, чтобы относиться к тебе, как к деду,— продолжала генеральша.— Ваше с ней поведение считаю неприличным, если не...

— Молчать! — сказал генерал.

— Вчера меня старухой назвал,— не сдерживаясь более, закричала генеральша,— находишь эту девчонку слишком молодой. Вижу, вижу — она на тебя не по-родственному посматривает...

— Что? — Алексей Алексеевич начал багроветь...

Но бес генеральшин сорвался, и чем больше разду-

вался генерал, тем безрассуднее, ядовитее придумывала генеральша слова...

— Ох, ох! — повторял Алексей Алексеевич, оглядываясь, чтобы найти метательный предмет. Солнце блеснуло на резьбе серебряного подноса.

— Замолчи! — воскликнул генерал, хватая поднос, поднял его над головой.

— Я ее выгоню! — взвизгнула генеральша...

— Генерал, ура! — закричал попугай...

Алексей Алексеевич, целясь так, чтобы не попасть, бросил в генеральшу подносом. Печенья рассыпались по простыне. Степанида Ивановна сейчас же затихла. Генерал вышел, ударив дверью.

Когда испуг миновал, Степанида Ивановна усмехнулась, сбросила с колен печенья и, босая подойдя к двери, повернула ключ.

Генеральша была очень довольна тем, что Алексей Алексеевич едва не убил ее подносом. Вчера, увидя нежную привязанность мужа к Сонечке, решила она выдать во что бы то ни стало девушку поскорее замуж и в уме подыскала даже жениха — молодого дипломата Смолькова.

Алексей Алексеевич терпеть его не мог, может быть потому, что Смольков приходился племянником Ртищеву, с которым у генерала были старые и особые счеты, — он наотрез отказался его видеть. Степаниде же Ивановне особенно тогда захотелось выдать Сонечку за Смолькова. Теперь представлялся удобный случай: генерал будет каяться в поступке с подносом, размякнет и напишет Смолькову.

Затворив дверь, генеральша выпила шоколад, накинула пеньюар, легла на диванчик и принялась громко вздыхать и стонать: «Боже мой, боже мой!..»

Она знала, что Алексей Алексеевич будет на цыпочках подходить к двери и прислушиваться, но решила из комнаты не выходить, пока генерал не даст нужного обещания.

Алексей Алексеевич, как только выбежал от жены, отер платком пот со лба и, выпустив из надутых щек воздух, пошел по коридору в столовую, дверь в которую была из разноцветных стекол.

— Фу, как гадко! — сказал Алексей Алексеевич. — Ведь довела же человека! Фу! — Чтобы войти в столовую веселым, он помедлил около двери.

Смотря сквозь красное стекло, увидел он столовую, обитую дубом, с резными панелями, с саксонскими блюдами на стенах, и за столом — девушку, терпеливо сложившую руки в ожидании прихода деда. Сквозь стекло все это казалось красным.

Алексей Алексеевич передвинулся налево к зеленому стеклу, и комната и девушка стали зелеными. Генерал приотворил дверь и шепотом позвал:

— Сонюрка, поди-ка сюда...

Сонечка тотчас же встала и, улыбаясь, подошла. Вдвоем они стали смотреть сквозь цветные стекла.

— Фу! — опять сказал Алексей Алексеевич. — Задала мне бабушка феферу, я в нее подносом бросил, фу. — Генерал, зажмурясь, покрутил головой...

— Зачем вы не сдерживаете себя? — сказала Сонечка и поцеловала деда в плечо.

— Ну вот поди же ты! А ты что — пила кофе?

— Я вас ждала.

— А думала о чем?

Сонечка опять улыбнулась, и они сели к столу, развернули накрахмаленные салфетки. Лакей Афанасий, курносый, рыжий и нахальный, любимец генеральши, налил кофе. Генерал, мешая ложечкой, задумался.

Глядя на ласковое, вдруг опустившееся его лицо, на поднявшиеся от печального недоумения брови, пожалела Сонечка деда. Стараясь не стучать, налила она сливок в кофе, отломил кусочек сладкого хлеба, положила в рот, но уже поднятая к губам позолоченная внутри чашка задрожала в ее руке, синие глаза заволоклись слезами.

— Поди ко мне, — взволнованно проговорил генерал, привлекая Сонечку. — Не надо плакать, бабушка тебя любит и сама знает, что говорит напрасно, — у нее характер тяжеловатый, но она добрая... А ты поменьше к сердцу принимай...

— Нет, — отвечала Сонечка, качая головой, — я знаю, что мне нужно уехать отсюда.

— Да тебя никто и не отпустит. Знаешь что — идем и помиримся с бабушкой. Хорошо?

Алексей Алексеевич бодро встал, обнял Сонечку за плечи, но, должно быть, не очень верил в это «хорошо», так как замедлял шаг, идя по коридору, и уже совсем тихо постучал в дверь.

Сонечка взглянула на деда, как бы спрашивая: а что, если?.. На стук громко застонали за дверью; Алексей Алексеевич поднял брови, прошептал: «Слышишь!» — и смелее постучал в дверь.

— Кто там? — был слабый голос.

— Это мы, бабушка, — весело крикнул Алексей Алексеевич. — Отопри, пожалуйста, — и с хитрым видом мигнул Сонечке.

Но за дверью не отозвались. Потом с шумом упало там что-то, зазвенело стекло...

— Ай! — прошептала Сонечка, как котенок, но Алексей Алексеевич погрозил ей и в третий раз постучал...

Ответа не было.

— Села в бест! — сказал генерал уныло. — Надолго.

И он пошел к себе, а Сонечка поднялась наверх в антресоли, села в кресло к окну, вздохнула и открыла томик — «Вешние воды».

«Не виновата, — подумала Сонечка, — и ничего такого не сделала».

Вздохнула еще раз, но уже легче, и наклонилась над книгой, чувствуя сладкую грусть от одного только названия повести.

Сонечке шел девятнадцатый год. Светловолосое личико ее было детское, с нежным ртом, с синими, еще мало осмысленными глазами. Все же она была очень хорошенькая девушка, среднего роста, в холстинковом платье, слегка неловкая и застенчивая, но в неловкости ее было очарование здоровой прелести девятнадцати лет.

Прочтя несколько страниц, Сонечка подняла голову и поглядела в окно на сухую ветку, на которой вот уже полчаса сидела старая ворона, вертела головой.

«Вот глупая», — подумала Сонечка и, начав новую страницу, забыла предыдущее, заглянула назад, — ах, да, — и несколько раз с наслаждением прочла любимое место.

Кончилась глава, в ушах звенело, и Сонечка, глядя перед собой, уже не видела вороны: откинувшись на

спинку стула, мечтала она, ставя себя на место героини. Герой всегда был один и тот же.

На нем — доверху застегнутый черный сюртук, прядь черных волос падает на белый лоб, жгучие, честные глаза ищут кого-то. Он выходит из той вон боковой аллеи, держа шляпу в руке. Полы сюртука отдувает ветер. Он ищет — кого? Он думает — о ком?

Себя Сонечка считала недостойной его — слишком глупой. Но все же герой нашел ее жгучими своими глазами. Он подошел; он говорит о возвышенном. Сонечка обмирает. Он берет ее руку. — Идем! — Ведет в беседку...

Дальнейший ход мыслей был таков, что Сонечка вставала, на цыпочках шла к умывальнику, мочила конец полотенца в холодной воде и прикладывала к вискам. Затем бывало раскаяние в грешных мыслях, но все же они повторялись все чаще и чаще, все труднее было с ними совладать.

Сегодня Сонечка отложила книгу, вынула из рабочего столика шелк, канву, наперсток, поставила ноги на скамеечку и, сжав колени, прилежно стала вышивать.

«Как же с бабушкой? — думала она. — Может быть, обойдется, а уж я все сделаю, — постараться бы с дедушкой быть меньше вдвоем».

Сквозь окно слышался стук ножей на кухне. Где-то курица, должно быть, снеся яйцо, тихо стонала — не в силах закричать. Петух разволновался и заорал, захлопал крыльями. Плелась по двору собака, наступая лапами на обрывок веревки. В безветренном, словно полинявшем небе плавал коршун, высматривая цыплят.

Скучно и томительно в июльский зной сидеть у окна, глядя на опустевший двор усадьбы. Весь народ в поле. На усадьбе осталась только стряпуха, которая с утра до ночи печет ржаные хлебы, отправляемые вместе с солью, бараньим салом и пшеном в поле, или, угорев от печи, выскакивает из людской на двор и кричит благим голосом, требуя расчета и скребя волосы на голове. Но на крики ее никто не отвечает, разве приехавший с работ приказчик лениво выругается и плюнет, и она с ревом бросится назад в пекарню.

Да еще двое белоголовых мальчиков — один в штанах, другой без штанов — возятся на куче золы, набивая золой продранный валенок.

Жарко, безветренно и тихо. Глаза у Сонечки слипаются, игла скользит из пальцев. Пойти бы к деду, да нельзя. Искупаться бы, да вода такая теплая, что по всему телу от нее зуд. Хорошо где-нибудь в густом лесу у ручья, в траве. Вода журчит. Голова у Сонечки клонится.

В полдень не легче и Алексею Алексеевичу.

Пять раз подходил он к генеральшиной двери, говоря то шутя, то ласково:

— Полно, Степочка, отвори. Ей-богу, я раскаиваюсь. А?

Заманчиво представляется ему сидеть сейчас в генеральшиной комнате: там прохладно, не то что в обращенном на юг кабинете, где нагрелась кожа дивана от солнца, бьющего сквозь спущенную парусиновую штору, и по мокрому лицу ползают мухи.

В генеральшиной спальне можно развалиться в кресле у окна, закурить сигарку и, попивая что-нибудь прохладительное, посмеяться над давешней историей. А теперь без Степаниды Ивановны даже квасу не добьешься.

— Ей-богу, видишь: вот я и перекрестился, никогда больше не стану подносом бросать, и вообще...— в отчаянии говорил генерал, шестой раз подойдя к двери.

— Что тебе надобно? — ответила, наконец, Степанида Ивановна ледяным голоском.

— Мириться, мириться! — Алексей Алексеевич радостно потянул дверную ручку.— Ну, полно же тебе.

— Я спрашиваю: что тебе от меня надо?

Генерал опешил.

— Как что? Я думал...

— А что ты думал, когда убивал меня подносом?

— Степочка!

— Я до сих пор дрожу от страха,— может быть, ты сейчас войдешь и зарежешь меня.

— Степочка! — воскликнул Алексей Алексеевич, тоскуя в темном коридорчике.— Прости меня, я все сделаю.

— Ах, мне ничего от тебя не нужно, я скоро умру.

— Боже мой, что же тебе нужно?

Степанида Ивановна помолчала, потом сказала тихо:

— Напиши письмо Смолькову...

— Кому? — спросил генерал, хотя ясно услышал. — Кому?

— Смолькову, — громко сказала генеральша. — Я хочу, чтобы он сюда приехал.

Алексей Алексеевич нахмурился. Степанида Ивановна громко принялась стонать и сморкаться.

«Все равно, — подумал Алексей Алексеевич. — Смольков не хуже других, черт с ним, руки не отвалятся».

Так состоялось примирение, и было отослано в Петербург княгине Лизе Тугушевой политическое письмо, где говорилось, что супруги Брагины хотели бы видеть у себя Смолькова, а в Р. С. сделана пометка: гостит у нас Сонечка Репьева, милая и прелестная девушка...

Письмо отправили на почту с нарочным, и Степанида Ивановна, приласкав, наконец, растроганного супруга, приказала заложить коляску, чтобы ехать в монастырь.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Монастырь лежал под горкой в густом вишневом саду. Пирамидальные тополя росли вдоль невысоких стен, сложенных из камней когда-то бывшей здесь в давние времена крепости.

У монастырских ворот стояли заколоченные балаганы для продажи съестного во время праздников. Длинные стены, фруктовый сад, келейки уходили в дубовую рощу, откуда вытекал и по сухим листьям и веткам бежал под стену и в сад студёный ключ.

В саду на полянках, очищенных от вишенника, — под грушей или яблоней, — стояли мазанные из глины, выбеленные кельи. У каждого порога лежало по камню для отдохновения, и на двери был нарисован синюю краской осьмиконечный крест. В глубине сада, там, где сходились проторенные в траве тропки, над зеленью деревьев поднимались полинявшие луковицы древнего храма с железными крестами.

Теперешняя игуменья, мать Голендуха, не пожелала, чтобы монашенки жили порознь в далеко одна от другой стоящих кельях. Являлось от этого великое балов-

ство, особенно в апреле месяце, когда сокращали службы, чтобы более оставалось времени для садовых работ. Монашенки тогда ходили, как пьяные, в черных своих рясках, щеки их загорали, и напевы духовных стихов смущали не одного прохожего за белой стеной, а мать Голендуха только вздыхала, говоря: «Какое же это ангельское пение? — один блуд».

Поэтому, с благословения архиерея, собственным иждивением был построен деревянный дом близ церкви... В одной половине его, лицом в сад, находились трапезная и келья игуменьи, а в другой, окнами на скотный двор и курятники, — кельи сестер.

— Пусть их на курей посмотрят, — говорила мать Голендуха. — Куря всегда ногой в навозе зерно найдет, значит имеет настоящую веру. А мой-то: подай им того, сего — пирогов да моченых яблоков, а сами только и норовят о скоромном шептаться.

О пастве мать Голендуха мнения была неважного:

— Тоже вот в прошлое Христово воскресение сестра Клитинья двадцать пять яиц за раз съела, — двадцать ведь пять.. Соборовали. Я ее стыдить: как, говорю, с таким брюхом на тот свет полезешь? Ничего, отдыхалась, — чистая корова, прости, господи.

Росту мать Голендуха была небольшого, но сложения тучного. Вся насквозь она пропиталась кислым ладаном, что особенно усугубляло веселость, которую испытывал, встречаясь с нею, каждый.

Монашенки боялись игуменьи, как огня. Бывало, в зимние вечера, собираясь у длинного стола трапезной вышивать воздухи, бисерные кошельки, колпачки на ламповые стекла или скатерти, слушали они, шурша работой, как мать Голендуха разговаривала, попивая грушевый квас:

— Что же вы, дуры, думаете, что вас всех и заберут в рай? Да ведь, не к ночи будь помянуто, дьявол должен чем-нибудь пропитать себя...

— Где уж нам! — отвечала самая шустрая из сестер и вздыхала прилично. — Нам-то хоть бы смирение показать.

— Закрой рот, — говорила мать Голендуха и стучала кружкой. — Разговорилась! За язык возьмут тебя черти, душа оглашенная, и станут держать во веки веков.

Монашенки, низко склоняясь, молчали. Мать Голендуха вытирала рот, складывала на животе руки.

— Нет,— продолжала она,— ты его побори сначала, зажди ему хвост, а потом смирение показывай... А то тра-та-та, тра-та-та, целый день: «Мать игуменья, дозвольте в лес добежать, сушняку принести». Сушняку!.. Знаю, какой сушняк собираете. Сушняк-то у вас в штанах ходит... Не видела я разве, как сестра Гликерья в ручье мужеские вретича полоскала...

Мать Голендуха открывала совершенно круглые глаза и, стуча костяшками по столу, ужасно шептала:

— Вот в старые времена задрали бы тебе ряску да на горячую плиту и посадили: грей проклятое место.

Душеспасительные беседы не занимали всех помыслов матери Голендухи. Хозяйство монастыря тревожило ее и беспокоило. Кроме вишневого сада, обитель владела еще тремястами десятин пустошей да Свинными Овражками — неизвестно кем и когда перекопанным местом, полным щебня и камней, откуда вытекал монастырский прохладный ключ.

Всего этого едва хватало для пропитания тридцати душ и благолепия церкви, а о прикоплении денег или покупке земли нечего было и думать.

Поэтому мать игуменья благословила одну из сестер, испытанную мать Нонну, идти собирать пожертвования на храм.

Мать Нонна шла по деревням и городам быстрой поступью, всегда веселая и говорливая, собирая с крестьян по копейке, с купцов по рублю. Память у Нонны была чрезвычайная: не только имена живущих, но дедов и прадедов их помнила она по всей Руси. Придя в город, тотчас же справлялась на базаре, кто умер, кто родит, кто сына женит, и стучалась из дома в дом, хозяйшке предлагала просфору, без малого фунтов в пять, присовокупляя подарочек словами — не в бровь, а прямо в глаз. На купцов и старосветских дворян действовало это чрезвычайно. Полная сума была у матери Нонны.

Попивая чаек, любила рассказывать Нонна приветливым своим голосом, каких видела людей, да где какие святые иконы проявились, да кто на ком женится... Чертей видела она три раза. Один — маленький, хво-

рый — был к ней даже привычный, звала она его не христианским, конечно, именем, а собачьим — Полканка, — очень жалела.

Возвращалась мать Нонна обыкновенно к рождеству и приносила немало денег, но иногда пропадала года по два, забредя за Окиян. Тогда мать Голендуха, для поддержания средств, объявляла монастырский ключ целебным и продавала в склянках — три копейки за штуку, пятак пара — дивную воду.

Но недавно господь воистину сжалился над монастырем. Сестра Клитинья, после того как на святой объелась яйцами, стеная и призывая скорую смерть в избавление от колик, открылась на духу священнику, а потом отдельно матери игуменьи, что помирает не от своего аппетита, а оттого, что хранит страшную тайну — старинный клад, зарытый на крови.

Мать Голендуха выпросила все подробно — как сусек выскребла — и, отобрав у Клитиньи какой-то документ, возликовала в своем сердце, ожидая для монастыря великих милостей.

Сначала мать Голендуха думала сама копать клад, но, рассчитав, что денег на это не хватит, да, пожалуй, и бес там замешан, послала монашенку к генеральше Степаниде Ивановне.

Степанида Ивановна ехала в монастырь на паре вороных, которых звали — Геркулес и Ахиллес. В древности они были, может быть, героями, но теперь, неспешно волоча покойную коляску, старались поставить кривые ноги куда помягче. И всегда, садясь на этих коней, генеральша говорила кучеру: «Смотри, держи, чтобы не разнесли». На что кучер отвечал беспечно: «Помилуйте, не впервой».

По дороге Степанида Ивановна обдумывала политичный разговор с игуменьей. Когда показались над зеленью синие главы церкви, белые ворота и коляска мягко зашуршала по песку въезда, генеральша беспокойно задвигалась на подушках, вынула из ридикюля английскую соль и поднесла к носу.

Мать игуменьи встретила генеральшу на крыльце, приветливо кланяясь по уставу. Степанида Иванов-

на сложила зонт, кивком ответила на поклон и, подхватив лиловое шелковое, покрытое кружевной сеткой платье, вышла из коляски и поднялась на крыльцо.

— Благодетельница, — запела мать Голендуха, закрыв глаза, — все это вы порхаете, все порхаете, как птица-голубь, а я-то, грешная, все сырею, все толстею, — так и думаю: выйду в лихой день на крылечко, оступлюсь и расколуюсь, как дыня.

При этих словах щеки у матери Голендухи расплылись, действительно став похожими на спелую дыню, что лежит, прикрытая листом, на бахче.

Степанида Ивановна села на крылечке и, глядя на пышный, сбегаящий вниз вишенник, сказала со вздохом:

— Отдохнуть приехала в ваш рай земной. Устала от забот...

При этом она поглядела искоса на игуменью. Игуменья в свою очередь — также искоса — поглядела на генеральшу.

— И, какой у нас, благодетельница, рай, мы еще многих иных грешнее.

Обе женщины хитрили, и ни одна не начинала нужный разговор. С вишенника веял пахнувший смолой ветер, пролетали грузные пчелы, а невдалеке, должно быть — из кельи, слышалось монотонное пение духовного стиха. Умиротворилась, казалось, душа певуньи, не дивится более ничему и поет только потому, что по всей земле, в каждом листе, во всем, что живет и дышит, бьется вечный, однообразный шум живых ключей.

На крыльцо из дома вышла монашенка, принесла стол, накрыла его вышитой ширинкой и поставила расписные чашки. Другая монашенка принесла самовар и положила в трубу березовую ветку, чтобы дым отгонял мошек.

— Грешница, люблю чаек попить, — проговорила мать Голендуха, — но не такой это грех, как сумасшедшие капли. Вон у нас священник на пасху наприкладывался сумасшедших капель, — водки то есть выпил, а пьет он, как насос, — и пошел служить молебен к доктору, а у доктора аптечный шкаф картинками обклеен разного веселого содержания. Поп-то повернулся к шкапу и давай кадиллом махать. Доктор ему: «Батюшка, образ вон в том углу, а это непотребство; извините,

что я его простыней не закрыл...» — «Это,— говорит поп,— мне все равно, я к этому отношусь неглижа». Видишь ты, до неглижа и довели его сумасшедшие капли.

Степанида Ивановна сделала губами звук «тсс...» Качнула кружевной косынкой и сказала:

— Варенье прекрасное у вас, мать игуменья. Из своей вишни варили?

— Из своей, для гостей держим хороших...

— А говорят, в этой местности клады всевозможные зарыты?

— Множество.

— Говорят, вы знаете один такой, интересно бы послушать.

От глаз игуменьи тотчас же побежали морщинки. Хитрейшие стали глазки. Грузно повернувшись на стуле, она сказала:

— Сестра Клитинья, подойди к нам.

Тотчас же к столу подошла в порыжевшей ватной рясе Клитинья. Сложив руки на груди, поклонилась, посмотрела на яства, уставлявшие стол, и, опустив желтое скуластое лицо, стала у притолоки.

В глухих деревнях рождаются такие большеголовые дети, которые едят и не могут наесться. Чувство голода передается им по наследству, как иным талант. Так и у Клитиньи было желтое лицо и большой рот, полный жадности.

Степанида Ивановна со страхом и отвращением оглядела монашенку. Игуменья, степенно сунув пальцы в пальцы, молвила:

— Расскажи нам, сестра, все, что знаешь.

Клитинья облизнула губы и тихим голосом стала рассказывать все, что знала изустно от отца и деда о предке своем Осипе Кабане.

«Был он, Осип Кабан, мальчишкой о двенадцати годках. Позвали его на гетманский двор ночью и повели с двенадцатью молодыми казаками рыть подвалы в горе. Туда же им пищу приносили. Рыли они три месяца, а когда кончили рыть, подарил им гетман красные шаровары, белые свитки и каждому шапку и сказал: «Идите за мной, слуги мои, возьмите сундуки кованые, поставьте их в те подвалы. Когда все сделаете по моему слову — награжу по-царски».

Понесли они кованые сундуки. Шесть их было насыпано серебром, три — красным золотом, три — жемчугом, а Осип Кабан нес корону золотую, весом пять фунтов с четвертью.

Позади всех шел гетман Мазепа и держал острую саблю.

Дошли они до самого дальнего подвала, поставили сундуки, замуравили дверь, и приказал гетман казакам стать на колени, вынул книгу и начал читать заклятые слова. Потом взял Мазепа острую саблю и отрубил голову всем двенадцати казакам, а Осипу приказал завалить двери подвальные до самого входа и ставить приметы: *каменную голову, орла и четырехконечный крест.*

Послушался Осип и все выходы завалил, а сам думает: лежать ему здесь тринадцатому без головы. Стал он на колени и попросился перед смертью прочесть «Отче наш...» Когда Осип сказал «аминь», гетман взмахнул саблей, а рука у него заостенела, — не опустить... Понял злодей, что неправильно сотворил, и убежал из подземелья.

А Осип Кабан как преклонял на молитве колени, так и остался на всю жизнь колченогим, чтобы не забыть божьего чуда. Аминь».

Клитинья кончила рассказ и опять стала глядеть на еду, а Степанида Ивановна все еще слушала, — на щеках у нее выступили пятна, глаза были сухи.

— К тому имеются у нас документы и план, — сказала игуменья строго. — Осип Кабан, помирая, план оставил.

Степанида Ивановна вздрогнула и положила руки на грудь, не в силах молвить слова. Мать Голендуха, вынув из-под рясы ветхие листки синеватой бумаги, продолжала:

— Вот план и надпись: «Сей план снимал Осип Кабан, господней милостью остался жив и руку приложил». Вот описание плана и приметы, и вот опись, что есть в сундуках... Уйди, Клитинья, — окончила мать Голендуха и, прикрыв полной рукой ветхие листки, сделала сладчайшее лицо. — А лежат сии подвалы, благодетельница Степанида Ивановна, на нашей монастырской земле, как раз в Свиных Овражках. Ни в одной лавре нет такого богатства, как у нас. Но мы не хотим земно-

го, нет, не хотим,—гонимся за небесным: не земного ждем, а небесного жениха...—При этом у матери Голендухи глаза укатились под лоб, рот раздвинулся, показав единственный передний зуб, а все лицо изобразило наглядно, как они ожидают жениха.

— Так продайте же мне Свинные Овражки! — необдуманно воскликнула генеральша и от волнения поднялась со стула.

Но мать Голендуха печально покачала головой и ничего не сказала, но было ясно, что на продажу склонить ее возможно...

С этой мыслью и уехала Степанида Ивановна из монастыря. За экипажем поднялась легкая пыль, золотистая от низкого солнца. Геркулес и Ахиллес степенно бежали по дороге, вспоминая былую славу.

Степанида Ивановна места себе не могла найти в коляске, раскрывала и закрывала зонтик, сбросила с колен плед и, оглядываясь на монастырь, шептала:

— *Корона там, его корона, сама судьба ведет меня. Ах, Алексей, если бы знал, как я вознесу тебя!*

Степаниде Ивановне казалось, что если так внезапно и просто дается в руки огромное богатство, не может не осуществиться заветная цель. Необходимо было пока скрыть даже от мужа существование клада, чтобы не дошли слухи и правительство не потребовало львиной доли. Затем достать денег для раскопок и выкупить место у монастыря. Можно продать гнилопятский заповедник и всю рожь. Потом скорее сбыть с рук Софью — помеху в такое важное время.

Степанида Ивановна сжимала пальцами виски и так сильно, что разболелась голова. Вспомнив о Сонечке и желая отогнать волновавшие мысли, генеральша подумала:

«В сущности не такого бы ей нужно мужа, как этот ветрогон Смольков. Но сделано — не воротишь, а выходить замуж надо же когда-нибудь. Приеду,—приласкаю ее и бедного Алексея. Ах, глупый, глупый! Ведь все это для тебя, для твоего счастья».

Чуя дом, кони побежали под горку рысью. Околицу отворил пастух с котомкой на спине, снял шапку и долго смотрел на блестящий экипаж.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Сонечка сильно перетрусилась, когда горничная Люба таинственным шепотом позвала ее к генеральше.

Сбежав по деревянной винтовой лестнице, мимоходом взглянула Сонечка в зеркало и, увидев, что щеки бледны, похлопала их ладонями. В это время дверь кабинета приотворилась, и генерал, просунув одну голову, прошептал:

— Не робей, Сонюшка, бабушка добрая, ты только молчи да ручку поцелуй.

— Хорошо,— сказала Сонечка улыбаясь.— И потом к вам забегу, расскажу.— И пошла на цыпочках по коридору.

Генеральша сидела боком к туалету, играя веером. Когда вошла Сонечка, она улыбнулась, привлекла девушку, усадила на скамеечку у ног своих и потрепала по щеке.

— Зачем ты так туго закручиваешь косы? — сказала генеральша.— Их нужно плести совсем легко.

— Хорошо,— ответила Сонечка, робея.— Я больше не буду.

— Я на тебя не сержусь, глупая, сядь сюда, я покажу, как нужно убирать волосы.

Быстро распустив Сонечкины косы, упавшие до полу, Степанида Ивановна принялась черепаховым гребнем медленно их расчесывать.

— Вся сила женщины в волосах — в них заключено электричество и, смотри, никогда не надевай на ночь шелковых чепцов. Когда твой муж ляжет подле тебя, распусти волосы, чтобы они касались его лица: тебя он может забыть, но запах твоих волос никогда. Никогда не души их духами, волосы должны пахнуть тобой.

— Бабушка,— прошептала Сонечка, пряча лицо в рукав генеральши,— я не собираюсь замуж.

Степанида Ивановна медленно засмеялась, расчесала, заплела Сонечке две косы, обвила их вокруг лба и перевязала синей лентой.

— Теперь ты красива,— проговорила генеральша, держа ладонями Сонечкину голову.— Посмотри на меня. Ах, дитя мое! Ты женщина, тебя ждет все та же участь.

Она отошла от туалета и, шурша лиловым платьем, прилегла на диван у окна. Становилось сумеречно.

— Тебе нужно замуж,— сказала вдруг генеральша иным, таинственным голосом.— Ты совсем поспела, как плод.

Сонечка молча наклонила голову, Степанида Ивановна раскрыла и закрыла кружевной веер.

— Я нашла тебе подходящего мужа, он красив. Хорошо иметь красивого мужа. Но нужно иметь каменное сердце...

Вспомнив, должно быть, старое, генеральша вытянулась на диване. Шелк ее платья засвистел под ногами. Сонечка знала, что нужно сказать во всяком случае что-нибудь, но не могла пошевелиться. За окном тормозились воробьи перед сном. Попугай нежным голосом называл себя по имени. Генеральша сказала:

— Мне писали из Рима,— святой отец занемог. Что?

— Я не знаю,— растерянно пробормотала Сонечка.

— Такое горе для христианского мира. Что?

— Да, бабушка...

— Это возвышенно думать о боге, мы все его дети...

И генеральша начала болтать деревянным голосом чепуху. Это была ее манера — светский, по ее мнению, тон, который генерал терпеть не мог и называл — «лущить горох».

Но Сонечка не знала еще этой особенности за генеральшей и была изумлена, сбита с толку и отвечала невпопад.

В сумерках маленькая генеральша казалась восковой, с наруганными щеками, левой рукой она покачивала раскрытый веер, притворно улыбалась...

— Когда Апраксину дали ленту через плечо, он сказал моему мужу: «Помилуйте, генерал, я не заслужил ее, право, не заслужил»; он был очень мил в эту минуту.

«Почему лента? — думала Сонечка.— Почему болен римский папа? Почему молодой муж и каменное сердце?.. Должно быть, я действительно глупа».

— Что же ты молчишь, ты глуха? — опять иным голосом спросила генеральша.

— Нет, бабушка.

— Ты не ответила — хочешь ли замуж?

— Я постараюсь...

— Что постараюсь?..

— Я не знаю...

— Хорошо, ступай к себе. Я все решу за тебя. Я не зла тебе хочу, но счастья.

Притворив дверь спальни, Сонечка перекрестилась — слава богу, обошлось! — и пошла к Алексею Алексеевичу в кабинет.

Алексей Алексеевич лежал на турецком диване, держа у рта длинную трубку. Над диваном, на ковре, было в порядке развешано всевозможное оружие — кольчуги, щиты, копья, ружья, сабли, пистолеты. На окне спущена парусиновая штора.

Сонечка вошла и улыбнулась. Генерал, подняв трубку, сказал:

— А я сейчас думал... Садись-ка рядом... А я сейчас думал и решил: наша русская сабля имеет преимущество против турецкого ятагана, вон видишь того — кривого.

Сонечка, аккуратно сложив руки на коленях, подняла на Алексея Алексеевича синие рассеянные глаза.

— У ятагана есть достоинства — он сам режет, саблю же надо тянуть при ударе к себе. Но зато я могу колоть, а ятаганом не уколешь.

Генерал встал с дивана и показал выпад и защиту тем и другим оружием.

— Поняла? Об этом-то я, мой друг, хочу написать статейку.

Он сел опять, вытер лоб и, взяв Сонечкины руки в большие свои ладони, спросил ласково:

— Помирились с бабушкой?

— Помирились, — ответила Сонечка кротко.

Генерал покрутил ус, ему хотелось до конца высказаться.

— Вот пример: еду я близ крепостной стены, и наскакивает на меня преогромный турок с кривым ятаганом. Я выстрелил, промахнулся. Он меня — ятаганом, я его — саблей; он — рубить, я — колоть. Что же думаешь — лошадь моя Султанка выручила, ухватила турка зубами за ногу, завизжал он, я в это время и проткнул его в живот.

— Вот ужас! — Сонечка вздрогнула. — Вам не было страшно?

— Страшно не было, но потом все чудилось, что я разрезал лимон.

Алексей Алексеевич, удовлетворенный, что исчерпал вопрос о саблях, похлопал Сонечкины руки.

— Ну, а теперь расскажи, как вы с бабушкой порешили. Сватала она тебя?

Глаза Сонечки испуганно раскрылись.

— Вы серьезно, дедушка? Но я не знаю, мне не хочется замуж.

Алексей Алексеевич привлек к себе ее светловолосую голову и говорил, поглаживая:

— Ты права, деточка, для тебя это очень серьезный шаг. И в этом и во всех движениях ты похожа на покойную Верочку. Бывало, она так же... Вспоминаешь и думаешь, — было нам хорошо. Мы нежно и свято любили. А знаешь, как венчались?.. В деревенской церкви зимой. Все окна завалило снегом, и церковка дрожала, — такая разыгралась пурга. Потом у Ильи Леонтьевича, твоего отца, был пир, а вечером нас отправили на санках ко мне в имение. Верочкин сват, Степан Налымов — тучный был старик, — стал, по обычаю, на запятки и провожал нас все сорок верст в расстегнутой шубе, без шапки.

Алексей Алексеевич долго еще улыбался в густые усы, потом глаза его заволокло влагой.

— Тогда казалось — конца-края не хватит счастьем, — ожидалось замечательное что-то в жизни. А жизнь прошла, и ничего замечательного не случилось. Так-то. Ходишь и думаешь: зачем вот ходишь? Книгу возьмешь — ну что, думаешь, я в ней прочту нового, — все равно помирать надо.

— Что вы, дедушка! — воскликнула Сонечка жалобно. — В какой вы меланхолии.

— В меланхолии, в меланхолии, — ты права. Дело мне надо заняться. Вот скоро поеду рожь продавать в город. Так нет же, Сонюшка, попляшу я на твоей свадьбе. Меланхолия у меня от сумерек. А мы ее побоку. Слушай, что бабушка-то придумала!

И он рассказал про план Степаниды Ивановны и про письмо.

— Понравится тебе Смольков — бери его в мужья, а не понравится — другого сыщем...

Сонечка ничего не сказала, только руки ее похолодели. Она представила Смолькова своим всегдашним героем...

В дверь осторожно стукнули, вошел Афанасий и, доложив, что подан ужин, зажег на письменном столе четыре свечи, соединенные вместе зеленым колпачком.

Ужин благодаря теплоте времени был накрыт на каменной террасе. Степанида Ивановна уже сидела на длинном конце стола, жеманно облокотясь на кресло.

Два канделябра тихо оплывали от легкого дуновения ночи, и множество бабочек и жучков кружилось у света, падало на белую скатерть.

Генерал тотчас же, как только сел на свое место, засунул салфетку за воротник кителя и стал есть, весело поглядывая. В подливку упал жук, Алексей Алексеевич выловил его на край тарелки.

— Солдаты говорят: в походе и жук — мясо. А ты, Степанида Ивановна, ничего не ешь?

Генеральша действительно к еде не притрагивалась. Таинственная улыбка морщила тонкие ее губы.

— Если бы ты знал, что я знаю, то и ты бы тоже не ел,— проговорила она медленно и, поставив локоть на стол, затенила ладонью лицо от света...

— Что же такое случилось?

— Алексей, мы скоро будем иметь царское богатство...

Генерал выронил вилку, открыл рот. Афанасий, поставив в это время блюдо с картофелем, отошел к двери, внимательно слушая.

— Откуда же? — спросил, наконец, Алексей Алексеевич. — Откуда же? Разве кто-нибудь умер?

— Нет, Алексей, никто не умирал. Но я нашла клад гетмана Мазепы.

Генерал сейчас же опустил в тарелку длинные усы, старался скрыть ими улыбку. Но Степанида Ивановна все-таки заметила улыбочку, сверкнула глазами и вопреки данному себе слову рассказала о кладе все, что слышала и видела в монастыре...

— Ты понимаешь теперь, Алексей,— я должна купить Свиные Овражки.

— Но это безумие,— воскликнул генерал,— покупать никому не нужные Овражки!

— Это безумие так отвечать! — крикнула генеральша.

— Что? — спросил генерал, начиная хмуриться, но Сонечка взглянула на него умоляюще, и он поспешил прибавить: — Я понимаю,— ты пошутила, не будем ссориться ..

— Я ничуть не шучу,— генеральша стукнула кулачком,— я должна иметь через две недели деньги для покупки. Ах, я знаю,— ты хочешь сделать меня нищей. Мало всех огорчений, которые ты мне доставил, ты вырываешь последнюю надежду.

Генерал начал пыхтеть, надуваться; быть бы ссоре, но Афанасий, почтительно наклонясь над Степанидой Ивановной, выждал многоточие в разговоре и сказал:

— Осмелюсь доложить, ваше превосходительство, все верно, как вы изволите говорить...

— Что, как ты смеешь! — закричал генерал.— Пошел вон!..

— Оставь его, Алексей. Продолжай, Афанасий...

— Когда я еще, ваше превосходительство, мальчишкой в здешних местах бегал, находили мы на Свиных Овражках монеты. Изволите посмотреть.

Афанасий вынул из жилетного кармана старинный польский золотый и подал генеральше.

— Вот видишь, я всегда права! — воскликнула Степанида Ивановна.— Посмотри — тысяча семьсот третьего года. Спасибо, Афанасий.

Генерал сказал:

— Да, старинная. Странно!

Степанида Ивановна, воспользовавшись поворотом обстоятельств, начала мелко щебетать — «залушила горох». Передернула плечиками. «Ах, здесь сыро, на этом балконе!» И выпорхнула в дверь, поддерживаемая Афанасием под руку. Когда они ушли, генерал выпустил воздух из надутых щек: «Ерунда!» — и швырнул монету в сад.

Затем сунул руки в карманы тужурки и зашагал по веранде. Сонечка, сидя за самоваром, вглядывалась в свое изображение на изогнутой меди: подняла голову — и лоб ее вырос, сверху приставилась вторая го-

лова; опустила — щеки раздались вширь, лицо сплющилось.

— Никакого клада нет, одна, черт знает, глупость! — закричал Алексей Алексеевич, вдруг остановившись. — А денег уйдет — фить! А попробуй я не дать денег — все перевернет, как Мамай!

Чертыхнувшись, генерал лягнул стул и ушел попытаться разговорить Степаниду Ивановну, пока она еще не окрепла в своем решении.

Сонечка долго сидела одна, глядя на зелененьких мошек, бабочек на скатерти, на карамору, повредившего ногу. Вздохнула, задула один из канделябров и вышла в темный сад.

В ее голове никак не укладывались разговоры и впечатления сегодняшнего дня, поэтому она и вздохнула, отгоняя не доступные ее разумению мысли. Ни звука не слышалось в липовой аллее, ни шелеста, только — шорох шагов по песку. Сквозь черную листву просвечивали звезды на безлунном небе. От запруженной реки Гнилопята стлался по траве еле видный туман...

«Вот идет, — думала Сонечка, — девушка в темноте; на ней белое платье; в саду таинственно и тихо; у девушки опущены руки, и никого нет кругом; она одинока. Где же ее друг? Он не слышит! Вот скамейка. Девушка в белом садится и сжимает хрупкие пальцы. Ах, как пахнет резедой!»

Сонечка действительно села, смахнув с лица и с шеи прильнувшую паутину...

«Ночной холодок пробегает по спине; девушка в заброшенном саду. Она не слышит, что он уже близко; он в шляпе, надвинутой на глаза. Его шаги близко... В самом деле, кто-то идет!» — испугалась Сонечка и прислушалась: от пруда по аллее кто-то шел, мягко ступая на всю ногу.

Шаги приближались. Испуганнее билось Сонечкино сердце, но в темноте нельзя было рассмотреть идущего.

Не убежать ли? Она повернулась. Под ногой хрустнула ветка. Тот, кто шел, спросил, остановясь:

— Во имя господи Иисуса Христа дозволейте женщине бесприютной ночь провести.

— Пожалуйста, — отвечала Сонечка, успокаиваясь. — Вы кто такая?

— А Павлина,— как будто изумясь, что ее не знают, ответила женщина и подошла ближе.

— Вы на богомолье идете?

Павлина ответила не сразу,— протянула усталым ранодушным голосом:

— Куда нам богу молиться, не сподобилась. Брожу все. А вы кто будете,— барышня?

— Барышня...

— Степаниде Ивановне внучка?

— Вы пойдите на кухню, вас покормят...

— Пойду, пойду. Спаси вас господь...

Но Павлина не двигалась. В просвет между ветвями стала видна ее обмотанная шалью огромная голова.

Сонечке было неловко сидеть молча, она встала, но Павлина вдруг подняла руку и кликушечьим высоким голосом заговорила нараспев:

— Чую дому сему великий достаток и веселье. По-наедут человеки, будут вино пить, песни петь, плясать, а одна голубка слезы прольет, да вспомнянется слово мое, аминь...

Сказав «аминь», поклонилась Павлина поясным поклоном и молча пропала в темноте; хрустнули кусты, затихли мягкие шаги.

Так в доме Степаниды Ивановны появился новый человек, решительно повлиявший на судьбу дальнейших событий.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Николай Николаевич Смольков лежал в смятой постели и долго старался сообразить, что было вчера.

Вчера было очень похоже на позавчера, а позавчера на третьего дня, но случилась какая-то, помимо обычного, неприятность, и Николай Николаевич застонал, чувствуя ломоту и тошноту,— во всем теле бродило еще шампанское, а во рту будто ночевал эскадрон.

В комнате от спущенных штор было темно, и только ночник, вделанный внутрь розовой раковины, слабо освещал край столика, окурки и увядшую розу в стакане.

«Вспомнить бы по порядку,— думал Николай Николаевич.— Встал я, надел коричневый костюм и этот гал-

стук с горошком, поехал завтракать, нет,— сначала поехал к парикмахеру, потом завтракать, потом в манеж, нет, потом с визитом... Как же я в пиджаке с визитом поехал?... Ах, да, к княгине... Вот что!..»

В волнении он приподнялся на локте, но винные пары опять ударили в голову, прервав последовательность мыслей. Уткнувшись в подушку, пролежал он довольно долго, потом позвал слабым голосом (до звонка трудно было дотянуть руку):

— Тит!

Никто не ответил... Николай Николаевич, пошарив, нашел портсигар, спички и закурил. Табачный дым еще пуще затуманил мысли, но потом все-таки прояснилось, и Николай Николаевич вспомнил о княгине, вспомнил все: как вчера, после годовой разлуки, встретил Муньку Варвара, как она обрадовалась, а он хотел удрать, но это не удалось.— не удрал. Как они обедали, потом катались, потом в «Самарканде» ужинали с цыганами; как пришли какие-то офицеры с пьяным англичанином, кричавшим почему-то «батюшкí, матушкí»; как на столе лежали Мунькины толстые ноги и так далее, и так далее... Цыгане, шампанское, Мунькины духи... Даже сейчас ими пахли руки... Но скверное случилось после, когда в два часа возвращались на автомобиле: на углу Кирочной поравнялась с ними карета, из окна выглянула сама княгиня Лиза и устроила такую гримасу, что... фу!.. фу!..

Николай Николаевич вытер мокрый лоб, привстал и крикнул:

— Тит, осел!

Вошел мрачный мальчик-грум, по имени Тит, отдернул, звеня кольцами, штору, и дневной свет залил небольшую низкую комнату, кровать из карельской березы и желтое, длинное, измятое лицо Николая Николаевича с коротко подстриженными усиками.

Николай Николаевич зажмурил глаза от боли. Тит захватил платье, ушел и вернулся, держа в руках поднос со стаканом крепкого кофе и яйцом в серебряной рюмке.

— Вчера я очень напился, Тит?

— Обыкновенно,— отвечал Тит, глядя в сторону.

— Все-таки сильнее, чем всегда?

— Пожалуй, сильнее.

— Знаешь, Тит, сколько вчера я выпил? — И Николай Николаевич принялся мечтательно перечислять сорта и марки выпитых им вчера вин.

— Вставать надо, — перебил Тит. — Французик сейчас придет.

— Сколько раз я запрещал тебе называть его французиком.

— Ладно уж...

— Дурак!..

Тит помолчал.

— Рубль тридцать копеек всего осталось вашего капитала, — сказал он, — больше нет! — И, наконец, посмотрел на барина. — Так-то.

Николай Николаевич поморщился. Действительно, денег больше не было, и трудно было, как всегда, доставать... Придется у Лизы просить или у дяди... Бросив окурок на поднос, Николай Николаевич выпил кофе, потянулся и лениво спустил на коврик худые, в рыжих волосах, ноги.

— Тит, одень.

Тит надел барину гимнастическое трико на все тело, затянул живот ремнем и, поправляя кровать, сказал:

— Сегодня эта поутру приходила, толстогубая-то ваша, прошлогодняя.

— Ну! — воскликнул Николай Николаевич, с испугу садясь опять. — Что же ты?

— Ну, не пустил. Только она грозила обязательно еще прийти. Я, говорит, все у него в квартире перекрошу.

Смольков долго молчал, потом сказал уныло:

— Она так и сделает... Эх, Тит!

— Портной прибежал, я прогнал! Да еще этот вертлявый насчет векселя...

В прихожей позвонили. Тит пошел отпирать.

Плохо начинался сегодняшней день. Но между всеми неприятностями главная была та, что вчера ночью Николая Николаевича с публичной женщиной встретила княгиня Лиза.

Княгиня Лиза — троюродная Николаю Николаевичу тетка — являлась главной его опорой в жизни. В министерстве иностранных дел жалованье было ничтож-

ное. Жизненные средства главным образом он добывал, переписывая векселя и посредством букиниста, которому продавал отцовскую библиотеку — диванами, по сорока рублей за диван, то есть накладывая на кожаный диванчик фолиантов сколько туда влезет. Но основой все-таки была княгиня Лиза.

Года два тому назад Николай Николаевич увлекся ею и зашел в изъяснении чувств так далеко, что княгине пришлось заняться спиритизмом, чтобы в потусторонних откровениях найти оправдание преступной любви.

Тогда завязалась у нее со Степанидой Ивановной — в то время яркой спириткой — переписка, в которой княгиня не открыла ни имени Смолькова, ни даже земного его происхождения, но уверяла, что смущает ее некто, имя которому Эдип...

Имя это Степаниде Ивановне показалось странным, и она проверила его спиритическим сеансом два раза. Один раз вышло действительно Эдип, другой же — Един. Степанида Ивановна ответила княгине письмом, в котором просила Лизу остерегаться, так как Един и Эдип — не есть ли одно из имен Люцифера?

Странно было это имя и для Николая Николаевича, забывшего давно лицейский курс мифологии, но во время свиданий он все же стал называть себя Дипой, так же и подписывался в любовных записочках.

Ревновала княгиня Лиза своего любовника ужасно: не только не позволяла думать ни о ком, кроме себя, но, когда Николай Николаевич рассказывал о скачках или других невинных развлечениях, страшно сердилась, прося замолчать. Выходило, что у него — Смолькова — ни тела, ни телесных желаний нет, одна душа, и то не его.

Поэтому, вспоминая вчерашнюю встречу, морщился Николай Николаевич, мотал головой и повторял:

— Плохо, очень скверно.

В это время вошел профессор бокса — маленький француз m-r Loustaleau — и, сделав приветствие рукой, лягнул жирной ножкой: «Начнем!»

Николай Николаевич потянулся, зевая надел толстые перчатки и ткнул француза в лицо, на что тот сказал: «Очень хорошо!» — и велел присесть три раза. Потом Смольков колотил кожаный шар, который, отскакивая, пребольно ударял по голове; француз показал, как

нужно лягать в живот, и Николай Николаевич лягал Лустало, дверь, позвал Тита и лягал Тита.

Наконец, взмокнув так, что щеки порозовели, сел он на кровать, отдуваясь, и Тит растер его тело мохнатым полотенцем. Француз, попросив денег, ушел. Тит подал умыванье, свежее белье, выглаженный костюм, галстуки, и Николай Николаевич, одетый, бодрый и почти веселый, вышел на подъезд. Швейцар подал письмо. Он узнал почерк княгини Лизы и, болезненно поморщившись, сунул письмо в карман.

Месячный извозчик на сером рысаче понес Николая Николаевича по Галерной, повернул направо вдоль Гвардейского экипажа и налево на Морскую, где, не спрашивая, остановился около парикмахерской.

Дома Николай Николаевич не причесывался, предоставляя делать это ловким рукам парикмахера — Жана, родом из Турции, имеющего сто двадцать секретов краски для волос. Жан во время работы рассказывал свежие новости, те, что прочел в газете, и те, что сообщали утренние посетители... Парикмахера этого Николай Николаевич звал «мой журнал» — и давал рубль на чай, сам иногда занимая у него небольшие суммы, как думал сделать и сегодня.

— Сегодня князь Тугушев заезжали, подстригали бакенбарды, — сообщил парикмахер. — Об вас спрашивали, — он тонко улыбнулся. — Вчера князь тоже в «Самарканде» был.

Николай Николаевич обернулся к нему и нахмурился, но, вспомнив, что нужно перехватить денег, спросил беспечно:

— Ну что ж из этого?

— Много князь смеялись, говорили, что Варвар опять в ход пошла.

«Тугушев не преминет доложить обо всем Лизе, черт!» — подумал Николай Николаевич и завертелся на стуле.

Парикмахер, окончив туалет, сказал: «merci!» — и крикнул «мальшик!» бородатому человеку, стоявшему у дверей с метелкой... Расплатившись и дав рубль на чай, Николай Николаевич, уже одетый, поманил парикмахера пальцем в угол:

— Понимаете, мой друг, ужасно глупо, забыл деньги дома. Что?

Парикмахер сделал серьезное лицо, быстро сунул Николаю Николаевичу двадцать пять рублей, расшаркался и сам растворил дверь.

«Дурак,— подумал Николай Николаевич.— Завтра же ему отдам весь долг». Садясь на извозчика, он вскрыл письмо от княгини Лизы.

«M-r Smolkoff,— писала княгиня,— очень прошу Вас быть у меня сегодня между тремя и четырьмя. Княгиня Тугушева».

«Начинается,— подумал Николай Николаевич,— о господи!»

— Дмитрий, на Литейный к князю!

Князь и княгиня Тугушевы занимали вдвоем двухэтажный особняк с таким количеством комнат, зал и галерей, что было необходимо приобрести особые привычки, чтобы наполнить собою пустой дом.

Поэтому у князя было пять кабинетов: в одном он принимал, в другом писал мемуары, в третьем ничего не делал, а два остальных были приготовлены на случай, если князь получит министерский портфель. Но правительство, к удивлению Тугушевых, не спешило дать ему портфеля.

Княгиня Лиза из всех огромных и пустых комнат особенно любила в глубине дома темный закоулок, где, входя, испытывала всегда некоторый страх.

Комната эта соединялась с остальным домом через узкий коридорчик и потайную дверь. Говорили, что там, лет сто назад, один гвардейский офицер, проникнув через тайник, убил старуху — владелицу дома — и ушел, никем не замеченный. Про эту старуху будто бы написали целую историю под названием «Пиковая дама», но княгиня брезговала русской литературой и не читала повести. Комната была обита кожей, уставлена старыми диванами и единственным окном из цветных стекол выходила в глухую стену.

В полумраке, никем не слышимая, принимала здесь княгиня Лиза своего любовника и занималась спиритизмом.

Ливрейный лакей доложил Смолькову, что княгиня в приемной, и пошел вперед, распахивая двери. Николай

Николаевич бросил в глаз монокль, отличающий его как молодого дипломата, сделал скучающее лицо и, втайне довольный, что объяснению помешают гости, вошел в зал, описывая букву S, как человек светский, воспитанный и желающий нравиться.

В глубине зала на невысоком помосте, покрытом сукном, сидели трое. Посредине — фрейлина и кавалерственная дама графиня Арчеева-Ульрихстам, родная сестра княгини Лизы, налево сидел князь Тугушев, слегка раскрыв рот и опустив чайного цвета длинные усы, направо, в низком кресле, княгиня Лиза восторженно глядела на сестру.

Все трое громкими голосами говорили о политике. Графиня Арчеева-Ульрихстам, очень толстая дама, глядя в лорнет, произносила очень громко:

— Я рекомендую служить царю-батюшке. Тот, кто не служит, есть враг своего отечества...

— Я согласен, надо служить и служить, — так же громко отвечал князь. — Но я спрашиваю — разве нельзя не служить, но быть полезным... Например, музыкант? — И князь раскрыл рот.

— Музыкант увеселяет общество, но не служит; кроме того, музыкант — артист, но дворянин не может быть артистом.

— Я бы мог служить, — сказал князь, — у меня есть государственный план, он таков: сначала нужно дать плетку, а потом реформу. Так поступил Петр Первый.

Столь торжественные и странные приемы князь и княгиня устраивали графине каждый раз, когда она заезжала на больших своих рысаках на несколько минут к сестре. Князю нужно было ее влияние, чтобы получить портфель или по крайней мере концессию на ловлю котиков в Тихом океане. На котиков он и намекал, отрицая службу, и жаловался, что русских обкрадывают на Дальнем Востоке. Графиня поняла и указала на входящего Николая Николаевича, как на племянника Ртищева, в руках которого было нужное князю дело.

— Котики, котики, графиня, — воскликнул Николай Николаевич, кланяясь, — эти животные стоят мне много крови.

Графиня поднялась.

— Ты уходишь! — жалобно воскликнула Лиза. — Приезжай, сестра, ты знаешь, как ты нам дорога.

И, привстав, она вся изогнулась, голову склонила набок и, словно в забытьи, лепетала слова, прижимая к себе руку графини и отталкивая...

Графиня освободилась от сестры и вышла, сопровождаемая князем. Княгиня Лиза словно без сил опустилась в кресло, закрыла рукой глаза и после молчания простонала:

— Развратник!..

— Ради бога, Лиза, — в тоске пролепетал Николай Николаевич.

— Развратник, который обманывает на каждом шагу, ничтожный человек.

Но в это время вернулся князь, морща узкий свой лоб.

— У графини государственный ум, — сказал он. — Это дипломат и деятель. Я всегда был в ней уверен.

— Ах, — проговорила княгиня, — я ее обожаю...

— Да, т-г Смольков, — продолжал князь, — я все забываю, как называется эта проволочка, после которой я войду в свои права... Ну, вот эта — с котиками. Я решил энергично приняться за котиков.

Опустив голову, он заморгал светлыми ресницами. Николай Николаевич стал объяснять дело.

— Николай Николаевич, я вас жду, — холодно сказала княгиня и вышла, кривляясь на ходу всем телом так, что едва не споткнулась о ковер. Выйдя за дверь, она схватилась рукой за грудь и прошептала: — Боже, дай мне силы перенести еще и этот удар! — понюхала кружевной платочек, надушенный густыми духами, вынула письмо Степаниды Ивановны о Смолькове и, стараясь не шуметь платьем, поспешно прошла через среднюю залу и зимний сад в темную комнату, — оставила приотворенной за собою дверь в красный коридорчик.

Волнение и гнев княгини происходили от двух причин: письма Степаниды Ивановны и вчерашней встречи.

Вчера, возвращаясь домой, она встретила Николая Николаевича с неприличной женщиной, у которой было лицо каторжанки, — ехали они в красном автомобиле. Княгиня рассердилась так, что не могла дышать, но потом цвет автомобиля навел ее на мысль, что не замешан

ли тут один из злых духов, часто путавший ее во время спиритических сеансов: дух, очевидно, ревновал и, приняв личину того, кого люди называли Смольковым, захотел поссорить его с княгиней. Но сегодняшние рассказы князя о «Самарканде» и еще письмо Степаниды Ивановны убедили ее, что на автомобиле ехал Николай Николаевич, что каторжница — его любовница и что сам Смольков не Эдип, а ничтожный обманщик, человек, как все: из мяса и костей, и притом развратник.

— Пусть женится, — шептала княгиня, десятый раз перечитывая письмо Степаниды Ивановны, — пусть плодит детей, обыкновенный, жалкий человек.

Услышав поспешные шаги Смолькова, она подняла молитвенно глаза и не пошевелилась, когда он вошел.

— Помолись о моем грешке, — прошептал Николай Николаевич, шаловливо присев на диван.

Лиза отодвинулась.

— Прочтите, — сказала она, подавая письмо.

Он сделал вид, что не замечает ее холодного тона, прочел письмо и засмеялся:

— Они хотят женить меня на этой Репьевой. Если бы они знали, Лиза...

— Вы женитесь.

— Я?.. Но я не собирался...

— Вы соберетесь, мой друг...

— Лиза, почему ты холодна?.. — Николай Николаевич надул губы, сделав вид шаловливого ребенка. — Не шути так, мне больно за нашу любовь...

— Нашей любви больше нет, мой друг...

Бледные щеки княгини порозовели, серые ее глаза подернулись влагой, и молодое еще в сумраке комнаты лицо, с неуловимым очертанием овала, осветилось словно изнутри...

Николай Николаевич в испуге отодвинулся.

— Грубые люди, — проговорила княгиня печально, — что им нужно — кусок хлеба и крепкий сон. Живите, я не из вашей породы.

«За что ты меня лишаешь всего?» — хотел сказать Николай Николаевич, но вместо этого сделал привычную при их свиданиях надутую гримасу и прошептал:

— Поцелуй Дипа...

Княгиня покачала головой.

— В моем поцелуе смертельный яд, а вам нужно жить... Встаньте! — воскликнула она, так как Николай Николаевич присел на ковер у ее ног.

— Лиза, я пошалил, прости...

— Я запрещаю, — шептала княгиня Лиза и, заплавав, откинулась назад, скользя руками по коже дивана...

Когда затем Николай Николаевич хотел подняться, Лиза удержала его голову в своих ладонях, нежно поцеловала в глаза и шепнула сквозь слезы:

— Милый мой мальчик, отдаю тебя чужим людям, так надо. Прощай!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Николай Николаевич, полагая, что Лиза простила ему грех, жестоко ошибся: княгиня не только не простила, но со странным упрямством настояла, чтобы Смольков тотчас ушел и более не возвращался, — словно несколько минут слабости только утвердили ее решение разорвать связь.

Отстранив Смолькова, княгиня подошла к потайной двери.

— Вы забыли запереть дверь, мой друг, — дрогнувшим голосом сказала она. — Нас могли слышать.

И она почти побежала вперед. Близ входа в оранжерею сидел князь, глядя на пол и вяло трогал себя за длинные усы.

— Я показывала нашему другу комнату, где была убита старая графиня, — очень громко, повышенно проговорила Лиза.

Князь посмотрел на нее, на Николая Николаевича, но не в глаза, а пониже, и ничего не сказал и опять стал трогать усы холеными ногтями.

— Я еду сейчас к дяде, — сказал Николай Николаевич. — Я все узнаю относительно котиков и постараюсь устроить вам, князь, это дело. До свиданья. Княгиня, я уйду, до свиданья...

Николай Николаевич ушел и, садясь на извозчика, подумал: «Вышвырнула, как котенка, дура мистическая».

— Эй, ты,— крикнул он кучеру,— на Итальянскую к Ртищеву.

Иван Семенович Ртищев, сановник, дородный, преклонных уже лет человек, похожий лицом на льва, сидя в розовом нижнем белье в вольтеровском кресле у пылающего камина, диктовал секретарю свои мемуары.

Занятие это было ответственное и тяжелое, так как, по мнению Ртищева, его мемуары должны были произвести впечатление землетрясения в дипломатическом мире. В мемуарах все было на острие. Острием был сам Иван Семенович, прошедший в свое время стаж от секретаря посольства до посланника. Европа была им изучена от дворцов до спален уличных девчонок. Но, несмотря на катастрофическую ответственность и острие, мемуары Ивана Семеновича сильно напоминали приключения Казановы, чему он весьма противился. Он даже отдал распоряжение секретарю — останавливать его каждый раз, когда он начнет сбиваться.

Иван Семенович запустил пальцы в бакенбарды, седые и еще роскошные, которые хорошо помнила Европа, и, покачивая туфлей в жару камина, говорил сочным, очень громким голосом:

— . . . Дефевр передал запечатанный конверт барону Р...у. В тот же день барон выехал в Трувиль. Императрица купалась. В то время ее приближенной, ее доверенной, ее другом была девица Ламот. Стоило пересечь океан, чтобы взглянуть на купающуюся Ламот.

Секретарь кашлянул. Ртищев, сердито покосившись на него, продолжал вдохновенно:

— Грудь девицы Ламот напоминала два яблока. Точнее — две половинки разрезанного большого лимона. Грудь девицы Ламот заставила корсет того времени опуститься до талии.

— Иван Семенович,— сказал секретарь,— быть может, это мы опустим.

— Вы болван! — сказал Ртищев.— Грудь девицы Ламот стоила нам Севастополя... Итак...

В это время вошел Смольков. Иван Семенович повернулся к нему всем грузным телом в кресле и глядел круглыми глазами. Смольков стал спиной к ками-

ну, раздвинул полы сюртука, чтобы согреть зад. Но Иван Семенович эти штуки с согреванием зада понимал насквозь.

— Ты зачем ко мне пришел? — спросил он, постукивая пальцем по креслу.

— По делу о котиках, дядя. Князь Тугушев просил меня навести справки. Он, кажется, не прочь сам взять концессию.

— Ты сколько у него взял?

Николай Николаевич поморщился. Иван Семенович сказал:

— Отойди от огня, у тебя зад дымится. Этому болвану Тугушеву скажи, что он болван. И денег я тебе не дам.

Николай Николаевич оглянулся на секретаря, пожал плечами, затем стал смотреть на свои башмаки.

— Дядюшка, вы сами не раз бывали в подобных обстоятельствах.

— Что?

— Я говорю, чертовски скучно — постоянное безденежье. Я чертовски ломаю голову. Весь расчет был перехватить у вас — до пятницы. Если нет — то чертовски...

— Хорошо, — сказал Иван Семенович и сейчас же протянул руку, чтобы племянник не кинулся к нему обнимать. — Хорошо. У тебя будут деньги. Я тебя женю.

— Дядюшка, я чертовски...

— Молчи. Я не могу содержать тебя и твоих любовниц. Мой бюджет шатается от твоих долгов. Я думал о тебе все это время. Черт возьми, у меня третий день изжога от этих забот. Ты должен жениться.

— Но я не хочу.

— Молчать!

Иван Семенович поднялся во весь огромный рост и блестяще развил мысль о предстоящей женитьбе Николая Николаевича, о всех преимуществах женатого человека. Говоря, он подталкивал племянника слегка к двери, затем обнял, больно прижав его нос, и Николай Николаевич очутился в прихожей.

Николай Николаевич стоял с минуту ошеломленный. Проворчал: «Вывернулся, старый мошенник!» Медленно

сошел вниз, в голове — мутно, ноги подкашивались, и велел кучеру ехать, вообще — ехать! Черт!

Николай Николаевич все же перехватил в этот день небольшую сумму. Но ресторан поглотил и сумму и остаток энергии. Кучер шагом вез Николая Николаевича домой, на Галерную.

Дом на Галерной был старый, с темной прихожей, со скрипучим паркетом, со старомодной потертой мебелью. Большая часть комнат была закрыта.

Семья Смольковых, издавна жившая в этом мрачном доме, теперь частью вымерла, частью разбрелась по свету. И все эти ветхие диваны, темные картины, скрипучие полы наводили Николая Николаевича на грустные размышления. Дом очень походил на усыпальницу.

Николай Николаевич и сам понимал, что нужна бы ему обстановка, где не стыдно принять светскую женщину. Однажды в светлую минуту он заказал даже эскиз кокетливой мебели в модном магазине, но не было денег. Денег, денег, денег, все равно сколько, все равно откуда — только бы жить беспечно, а то хоть пулю в висок!

Так раздумывал Николай Николаевич, мрачно вылезая из пролетки у подъезда своего дома. Тит отомкнул дверь, молча принял трость, пальто и цилиндр и вдруг усмехнулся углом рта...

— Что? — спросил Николай Николаевич, прошел в столовую и сел на стул. — Был кто-нибудь?..

— Что был! — ответил Тит насмешливо. — И сейчас в спальне сидит!

— Кто? — Николай Николаевич испуганно приподнялся. — Она?

Тит кивнул головой. Николай Николаевич осторожно отодвинул стул и, шепча: «Скажи ей, что я уехал надолго», на цыпочках побежал в переднюю.

Но в это время дверь с треском раскрылась, и на пороге показалась коренастая рыжая молодая женщина в шляпе, с зонтом в руке.

— Ах, ты здесь? — воскликнул Николай Николаевич сладким голосом. — Как мило!

Густые брови Муньки Варвара, изломанные у висков, сошлись, ноздри короткого и тупого носа раздулись, и челюсть выдвинулась вперед, как у волкодава.

— Здесь! — протянула Мунька, и грудь ее колыхнулась. — И сундук мой здесь, жить приехала...

Николай Николаевич подвинулся к Титу и вдруг закричал:

— Вон из моего дома! Тит, гони ее в шею...

С прошлого еще года привыкла Мунька к характеру Смолькова, поэтому сейчас ни капли не испугалась, подняла зонт и ударила китайскую вазу, которая сейчас же разбилась...

— Не то еще будет, голубчик, — и Мунька проткнула зонтом картину... Затем разбила абажур, опрокинула ногою стол и остановилась, сверкая глазами. — Что? Видел?

Николай Николаевич во все время этих действий присмирел и сел на стул у двери. Тит подбирал осколки.

Характер у Муньки был решительный, такие сцены в прошлом году повторялись нередко, и Николай Николаевич, оберегая себя, обычно затихал, садился на стул и раскрывал зонт, уверяя, что идет дождик. На Муньку, как на первобытного человека, действовало это умиротворяюще, — она принималась хохотать, взявшись за живот. Но сегодня чувствовала, что Николай Николаевич не совсем в ее власти.

— Слушай, — сказала Мунька, — ты, мозгляк, с другой связался?

Николай Николаевич, не отвечая, топнул ногой.

— Что вы пристааете? — сказал Тит. — Мало вам набезобразничали!

— Я набезобразничала! Да я еще с ним разговариваю. — Она проворно вытащила булавки и швырнула шляпу на стол вместе с зонтом и жакетом. — Идиоты несчастные! Кончено! Остаюсь! — Она поправила волосы и села.

Николай Николаевич громко вздохнул...

— Тит, — сказала Мунька, — принеси сыру, фруктов и бутылку шампанского. Хлеба не забудь...

— Денег нет, — сказал Тит мрачно.

— Честное слово, один рубль остался, — Николай Николаевич радостно подскочил на стуле.

— В таком разе, колбасы купи и водки. Поедим и в кровать...

Тит не двигался. Мунька задышала сильно.

— Сходи, Тит, купи,— поспешно сказал Николай Николаевич.

Тит убежал. Мунька сообщила, что «тело тоскует, пойти корсет снять», и, шаркая башмаками, пошла в спальню. Николай Николаевич, облокотясь на колени и сложа руки ладонями вместе, сидел не шевелясь... Все на свете ополчилось против него. Господи, где же выход? Николай Николаевич одним глазом поглядывал на темную иконку в углу, не совсем уверенный, что бог поможет... «Жениться разве на самом деле? Сонечка Репьева, наверно, глупа, толста, влюбчива,— барышня из провинции. Очень, очень плохо».

Вернулся Тит с колбасой и водкой, вышла Мунька в розовом капоте, который все время запахивала, чтобы мальчишка задаром не глядел на ее прелести, и принялась за еду. Выпивала, крякала, ела колбасу, задрала ногу на колено.

Николай Николаевич глядел на Муньку, и к ненависти его примешивалось странное уважение перед силой девушки и здоровьем... «Жует вкусно и твердо, так что даже щекотно в скулах, и пища, наверно, отлично переваривается в желудке; ляжет в постель и тотчас заснет, жаркая, как печь, и будет видеть глупые сны, а наутро их расскажет... Но все-таки Мунька свинья»,— подумал он.

В это время позвонили в прихожей... Тит побежал отворять и сейчас же вернулся, лицо у него было испуганное и отчаянно любопытное.

— Князь Тугушев! — сказал он вполголоса.

Мунька весело подмигнула. Николай Николаевич кинулся к ней, шипя: «Уйди же, уйди», затем метнулся в прихожую. Мунька проворчала: «Вот еще, у князя глаза не лопнут на меня смотреть, не чужие, слава богу...»

В прихожей, снимая перчатки, стоял князь. Руки он Николаю Николаевичу не подал, а, глядя на вешалку, сказал по-русски: «Мило, очень мило...»

То же самое он пробормотал, войдя в столовую... Николай Николаевич пододвинул стул, князь сел и слегка раскрыл рот...

— Здравствуйте,— обиженно сказала Мунька.— Не узнаете, что ли?

— Ах, это вы, крошка, я узнал. Очень мило! — Князь вынул серебряный портсигар, осторожно, как драгоценность, взял худыми пальцами папироску, но, схватившись, положил обратно... Затем пробормотал невнятное.

— Что? — крайне предупредительно спросил Смольков, но князь, не глядя на него, показал портсигаром на Муньку.

— Нельзя ли нам одним?

Николай Николаевич сделал испуганно-сердитые глаза. Мунька пожала плечами и ушла в спальню.

— Я принужден...— сказал князь, одутловатые щеки его подпрыгнули, он закрыл глаза.— Одним словом, я все видел и слышал сегодня, я принужден бить вас по лицу.

При этом он слегка поклонился. Николай Николаевич быстро поднялся, застегивая пуговицы, и стал глядеть на перстень на руке князя.

— Но это не все. Я принужден, но я этого не сделаю: я не хочу сплетен. Вы принуждены будете уехать и как можно скорее сделать что-нибудь, жениться, например,— этим вы спасете честь... честь...— Князь заикнулся и встал, все еще не открывая глаз.— Я вам напишу рекомендательное письмо...

Смольков поклонился. Князь открыл глаза, и бледный рот его пополз криво вбок.

— С этими котиками вы тоже мне устройте, услуга за услугу...

Николай Николаевич сделал жест, изображающий нетерпение и бешенство.

— Имею честь. Тит, проводи князя...

Князь боком вышел из комнаты, держа в отставленной руке цилиндр и трость. Николай Николаевич оторвал пуговицу и сказал:

— Сговорились они, что ли, черт возьми! Женись! Превосходно! Назло всем женюсь!

Он присел к столу и, сжимая виски, думал о себе, о княгине Лизе, о князе...

— Ох, да, Мунька,— вспомнил он и пошел в спальню.

Мунька лежала в прозрачной рубашке на кровати и, зевая до слез, рассматривала картинки во французском романе. Николай Николаевич взял книгу и швырнул ее под кровать...

— Ты что? — спросила Мунька. — Князь ушел?

— Пошла вон отсюда! — заорал Николай Николаевич. — Я женюсь!

— Вот дурак, — равнодушно ответила она и повернулась спиной к Смолькову.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

По травяным межам к гнилопятскому гумну тянутся, скрипя и колыхаясь, телеги, полные снопов. На гладко убитом току гудит и пылит паровая молотилка. Бабы подхватывают снопы, летящие с телег, разрезают свясла серпами и подают задатчику. У него борода и волосы полны пыли, руки в голицах ходят вправо и влево, вдвигая в хрустящую пасть машины раскинутый полотном хлеб.

Барабан, пожирая колосья, глухо и ровно гудит: заторопится вдруг, когда задатчик, остановившись, отирает рукавом пот и грязь с лица своего, ухаает от поданного вновь и, пережевав, переколотив, бросает в нутро молотилки солому, зерно и пыль.

Соломотряс дребезжит, подпрыгивая, выкидывает солому на убитый ток, девки гонят ее граблями, конный возильщик подхватывает ее доской и рысью едет к новому омету. Зерно бежит на железные грохота, просеивается сквозь сита и сыплется золотыми струйками в мешок. Соединенный вечно бегущим ремнем, попыхивает длинной трубой зеленый локомотив, на колесах его и на меди блестит августовское солнце... Светит оно и на жеребят, со ржанием бегающих около возов, на пестрые рубахи и платки баб, на запачканные в дегтю шаровары веселых парней и в синие глаза Сонечки, приехавшей с Алексеем Алексеевичем на молотьбу.

Все — запах дегтя и хлебной пыли, заглушенные во-ем молотилки голоса, окрики и песни знакомы Сонечке давно. Вот подъехал конный возильщик, высокий парень,

остановил лошадь и, вынув кисет, свертывает папироску; генерал погрозил ему пальцем: «Я тебя, пожар наде- лаешь!» Парень спрятал кисет и улыбнулся; лицо у него загорелое, чернобровое, ласковое. Сонечка подо- шла к нему и взяла вожжи: «Дай-ка, я поеду». Па- рень опять усмехнулся: «Не справитесь», и хлестнул ло- шадь, зацепив доской большую кучу свежей соломы. Сонечка стала на доску и взяла парня за ременный поя- сок. Солома нажала ей колени. Лошадь, влегая в хомут, поволокла и солому, и парня, и Сонечку... Девки смея- лись, генерал кричал: «Смотри, не упади!» Когда доеха- ли до омета, парень сказал: «Берегитесь, тут валко»,— и въехал на вороха. Сонечка, не успев соскочить с доски, упала в солому, нечаянно увлекая за собой и парня, но он, хрустнув мускулами, поднялся, как стальной, спросил: «Что, не ушиблись?» — и, посмеиваясь, ушел за ло- шадью, широко расставляя ноги в синих штанах.

Сонечка осталась лежать в пахучей соломе. Опять подъехал парень и закивал ей головой, как бы говоря: «Как мы давеча-то опрокинулись», и все так же расстав- лял крепкие ноги, и она увидела, что он был необычайно красив собой, ласковой, о себе не знающей красотой.

Ей показалось, что все это уже было — вороха свет- ло-желтой соломы, бархатная травка около омета, па- рень и рыжая лошадь в хомуте. Засвистел локомобиль, призывая рабочих к обеду. Гул молотилки замолк, и яв- ственнее стали человеческие голоса. Народ, подбирая с земли одежду, шел к стану, где курился дымок под чугунным котлом.

Поднялась и Сонечка, оправила волосы и пошла на- встречу Алексею Алексеевичу.

— Что же, попробуем каши,— сказал генерал, под- мигнув.

Между бочкой с водой и телегой, полной печеного хле- ба, сидели в два круга — бабы и мужики. Мужчины — на корточках или подсунув под себя кизяк или одежду — ели степенно,— сначала жижу, слитую с каши и сдоб- ренную конопляным маслом, затем кашу, мятую с са- лом. Старший, царапая караваем по полушубку, ре- зал хлеб большими ломтями.

Бабы сидели прямо на земле, подогнув одну ногу, вытянув другую,— как овцы. Каши бабы не кушали,—

принесли с собой кто кислого молока, кто блинов, кто луковку. Порядка у них не было — тараторили, пересмеивались. Иная — девка — гляделась в круглое зеркальце, обитое жестью, подмазывала на лице, — чтобы не загорать, — белила, ядовитую мазь. Мужики с бабами обедать брезговали.

Генерал и Сонечка влезли на телегу, где стояла бочка с водой, полной инфузорий. Кашевар принес в небольшой чашке каши и два ломтя хлеба, густо посоленные. Сонечка стала искать глазами давешнего парня.

Он сидел на корточках и, держа ложку, медленно жевал, — крепкие желваки двигались на его загорелых скулах.

«Сильный и, наверно, добрый, — подумала Сонечка. — Счастлива будет девушка, которая выйдет за него замуж. Кого он любит? Вон ту, что отвернулась? Вот ту, с зеркальцем, сероглазую?»

Сонечка внезапно встретилась глазами с парнем, усмехнулась и сейчас же покраснела. Он, как и давеча, радостно закивал ей головой: «Хорошо, мол, опрокинулись...». Сонечка откусила от ломтя и нагнулась над чашкой с кашей.

— А вон и бабушка едет за нами, — сказал генерал. — А у меня, знаешь, от каши изжога началась...

Сонечка взглянула на дорогу: оставляя за собой пыльное облако, быстро приближалась коляска с покачивающимся над ней красным зонтиком Степаниды Ивановны.

— Бабушка не одна, — сказала Сонечка, — с ней кто-то в белом.

Генерал, защитив глаза ладонью, всматривался.

После примирения с женой, написав письмо княгине, Алексей Алексеевич, по совести говоря, забыл о предполагающемся приезде Смолькова и обо всем, что должно было за этим последовать. Казалось невероятно, чтобы взрослый человек прискакал за тысячу верст из-за каприза старой женщины, да еще и жениться.

Но теперь, разглядывая длинное и бледное лицо Николая Николаевича, с выдавшейся вперед нижней губой, почувствовал генерал все, что скажет этот жених, все фальшивые, трескучие, петербургские слова, нуж-

ные одной только Степаниде Ивановне, и удивлялся: как это так все вышло? И смутился, не отвечая Сонечке на вопрос: кто же едет?..

«Эге,— подумал он,— мы еще посмотрим, как она выйдет за вас замуж... погоди, Степочка, отбрею я твоего жениха». И генерал, расхрабрясь, сказал:

— По-моему, с ней Смольков...

— Смольков? — И Сонечка вдруг залилась румянцем.

Коляска остановилась. Николай Николаевич, одетый весь в белую фланель, вылез из экипажа и с учтивостью помог вылезть генеральше.

Степанида Ивановна улыбнулась и, тряся головой (что, к ужасу ее, начало делаться при встрече с молодыми людьми), подняла зонтик, ступила на землю и распустила по соломе шлейф. Генерал, подбоченясь, стоял около бочки, ожидая кривляний со стороны генеральши, но она, подойдя со Смольковым, просто представила его. Николай Николаевич выставил перед собой руку лопаткой, кланяясь, как опереточный пейзаж. Генерал даже попятился, но генеральша так посмотрела на мужа, что пришлось любезно ответить на поклон.

«Ах ты, черт, вот так — пейзаж», — подумал Алексей Алексеевич. Сонечку кинуло в жар, похолодели руки, она присела, как девчонка, — «макнула свечку», не поднимая глаз. Не подняла она их и тогда, когда Смольков, задержав ее руку в своей, сказал бархатным голосом:

— Как мил на вас деревенский костюм. Вы, должно быть, работали, я помешал. Я тоже хочу надеть национальный костюм и буду граблить сено.

«Какой у меня деревенский костюм? — растерянно подумала Сонечка. — Что он говорит? Граблить сено? Какое же это сено? — рожь».

Она чуть подняла глаза и увидела сначала пиджак Николая Николаевича, из такой же материи, как ее парадная юбка — фланель в полоску, потом красный галстук с цветочками и булавкой, потом высокий, так что нельзя двигать шей, накрахмаленный воротник и гладко выбритый подбородок. Выше Сонечка не решилась смотреть и потупилась.

— Очаровательно, — продолжал Смольков. — Работающие крестьяне. Я этого никогда не видал...

— Да! Знаете ли, работают,— басом вдруг сказал генерал и начал было выкатывать глаза на Смолькова, но Степанида Ивановна поспешно проговорила:

— Господа, едем, у нас сегодня ботвинья. Но будете ли вы кушать ботвинью, м-г Смольков?.. Ах, Петербург! Ах, большой свет!.. А мы здесь совсем опростились... Мы чернозем... Не правда ли, что?.. Ах, нужно привыкать, привыкать к простоте.

«Что это с ней? — подумал генерал, подходя к коляске.— Что-то новое. Однако этот ферт развязен».

Смольков и Сонечка сели на переднюю скамью, напротив генерала и генеральши. Коляска покатила по мягкой дороге. На повороте, около омета, Сонечка увидела давешнего парня,— он стоял с вилами и серьезно глядел на удаляющийся экипаж... Она быстро отвернулась, стала рассматривать загорелые свои руки.

«Ручищи исцарапаны, ну и пусть!»

Николай Николаевич, обращаясь ко всем троим, рассказывал, что представлял себе раньше сельское хозяйство сохой, за которой идет мужик, а помещик стоит подле на горке, крестится и молит бога послать дождь. «Я так и думал. Что?» И он захохотал деревянным смехом.

Генерал задыхал было, но генеральша больно нажала ему каблуком на сапог.

После хозяйственного разговора Смольков перескочил на восхищение природой и продекламировал небольшое французское стихотворение. Затем спросил, знает ли генеральша Собакиных, и рассказал множество новостей о Собакиных.

Алексею Алексеевичу очень захотелось спросить про генерала Собакина, но он не хотел раскрывать рта. Смольков же, как нарочно, говорил только о знакомых Собакина и перешел было к анекдотам. Тогда генерал, надвинув огромный козырек фуражки на глаза, воскликнул:

— Сотоварищ мой, генерал Собакин, умер, жаль!

— Что вы, и не думал! — обрадовался Смольков — и рассказал и о Собакине и еще о десяти по крайней мере генералах.

Подъехали к дому, все взошли на крыльцо. Николай Николаевич снял шляпу и, сделав постное лицо, сказал:

— Со свиданьем, генерал! — и полез троекратно целоваться, чему Алексей Алексеевич был несказанно удивлен, но и на этот раз покорился.

Сегодняшний приезд Смолькова застал Степаниду Ивановну врасплох.

Афанасий встретил Николая Николаевича в одной рубахе — распояской, в сенях мыли полы, а сама генеральша, думая, что приехали из монастыря, вышла на крыльцо в утреннем неглиже.

Словом, ни в чем не удалось выдержать светского тона, который Степанида Ивановна хотела сразу же установить со Смольковым, и, зная, что исправлять ошибки было бы смешно, поспешила представиться опростившейся помещицей. Она прослезилась, когда Николай Николаевич, войдя в дом, стал истово креститься в пустой угол и поклонился в пояс, говоря:

— Я русский человек и люблю все русское.

Поэтому она и повезла немедленно же Смолькова на гумно и всю дорогу говорила о хозяйстве. Николай Николаевич, ожидая найти две старые песочницы, нащупывал теперь подходящий тон, потому что оказалось, в деревне не кланяются друг другу в ноги, не носят на шее образов и не мажут голову коровьим маслом.

Обед еще не был готов. Генеральша, поведя всех в гостиную, начала легкий разговор. Николай Николаевич положил на колено ногу, обхватил ее у щиколотки и сделал множество остроумных замечаний, но, видя, что генерал все еще хмурится, сказал со вздохом:

— Вы меня простите за болтовню, генерал, я болтаю, как ягненок.

— Гм, — сказал Алексей Алексеевич, — пожалуй, болтайте...

Николай Николаевич поднял брови. В это время Афанасий, натянувший нитяные перчатки и серую куртку, доложил: «Кушать подано».

Степанида Ивановна взяла Смолькова под руку и повела в столовую. Стол был накрыт старым серебром и цветами. Генеральша извинилась за простоту. Смольков, прежде чем сесть, размашисто перекрестился.

— Люблю русский обычай.

Сонечка взглянула на генерала, Алексей Алексеевич

толкнул ее коленом и вдруг, откинувшись на спинку стула, захохотал, тряся животом стол.

— Что, что? — спросила Степанида Ивановна, бледная, и поспешно обратилась к Смолькову: — У нас простые обычаи, мы смеемся и плачем, когда хотим...

Все же Николай Николаевич насторожился, — очень не понравился ему генеральский смех.

Сонечка еле притрагивалась к еде. Украдкой, но внимательно следила она за всеми переменами Смолькова. То смешным он ей казался, то слишком сложным. И все время она теряла ту легкую нить, по которой сущность одного человека переходит в сердце другого. Генеральша делала сердитые глаза, приказывая разговаривать, Сонечка хотела быть послушной, но не могла преодолеть застенчивости. Николай Николаевич решил пока не запугивать «захолустного птенца» и довольствовался краткими ее ответами. От хорошего вина и еды он повеселел и насмешил даже генерала. Степанида Ивановна была в восторге.

После обеда Смольков поцеловал ручку генеральши и вдруг, рассеянно подойдя с портсигаром в руках к Алексею Алексеевичу, воскликнул:

— Теперь после еды и на боковую, генерал?

— Да, уж вы меня извините, — и Алексей Алексеевич, рассердясь, бросил салфетку и ушел...

Генеральша нагнала его в коридоре, — Алексей Алексеевич лениво брел, ведя пальцем по обоям, — и зашептала, дергая его за рукав:

— Ты, кажется, намерен известить меня своими замечаниями!

— Степочка, он дурак, — сказал генерал. — Неужели ты не видишь? Капитальный болван.

— Да, да, он жених Софьи, и прошу тебя в мои дела не вмешиваться. Понял?..

— Понял, — ответил генерал и рассердился. — Делайте, что хотите, только, пожалуйста, чтобы он не лез ко мне со своей рожей целоваться и все там прочее...

Генеральша вернулась в столовую и, взяв Николая Николаевича под руку, повела к себе.

Сонечка осталась стоять у окна, глядя перед собой пустыми глазами.

«Боже, что-то будет?»

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

— Вот мое скромное убежище,— сказала Степанида Ивановна, введя Смолькова в спальню.— Здесь я вспоминаю друзей, гляжу на их портреты, думаю о прошлом...

Она полулегла на канапе, прикрыв платьем ноги. Николай Николаевич оглянул комнату.

На стенах висело множество портретов и миниатюр, среди которых он многих узнал. На шифоньерках и бюро стояли всевозможные шкатулочки и безделушки, трогательные воспоминания. Столы, кресла и диваны были старые, с потемневшей бронзой, хранящие за обивкой засунутое когда-то письмо или платок.

— Все это напоминает кабинет моей покойной матушки,— сказал Николай Николаевич, моргнув ресницами, и склонился к руке генеральши.

— Рассказывайте, рассказывайте,— томно прошептала она,— что вам передала Лиза? Как вы надумали сюда приехать?..

— Я не посмел ослушаться ваших приказаний.

— Значит, вы читали письмо?

— Да.

Генеральша помолчала.

— Это мой друг и собеседник,— вдруг сказала она, показывая на попугая.— Попочка, скажи «здравствуйте». Он спит, бедный... Я очень рада, Николай Николаевич, что здесь вам нравится, я боялась — вы будете скучать. Как вы нашли Sophie?..

— Она очаровательна...

— Правда? Милое дитя и совсем наивна. Ее отец, Илья Леонтьевич, прекрасный воспитатель, и хотя не богат, но дает за дочерью имение по банковской описи в тридцать тысяч.

При этих словах Степанида Ивановна искоса поглядела на Смолькова; он же, заметив ее взгляд, сделал слегка оскорбленное лицо. Генеральша продолжала:

— Я люблю ясность, мой друг. Любовь в шалаше — это для греков, но мы привыкли пользоваться комфортом... Что?

Смольков сделал жест, говорящий: «Увы, мы не греки!» Генеральша приподнялась немного и, положив

кончики пальцев на руку Николая Николаевича, взглянула проницательно.

— Мы старые друзья, не правда ли? Будьте со мной откровенны...

— Степанида Ивановна,— воскликнул Смольков глухим голосом,— я приехал просить руки Софьи Ильиничны, но я не уверен...

Генеральша облегченно вздохнула.

— Я так за нее боюсь, она молода, но я люблю вас, милый друг, и верю. Ах, ах! — Она подняла к глазам платочек.— Любите ее, она ангел! Вы не поверите, как женщина чувствительна к ласке, семья — вот ее жизнь, а Соня...

Генеральша уже нюхала соль. Николай Николаевич, тоже растроганный, объяснял, как страстно жаждет он домашнего очага...

В это время Люба принесла кофе и, нагнувшись, прошептала что-то Степаниде Ивановне. Генеральша улыбнулась:

— Я хочу показать вам замечательную женщину... Люба, велите ей войти... О том, что мы говорили, пока ни слова, постарайтесь увлечь девушку, а ваше сердце, я уверена, тотчас же будет в плену. Теперь об этой женщине... Ее послал ко мне бог, внезапно, когда я сомневалась во всем... Она появилась ночью, вошла ко мне, поклонилась в ноги и сказала: «Мать, купи Свинные Овражки...» (Я вас посвящу в мое дело...) И представьте, на следующий день приезжает игуменья и предлагает Овражки за десять тысяч. Я немедленно совершила купчую...— В это время дверь поскребли ногтем.— Вот и она. Здравствуй, Павлина. Как ты спала?

Николай Николаевич был крайне изумлен, глядя на просунувшееся в дверь рябое, ухмыляющееся, похожее на спелую тыкву, курносое лицо; затем появилась и вся баба, в теплом платке и в ряске, перепоясанной фартуком. Губы у бабы были такие толстые, словно только что она поела киселя с молоком. Павлина прокралась вдоль стены к Степаниде Ивановне, поцеловала ее ножку и села на ковер.

— Спала я, кормилица моя, как в раю ангелы спят: на одно крылышко лягут, другим покроются, а голову в перышки спрячут,— так и я спала.

После этих слов Павлина уставилась совершенно круглыми глазами на Николая Николаевича.

— Здравствуйте,— сказал он и поглядел на генеральшу, которая, касаясь плеча бабы, спросила:

— Знаешь, кто приехал?

— Жених,— сказала Павлина быстро.— Хватило бы на семерых, а одной достался. Великий муж...

— Откуда вы меня знаете?

— А я всех знаю.

— Она феномен,— сказала генеральша.

— Женись, женись,— продолжала Павлина.— Соня про тебя видела. Ох, лютой сон! Ох, мать моя, муж мне предстал, акурат на него схожий, весь огненный, силищи мужской нечеловеческой,— так я с постели и покатила без памяти.

— Это чертовски странно! — сказал Смольков.

Обрадованная генеральша сделала значительные глаза.

— Она умна — и предвидит многое. Вы ей понравились,— это хороший знак. А теперь идите в сад и разыщите вашу погубительницу.— Когда Смольков был уже у дверей, она громко прошептала: — У него крылья на ногах.

Смольков ушел. Генеральша нагнулась к бабе.

— Ну, что — каков жених, Павлинушка?

— Жеребец, мать моя. Ты не смотри, что он тощий,— в таких жил много.

— Какие ты глупости говоришь! — Генеральша закрыла глаза и принялась смеяться, тряслась всем телом. Вытерла глаза.— Ох, Павлинушка,— только бы женился.

— Женится, лопни глаза. От сладкого еще никто не отказывался. А ты вот что послушай.— Павлина потянула генеральшу за рукав.— Жениха осмотреть надо. Может, он порченный или у него где-нибудь недохватка? Я тебя научу: как ему спать ложиться,— напущу я в его постель блох. Ляжет он. Вскочит. Рубашку с себя сорвет,— тогда ты и гляди. Все увидишь.

Степанида Ивановна взглянула на бабу. Всплеснула руками и долго и много смеялась. У ног ее хихикала Павлина.

Сонечка шла любимой липовой аллеей, добегающей до пруда, и повторяла в уме все слова, сказанные Смольковым. Этот человек страшил ее и привлекал тем, что был совсем непонятен. Словами, движениями, всей внешностью он замутил Сонечкин покой, как камень, брошенный в пруд.

Сонечка дошла до пруда и глядела на тихую воду. На ней плавали листочки ветел, как лодочки, бегали паучки, в глубине плавали головастики,— поднимаясь, касались поверхности щекотным ртом. Летали сцепившиеся коромысла,— сели на камыш, качнулись, опять засверкали — полетели. Из-под ног Сонечки шлепнулась в пруд лягушка,— и пошли круги, колебля листья, паучков и водоросли... Вдруг мыслями ее нечаянно завладел другой образ.

«Конечно, он нечаянно меня толкнул. Хотя чересчур уж смел.— Она начала краснеть, уши ее стали пунцовыми. Она сломала ветку и ударила себя по щекам.— Скверно не он, а я поступила,— конечно, не нужно было ехать на возилке, и потом так неловко упала... Фу, как нехорошо!.. Дался же мне этот парень».

Сонечка бросила веткой в коромысло.

По берегам пруда росли старые серебряные плакучие ветлы, шумливо кидające ветви свои во время непогоды; теперь они свесили их лениво. Из тени на зацветшую воду выплывал выводок уток, оставляя позади борозды, словно скользя в зыбком мху. Грачи неумолчно кричали над гнездами.

«А этот здесь ничего не поймет,— думала Сонечка.— Граблить сено. Никогда ему не скажу, как люблю все это.— Она обвела глазами пруд, мостки, плакучие ветлы.— Может быть, он увидит все это и станет моим? Нет, у моего черные глаза, черные кудри, он много думает, на него можно молиться. И вдруг взять и сказать: я вас не люблю, выйду за того, кого люблю».

Сонечка вздохнула:

«Господи, до чего я глупа! Смольков даже и не подумает делать предложение. Вот, скажет, провинциальная барышня, только глаза таращит...»

Сонечка заложила руки за спину (привычку эту переняла от отца) и пошла назад по аллее. Мысли ее были противоречивые, и все время три человека — герой меч-

таний, сегодняшней красавец парень и Николай Николаевич — вставали перед глазами, то порознь, то сливаясь в одного, нависающего над ее фантазией.

Но о Смолькове проще было думать — он был дозволен и доступен. Понемногу с остальных перенесла Сонечка все идеальные качества на Смолькова. И когда живой Николай Николаевич явился в пятнистой от солнца аллее и, морща губы, приподнял соломенную шляпочку, она не узнала его и остановилась, затрепетав ресницами.

— Здесь очаровательно, — сказал Смольков. — Мне давно хотелось пожить в старом дворянском гнезде, — очаровательно!

«Такие парниковые огурцы бывают», — подумала Сонечка.

Смольков дотронулся до ее руки, заглянул в глаза и что-то говорил слегка надтреснутым, точно непроспанным голосом, — до Сонечки доходили лишь отдельные слова, которым она придавала свое значение...

— Я помешал вашей прогулке, Софья Ильинична, вы мечтали?..

«Как это мне можно помешать? — дивилась она. — Да отвечай же ему, дура!..»

— Я всю жизнь мечтал ходить по парку рядом с любимым существом, но жизнь, Софья Ильинична, тяжелая вещь...

«Так вот что, он несчастный». — И сердце Сонечки вдруг стало мягче.

Они дошли до пруда.

— Какая роскошь! — воскликнул Смольков. — Здесь есть лодка? Мы покатаемся, и вы споете? Да?

— Нет, — ответила Сонечка, — лодка есть, только гнилая.

— Жаль, — Смольков сел на пенек, прищурился и охватил колено. — Я хотел, чтобы вы были со мной откровенны...

— Зачем?

Смольков сказал: «Гм!» — и слегка покачивался на пне, щурился на сияющую воду. У него были изумительные шелковые носки, изумительная рубашка, изумительный галстук. Глаза, конечно, не те, и нос — слишком велик... Но все же... Сонечка даже приоткрыла ротик —

так внимательно вглядывалась. Вдруг Смольков чихнул, поднял коленку и добродушно засмеялся.

— А вы не смотрите на солнышко,— сказала Сонечка,— а то опять чихнете...

— Великолепно! Я буду глядеть на вас. Можно? Вы будете мое маленькое солнце, даже лучше солнца, потому что я не буду чихать. Что? — Он, смеясь, взял ее руку...

«К чему ведет?.. Знаю, к чему ведет,— отчаянно стараясь не краснеть, думала Сонечка.— Сейчас скажет: прошу вашей руки... Господи, помоги...»

— Софья Ильинична, мне нужно маленькое солнце, нежная, девичья привязанность...

«Началось... Сейчас убегу...»

— Софья Ильинична, прикосновение невинной руки целит мою измученную душу. Я одинок, я устал... Я много жил, но люди оставили во мне лишь горе... К чему я стремлюсь: чистые взгляды, невинные речи... Природа... Голубые, голубые, ваши глаза... Серебристый смех... боже, боже... Я знаю — между нами пропасть... Вы никогда не сможете мне дать эту милостыню — девичью дружбу...

Все же его пальцы все выше пробирались по ее руке. У Сонечки звенело в голове. Она несколько раз глотнула. Ничего уже не было видно — ни пруда, ни ветел, ни ленивых белых облаков за рощей... Она упорно глядела на красные искорки на галстукe Николая Николаевича... И так ничего ему не ответила на все слова,— в жизни еще не было у нее такой застенчивости... Когда Николай Николаевич отпустил, наконец, ее руку, она стала пятиться и ушла не сразу, и ушла не так, вообще, как люди ходят, а как-то даже подскакивая... Николай Николаевич сдвинул шляпу на затылок, закурил папироску. «Глупа на редкость,— подумал он,— глупа, но мила, очень, очень мила. Гм... Но — глупа... И чертовски мила».

Сонечка пришла к себе, упала на постель, обхватила подушку и лежала долго, как мертвая. Затем быстро села на кровати, запустила пальцы в волосы — все, что произошло у пруда, перебрала в памяти,— точно ножом себя царапала,— когда же вспомнила, как уходила вприпрыжку, легла опять ничком и заплакала, кусая губы.

Когда Сонечка наревелась и в соленых слезах выплакала острый стыд и свою застенчивость, когда полегче стало ненавидеть себя и Смолькова,— овладело ею мрачное настроение.

«Про любовь в романах пишут, да еще такие дуры, как я, о ней мечтают. А в жизни никакой любви нет. Замуж выходят потому, что нужно, или потому, что уважают человека. Любовь приходит после брака в виде преданности мужу. Да, да. Любовь до брака — вредная страсть. Поменьше о себе думай, очень спесива. Можешь дать человеку счастье в жизни — вот тебе и награда. Все равно — под холмик ляжешь, в землю, под деревцо... Не очень-то распрыгивайся, мать моя...»

Мрачно прошел для Сонечки этот день. Она сходила к полднику и к ужину. Старалась не встречаться глазами со Смольковым. Он был весел, острил, рассказывал анекдоты из военной жизни. Генеральша мелко, не переставая, смеялась. Генерал тоже похохатывал...

Сонечка сослалась на головную боль и ушла наверх. Поглядела в последний раз на себя в зеркало, подумала: «Тоже рожа», с горьким вздохом разделась и, вытянувшись в прохладной постели, раскрыла глаза в темноту.

В полночь в дверь постучали. Сонечка похолодела и не ответила. Дверь без скрипа приотворилась, и вошла Степанида Ивановна в ночной кофте и в рогатом чепце. Лицо у нее было странное, точно густо, густо напудренное. Ротик кривился. Свеча прыгала в сухоньком кулачке. Генеральша подошла к постели, осветила приподнявшуюся с подушек Сонечку и громким шепотом спросила:

— Замуж хочешь?

Лицо у генеральши было, как у мертвеца, глаза закатывались, сухой ротик с трудом выпускал слова.

— Замуж хочется тебе? — переспросила она, и пальчики ее вцепились в плечо Сонечки. Она откинулась к стене, пролепетала:

— Бабушка, что вы, я боюсь.

— Слушай,— генеральша наклонилась к уху девушки,— я сейчас смотрела на него, он всю рубашку на себе изорвал в клочки.

— Что вы? О чем? Кто рубашку изорвал?

— Смольков. Павлина так устроила, придумала... Он настоящий мужчина. Софочка, я давно не видала таких... Будешь с ним счастлива.

И генеральша, внезапно обняв девушку за плечи, принялась рассказывать о том, что считала необходимым передать девушке, готовящейся стать женой. Говорила она с подробностями, трясла рогатым чепцом, перебирала пальцами. Угловатая, рогатая ее тень на стене качалась, кланялась, вздрагивала.

Сонечка не пропустила ни звука из ее слов и, внимая, чувствовала, что проваливается в какой-то бездонный стыд и ужас...

— Больно это и грешно,— шептала генеральша.— Самый страшный грех на свете — любовь, потому ее так и хотят, умирают, и хотят, и в гробу нет покоя человеку...

Долго еще бормотала Степанида Ивановна, под конец совсем несвязное, и не замечала, что Сонечка уже лежала ничком, не двигаясь. Тронув холодное лицо девушки, генеральша пронзительно вскрикнула и принялась звонить в колокольчик.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Дней через пять Павлина увидела сон первейшей важности. Сны видела Павлина часто, на все случаи жизни, сама по себе и по приказанию Степаниды Ивановны.

Но эта особенность не была прирожденной, а накатила на нее после одного случая с офицерами. До того жила она при монастыре и за свое безобразие исполняла должность привратницы.

— Через тебя, сестра, и дьявол не перескочит,— говорила ей мать Голендуха и спала спокойно. Павлина обитала в келейке у ворот, стучала по ночам гвоздем в чугунную доску.

В то время в монастыре жила чернобровая веселая монашенка, за свое пение прозванная «дудка-веселуха», имела она обязанность ухаживать за мирянами, приезжавшими во время праздников. Однажды заехали

в монастырь бывшие в тех местах два офицера. Понравилась ли им тихая обитель, засыпанная снегом, или напугал буран, но только они остались ночевать в пустой келейке. Увидели чернобровую сестру «дудку-веселуху», влюбились и решили ее увезти... Час побега назначен был под крещенский сочельник, когда бесовское племя так и шмыгает по всем заповедным местам и монашенки запираются по кельям, шепча со страхом отговорные молитвы. Приготовили офицеры коней и возок, но мать Голендуха все это пронюхала, допытала красавицу и с утра заперла ее на ключ.

Ничего не ведая, прискакали на тройке офицеры в назначенный час и постучали замочным кольцом, ожидая, что, по уговору, выйдет к ним чернобровая красавица. Действительно, ворота приоткрылись, и просунулась закутанная голова Павлины, вглядываясь — кого бог послал в такую темную ночь?

— Садись! Живей! Ходу! — крикнули офицеры, схватили привратницу, положили на возок; один вскочил рядом с ямщиком, другой застегнул полость, и помчались.

Павлина молчала. Кровь у офицера военная, не теряя времени, обнял он Павлину и, ободренный ее молчанием, не посмотрел ни на возок, ни на зимнее время. Павлина и тут смолчала. Офицер удивился.

— Хорошо ли, — спрашивает, — тебе, душенька?

— Хорошо, — ответила ему Павлина медвежьим голосом.

Офицер сейчас же зажег спичку и, увидя перед собой лицо привратницы, вскрикнул не своим голосом, и на всем ходу выкинул Павлину из саней в снег. Так она и осталась лежать в снегу у дороги, пока на рассвете не прибежали монашенки... Обступили они Павлину и спрашивают:

— Что с тобой, милая?

— Бес меня искушал.

— Какой бес?

— В огненном образе.

— Что же ты не кричала, голос не подала?..

— И, милые, не всякий день бес искушает, а этот был со шпорами.

Больше ничего и не добились от глупой привратницы.

Села она опять у ворот, но глянула на дорогу и затосковала.

— Уйду я, мать игуменья, пускай беса из меня лютыми ветрами выдует.

Собрала Павлина котомку и пошла по лютым ветрам, надеясь втайне — не встретит ли опять двух бесов?

И с той поры начала видеть всевозможные сны.

Бродила Павлина три года, питаюсь подаянием. Иногда заживалась у помещиков, у вдовых купчих. Иногда возвращалась в монастырь, исполняла в миру кое-какие поручения матери Голендухи.

Так попала она к Степаниде Ивановне и теперь видела сны о Свиных Овражках.

Степанида Ивановна, наладив сватовство и приведя Сонечку в крайнее возбуждение, написала Репьеву о предстоящей свадьбе и теперь снова предалась прерванному делу.

Но на первых же порах возникли затруднения: хотя Овражки и план подземелий были приобретены, но никто из монастырских не мог или не хотел указать места, откуда начать копать. Второй уже день партия землекопов, нанятая Афанасием, курила цигарки на бугре близ овражка, а генеральша в отчаянии гадала и раздумывала и раз двадцать посылала Афанасия осматривать заколдованное место.

Сегодня, наконец, Павлина увидела жданный сон и рассказала его обрадованной Степаниде Ивановне.

— Некий муж,— говорила Павлина,— явился мне в облаке и указал перстом: крутись, говорит, раба, вокруг себя десять и еще три раза; где остановишься, там и бросай камень через плечо. Где падет камень, там место сие... Сказал муж сие и подал камень.

Павлина бережно развертывала тряпицы и показывала Степаниде Ивановне камень.

— Пойми же,— говорила генеральша,— мы не знаем места, откуда крутиться начать...

— Этого мне некий муж не говорил,— вздыхала Павлина.— Надо опять поспать.

— Когда же ты? Раньше вечера не заснешь, а рабочие ждут. Ах, Павлина, всегда ты что-нибудь напутаешь...

— Разве Афанасия позвать?

— Поди позови Афанасия.

Павлина убежала и сейчас же вернулась с Афанасием.

— Придумал ты что-нибудь? — с тоской спросила генеральша.

— Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство, весь овраг излазил.

— Нашел что-нибудь?

— Не извольте беспокоиться, все в порядке...

Афанасий подал генеральше кусок кирпича.

— Старинный, ваше превосходительство, от самого подземного места отломался, не извольте беспокоиться.

— Кирпич,— воскликнула генеральша и набожно перекрестилась.— Славу богу! Едем!.. Веди, Афанасий, рабочих, вели мне подавать коляску.

И Степанида Ивановна, взволнованная, пошла к Алексею Алексеевичу. Генерал за эти пять дней махнул рукой на семейные дела.

Попытки «отбрить» и выжить Смолькова в самом начале были генеральшей прекращены. Сонечку, очевидно, жених волновал, а сам Смольков проявил столько веселости и добродушия в ответ на генеральские подкобы, что Алексей Алексеевич однажды за столом объявил:

— Измором меня взяли, быть по-вашему! — и занялся хозяйством, чтобы рассеять скуку.

Для начала придумал он проект особенной зерносушилки и велел кузнецу сделать железную трубу с дырочками. Трубу сделали, но погода назло стояла отличная, и хлеб не подмокал. Тогда генерал решил в трубе вялить яблоки, чтобы всю зиму кормить рабочих компотом: от такой пищи, он высчитал, производительность мужика увеличится на семь процентов. За опытом над новым проектом и застала генеральша Алексея Алексеевича: стоя у окна, палочкой перемешивал он высыхающие на солнце яблоки и отгонял мух...

— Алексей! — воскликнула генеральша.— Благослови меня, я начинаю...

— Дай тебе бог, Степочка, только трать поменьше денег, все-таки, знаешь ли...

— Ах, опять не доверяешь,— жалобно воскликнула генеральша.— Руки опускаются. Пойми, не для богат-

ства, не из каприза ищю я этот клад, а для славы твоего имени. Сейчас ничего не скажу, но потом ты узнаешь. Тебя, Алексей, ждут не только слава и почести, но и могущество.

— Ну, куда мне его, Степочка. Вот яблоки...

— Ты рожден под счастливой звездой, Алексей. Твоя бабка Вальдштрем... Это шведская королевская кровь... Подумай об этом...

Степанида Ивановна подняла палец, чепец ее сдвинулся набок, на щеках проступили красные пятна.

Свинными Овражками называлась неглубокая котловина, поросшая шиповником и бурьяном, на перевале между Гнилопятами и монастырем.

Со стороны монастыря, откуда начиналась дубовая рощица, лежали на бугре остатки строения, из него уцелели несколько ступеней и часть рухнувшей стены, овитая плющом... Между камней рос шиповник, и корни деревьев разрушали неизвестно кем и когда построенное это жилище. От ступеней овраг круто падал вниз в высокий бурьян и снова поднимался, уже полого, вплоть до голого выгона гнилопятских лугов. Считая развалины и угол рощи, площадь Свинных Овражков не превышала пяти десятин.

Перегнав по дороге рабочих, Степанида Ивановна оставила лошадей у края овражка и пошла пешком вниз через кусты, которые заботливо перед ней раздвигал Афанасий.

— Где же, где твое место? — повторяла генеральша, задыхаясь от трудной ходьбы и волнения.

Афанасий смотрел под ноги, нагибался, лег даже на землю от расторопности и, наконец, воскликнул, ударив сапогом ветхий камень:

— Сюда становись, Павлина, начинай!..

Павлина осторожно развернула из тряпиц камень, поджала деловито губы, попросила генеральшу и Афанасия отойти и вдруг забормотала истошным голосом, закрутилась и кинула камень через плечо. Генеральша подбежала к тому месту и увидела, что вокруг Павлининого камня на земле набросан щебень.

— Кирпич сам из земли пошел,— сказала Павлина.— Копайте!

Рабочие осмотрели место, побросали в траву одежду и баклажки, поплевали на руки и стали копать, но не очень шибко. Когда же генеральша, разгневанная их ленью, обозвала мужиков бессовестными, старшой сказал:

— Без вина не наша вина, поднесешь — сами руки заходят...

Афанасий на пристяжной поскакал в Гнилопяты за водкой. Рабочие быстро очистили место от корней и щебня и стали копать вглубь.

— Вы зря-то не ковыряйте,— говорил старшой.— Ты линию найди; как линию найдешь, так она и пойдет сама тебе галдареей...

— Кирпич,— сказал один рабочий.

— Верно, кирпич,— сказал другой рабочий.

— Нашли, Степанида Ивановна,— сказал старшой,— галдарея...

Степанида Ивановна сама влезла в яму и глядела по плану. Но кирпич оказался единственным, и, порыв еще немного, решили рабочие копать рядом. Скоро, однако, они утомились и сели курить. Генеральша в отчаянии пошла на гору посмотреть, не едет ли Афанасий с водкой...

Наконец Афанасий прискакал. Мужики сняли шапки, и каждый из стаканчика медленно потянул вино, словно полагая, что встанет в жилах его богатырская сила... Выпив, поблагодарили и без шуток быстро принялись рыть. На новом месте открылись стены кирпичного колодца, идущего наклонно вниз. Степанида Ивановна всех благодарила и, садясь в коляску, сказала Павлине:

— Сегодня, Павлинушка, всю ночь не буду спать.

В это время Сонечка и Николай Николаевич сидели в саду на качелях, тихо покачивались. Сонечка похорошела за эти дни и похудела так, что под веками легли у нее тени, глаза блестели. Держась за веревку, она отталкивалась ногой в синем шелковом чулке — подарке бабушки — и говорила без умолку, боясь молчания, той

напряженности, когда сердце громко стучит и понимаются затаенные мысли.

На поляне позади качелей на грядках росли огурцы. Сонечка очень хотела сорвать один из них и дать Николаю Николаевичу; Смольков же все время намеревался поцеловать девушку в шею, где завиваются волоски. Глядя на краснеющее от стыда это место, он вдруг спросил:

— А что, дедушка ваш целует еще бабушку или уже нет?..

Сонечка взглянула на него, ахнула и медленно засмеялась.

— Какие вы глупости говорите!

— Нет, отчего, бабушка, по-моему, еще очень красива.

— Знаете, у нее раз карандаш весь вышел, которым брови подводят, я ей обожженную пробку принесла, так вот она такие себе брови намазала...

— Вы злая.

— По-вашему, в самом деле я злая?

— Конечно, я, например, очень хочу одну вещь сделать, а вы мне не позволяете...

— Какую? — Сонечкина рука крепко сжала веревку. — Ну, вы что-нибудь мудреное попросите.

— Можно шейку поцеловать? Один раз?

Одну только минуту подумала она: «Что со мной? Все как во сне!» — но опять засмеялась, отодвигаясь. Николай Николаевич нагнулся и нежно ее поцеловал. Она приоткрыла рот.

— Съешьте огурец, я вам принесу. — Сонечка, прыгнув с качелей, нагнулась над огуречными листьями. Николай Николаевич, не отрываясь, глядел на ее спину. Сонечка подала ему огурец, с одной стороны пожелтевший, и опять села на качели близко к жениху.

На днях Смольков сделал предложение. Случилось это просто и как-то никого не удивило. Одетый в сюртук, при шляпе, он вошел к Сонечке в комнату, извинился, сел на стул и заговорил о значении семьи для государства. Глаза его были полужакрыты, и все лицо каменное, точно перед ним у окна стояла не Сонечка, а какой-нибудь министр. Затем, кончив вступление, он подошел на три шага и, совсем закрыв глаза, предложил быть его

женой... Сонечка ахнула только. Он ушел, и немедленно ворвалась генеральша, обняв девушку, поздравила, а про Смолькова выразилась, что он «идеальный муж». С этой минуты все стало как сон.

— Дни, как черепахи, ползут,— говорил Николай Николаевич, грызя огурец.— Еще семь дней до свадьбы, а мне кажется — конца этому не будет.

— А я так рада, что побольше времени до свадьбы остается...

— Почему же вы рады?

— Так, рада...

— Я знаю, почему — трусите.

— Чего же я буду трусить, вот тоже...

Она усмехнулась. Николай Николаевич осторожно обнял ее, сначала легко, потом все крепче, отыскал губами ее рот и медленно, мучительно и бесстыдно поцеловал. Сонечка, вся пунцовая, вырвалась, закрыла лицо.

— Степанида Ивановна приехала,— с трудом выговорил Смольков.— Пойду встречать.

И, не оборачиваясь, он ушел, а Сонечка осталась сидеть на качелях. Возбуждение ее сразу упало, опустились руки. Несколько часов смеха, двусмысленностей и ставших особенно легкими кокетливых движений утомили Сонечку, и теперь ей было гадливо, и с отвращением глядела она на бессовестные свои чулки, одетые напоказ, на вымазанные с вечера кремом, по совету генеральши, руки. Даже в легоньком новом платье не было невинности.

«Откуда все это у меня взялось? — тоскливо думала она.— Как он меня не остановит? Ведь я бог знает до чего дойду...»

Она передернула плечами и поглядела туда, где за косматыми ветлами садилось красное перед ненастьем солнце. Лиловые тучи багровели по разодранным краям,— в них было грозное, тяжелое предчувствие. В саду затихли птицы, только дикий голубь все еще тосковал, сидя на верхушке березы.

«И этому я стану чужая,— подумала Сонечка.— Он любит ли меня? Должно быть, любит. Надо очень строго следить за собой. Буду больше молчать, не надену больше этих чулок со стрелками. Так просто: перестану крив-

ляться и скажу: я вас, должно быть, очень люблю, милый мой, милый Николай».

Она долго сидела, держась за веревку качелей, положив голову на руку. Когда невдалеке послышался голос Смолькова, идущего с генеральшей, выступили от умиления слезы у Сонечки на глазах, захотелось тотчас же подойти и сказать что-нибудь очень душевное.

За ужином она глядела на Смолькова «собачьими», как он определил, глазами. Генеральша, подергиваясь, рассказывала о каких-то кирпичах. У Николая Николаевича разболелась голова от волнения и вина, и он, захватив свечку, ушел к себе.

Поставив свечу около кровати, Смольков снял пиджак, сунул руки в карманы и, наклонясь над Сонечкиной карточкой, закусил нижнюю губу.

— Больше не могу,— прошептал он, вдыхая свежий воздух.— Монастырь, черт его возьми, какой-то! Целоваться на качелях! Конечно, она может ждать хоть сто лет — птенец. А я что?

Он забегал по комнате, думая все об одном, на чем мысли сосредоточились, как в фокусе,— точка эта была страшно чувствительна, остальной мир понемногу темнел, отпадая. Стали различимы запахи старых книг, ветхой мебели, сада и неуловимых женских духов, пропитавших старую мебель, на которой бог знает кто сидел.

Наконец Смольков остановился посреди комнаты, медленно провел языком по высохшим губам, взмахнул рукой, точно говоря: «Ну, что же я могу тут поделаться?», отворил дверь и громко прошептал:

— Афанасий.

Афанасий пришел и стал затворять окно, но Николай Николаевич, потрепав его по плечу, сказал пересмякшим голосом:

— Послушай, друг, как у вас насчет этого самого?..

— Это насчет чего?..

— Ну, этого самого, понимаешь?

— Что вы, барин,— осклабясь, ответил Афанасий,— мы этим не занимаемся.

— Где-нибудь на селе, наверно, есть эдакое?..

— На селе как девкам не быть, только вам не понравятся. Солдатка есть, да ничего, чистая.

— Ну вот, вот, сведи меня к солдатке, голубчик. Сейчас я переоденусь... Посто́й... вот тебе на чай полтинник. Так ничего солдатка-то... а?

— Солдатка — ничего, мягкая.

Спустя время, осторожно, через черный ход, пробрались Смольков с Афанасием в сад, миновали сырые аллеи, плотину и побежали лугом до села.

У крайней избы в траве на пригорке сидели три девушки и негромко пели; в темноте лица их под платками казались маленькими и странно блестели глаза. Афанасий, словно мимоходом, подошел к ним, поклонился, разведя руками.

— Наше вам с кисточкой!

— Кто такие? — спросила одна недружелюбно.

— Хуторские, позвольте посидеть с вами.

Девушки переглянулись, засмеялись, и одна сказала:

— Нет уж, идите, откуда пришли.

Афанасий обиделся, влез в разговор, но Николай Николаевич потянул его за рукав, шепча:

— Пойдем, пойдем к солдатке...

— Придете на хутор, — я вам припомню, — пригрозил Афанасий девкам.

Они что-то крикнули вдогонку, затем было видно, как поднялись, побежали в темноту.

К солдаткиной избе нужно было идти по задам, перелезть через плетень и насвистать собаку, которая сначала кинулась с лаем, но, узнав голос Афанасия, побежала вперед. Боязливо на нее поглядывая, Николай Николаевич покорно прыгал в какие-то канавы, изорвал штаны, промок, попав в навозную жижу, и, наконец, выйдя на пустой дворик, увидел стоящую на крыльце высокую бабу.

— Марина, — бойко сказал Афанасий, — принимай гостей.

— Ах, батюшки, я-то испугалась, — низким веселым голосом молвила баба. — Что же, если с добром, заходите! А это кто? — шепнула она Афанасию и после ответа еще приветливее закачала головой.

Николай Николаевич снял шляпу, поклонился и вошел на крыльцо, но в избу Марина его не ввела, а оста-

лась в сенях, сев на кровать. Привыкшие к темноте глаза Смолькова различили постель со множеством подушек («Воображаю,—подумал он,—каковы подушки»), дойницу с молоком и зыбку, висевшую около на ремне.

— В избе сестрица больная лежит,—прошептала солдатка и весело поглядела Николаю Николаевичу в лицо.

— Ну, как же ты? — спросил Смольков, повертелся и обнял бабу.

Марина засмеялась, освободилась.

— Вино будете пить?

— Да, да, вот — рубль. Купите вина.

Афанасий взял деньги и побежал к какой-то своей куме. Николай Николаевич остался, наконец, вдвоем с женщиной и, сердясь на свою непредприимчивость, придумывал, что бы такое ей сказать, чтобы разрушить странную эту, какую-то необычайно простую действительность.

— Почему ты меня не поцелуешь? — сказал он томно и подумал: «Пахнет молоком и чем-то съестным, не то печеным».

— Чего? — совсем уже весело спросила Марина и, закрыв рот ладонью, проговорила, вся трясась от веселости: — Что это вы, барин, ко мне пришли... ну и барин!

Затем, не выдержав, она стала смеяться так, что затряслась и заскрипела кровать.

Смольков рассердился: страсть его уменьшалась с каждой секундой; он засопел, хотел выругать глупую бабу, но живот его сам по себе начал подпрыгивать, и Николай Николаевич визгливо захохотал.

— Дура, вот дура!

— Я думала, он насчет молока, а он — вон зачем явился,— плача от смеха, говорила Марина.

Николай Николаевич начал уже чувствовать к ней что-то вроде родственного добродушия и, придвинувшись ближе, ударил ее по спине. Она пхнула его под бок. Оба они покатывались со смеху. Неизвестно, долго ли бы продолжалась эта игра, но вдруг в светлом четырехугольнике двери появился Афанасий.

— Беда, барин,— проговорил он испуганной скороговоркой,— девки к нам ребят подослали... Бросайте бабу, бегимте...

Действительно, на улице были уже слышны голоса, шепот. Ударили в ворота... Николай Николаевич выбежал на двор. Через ворота, через плетень лезли парни. Николай Николаевич завизжал и пустился бежать по задам, через канавы и плетни... За ним молча, рысью летел Афанасий. А сзади, топая сапожищами, неслись парни, вскрикивая дикими голосами так страшно, что волосы у Николая Николаевича стояли дыбом...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Утром, в темной каморке за лестницей, на лежанке сидели Афанасий с Павлиной и не то чтобы разговаривали, но кряхтели больше да почесывались.

Перед ними на столе, за ветхостью отнесенном из парадных комнат в лакейскую, попискивал последнюю песню самовар, в топленом молоке плавала деревянная ложка... Особенно вздыхал и почесывался Афанасий, с утра сегодня бегавший два раза в село и на Свиные Овражки. Павлина, умильно на него поглядывая, благообразно икала после чаепития, крестила рот. Конечно, Павлина могла бы и не икать, но делала это, чтобы показать, как она вот и сыта и довольна,— а когда человек сыт и доволен, не грех ему и побаловаться.

— Полно, сокол, вздыхать,— говорила Павлина,— не ропщи, тепло тебе и сытно, куда же еще больше? А что грехов полон рот, так на том свете все равно простят,— мы неученые.

— Ерунду ты, баба, мелешь,— отвечал ей Афанасий,— отроду тебе ходить в лаптях, а мы в шевровых башмачках ходим... Скажи вот лучше, что делать? Генеральша-то наша совсем сбесилась: копайте, говорит, дальше, ничего я знать не хочу...

— Петухов купил?

— Десять рублей выдала, птиц двенадцать штук купил. Только, по-моему, петухи в этом деле ни к селу ни к городу. Что за глупость — петух! Петух — обыкновенная птица, цыпленок. Эх, дура ты, баба.

— Без петуха шагу нельзя ступить,— ты, сокол, умен, да мало понимаешь...

— Ох, а ты много знаешь!

— Как мне не знать,— наши монастырские, чай, три года в этом месте копали, да бросили,— взяться не умели...

— А ты умеешь?

Павлина опустила глаза, поджала губы, степенно вздохнула. Афанасий поглядел на нее, подумал: «Шельма баба».

— Генеральша что теперь делает? Надо бы уж ехать.— сказал он.

— Генеральша письмо читают.

Афанасий потянулся, лениво спрыгнул с лежанки.

— Вот что я тебе скажу, а ты помни: против меня не иди — плохо будет; а вместе за дело возьмемся — деньгу зашибем.— При этих словах Афанасий трыкнул языком, ткнул бабу под микитку и, захватив из сеней лукошко с петухами, поехал на работы.

Степанида Ивановна действительно читала в это время письмо, собрав всех у себя в комнате. Письмо было от Ильи Леонтьевича — четыре страницы, исписанные мелким и четким почерком.

«Благодарю вас за ваши сердечные заботы о дочери моей,— писал Репьев.— Господь милостив, послав мне таких друзей. В лице же будущего любезного зятя я уверен встретить твердого христианина и наставника моей дочери. Так я сужу по вашему о нем отзыву и заранее радуюсь счастью Софьи. На бракосочетание приехать не могу — привязывают меня к дому хозяйственные заботы. Кроме того, считаю, что столь важный шаг в жизни молодых людей должен быть совершен скромно, по возможности без свидетелей. Прошу поэтому много не тратить на свадебные приготовления, а необходимые издержки возмещу тотчас же переводом денег. Приданое Софьи давно готово. В именице ее, Сосновка, озимые засеяны и пар вспахан,— все в порядке. Приедут молодые, пускай вьют себе гнездо».

Сонечка очень огорчилась отказом отца приехать на свадьбу, потому что знала: если он, увидав жениха и поговорив, одобрит, все сомнения ее улетят, как дым, и она будет спокойна и счастлива.

Пожалел и Алексей Алексеевич: давно ему хотелось повидать старого друга. Но, видно, уж до смерти не придется.

Степанида Ивановна, обняв и перекрестив Сонечку и Николая Николаевича и заставив то же проделать генерала, послала к сельскому попу приказание — оглашать молодых. Присела с веером в руках на канапе, рассказала о какой-то Симичевой, которая кому-то послала письмо, а сама внезапно вышла замуж, — причем никто о Симичевой ничего не понял, — и собралась ехать на раскопки, приглашая с собой Смолькова и Сонечку.

По дороге она рассказала, что работа на Свиных Овражках до сегодняшнего дня шла успешно. Вынув изнутри кирпичного колодца землю, рабочие наткнулись на свод, полого идущий под горою, образуя собой галерею шириною в полтора аршина. Но, пройдя около трех сажен, галерея уперлась в скалу, и сколько рабочие, совместно с советами Павлины, ни бились — не могли найти дальнейшего хода. Очевидно, в этом месте и началось заклятье, которое нужно отомкнуть. Это было вчера. Генеральша далеко за полночь совещалась с Павлиной и уснула, наконец, видеть сон. Чуть свет Павлина объявила, что нужно в том месте зарезать двенадцать петухов — пролить кровь. Двенадцать потому, что Мазепа заколол двенадцать казаков, петухи же были выбраны как единственное земнородное, которого боится нечистая сила.

— Я очень надеюсь на средство это, — весьма значительно проговорила генеральша, когда коляска остановилась около раскопок.

Рабочие были все в сборе. Павлина сидела на камне, закрыв глаза, очевидно приготовляясь к заклятию. Афанасий в обеих руках держал по шести петухов, бивших крыльями, и почтительно глядел на подъехавших.

Степанида Ивановна пересчитала птицу и приказала начинать. Павлина сняла ваточную кофту, попробовала на пальце нож, приказала поддерживать себя под мышки и так спустилась в наклонный колодезь. Афанасий бросил ей черного петуха, который бил крыльями и кричал. Степанида Ивановна в волнении глядела, как баба сначала не смогла словить птицу, потом, ухватив одного петуха за шею, поползла вниз и скрылась под

землею. Слышны были только ее причитания и возня. Потом все замолкло. Павлина высунулась на свет, протягивая окровавленную руку за новым петухом.

Павлинина растрепанная голова появлялась из-под земли двенадцать раз. Генеральша чувствовала, что ее мутит. В это время один резаный, но недорезанный петух вылетел из ямы, обдал генеральшино платье кровью, побежал по траве и кувырнулся... Степанида Ивановна, побледнев, прошептала: «Это дурной знак!» — но осталась стоять, преодолевая себя. Наконец, птиц всех порешили. Павлина вылезла из-под земли и, отирая о траву руки, сказала скороговоркой:

— Теперь камень, как воск. Копайте, ребята, прямо, — не вбок и не вперед. О, силушки моей нет, легла на меня кровушка... Тьфу! тьфу! тьфу!..

Рабочие, посмеиваясь, полезли под землю, и старшой, осклабясь, спросил:

— Насчет курей, Степанида Ивановна, дозвольте в обед сварить?

— Варите, варите, ничего, — отвечала Павлина, — наперед только святой водой окропите, а то поешь, да и пошел сам петухом кричать.

Сонечка и Николай Николаевич, плечом касаясь плеча, сидели все это время на бугорке среди шиповника и тихо разговаривали.

Смольков присмирел после ночного похождения, сделался тише воды, — деревня не казалась ему больше патриархальной и добродушной, как в первые дни. В ушах еще до сих пор отдавались крики парней, от которых едва тогда ушел ночью. Сонечка думала: «Боже, как я в нем ошибалась: милый, кроткий и совсем не страшный».

Солнце стояло высоко. Сонечке было жарко, лениво, приятно. Пекло руку, лежащую на колене. Медом и зноём пахла трава.

— Посмотрите, что это с бабушкой, — усмехаясь, сказал Смольков, — хватается за грудь... Что-то нашли, должно быть.

— Покажите какой — каменный? католический? — донесся голос Степаниды Ивановны.

— Должно быть, нашли крест, — ответила Сонечка, — я помню, что это первая примета по плану; другие две — орел и каменная голова. Видите, как все сбывается;

я знаю, что клад найдут. Один только дедушка в него не верит.

Николай Николаевич повернулся и сощурил глаза: — А что бабушка думает с кладом сделать?

— Я не знаю, что, — наверно себе возьмет.

В это время Степанида Ивановна закричала:

— Дети, идите сюда!

И когда они сбежали с горки, подняла обеими руками до этого прижимаемый к груди каменный крест.

— Сбылось... сбылось!..

Говорить генеральша не могла, маленькое лицо ее покрылось под румянами лиловыми пятнами, шляпка сбилась, платье было испачкано петушиной кровью и землей...

Перепуганная Сонечка подхватила ее под один локоть, Смольков под другой, и повели генеральшу к коляске: усадили и повезли домой. Дорогой Степанида Ивановна плакала и целовала крест.

Степанида Ивановна выпила черного кофе и приказала просить к себе генерала, но Алексея Алексеевича в кабинете не оказалось: он ушел к амбарам, где насыпали отсеянную рожь на воза.

Покупка Свиных Овражков и приготовление к свадьбе заставили генерала поторопиться продажей хлеба. Он решил сам теперь вникать во все мелочи хозяйства, присутствовал при насыпке, а вечером сегодня собирался в город, чтобы на утреннем базаре самому продать рожь.

Довольный, что нашел дело по душе, Алексей Алексеевич стыдился немного приказчика, с улыбкой выслушивавшего решительные его приказания, и, чтобы устранить всякое постороннее влияние, послал приказчика считать деревья в заповедном лесу, хотя это можно было сделать и в другое время. Приказчик обиделся, но ушел, а генерал летал от веялок к амбару, от амбара к возам и зычным голосом покрикивал на рабочих, — красный весь, одухотворенный, будто на войне.

К полднику в пять часов генерал явился в промокшем насквозь кителе и поспешно принялся есть. Очень этим недовольная, Степанида Ивановна начала обижен-

ным тоном издалека рассказ о сегодняшней находке, но генерал перебил:

— Хорошо, хорошо, Степочка, отлично... Нашла какую-то штуку... после доскажешь.

И убежал, крича Афанасию закладывать лошадей.

— Не штуку, а крест! — крикнула вдогонку генеральша. — Сумасшедший человек, бурелом!.. Чувствую, дети мои, — с этой продажей хлеба — кончится плохо.

Вечером того же дня подъезжал Алексей Алексеевич по ровной и голой степи к уездному городу. Солнце село, и тусклые тучи висели над темной степью. Тащились навстречу телеграфные тощие столбы вдоль дороги. Впереди за канавой торчали кресты кладбища, еще далее — заборы, крыши предместья и колодезные журавли. Тихой рысью бежали лошади, поднимая пыль. У дороги валялась падаль, оскалая зубы. Становилось тусклее с каждой минутой, тоскливее.

Алексей Алексеевич сначала бодрился, откинув на затылок генеральскую фуражку и подбоченясь, но тоска, наконец, и его проняла.

— Погоняй, что ли!

— Но, милые, — уныло покричал кучер, помахал варежкой и опять сгорбился, так что линия его рубашка надулась пузырем.

Наконец, поравнявшись с первой избой, тарантас тяжело въехал в песок улицы. У ворот поклонился генералу седой мещанин в жилетке; опустив крылья, побежала под лошадей курица; Алексей Алексеевич прочел заржавленную вывеску синими буквами: «Стрижка, бритье, также починка часов», — поморщился и сердито крикнул на мальчишку, который норовил присесть сзади тарантаса. Дома были с воротами и крашеными ставнями, но ближе к центру стали попадаться и каменные, под охру или дикого цвета. На углу переулка дремал в заплатанном кафтанишке извозчик, линейка его и сивая лошадь были до того стародавние, — казалось, со времен еще Екатерины дремал он на этом углу. В переулке появился первый керосиновый фонарь, и тарантас, громыхая, въехал на большую площадь, где стояли собор, лавки и въезжий трактир.

Алексей Алексеевич приказал здесь остановиться, на вопрос кучера, не завернуть ли лучше в «Ливерпуль», ответил, что приехал не спать, а дело делать, и крикнул отворять ворота.

Рыжий мужик, в нагольном полушубке, но босой, со скрипом отворил ворота, и лошади, чавкая по навозной жиже, въехали во двор.

— Не были еще воза из Гнилопят? — спросил генерал.

— Нет, возов из Гнилопят не было, — отвечал мужик. — А что, овес у вас свой или хозяйский?

— Хозяйский, хозяйский, — сказал кучер, — у нас господские кони, едят овес без песку.

— Зачем хаешь, у нас овес хороший, — сказал мужик.

Генерал вылез из тарантаса, разминая отекавшие ноги, потянувшись, через широкое, затоптанное грязью крыльцо вошел в трактир. В большой, низкой и грязной горнице у окна за самоваром сидели три человека в суконных чуйках и негромко разговаривали. Один был толстый, с висячей губой, — сопя, втягивал он в себя чай и крякал; другой — безбородый парень, круглолицый и курносый, говорил прибаутками, вытирая полотенцем скулы, которые до того были крепки: колоти по ним кулаком — мозоли набьешь; у третьего — седая борода и умные серые глаза.

На вошедшего генерала чаепийцы посмотрели равнодушно, но, когда он сел на лавку и отвернулся, перемигнулись.

«Запашок!» — подумал Алексей Алексеевич и, разглядывая липкие, ободранные обои, захарканный пол, заметил еще четвертого посетителя, — должно быть, землевладельца из мужиков, в суконном кафтане, сидевшего поодаль, подсунув под себя руки... Мужик слушал, что говорилось, на генерала же не обернулся... Говорили о прошлых ценах, об урожае и о каком-то Ниле Потапыче Емельянове.

— Вы тоже рожь привезли? — спросил генерал мужичка, подсунувшего руки.

Мужик зевнул, ладонью провел вверх и вниз по лицу и кивнул головой.

— А какие, вы думаете, цены завтра будут?

— А кто их знает, все от бога...

— Цены, господин генерал, плохие, — бойко сказал парень, — ржи очень много навезли. Да вы подсаживайтесь, сделайте милость, — не угодно ли стаканчик чайку?..

«Э, да у них я все разузнаю, — подумал генерал и пересел к чайному столу. — У меня, кажется, с собой бутылка вина есть и пирожки».

— Степан! — постучав пальцем в окно, позвал он. — Принеси-ка погребец. Так вы говорите, низкие цены?

— Хлеб хоть в речку ссыпай, вот какие цены, — хрипло сказал толстый человек...

— Жаль, а у меня так сошлись семейные дела, что вынь да положь сейчас деньги, — сказал генерал и спохватился. — Хотя не сойду в цене — отправлю за границу.

Чаепийцы уставились глазами в стол, старик сказал:

— Нет, рожь за границу не идет... Пшеничка — другое дело...

— Куда ее с базара повезешь, провоз денежки стоит, — сказал толстый человек.

— Мы уж и так горюем, — подхватил парень.

Мужик, сидевший на лавке, перебил их с сердцем:

— Горюем. Горе твое вот где у меня, — и показал себе на шею... Все трое захохотали, а мужик громко плюнул, снял кафтан и лег, ворча: — Мошенники, прасолы, осиновым вас колом...

— Так вы мои завтрашние покупатели? — спросил генерал...

— Нет, — отвечал парень, — где нам, мы для себя берем возик или два. — И стал расспрашивать Алексея Алексеевича о хозяйстве и о том, почему сам приехал, а не послал приказчика. Генерал охотно на все это отвечал, радуясь, что ловко сумел угостить нужных ему людей...

Потом пришла босая и заспанная баба, унесла самовар и привернула лампу... Прасолы, встав из-за стола, пошли спать, должно быть, на сеновал или в телеги. Алексей Алексеевич разостлал на лавке плед, под голову положил кожаную подушку и, не думая заснуть в такой духоте и вони, скоро задремал, чувствуя, как дрожат стены и стекла, хлюпает что-то, рвется, задыхаясь, будто ходит по горнице мокрый вихрь, — то похрапывал христианской своей утробой землевладелец

из мужиков... Потом пришел какой-то человек, сел на пол и стал раздеваться,— оказалось, это был Смольков во фраке с графином кваса в руке... «Дайте-ка напиться»,— сказал ему генерал. «А по сорока семи копеек за пуд хочешь?»— ответил Смольков, и у него отвисла губа. «На кого он похож? — со страхом думал генерал.— Э, да это убитый турок! Ах ты!..» Но турок стал на четвереньки и вдруг ударил в барабан. В ужасе генерал проснулся, сбросил ноги и посмотрел.

За окном брезжил рассвет и кричали петухи; кто-то, выйдя из избы, ударил дверью.

«Зачем я сюда попал? — подумал генерал.— Пить как хочется... Ах, да...» — И, поспешно надев пальто, вышел во двор.

На дворе очертания крыш четко рисовались на небе, едва тронутым с востока оранжевой зарей, и было так тихо, что слышался хруст жующих сено лошадей. Кучер Степан, в армяке от утреннего холодка, подошел к Алексею Алексеевичу и не громко еще, по-ночному, сказал:

— Воза приехали, ваше превосходительство.

Алексей Алексеевич кивнул головой и, вздрагивая от дремоты, вышел через калитку на площадь.

Площадь, пустая с вечера, теперь была заставлена возами,— поднятые оглобли их торчали, как лес после пожара. Распряженные лошади жевали сено, и слышались голоса проснувшихся крестьян. Предрассветный ветер пахнул навозцем, сенной трухой и дегтем. Алексей Алексеевич, ходя меж возов, после долгих расспросов отыскал, наконец, свои сто сорок восемь телег, стоявших на дальнем конце площади, у реки.

— Что, ребята, благополучно? — спросил генерал, подходя к своим.

Трое или четверо возчиков сняли шапки, один ответил:

— Все слава богу, Алексей Алексеевич.

— Хорошо продадим — на водку получите.

— Благодарим покорно,— ответил тот же голос.

Генерал взлез на телегу и закурил папироску. Вчерашний задор соскочил с него, и продажа хлеба вовсе не казалась простой и веселой, к тому же от душной комнаты тошнило, болела голова и хотелось пить... Ну

генерал пересилил себя и в трактир не пошел, а дождался, когда откроют пекарню, и послал одного из возчиков купить горячего хлеба и молока.

«Расскажу Сонюрке,— думал он,— как я на возу молоко пил. Фантастично! Что же эти дураки купцы не идут, пора бы, совсем светло... А вдруг они ко всем подойдут, а ко мне не подойдут? Гм!»

Светало быстро. Лошади ржали, хотели валяться. Задвигался, разговорился народ.

Генерал, держа в одной руке калач, оглядывался, поджидал, стараясь придать себе равнодушный вид. Вдруг между возов появилась синяя чуйка — вчерашний парень... Алексей Алексеевич сразу ободрился и помахал чуйке калачом. Но парень, как будто не замечая генерала, заглядывал в чужие воза и сошелся со вчерашним землевладельцем из мужичков, принявшись о чем-то кричать и хлопотливо рыться в его возу.

Алексей Алексеевич огорчился таким невниманием, но решил ждать терпеливо. Солнце поднялось над крышами, и многие воза снялись с площади и уехали. Торг, очевидно, шел вовсю. Слышались пьяные голоса...

«Что за дьявольщина, почему ко мне не подходят?» — думал генерал и начал уже сердиться, вертясь на возу. Вдруг позади окликнул его деловитый голос:

— Послушайте, что продаете?..

Это говорил вчерашний парень и, морщась, пересыпал рожь из ладони в ладонь. Алексей Алексеевич опешил:

— Как что? Рожь!

— Разве это рожь,— сказал парень, бросая зерно в телегу,— ржишка, прошлогоднее гнилье...

— Гнилье,— закричал генерал,— сегодняшней урожай! Да вы смеетесь! Гнилье!

— Нам смеяться не время. Сорок семь копеечек от силы могу дать...

И, поправив картуз, он отошел, а генерал, дернув плечами, гневно отвернулся, прошипев:

— Нахал, мальчишка!..

Цена ржи на нынешнем базаре стояла шестьдесят три копейки за пуд (так сообщили генералу возчики, бегавшие слушать, как торгуются), отдать же по сорока семи значило потерять рублей пятьсот, вернее — пода-

рить их этому нахалу прасолу. Воза продолжали разъезжаться, и Алексей Алексеевич все более гневался и недоумевал. Тогда подошел к нему вчерашний толстый прасол, подал жирные пальцы лопаткой и, не хваля, не хая, предложил сорок пять копеечек за пуд...

— Шестьдесят,— сказал генерал не глядя и добавил дрогнувшим голосом: — Эх ты, бессовестный!

Прасол развел руками и лениво отошел.

Долго не мог побороть гнева Алексей Алексеевич и, насупясь в седые усы, не глядел на окружающих. Когда же поднял глаза, мимо, не замечая его, проходил третий вчерашний знакомец — старик.

— Послушай, покупаешь... рожь? — спросил генерал. — За пятьдесят девять отдам...

— Это не цена,— не останавливаясь, проговорил старик,— цена сорок три копейки за твою рожь, барин...

— Дурак! — крикнул генерал. — Болван!

Воза развезли все, и на площади, усеянной объедками сена, остались одни гнилопятские, посреди которых на телеге сидел на людское посмешище генерал, сутулясь и поводя покрасневшими глазами. Дворянская фуражка его съехала набок, и коробом торчало запачканное серое пальто. По очереди подходили прасолы и, явно издеваясь, давали сорок, даже тридцать пять за пуд, а он не отвечал, выжидая, когда подвернется кто поближе, чтобы хоть ударить по морде обидчика.

Возчики стояли поодаль и смеялись; смеялись приказчики, выйдя на порог лавок; под колесами вертелись босоногие мальчишки, и по всей площади полетел слух о сердитом барине, которого травят прасолы и заставят чуть не даром отдать хлеб или везти домой, что еще более накладно и обидно.

Прасолов же подговорил купец Нил Потапыч Емельянов, который теперь и шел по площади в длиннополном сюртуке, надетом на ситцевую рубаху, широко расставляя ноги и еще шире улыбаясь. Подойдя к сердитому генералу, Нил Потапыч сдернул картуз с помазанных коровьим маслом кудрей своих, отнес его вбок и сказал с широким поклоном:

— С почтением Алексею Алексеевичу, поиграли дермом и за щеку, как говорится. Вели запрягать, даю пятьдесят пять копеечек с половиной...

— Вон! — вдруг побагровев, заревел генерал. — Не позволю, зарублю!.. — И, спрыгнув с телеги, трясясь и брызгая слюной, побежал к лошадям. — Мужики! мужики! негодяи! Запрягай! вали все в воду... к черту!..

— Что ты, что ты? — говорил Нил Потапыч, отступая. — Одурел человек..

Алексей Алексеевич сам отвязывал лошадей, за недоуздки тянул их к возам и, подставляя мужикам кулаки под самый нос, кричал: «Запрягать! запрягать! запрягать!» Воза скоро зашевелились, и генерал заметался около них, хватал вожжи, кнутом бил лошадей по мордам, и все сто сорок восемь телег, скрипя и колыхаясь, понеслись под гору к речке...

Кричал генерал сначала басом, потом пронзительно и, наконец, замолк — порвался голос, и он только шептал:

— Вали в воду, подвертывай! — сам схватился за первый воз, рванул брезент, и с шумом зерно посыпалось в тихую реку.

Мужики захохотали и с криком опрокинули телегу колесами вверх... Подвозили еще и еще и перевертывали. На горке у дома собрался народ. Нил Потапыч стоял все еще без картуза, расставя в изумлении ноги и руки. Заголосила какая-то баба. Густым золотым слоем по всей речке плыло зерно...

Долго глядел на реку Алексей Алексеевич, потом повернулся к народу и показал шиш.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

— Уйди, Павлина, пропади с моих глаз! — в отчаянии говорила Степанида Ивановна.

Павлина, хватая ее за платье, вопила:

— Я ли не старалась! Взгляни на меня, ягодка, глазочком погляди на меня, дуру!

— Я тебе вверилась, Павлина, хорошо ты меня отблагодарила.

Павлина ударилась головой о половицу и пуще принялась стонать.

— Разум отшибло! От сладкой пищи жиром я, окаянная, заплыла, огорчила свою благодетельницу!..

— Петухи ей понадобились, а зачем? Смеяться надо мной или денег выманивать? Ты бы сказала, я бы тебе просто денег дала...

— Ох, смерть пришла, ох, мочи моей нет! — причитывала баба.

— Уходи, Павлина, вон! — Генеральша повернулась на диванчике лицом к стене.

Произошел такой разговор потому, что вчера ночью обрушился не укрепленный подпорками свод и землей завалило всю галерею. Землекопы кобенились, уверяя, что это — чертова работа, и просили расчет. Им прибавили поденную плату и поставили ведро водки, с которой они напились влоск и завалились спать на Свиных Овражках, в густом папоротнике. Афанасий ходил их будить, не добудился, сам как-то нечаянно напился и, вернувшись, побил Павлину. На глупую бабу пала вся вина.

— Что за глупости придумала — петухов! — после молчания продолжала генеральша. — Не знаешь ничего, так и говори: ничего не знаю, ваше превосходительство. Наверно, и все сны твои дурацкие.

Павлина сидела на полу, пригорюнясь. С покрасневшего ее носа падали слезы. Вдруг она вскочила и ударила себя по бокам.

— Догадалась! Лопни мои глаза! Петухов-то надо купить *неторгованных*.

— Как *неторгованных*? — спросила Степанида Ивановна и с живостью спустила ноги на ковер.

— *Неторгованный* петух силу имеет, благодетельница, а *торгованный* есть суповая куря. Сколько спросили за птицу, столько за нее и давай. Слава тебе, господи, вспомнила. Пожалуйста денежек, я сейчас побегу...

— Ну, нет, — сказала Степанида Ивановна твердо, — хотя я вижу, в чем была ошибка, но денег тебе не дам, сама поеду и куплю.

Генеральша подробно расспросила, каким образом покупать петухов, где и когда. В это время вошел Афанасий и, прикрывая ладонью рот от винного духа, доложил, что генерал вернулся, прошел прямо в кабинет и никого к себе не пускает.

— Вонь какая от тебя, — сказала генеральша. — Ах ты пьяница!

— Это бензин-с,— извинялся Афанасий,— для чистки его превосходительства панталон-с.

— Поди узнай, хорошо ли продали хлеб.

— Никак нет, ваше превосходительство, кучер мне говорил, что его превосходительство хлебец в воду изволил высыпать.

— Что? В воду? Ужас! Быть не может!

Генеральша побелела, как носовой платочек, ноги ее подкосились, и она села на диван, но вскоре оправилась и поспешила к Алексею Алексеевичу.

На стук в дверь он не ответил; услышав же голос жены, кашлянул, зашаркал туфлями и повернул ключ. Степанида Ивановна толкнула дверь и ахнула: перед ней стоял, сутулясь, Алексей Алексеевич, желтый, со спутанными волосами, страшный, в грязном военном пальто.

— Запах какой-то от тебя, Алексей. Что ты наделал? — закричала генеральша.

Генерал пошевелил губами и, держась за косяк, опустился на колени.

— Прости меня, Степанида Ивановна, я утопил весь хлеб.— И, подняв плечи, покрутил поникшей головой.

— Милый ты мой,— охватив его руками, торопливо заговорила Степанида Ивановна,— ты болен, совсем болен... ляг... Афанасий, воды горячей! Что за слуги ужасные! — вскрикнула она, звоня в колокольчик.— Ложись, ложись и молчи.

С трудом поднялся генерал и, поддерживаемый генеральшей, прилег на диван, вздохнул судорожно, заморгал, и слезы потекли по грязным щекам. Степанида Ивановна молча прижимала его голову к груди.

Принесли воды, омыли генерала, одели в чистое белье, спустили в кабинете шторы.

Генеральша сидела на диване, держа мужа за руку; когда же он начинал шевелиться и вздыхать, повторяла:

— Не бывает счастья без горя, вот тебе горе было и прошло, а на смену счастье придет. Верь только мне. Я найду тебе иные сокровища. Крепись, Алексей, и терпи.

— Хорошо, буду терпеть, только ты-то меня прости,— шептал генерал.

Принесли заваренной крепко малины, рому, генерал откушал, и ему полегчало. Генеральша дождалась, когда Алексей Алексеевич уснул, и велела позвать к себе кучера; он рассказал все, как было.

Генеральша ему и всем настрого запретила напоминать генералу о несчастьи и, не теряя времени, поехала в село.

Теперь, когда хозяйство потерпело такой урон, было совсем необходимо скорее окончить дело с кладом. Силы генеральши возросли, и она объездила все дворы, но петухов нашла только двух; бабы уверяли, что без петухов в хозяйстве трудно,— не самим же им кур топтать,— и за птицу держались крепко.

В соседних деревнях могли тоже не продать или всучить каких-нибудьдохлых кочетов; поэтому, чтобы сыграть наверняка, решила Степанида Ивановна поехать в город и попросила Николая Николаевича сопровождать себя в пути...

Смольков надел охотничий костюм, и они поехали. Городской базар давно отошел, когда гнилопятские измокшие от быстрой езды лошади остановились на большой площади около лавки со съестным. На вопрос Степаниды Ивановны, есть ли живые петухи, расторопный приказчик принес без малого половину туши говядины; генеральша рассердилась.

— Я у тебя петухов спрашивала, а не говядину твою вонючую...

— Не извольте гневаться,— возразил приказчик, хлопывая по туше,— говядина у нас первый сорт, а вам куда петуха: естество у него лиловое, жесткое.

— Дурак ты, отец мой,— отрезала Степанида Ивановна и приказала кучеру пойти по домам спросить, не продадут ли птиц — барыня, мол, не торгуется.

Кучер, передав Смолькову вожжи, ушел. Из соседней галантерейной лавки вышел приказчик, держа картуз на отлет, и предложил только что полученного уральского балычку. Приглашали также зайти в мучной лабаз и в квасную. Какой-то лохматый мужик в бабьей кацавее привел на веревке продавать тощего телка.

— Отъезжайте, Николай Николаевич,— воскликнула разгневанная генеральша,— вот сюда, поближе к реке,— и стала внимательно глядеть на берег, где ходи-

ло множество кур и вспархивающих голубей...— Здесь его мучили,— прошептала она,— вон следы от колес, и эти птицы! Николай Николаевич, отъезжайте подальше от ужасного места... Злые, гадкие люди...

Генеральша заплакала в платочек, не выдержав волнений сегодняшнего дня. Смольков растерялся, упустил вожжу и в утешение сказал:

— Ободритесь, побольше энергии...

Кучер явился и объявил, что бабы ломают несуразную цену — по рублю семи гривен за цыплага, а он предлагал даже восемьдесят, а гусей, мол, сколько угодно.

— Ну, не глуп ли ты? — вытирая слезы, укорила его Степанида Ивановна.— Говорила я: нельзя торговаться... Иди за мной...

У ворот двухэтажного дома генеральша вылезла и вошла во двор. Во дворе у черного крыльца стояла с решетом в руках худая мещанка в ярко-зеленом платье и звала:

— Цып, цып, тега, тега, уть, уть! — бросая из решета птицам размоченный хлеб... Вошедших Степаниду Ивановну и кучера она подозрительно оглянула: — Вам что нужно?

— Продайте мне вот этого,— сказала генеральша, с волнением глядя на голенастого красного петуха.

— Самим надобен, ищите у других.

— Я не торгуюсь. Сколько хотите?

— А вам зачем?..

— Это не ваше дело,— вспыхнула генеральша,— я спрашиваю, продадите петуха?

— Не мое дело, так на чужие дворы не шляйтесь,— с тоскливой злобой проговорила мещанка, отворачиваясь.

На следующем дворе оказалось, что петуха вчера только задавила свинья, а то бы непременно продали, в третьем месте совсем было удалось купить, но когда девчонка стала ловить покупку, петух заорал и улетел через забор.

После долгих хождений Степаниде Ивановне удалось приобрести трех птиц, и кучер посоветовал поехать в слободку. В слободке, очевидно, прослышали

про барыню, которая не торгуется, и бабы нанесли великое множество петухов, прося за них совсем уже несуразные цены. Наконец лукошко, привязанное к козлам, наполнилось, и генеральша приказала поскорее гнать лошадей домой, так как солнце зашло и с запада надвигалась черная туча, усугублявшая вечернюю темноту.

Гладкая степная дорога, дойдя до пашни, испортилась: плугари, заворачивая плуги на обратную борозду, исцарапали путь; коляску стало побрасывать так, что Николай Николаевич прикусил язык, лукошко трясло, и один из петухов, приподняв плетеную крышку, оглянулся, ударил крыльями, выпрыгнул и побежал по пашне, за ним выскочил другой и сел на траву.

— Стой, стой! Держи, держи его! — закричала генеральша, обхватив лукошко. Смольков проворно вылез из коляски и побежал за голенастым петухом, мелькая белыми панталонами по пашне. Петух заметался. Когда Смольков нацеливался, чтобы его схватить, нырнул он между ног, и Николай Николаевич, потеряв равновесие, падал. Так они далеко забежали по пашне, и, только нагнувшись, можно было видеть на вечерней заре силуэты человека и впереди бегущей птицы. Степанида Ивановна подобрала смиренного петушка, сидевшего в траве около коляски, поцеловала, посадила в лукошко и, вздернув юбки, побежала, спотыкаясь, на помощь Смолькову.

— Берегитесь, он страшно клюется, — кричал издали Николай Николаевич.

Промокший и грязный, вернулся он со Степанидой Ивановной к экипажу, — петух же удрал, где-то присев за кочкой.

Стал накрапывать дождь, подняли верх у коляски и скоро въехали в удельный лес. В лесу стало совсем темно, пропала из глаз серая полоса дороги. Только дождь стучал в кожаный верх экипажа да глухо роптали невидимые во мраке листья. Лошади шли шагом, потом остановились совсем, и кучер, нагнувшись, сказал, что придется переждать, пока прояснит, иначе можно сгубить коляску и коней, въехав на буреломное дерево или в канаву. Генеральша очень рассердилась, но делать было нечего; из саквояжа вынула она двухствольный,

взятый из генеральской коллекции пистолет, положила на колени и проговорила громким шепотом:

— Никому не доверяю в такое время.

— Разве есть опасность? — поспешно спросил Смольков.

— Посмотрите, какая темнота, лица вашего не вижу, а здесь по дорогам шалют...

Лошади в это время захрапели, кучер прикрикнул на них, но они продолжали пятиться: кто-то, очевидно, приближался. Вот чавкнула нога по грязи, хрустнул сук.

Степанида Ивановна, услышав, как стучат у Смолькова зубы, прошептала:

— Перестаньте же, стыдно! — и, высунувшись из-за козуха, сказала громко: — Не подходи, я стреляю!..

— Зачем стрелять, — совсем близко ответил кроткий голос, — я не лихой человек. Видишь — темень какая засилила — и глаз не надо...

— Кто ты?

— А сторож удельный. Изба моя неподалече, заходите, если не побрезгуете.

— Нет, благодарствуй. А что? Скоро прояснит?

— Прояснит, — ответил сторож уверенно, — бог милостив.

В голосе его было столько ласкового спокойствия, будто не человек это говорил, а шумело дерево листьями. В лесах рождаются такие голоса, в широких степях, и нет в них ни злобы, ни страсти, утром они звонкие, в сумерках вечерние. Слушая их, чувствуешь, как во всем — и в камне, и в птице, и в человеке — одна душа.

Умиротворилось сердце Степаниды Ивановны, пропал у Смолькова ночной страх, и долго еще слушали они, как, удаляясь, постукивал сторож палкой по стволам...

— Вот будто звезда проглянула, — сказал кучер негромко.

Дождь переставал; Степанида Ивановна, откинувшись в глубь коляски, улыбалась своим мыслям. Смольков вполголоса принялся декламировать французские стихи...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Сегодня в двенадцать часов в монастырской церкви назначено было бракосочетание. Сонечка рано проснулась в белой своей постели и лежала, глядя на солнце, играющее на подоконнике и на полу. В окно неверным полетом влетели белые бабочки и вновь унеслись на свет. Сонечка перевела глаза и на стуле увидела приготовленное тонкое, в кружевах, подвенечное белье. Платье, заколотое в простыню, лежало около, и на нем стояла пара белых туфель. Вечером, ложась спать, Сонечка очень боялась увидеть поутру эти белые, приготовленные для нее вещи и долго не тушила свечи, думая об ужасных подробностях, рассказанных Степанидой Ивановной тогда ночью. Думы эти растравили ее и распалили; подобрав под себя колени, зарылась она с головой и уснула только на рассвете.

Но сейчас с радостью чувствовала себя ясной и спокойной; может быть, только в страшной глубине сердца у нее была как бы натянута струна.

Сообразив, что не стоит два раза на дню переодеваться, Сонечка спустила на коврик ноги и осторожно развернула шелковые чулки.

«Пожалуй, протрутся,— подумала она,— такая тонизна»; из тумбочки вынула ножницы и, подняв к подбородку колено, стала подстригать ногти на ноге, но не коротко, как обычно, а округленно их выравнивая. Уличив себя в этом, Сонечка покраснела: «Вот глупости, кому это нужно»,— и подошла к умывальнику. Здесь опять вместо ежедневного казанского мыла лежало в новой серебряной мыльнице французское... «Какое душистое»,— еще подумала она и тщательно вымыла себе руки, шею и грудь.

Надела белье и остановилась в раздумье,— какое выбрать платье? Пока она так думала, вошла Люба, неся на обеих руках зеленое шелковое платье, в котором (Сонечка его сейчас же узнала) генеральша еще в молодости снималась.

— Ах, милая барышня, вы уж встали, генеральша вам этот туалет к утреннему чаю приказали надеть. Все еще спят, вы не торопитесь.

— Все равно, погуляю.— Сонечка покраснела и, с помощью Любы надев пахнущее старыми духами, шуршащее платье, вышла в сад.

Садовник поливал в клумбах георгины и отцветающие уже левкой и резеду. Сонечка ласково поздоровалась с садовником и осторожно, чтобы не оброситься, пошла по дорожке к пруду.

— Прощай, пруд, прощайте, мои липы! — сказала она громко и оглянулась — не подслушивает ли кто-нибудь. Но было совсем тихо, даже не кричали молодые и старые грачи — улетели на поля.

Сонечка села на скамейку, склонила голову немного набок и усмехнулась:

— Вы так и не пришли, а я выхожу замуж. До свиданья. Оставайтесь с вашей *высокой шляпой и черным плащом*.

Проговорив все это, она сломила соломинку и стала дразнить козявку, у которой на спине было нарисовано красными точками глупое лицо.

«Сколько этих козявок у нас дома». — И сердце Сонечки сжалось воспоминаниями милого, тихого детства...

Чай пили все по своим комнатам. Афанасий, состоя в этот день при Николае Николаевиче, суетился ужасно: чистил штиблеты, выколачивал платье; разболтал всем про какие-то необыкновенные подтяжки с колесиками у молодого барина. Несколько раз раздавался из окна голос Смолькова: «Афанасий!» — и Афанасий бежал, топая ногами так, будто без него вообще ничего не могло случиться.

Когда Сонечка вошла в генеральшину комнату, Степанида Ивановна стояла посреди чудовищного беспорядка. Повсюду валялись платья, белье, пахло духами, и, цапаясь клювом о клетку, кричал попугай. Брови у генеральши были подведены от переносицы почти до ушей, лицо пятнами обсыпано пудрой, в шиньоне торчал испанский гребень.

— Одеваться, мать моя! — воскликнула она. — Фу, как все делается не по-настоящему. Снимай платье, я тебя сейчас одену...

— Разве пора? — спросила Сонечка и на одну только минуту затрепетала. — Хорошо, я сейчас. — Генеральша помогла ей раздеться, оглянула и строго сказала:

— Ну, нет, это не белье. Люба, достань из шифоньерки — ты знаешь какие — с брюссельскими... Да поворачивайся, мать моя.

Затем, поворачивая Сонечку, трогая и разглядывая, генеральша забормотала:

— Здесь родимое пятно, это хорошо, на удачном месте. Я, признаться, думала, что ты кособокая. А это что? Софья! Ты по крыжовнику, что ли, ползала? Стыдно... Загар с рук сведи рассолом.

Затем, притянув к себе пунцовую от стыда девушку, генеральша шепнула ей на ухо такое, от чего Сонечка похолодела, ахнула и замерла, чувствуя — вот рухнет все призрачное ее спокойствие.

Но она превозмогла себя и, со слезами на глазах, стала глядеть в сторону, предоставив генеральше возиться и бормотать, сколько хочет.

С этой минуты все происходящее потеряло для нее значение. Как во сне, она оделась. Пошла в кабинет, где на коврике опустилась перед Алексеем Алексеевичем на колени; приняла благословение походным образом, с надписью от полка; поцеловала дрожащую, с синими жилами руку генерала; потом проделала то же перед генеральшей; вместе с ней села в карету и поехала в монастырь, где за оградой в деревянной церковенке должен был ее повенчать заштатный поп.

По дороге, глядя в окно, замечала каждый куст близ дороги. Узнала на Свиных Овражках флаг с изображением петуха, поставленный иждивением Павлины, и улыбнулась. Ветка орешника со спелым орехом-тройчаткой задела ее по руке. У монастырских ворот поклонились две монашенки, как черные куклы. На песке, распушась, сидел глупый воробей, колесом его чуть не задело...

Сонечка сама отворила дверцу кареты, вылезла на паперть, помогла выйти генеральше и, под руку с нею, пошла по чистому половику, подбирая тяжелый шлейф. В церкви было ярко и зелено от листьев, льнущих извне к окнам. Солнце, разбитое на множество пыльных лучей, играло на золотом иконостасе. Сонечка вдохнула запах ладана и свечей и стала молиться.

Когда послышался шум в дверях, она догадалась, что приехал Смольков, угадала его голос, но, когда он,

весь в черном, с испуганным лицом, стал подле, прошептал: «Здравствуй!», не узнала его и улыбнулась.

Священник начал обряд. Сонечка верила всей душой в совершающееся таинство. Когда приказали ходить,— словно полетела, не чувствуя пола под ногами. Рука ее не ощущала чужой руки, глаза не видели ничего, кроме огня свечи, и, когда махнули кадилом.— вдохнула грудью ароматный дым ладана. Свет свечи, все увеличиваясь, разлился по всему ее телу, и кто-то сказал: «Невесте дурно».

Но она знала, что не дурно ей, а легко. Только боясь испугать добрых людей, решила она опуститься на землю и, стукнув туфелькой о плиту, почувствовала, как все тело покрылось капельками пота, рука Смолькова поддерживает ее и наклоняются странные его глаза.

Служба не прерывалась и скоро пришла к концу. Сонечку поздравили, а она все глядела на бледное лицо Николая Николаевича, думая: «Какой же он мне муж!»

В карете на обратном пути Смольков сказал особенным шепотом:

— Наконец-то, милая моя Соня! — и поцеловал ее в губы, а она, подняв брови, глядела, не отклоняясь, на эти такие близкие, странные и страшные сейчас, полузакрытые глаза мужа.

Генерал и генеральша, приехав первыми, встретили с образом молодых и повели к столу. Все громко старались шутить и смеяться. Сонечка, слушая их голоса словно издалика, чувствовала ту же легкость, как в церкви, и не притрагивалась к еде. Шампанское пригубила и выпила весь бокал и попросила еще.

— Она трусит, поэтому пьет,— уверяла генеральша, слишком много смеясь. Поминутно чокалась она, проливая вино на скатерть.

Генерал сказал:

— Жаль, что музыки нет, я бы пошел трепака!

— Все равно, выходи, выходи,— воскликнула Степанида Ивановна, покачиваясь, вышла на середину комнаты и подняла платочек.

— Эх, старина! — крикнул генерал, вскочил и лихо затопал ногами.

Генеральша покачнулась и, визгливо смеясь, упала бы, если бы не поддержал Смольков. Генерал продолжал топтаться... Сонечка, подперев щеку, глядела на них, и глаза ее были полны слез.

После обеда все, с тяжелыми головами, не отдыхая, начали слоняться по дому и не знали, что начать, потому что делать обычное казалось неловким.

В саду, около веранды, собрались дворовые и парни с девушками из села,— разодетые в кумачи... По настоянию генерала Николай Николаевич вынес им четверть водки, а Сонечка поднос, полный орехов и пряников.

Девушки, став полукругом, прославили молодых, захлопали в ладоши и пошли плясать, подпевая:

Ах ты, Дуня, Дуня, Дуня, Дуня, ду.
Била Дуня Ваню колом на леду.

Выискался музыкант на жалейке и подхватил припев; тогда из толпы выскочил парень, схватился за шапку, крикнул и, загребая тяжелыми сапогами, пустился плясать.

Сонечка, отыскав глазами в толпе своего красавца парня, теперь добродушно смеявшегося пляске, подумала с грустью: «Минуло все это, минуло, прощайте».

К вечеру народ ушел, и долго еще с плотины слышались песни и девичий визг. В саду и на веранде стало тихо. Вздохнув, генеральша принесла шкатулку с фотографиями и показала портреты еще живых и давно умерших. Алексей Алексеевич в молодости был красавец. О каждой карточке рассказывала генеральша долгие истории.

Генерал в свою очередь принес военную карту и описывал поход через Дунай.

Так старики делали, что могли, развлекая молодых. Когда же сошла ночь и отпили последний чай на той же веранде, Степанида Ивановна сказала:

— Дети, проститесь с нами и подите спать. Люба вас отведет в вашу новую комнату, я своими руками постлала белье и приготовила все, что нужно.

Николай Николаевич скрылся незаметно. Сонечка так смутилась, что стояла посреди террасы, словно ища помощи у людей. Степанида Ивановна обняла ее и, ласково уговаривая, повела.

Генерал остался один,— задумчиво всматриваясь в тусклую, давно отгоревшую полоску заката, курил он трубочку и думал о невеселой своей жизни. Наконец вернулась жена, села близко около него и вдруг, вся собравшись в комочек, сказала:

— Алешенька, приласкай меня, ты уж давно меня не ласкал...

Генерал бережно обнял Степаниду Ивановну, прижал к себе и стал гладить по волосам...

— Вот мы и отжили свой век,— сказал он негромко. Генеральша покачала головой.

— Не говори так,— нам еще много, много предстоит впереди. Ах, только сердце у меня очень ноет...

В нижнем окне правого крыла дома, против веранды, зажегся свет,— это была комната молодых с особой дверью в сад — бывшая гостиная.

— Свет у них,— сказала Степанида Ивановна.— Глупые дети...

— Мне показалось, будто вскрикнули,— после долгого времени спросил генерал,— ты ничего не слыхала?..

— Дай-то ей бог,— прошептала генеральша.

Спустя немного стеклянная дверь во флигельке звякнула, от стены отделился Смольков и быстро зашагал на длинных белых ногах через клумбы к веранде, говоря задыхающимся с перепугу голосом:

— Степанида Ивановна, помогите, моя жена без чувств. я, право, не понимаю...

Степанида Ивановна поспешно поднялась, взгляделась:

— Прикройте же по крайней мере, сударь, наденьте панталоны,— воскликнула она с негодованием.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Мокрые тучи заволокли небо, лишь вдали, у края степи, виднелся мутный просвет. Туда, к длинной щели под тучами, уходила черная разъезженная дорога. Пара почтовых лошаденок тащила кое-как плетеный тарантас по дорожным колеям, отсвечивающим свинцовой водой. Ямщик покрикивал уныло. Кругом — мокрые жнивья, ровные поля, тоска, степь.

Николай Николаевич, закутавшись в чапан, залепленный сзади лепешками грязи, потряхивался в тарантасе и покачивался в ту сторону, куда покачивался тарантас. Нос его покраснел, душа была в глубочайшем унынии: ну и заехали! — мокрые тучи, мокрая голая степь, впереди тоскливый просвет, отражающийся в свинцовых лужах и колеях дороги, сутулая спина мужика на козлах да два лошадиных хвоста, подвязанные под самую репицу.

Рядом с Николаем Николаевичем потряхивалась на подушках Сонечка, тоже закутанная в чапан, в оренбургский платок. Молчит и думает. Молчит и ямщик, изредка подстегивая взъерошенную от мокрети, неопределенного цвета пристяжную. Молчит и Николай Николаевич, — еще бы! Не хватало еще и разговаривать среди этой безнадежной грязищи. И понесло же их из уютных Гнилопят через всю Россию — с пересадками, воючими вокзалами и вот теперь на почтовых — в это захолустье к какому-то скучнейшему старику, Илье Леонтьевичу. Какая была надобность? Высказать родственные чувства? Родственные чувства обычно высказываются с гораздо большим успехом в телеграмме или в письме. Сыро, ногам холодно, от тряски болит голова, половинки отсиделись. Вот она, расплата за легкомыслие! Сейчас бы в Петербург! Господи! Посидеть бы хоть с полчаса в парикмахерской у Жана! Никогда, никогда ничего больше не будет, кроме этой дороги куда-то к черту, в щель под тучами!

— Соня, долго нам еще ехать? — спросил Николай Николаевич.

Сонечка отогнула воротник чапана, взглянула на мужа, — личико у нее было бледное, на щеке лепешка грязи, — оглянулась на степь.

— Мы еще Марьевку не проехали, — сказала она негромко и кротко, — проедем Марьевку, направо будет Хомяковка, а налево — Коровино, оттуда уже близко.

— Доедем, — сказал мужик на козлах, не оборачиваясь.

Николай Николаевич надул щеки и по крайней мере минут пять выпускал из себя воздух, — торопиться было некуда.

Наконец проехали Марьевку, увидели направо обветренные соломенные крыши Хомяковки, налево — ометы, соломенные крыши и одинокую на юру, ветряную мельницу Коровина. Сонечка начала волноваться, распахнула чапан, щеки ее порозовели: из-под горки поднимались поредевшие старые ветлы, желтые кущи сада, блеснула свинцовая вода длинных прудов, отразивших тучи.

— Репьевка, — сказала Сонечка, указывая на ветлы, на краснеющую за ними крышу деревянного дома.

Ямщик подстегнул взъерошенную пристяжную, прикрикнул: «Но, милые, выручай!» Покатили под горку, проехали мягкую плотину, где пахло вянущей листвой и сыростью пруда, встретили кучу грязных и охрипших от злости собак и остановились у крыльца, заехав колесом на цветочную клумбу.

Дощатый обветренный фасад дома с деревянными колоннами и с разбитым слуховым окошком посреди треугольного портика, замаранного голубями, был обращен к белесоватой щели в небе.

Сонечка выпрыгнула из тарантаса и, путаясь в полах чапана, взбежала на крылечко, за ней поплелся Николай Николаевич. Толстое бабье лицо метнулось за окошком, и пошли скрипеть двери. Сонечка звонко крикнула:

— Анисья, где папа?

— В саду, милая барышня, здравствуйте, с приездом...

Илья Леонтьевич с утра возился в саду. Мелкий дождь моросил на седую его бороду, на черную безрукавку, на сизую траву вокруг, на опадающие золотые листья берез. Налегая ногой на лопатку, покряхтывая, Илья Леонтьевич перекапывал розовый куст. Когда лопатка задевала за корень, он морщился, опускался на колени и пальцем отковыривал корешок, бормоча по давнишней привычке вслух:

«Терпение можно испытывать лишь до известной границы, далее — я могу впасть в раздражительность, и это дурно. Но если это дурно, все же не значит, что я не могу быть раздражителен».

Скверное настроение у Ильи Леонтьевича началось неделю тому назад по ничтожному поводу. Еще летом он послал племяннику своему Михайле Михайловичу,

по его просьбе, свой, лет двадцать лежавший в сундуке, дворянский мундир с золотым шитьем, совсем новенький. Дворянские выборы давным-давно прошли, но Михайла мундира назад не присылал. При встрече Илья Леонтьевич не мог глядеть в глаза племяннику и сердился на него и на себя за мелочность. Хотя мундир Илье Леонтьевичу был совершенно не нужен, все же неделю тому назад он послал за ним нарочного, который и привез мундир, но не тот, что Илья Леонтьевич дал этим летом Михайле поносить, а какой-то весьма поношенный мундир с обшарканным шитьем. Тогда Илья Леонтьевич написал Михайле:

«Я оставил тебе мундир поносить, а ты прислал мне взамен какие-то скверные обноски. Мне обидно не то, что ты взял мой мундир, прислав негодный, а обидна эта манера, взгляд на вещи; также и то, особенно, что ты, обидев меня, сам же меня считаешь мелочным, что и высказывал Анне Аполлосовне, и даже смеялся, представляя в жестах, как, будто бы я, надев мундир, расхаживаю один по дому... Повторяю, что мундир мне не нужен и расхаживать в нем я не собираюсь, тем более — потешать других, но прошу тебя все же мой мундир вернуть в целости, а присланный тобою, обшарканный, отсылаю...» И так далее и так далее...

Досадовал Илья Леонтьевич на всю эту историю и не мог найти в себе ни подобающего спокойствия, ни душевной тишины. А нынче ночью к тому же и видел во сне Михайлу, — стоит будто бы он в новом мундире, застегнутом на одну верхнюю пуговицу, и показывает язык.

Отковыряв пальцем раздражавший его корень розы, Илья Леонтьевич, кряхтя, вытащил из ямы куст, обил землю и завернул его в рогожу.

В это время в саду появилась Анисья, крича еще издали:

— Илья Леонтьевич, барышня приехали!

Это уже было ни на что не похоже: внезапно, не известив, свалиться как снег на голову.

Подходя к дому, Илья Леонтьевич увидел, как ямщицкий тарантас съезжал с цветочной клумбы и лохматая пристяжная походяхватила зубами ветку недавно посаженного тополя, на котором еще не осыпались желтые листья...

— Разбойник,— закричал Илья Леонтьевич,— что ты мне весь палисадник вытоптал!

Ямщик покосился на сердитого барина и, пристегнув лошадеенок, ни слова не отвечая, уехал. На лестнице, на крылечке, в лакейской,— повсюду на чисто вымытых сосновых старых полах увидел Илья Леонтьевич лепешки грязи...

«Дом в конюшню обратили»,— подумал он, еще сильнее раздражаясь на то, что вот приехала дочь с мужем, а он только и знает, что сердится на мелочи.

Илья Леонтьевич пошел к себе в спальню за занавеску, вымыл в рукомойнике руки и лицо, расчесал влажную бороду и вышел в столовую, где слышался запах дорогого табачного дыма.

Сонечка сидела на диване,— было на ней незнакомое (Илья Леонтьевич осудительно подумал: «из Парижа, чай, выписали») шелковое платье, шелковые чулочки, тоненькие башмачки копытцами, лицо похудевшее, чужое, волосы подобраны неестественно,— чистая кукла! Николай Николаевич стоял у окна, глядя через заплаканные стекла на умирающий сад. Голова у зятя была огурцом, с плешинкой, спина унылая. «Фертик»,— подумал Илья Леонтьевич и сейчас же с отвратностью подавил в себе гадкую мысль. Сонечка, увидев отца в дверях, легко вскрикнула, подбежала на каблучках-копытцах. Илья Леонтьевич расцеловался с дочерью.

— Папа, мой муж,— она указала глазами и улыбкой на почтительно, почему-то даже с оттенком некоторой скорби, кланяющегося Николая Николаевича, затем, умоляюще глядя в глаза отцу, так вдруг покраснела, что выступили слезы.

Илья Леонтьевич обнял зятя,— поцеловал в висок.

— Ну,— сказал он со вздохом,— поздравляю, рад, рад. Спасибо, что приехали... Садитесь.

Он сел на старенький кожаный диванчик, Сонечка робко присела отцу под крыло, Николай Николаевич сел напротив, нагнул голову.

Сквозь заплаканные стекла едва теперь был виден сад, весь мокрый и серый в тумане, за пеленой отвесного дождичка. Полукруглые окна вверху были затянуты паутиной. Казалось, пыльная эта паутина висит во всех темных углах столовой, во всем репьевском доме.

Сонечка стала рассказывать, — вкратце и немного сбивчиво, как урок, — о свадьбе, о Гнилопятах, о генерале и генеральше, о поездке. Илья Леонтьевич кивал бородой, вынул из кармана и вертел в пальцах тавлинку с нюхательным табаком.

— Жалею, жалею, — сказал он, — хотел быть на свадьбе, но не мог: дорога тяжела, расходы большие и хозяйство не на кого было оставить. Да вы, по правде сказать, и без меня хорошо обошлись. Не сетую, не сетую, — новое поколение, новые нравы... Вчера познакомились, а сегодня уж и обвенчались, а завтра и разъехались по сторонам... В шутку это говорю, да, да, шушу. — Он захватил щепоть крупной крошки французского табачку, прищурил правый глаз и нюхнул, затем узловатыми пальцами слегка отряхнул бороду. — Шушу. Рад, что приехали. Ну, как же вы думаете начать жить?

Николай Николаевич моргнул несколько раз, затем сделал неопределенный жест... Глаза у него слипались от сумерек, от скучнейшей этой беседы, от усталости после дороги.

— Мой дядя определенно обещал мне пост в министерстве иностранных дел, — сказал Николай Николаевич. — Вот вы нас здесь побалуете несколько дней, потом поедем.

— Что же так? Несколько дней? Я не гоню, живите, покуда можно.

— Нет, нет, мы здесь поживем, — поспешно сказала Сонечка. — Знаешь, Николай, как хорошо здесь будет осенью: заморозки, иней, хрустальный воздух. Длинные вечера, беседы... Будем вслух читать...

Николай Николаевич странно, пустыми глазами посмотрел на жену, — она опустила голову.

Илья Леонтьевич сказал после некоторого молчания:

— Жить в деревенской глуши — надо иметь привычку. Ежели вы, — он из-под бровей уставился на зятя, — ищете поминутных развлечений, — деревня вам покажется скучна. Здесь не найдете ни суетливых улиц, ни гостиных с пустой болтовней, ни развращающих душу и тело ресторанов. Но вы найдете здесь тишину, мудрый укрепляющий труд, суровую справедливость действительности. Вот все мои родственники — та же Соня, тот

же племянник Михаил — думают, что я все хандрю и сержусь. Неправда, — по натуре я не хандрун, у хандруна в глазах потемки, я же вижу ясно и полагаю, что глупо считать меня за ворчуна. — Борода у него затряслась, он опять нюхнул табачку. — Все мы подвержены слабости и падению. Мы не хотим, мы боимся понять, что все окружающее, равно как и все находящееся внутри нас, дано не нам одним, но и нашим предшественникам и будущим поколениям. Мы лишь приказчики наших сокровищ. Мы лишь ответчики за большее или меньшее радение о нашем имуществе. От непонимания этой суровой истины — все наши пламенные желания, вся жажда наслаждений, для которых нужны деньги и деньги, — накопление и вновь расточение. Оттого и вечное недовольство, помрачение рассудка, слепота...

«Эге, — подумал Смольков, — старик-то вон куда гнет... Нет, брат, на эти штуки меня уже ловили, шалишь».

— Пример я беру, — продолжал Илья Леонтьевич, — скажем, есть у меня мундир с золотым шитьем, в полной сохранности. Должен я его швырнуть какому-то шалопаю на ветер, или я должен его сохранить, беречь, ибо я его временный владелец? — Илья Леонтьевич сильно запустил в нос две понюшки. — Можно, разумеется, представить, что старик выжил из ума и по вечерам разгуливает в мундире по пустым комнатам... Да, да, мне мундир не нужен, — пускай его носят на здоровье, — важен принцип...

Николай Николаевич, сморщившись, старался понять: в чем тут дело, о каком мундире говорит Репьев? Но так и не понял, — мигреновой болью вдруг заболелся затылок. А Илья Леонтьевич все продолжал говорить, путано и сложно, — сам себе отвечал на мысли, ворчал и нюхал табак.

А за окном лил и лил дождик на примятую траву, на рыхлые клумбы, — шумел в водосточных трубах.

Николай Николаевич давно уже перестал слушать. «Действительно, ничто другое здесь и не придет в голову человеку, — подумал он, — тоска, мокреть, от самого себя стошнит».

Наконец Анисья внесла самовар, стреляющий искрами из решетки, и вздула лампу над белой скатертью

круглого стола. В комнате стало уютнее, — дождь и сырость ушли за окна... Илья Леонтьевич сунул тавлинку в карман и сказал, подымаясь с диванчика:

— Прошу, чем бог послал.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Вторую неделю доживали молодые Смольковы в Репьевке. А дождик, не переставая, лил и лил, — мелкий отвесный. Сырость и скука проникли во все углы репьевского дома. В штукатуренных стенах повсюду торчали гвозди; на диванах, на просторных креслах лежали пыльные связки картин, портретов и книг; под диванами, под ножками кресел стояли заколоченные ящики. В иных комнатах никогда не отворявшиеся окна были так затянуты паутиной, что едва пропускали свет. Станный был этот дом.

Лет пятнадцать тому назад, когда внезапно умерла Марья Аполлосовна, Сонечкина мать, Илья Леонтьевич в безмерном отчаянии решил было навсегда покинуть усадьбу — переехать в город. Картины, книги, вещи были уже упакованы в ящики, — но как-то так вышло, что не переехали. Часть вещей снова поставили на свои места, а часть так и осталась лежать в ящиках и на диванах. Несколько раз Илья Леонтьевич заговаривал с дочерью, что хорошо бы привести дом в порядок, развязывал пачку портретов, задумывался над ними и клал их на старое место. Но сейчас, по случаю приезда молодых, все же прибрали наверху две комнаты — спальню и горенку, где супруги могли без помехи с глазу на глаз проводить время. Супруги время проводили однообразно: вставали поздно и в кроватях кушали остывший чай, спускались вниз только к завтраку, когда Илья Леонтьевич, насуетившийся спозаранку по хозяйству, уже сидел на своем месте — на кожаном диванчике — и поварчивал в бороду.

После завтрака Сонечка вместе с Анисьей занимались переборкой старых вещей — носильного платья, белья, кружев, лежавших в ящиках огромных комодов. Николай Николаевич бродил без определенного занятия по комнатам, — курил, глядел в окошки или свистал, за-

ложив пальцы в кармашки полосатого коричневого жилета. Илья Леонтьевич уходил соснуть. Затем пили чай. Затем сидели в сумерках,— любимый час Ильи Леонтьевича, когда он, понюхивая табачок, заводил обычно длинную беседу о предметах высоких и отвлеченных. Затем — ужинали и расходились по своим комнатам до следующего утра.

Днем и ночью шумел дождь в водосточных трубах. Николай Николаевич бродил по дому, поглядывал на углы, где висела паутина. Такого уныния он еще не испытывал в жизни. В ожесточенной душе его зрело отчаяние.

— Коленька, может быть, ты почитать что-нибудь хочешь? Вот, я взяла у папы «Вестник Европы»,— сказала Сонечка, с тревогой всматриваясь в бледное в сумерках лицо мужа, сидевшего у стола перед недопитым стаканом чая.

— Уволь, пожалуйста, от твоего чтения,— сказал Николай Николаевич.— Твой отец очень странный человек, я нахожу. Да, да, очень странный.

Сонечка положила книгу, села у стола.

— Что случилось, Коленька?

— В том-то и дело, что здесь ровно ничего не случается.

Голос его как-то даже особенно зазвенел. Николай Николаевич взял со стола книгу, раскрыл, закрыл.

— Прислал «Вестник Европы»... Ха, ха... Может быть, мне также четьи минеи надо читать? Я совершенно серьезно начинаю подумывать, не заняться ли искусственным выведением цыплят или, например, поступить в сельские учителя... Из меня бы вышел достойный местный деятель...

Николай Николаевич швырнул «Вестник Европы» под диван, отошел к окну и, сунув пальцы в карманы жилета, засвистел мотивчик:

Папирочка, мой друг,
Ты меня пленяешь,
Сон навеваешь,
Люблю тебя всей душой,
Всей душой, да.

После того как песенка о папиросочке была спета, Сонечка сказала чуть слышно:

— Я давно заметила, что ты сердисься на папу.. Я не знаю, что у вас произошло... Но я знаю — папа нам хочет только добра...

— Папа хочет! — воскликнул Николай Николаевич, с яростью оборачиваясь.— Папа хочет, чтобы я выучился доить коров и так далее. Да-с, это он мне сам вчера заявил в виде аллегии. Папа хочет сделать из меня высокоморального человека, второго Франциска Ассизского... А денег нам на поездку в Париж давать не хочет!..

— Коля!

— Что Коля? От этих — двадцать четыре часа в сутки — разговоров под дождик о душе и всемирной любви меня тошнит и рвет...

Николай Николаевич выпуклыми глазами уставился на Сонечку,— под его взглядом ей стало холодно спине, упало сердце.

— Я раздражен, да-с. Мало того,— я в крайнем возмущении. Только скупые старики и старые, истерические бабы могут разглагольствовать о величии души, о любви в шалашах, о разных Эдипах и прочей омерзительной гадости... Но ты — моя жена, ты не должна способствовать этому жалкому надувательству... Ты должна понять, что я светский человек, а не пастух... Я хочу жить, а не торчать целые дни носом в мокрых окошках... Нам нужны деньги... Мы должны успеть к началу сезона быть в Париже... У меня есть план страшно выиграть в Энциен в рулетку... В декабре мы должны вернуться в Петербург... Во всяком случае — я должен, я это сделаю, черт возьми!

Он повернулся на каблуках, фыркнул носом и выбежал из столовой. Сонечка осталась сидеть у стола, опустив на кулачок голову. Ею овладело оцепенение, истинная грусть. Твердо и ясно проговорила она те слова, о которых раньше боялась и думать:

— Не любит меня, никогда не любил.

Все это время, с первой встречи со Смольковым в Гнилопятах, жила Сонечка как бы в забытьи,— в ней все было притушено и заглушено. Генеральша — тогда

ночью со свечою — нагнала на Сонечку ужас и разбудила любопытство. Смольков использовал его. Сонечка смутно чувствовала, что отношения ее с женихом — а затем с мужем — «совсем не то», но не знала, что же «то», и лишь всеми силами души стремилась наградить Николая Николаевича качествами необыкновенными, прекрасными, возвышенными, и самой быть такою, какою он хотел, чтобы она была.

Минутами ей дико казалось ощущать себя — новую: все в ней было новое, чужое, не пролюбванное — платье, белье, башмаки, движения, голос, запах волос (раньше она думала, что завиваться и душиться — дурно). Бывали минуты, когда в ней поднималось тошненькое отвращение к этому новому существу. Но она повторяла: «Так нужно, так хочет Коленька».

Правда, первая же свадебная ночь едва не окончилась катастрофой. Николай Николаевич, когда их оставили, наконец, вдвоем во флигельке в саду, не говоря ни слова, даже не лаская, только ужасно вдруг побелел, приблизил к Сонечке страшное лицо свое — выпуклые, остекленевшие глаза, трясущиеся губы, — хрустнул зубами и повалился вместе с женой на кружевную постель.

Сонечка молча слабо сопротивлялась. Было так, будто ее убивают. Упала, погасла свеча. Невидимый зверь рвал на ней кружева, зарывался зубами, холодным носом в шею. Кончился этот ужас глубоким обмороком молодой женщины.

Затем прибежала генеральша, поила Сонечку каплями, прикладывала припарки, с кривой усмешечкой, шепотком на ушко спрашивала об ужасном и стыдном.

Николай Николаевич, крайне недовольный всей этой возней с припарками, бродил в саду и громко чихал, так как в эту ночь выпала обильная роса.

В первые дни Сонечка думала, что сойдет с ума от страха и отвращения, — сама себе казалась растоптанной, как кошка, попавшая под колесо. Но вот — с ума не сошла и плакать перестала. Николай Николаевич был весел и даже шутлив, нежны и ласковы — генеральша и генерал.

И уже Сонечка вновь корила себя за то, что глупая, за то, что — неумелая жена. Быстро мелькнула после-

свадебная неделя в Гнилопятах. Николай Николаевич сам настоял на поездке к тестю. Прощанье было грустное,— генеральша расплакалась, стоя на крылечке, в тоске подняла глаза к небу, где в осенней синеве улетал клин журавлей. Алексей Алексеевич вытирал глаза малиновым платком:

«Прощайте, дети, дай бог вам счастья, живите долго. Увидишь отца,—кланяйся ему, Сонюрка, обними. Видно, уж нам не увидаться с ним. А жаль, хороший старик... Напомни ему, как мы в шахматы играли».

В дороге Николай Николаевич был несносен,— капризничал, сердился, жаловался на желудок и на сквозняки. У Сонечки точно оторвалась душа после прощанья на крылечке с генералом и генеральшей. От духоты вагона, от табачного дыма, от визгливого голоса Николая Николаевича болела голова,— это были будни, настоящая жизнь. Ах, журавли, журавли в осеннем небе над Гнилопятами!

И вот здесь, в отцовском доме, под шум дождя, в сумерках разоренных комнат, где торчали гвозди, висела паутина, Сонечка почувствовала, что далее не может притворяться и лгать себе и ему. С печалью и твердостью сказала она: «Не любит, и я не любила и не люблю его».

Она вздохнула, заложила руки за спину и пошла в библиотеку, где было слышно, как чиркал спичками Николай Николаевич.

В библиотеке вдоль трех стен стояли черные высокие шкафы, полные ветхих книг. Пахло мышами и книжной плесенью. В каминной трубе, с давних времен заткнутой вороньим гнездом, подвывал ветер. Николай Николаевич сидел на библиотечной лесенке, зажмурив глаза от дыма папироски.

— Знаешь, здесь пять тысяч книг и все — духовно-нравственного содержания,— сказал он и швырнул книжку в кучу книг на полу.— Скажи — сделай милость,— что за люди здесь жили? Отшельники? Или их всех, что ли, отсюда живыми на небо брали?

— Эту библиотеку начал собирать прадедушка, Илья Ильич, масон,— сурово ответила Сонечка.— Он был возвышенный и образованный человек, мы чтим его память. Таким же был и дедушка, такой же и отец.

Николай, можно тебя отвлечь на минуту? Я бы хотела спросить об очень серьезном...

Сонечка, заложив руки за спину, смутным очертанием ходила вдоль окон, за которыми повисли тяжелые, мокрые ветви сосен. Николай Николаевич чиркнул спичкой, усмехнулся, сказал:

— Ого, это что-то новое у тебя.

— Я хочу спросить, Коленька... Мы живем вместе, целуемся, смеемся, вот теперь — скучаем. Но я не знаю — любишь ты меня? — Сонечка приостановилась, как бы прислушиваясь к этим новым для нее словам, к спокойному, твердому, тоже совсем новому голосу. — Я хочу сказать, — нужна ли я тебе душевно? Конечно, если бы я тебе совсем не нравилась, ты бы не был моим мужем... Нет, я хочу спросить, — любишь ли ты меня, именно меня... Есть ли у тебя хоть немного жалости ко мне?

Николай Николаевич молчал. Сонечка пронзительно всматривалась, — кажется, он опустил глаза, кажется — жалобно, жалобно у него задрожали губы... И вдруг ее самое пронзила жалость к этому в сумерках сидящему на лешенке человеку. Сонечка стремительно схватила его руку. Но он руку освободил, отошел к пыльному окну и сказал:

— Дорогая, мы не дети. Нужно жить реальностью, а не фантазиями. Подобных разговоров просил бы не возобновлять. Ты не глупа, мой друг, и отлично понимаешь, что я прискакал из Петербурга и женился на тебе лишь в крайнем отчаянии. — Он поднял руку, останавливая ее восклицание. — Я был принужден обстоятельствами, на шее у меня висела петля. Если бы ты была уродом, — и тогда бы я на тебе женился... К счастью, ты оказалась хорошенькой. Ты очень миленькая женщина... В чем же дело? Просто, в этом мне на этот раз повезло... Ты видишь перед собой человека, который совершенно искренне доволен... Что же еще тебе нужно? Чтобы я лгал о «духовном общении», «сродстве душ», влез в халат и елеиным голосом читал бы «Отцов церкви» по вечерам?.. Я не сутенер, я себя не продавал...

— Николай, ради бога, что ты говоришь!..

— Пожалуйста, без этих «ради бога»... Я же ведь не спрашиваю — для чего ты вышла за меня... Отлично

знаешь, что у меня ломаного гроша за душой нет... Не-человеческой красотой не блистаю... Вышла потому, что срок пришел, нужен мужчина... И вообще все, что произошло,— вполне естественно, нормально и прилично... Но уж когда мне вместо денег, на которые я имею право, обещают загробное блаженство, требуют от меня сродства души, при этом же считают меня прохвостом,— это, дорогая моя, свинство и шулерство. Этого я повторять не перестану, покуда твой отец не даст мне денег, вексель, закладную,— плевать, все равно...

Он слез с лесенки, фыркнул и вышел, но на этот раз уже не засвистал про папиросочку. Сонечка опять осталась одна. Безнадежное омерзение, как мрак, опустилось на ее сердце. В окна дребезжал дождик, ветер подывал в трубе, заваленной вороньим гнездом. Ох, если бы можно было содрать с себя всю опоганенную кожу!

Смольков был мудр во всем, что касалось удовольствий,— поэтому перед сном всегда мирился с той женщиной, с которой ложился в постель.

Так намеревался он поступить и с Сонечкой в вечер разговора в библиотеке. Ужин прошел в молчании. Илья Леонтьевич дремал, намаявшись по хозяйству. Сонечка сидела как истукан, опустив глаза,— не притрагивалась к еде, щипала корочку хлеба. Николай Николаевич покушал обильно. Наливая себе из графина воды, подмигнул и сказал:

— А ведь чертовски вкусный напиток — вода. Еще немножко — и я привыкну пить воду.

Сонечка подняла брови. Илья Леонтьевич сказал хриповато и сонно:

— Вино разрушает организм и вместе с ним духовный скелет человека, вода же полезна.

Николай Николаевич подтвердил, что действительно вода полезна, но разговор не наладился. Тогда Смольков простился с тестем, пристально посмотрел на Сонечку и пошел наверх. Разделся, надушился, лег в постель и с удовольствием закурил папиросу. Сонечка не шла. Он выкурил три папироски. Черт знает, что такое! Сидят, наверно, с отцом на диванчике и тянут мистическую резинку!

Лежа и куря, Николай Николаевич стал припоминать все несправедливости, испытанные им за эти дни в Репьевке. Возмутительно! Обращаются с ним, как с малолетним преступником! Спит — значит грех. Ходит — грех. Курит — грех. Раскроет рот — грех, ужасно, преступно! Тьфу! Наняли раба! Купили мужа за ломаный пятак!.. Отвратительнее всего было то, что в кошельке Николая Николаевича оставалось только три рубля тридцать копеек. «Пять тысяч томов, — подумал он. — Если бы старик вдруг сегодня ночью помер, — продать бы эту библиотеку: полгода беззаботной жизни в Париже!» Николай Николаевич стал представлять, как тесть, Илья Леонтьевич, проглотит дробинку от дичи, дробинка попадет в слепую кишку, — ну, конечно, старику — крышка... И вот — все перевертывается в жизни... В половине десятого — прогулка верхом по Булонскому лесу. В одиннадцать Николай Николаевич переодевается к завтраку. Идет пешком в кафе Фукьетц на Елисейских полях. Садится на воздухе, — палка между ног, шляпа на затылке, в петлице — фиалка. Гарсон наливает коктейль «Мартини». Мимо бегут девчонки. Плывут струи духов, сверкают глаза из-под огромных шляп, мелькают крепкие ножки. Он бросает мелочь гарсону, кладет трость на плечо и идет — куда? К Лярю? Нет, к Грифону. Маленький ресторан, диваны красной кожи, посредине — тележка с гигантским блюдом, покрытым серебряным колпаком, — гордость дома Грифон, единственное в мире фо-филе! Черт! А вечер! Тугая рубашка фрака, шелковый цилиндр, надвинутый глубоко! Огни, огни и пахнувшая ванилью и пудрой золотая пыль Монмартра. Черт, — и все это решает ничтожная дробинка...

Послышался скрип винтовой лестницы и — шаги жены. Николай Николаевич погасил окурок и сделал сладенькое лицо. Сонечка вошла, не взглянув на мужа, присела к туалетному зеркалу и не спеша стала вынимать шпильки из волос.

— А я заждался. Где ты пропадала? — спросил Николай Николаевич и, опершись о локоть, исподволь завел разговор о мужском самолюбии, о лишних словах, сказанных в гневе, о честности прежде всего и о вреде романтики и мистических настроений. Голос у него был бархатный.

Сонечка медленно чесала волосы перед зеркалом, — не отвечала и не слушала. Как давеча сжалось сердце, так и не отпускало, — холодная лень овладела ею. Она заплела волосы в косу, поднялась и зашла за распахнутую дверцу платяного шкафа, расстегивая платье и раздеваясь.

— Ну, детка, это глупо, — сказал, вытянув губы, Николай Николаевич, — иди же ко мне... Ты знаешь, как я люблю тебя голенькую.

Он потянулся и захлопнул дверцу шкафа. Сонечка со злобой вскрикнула, прикрылась рубашкой. Он все же поймал ее за локоть, но она резко выдернула руку и стала вдруг такой ненужной и некрасивой, что Смольков дернул на себя одеяло, повернулся спиной.

— Ну, и убирайся! Холодная лягушка! Деревяшка!.. Подумаешь — одна-единственная. Ханжа!

Он с яростью задул свечку. Сонечка легла рядом, с самого краю, вытянула руки поверх одеяла и стала глядеть в темноту. Она знала, что не заснет всю ночь, и приготовилась лежать терпеливо.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Николай Николаевич, несмотря на всю видимость, был робок, а теперь, когда денежные средства его не превышали трех рублей тридцати копеек, впал также и в нерешительность.

Чего, казалось, проще — поговорить с тестем о деньгах? Но у него сердце замирало. А вдруг под каким-нибудь предлогом старик откажет! Кошмар! Николай Николаевич подталкивал Сонечку на разговор с отцом (этим и объяснялась сцена в библиотеке). Но Сонечка была, как известно, глупа и не могла понять, что только от денег сейчас зависит и ее и его счастье. А тесть по-малкивал,

Над садом, над мокрыми ветлами лежало беспросветное небо. Земля, не принимая больше влаги, взбухла и стала оползать на неровностях дорожек и клумб. Николай Николаевич продолжал слоняться по дому, барабанил ногтями в стекла, но, конечно, такая жизнь могла убить кого угодно. В крайне нервном состоянии

он ждал подходящей минуты для разговора с хитрым стариком.

И вот минута эта наступила. День начался, как обычно. Сонечка встала рано и поспешила спуститься в столовую, где Илья Леонтьевич, согнувшись над своей чашкой, пил чай с горячими лепешками. Сонечка поцеловала отца в руку и в висок и села напротив.

— Анисья просила выдать сахару и крупы,— ты дашь ключи, папочка?

Илья Леонтьевич полез в карман, выбрал связку ключей, не спеша отыскал ключ от кладовой и подал его вместе со всей связкой Сонечке.

— Одну ее все-таки не оставляй в кладовой, сама запри дверь. Сахару идет, я тебе скажу, ужасно много у нас. Не в сахаре, конечно, дело, но чрезмерное употребление его вызывает в организме отложение солей и жиров. Ну, да бог с ним, с сахаром. Как спала?

— Спасибо, хорошо.

— У вас все благополучно, значит?

— Спасибо, да...

— Ну, ну, а то я смотрю, как мыши на крупу оба надулись... Вставать нужно раньше и раньше ложиться — в этом вся сила, скажи это мужу-то... А то — спит, как медведь.

— Скажу.

Сонечка собрала в ладонь крошки на скатерти и ссыпала их в чашку. Илья Леонтьевич, кряхтя, поднялся со стула. Он и Сонечка надели резиновые плащи, калоши и вышли на двор. Илья Леонтьевич сейчас же заметил беспорядки около каретника и пошел туда, повторяя в досаде:

— Ах, кляузники! Ах, черти окаянные!

Сонечка побрела к пруду, мутному сейчас и полноводному. Тихо, тихо шумел дождь по воде, по ветвям огромных, корявых осокорей, по вянущим листьям под ногами.

Сонечка смотрела на пруд, на еще зеленые бережки, слушала однообразный шум дождя, вдыхала запах увядания, и душа ее в этой печали словно набиралась сил для большей беды.

Возвращаясь домой, продрогшая, с капельками дождя на волосах, полуприкрытых капюшоном, Сонечка увидела у крыльца работника, гонявшего сегодня на

почту, и взяла у него «Вестник Европы», газеты за три дня, бандероль — семенной каталог и — на имя Н. Н. Смолькова — телеграмму и письмо.

Николай Николаевич, только что поднявшийся с постели, сидел в столовой, курил и зевал до слез.

— Тебе, — сказала Сонечка, положив перед ним телеграмму и письмо, и пошла наверх. У Смолькова собралась кожа на лбу, некоторое время бессмысленными глазами глядел он на телеграмму, затем осторожно разорвал заклею, повернулся к свету и прочел:

«Назначен Париж посольство вторым секретарем точка поздравляю браком обнимаю точка Петербург не заезжай Ртищев...»

— Ура, — шепотом сказал Николай Николаевич, — ура! Свободен! Жизнь! Париж!..

Он пробежался по комнате, глубоко засунув кулаки в карманы штанов. Затем неслышно, на цыпочках, принялся лягаться ногами вбок, вернулся к столу, взял письмо, с любопытством повертел, понюхал, — гм! — распечатал, — каракулями было написано:

«Я слышала — ты женился, — дурак. А вот мне Викторчук — шулер — выиграл в игорном доме двенадцать тысяч, — я их моментально положила на сберегательную книжку. И Викторчука я бросила, потому что он скотина. Люблю тебя, прямо помираю. Третьего дня мы в одной компании напились, в рояле устроили аквариум, налили туда пива и напустили сардинок, — вот было смеху, у Шурки Евриона — корсет лопнул. Приезжай скорей, — женатый, вот свинья! Жене письмо не показывай. Целую тебя незабвенно.

Мунька».

Старым, разгульным временем пахнуло на Смолькова от записочки Муньки Варвара. «Вот это — люди, жизнь! Вот эта женщина любит меня. Зверюга!»

Сонечка сидела на полу перед выдвинутым ящиком комода и перебирала старые платья. В комнату ворвался Николай Николаевич, потрясая телеграммой.

— Сонюшка, ура! Назначен в Париж.. Смотри, читай, — вторым секретарем, через год — первый секре-

тарь. затем советник посольства... Когда поезд? Нельзя ли нам еще сегодня отсюда уехать?

Сонечка прочла телеграмму и опять нагнулась над ящиком с прабабушкиными вещами.

— Собирайтесь нам — полчаса. Некоторая задержка только за... папой (он впервые так назвал Илью Леонтьевича). Понимаешь, — я готов здесь хоть всю зиму прожить, но долг, долг: мы все обязаны служить государству!

Сонечка опустила на колени кружевной чепчик, подняла голову, взглянула на Николая Николаевича. Глаза у нее были синие, спокойные.

— Я не поеду с тобой, Николай...

— То есть — как?.. Ну, да, — ты хочешь сказать, чтобы я ехал вперед... Гм... Это имеет некоторый резон... Я, так сказать, скачу передовым, устраиваю дела (надо же осмотреться), меблирую квартиру... В ноябре — декабре ты приезжаешь в Париж, прямо в свое гнездышко... Но как я буду тосковать по тебе!.. Детка моя...

— Нет, Николай, я совсем не поеду в Париж...

— Почему?..

— Я не люблю тебя.

— Постой, постой! — Он замигал рыжими ресницами, вдруг изменился в лице, провел рукой по лбу. — Ну да, ты — о том разговоре в библиотеке. Чепуха, мелочи! Я люблю тебя, прямо умираю. У тебя прескверный характер, должен тебе сказать. Молчишь, и вдруг — бац! Сонюрочка! — Он нагнулся и поцеловал ее в пробор. — Ну, моя детка незабвенная. Поди поговори с папой.

Упрямым движением она освободила темя от его поцелуя.

— Я не люблю тебя. Уезжай, куда хочешь.

Николай Николаевич молча стоял за ее спиной. Сонечка глубоко засунула руки в ящик, вытащила кучу шуршащих платьев, положила их на колени. Ее затылок с чистеньким пробором в русых волосах был упрямый и неподкупный.

— Я понимаю — у тебя настроение. Но настроение настроением, а мне нужно ехать к месту службы. Прошу тебя, Соня, поговори с отцом, — у меня три рубля тридцать копеек...

— Я не люблю тебя, Николай, — в третий раз тихоньким, но твердым голосом сказала Сонечка.

— Тьфу! — Николай Николаевич даже плюнул, подумал: «Народится же на свет такая дура...» Хлопнул дверью и пошел вниз.

Когда удалились шаги мужа, Сонечка уронила руки на кучу прабабушкиных робронов, пахнувших пачулей, и, не сдерживаясь больше, принялась плакать. Слезы капали часто, обильные, крупные, точно капли дождя с листьев. Она не вытирала их и не жалела.

Тесть, как и надо было ожидать, сидел в столовой на диванчике и нюхал табак. Николай Николаевич крупными шагами озабоченно подошел к нему и показал телеграмму.

Илья Леонтьевич прочел и ни особенной радости, ни изумления не выразил.

— Ну что же, очень хорошо. Когда думаете ехать?

— Я, если позволите, еду завтра — передовым... Жена думает задержаться некоторое время... Я — завтра, если...

— Вот как, — не вместе едете?

— Нет... Я — передовым... То-се... Квартиру присмотреть... Суета... То-се...

Николай Николаевич замолчал, надул щеки. Пальцы у него на руках и ногах замерзли. Тесть постукивал по лубяной табакерке.

— Ну, ну, — сказал он тихо, — это дело ваше. Новое поколение, новые нравы. Дело ваше. Вы верующий, Николай Николаевич?

— Я? — Смольков даже вздрогнул.

— Богу на ночь молитесь?

— Молюсь... Бывает, иногда манкирую...

— В церковь ходите?..

— Бывал.

— Вы простите меня, старика, давно я хотел побеседовать с вами на эту тему. Все откладывал, — грешен в нерадении... Завтра уедете, бог знает, когда увидимся. Но вы муж моей дочери, ее духовный водитель...

У Николая Николаевича сразу же заболел низ живота, заскулило во всем теле невыносимо...

— Дорогой тесть, на минуту, простите прерву вас... — Он выкрикнул это так отчаянно, что Илья Леонтьевич поднял брови и посмотрел на него. — Дорогой тесть.. Я чертовски в глупом положении... Не расчи-

тал, были чертовские расходы. Осталось три рубля с мелочью... Глупо. Что?

— Денег вам нужно?

— Да, да... Именно, именно. Чертовски...

— Каким же образом я могу вам дать денег,— не понимаю еще.

— Сонечка говорила, вы сами писали относительно Сосновки...

— Да, я писал. Но Сосновка принадлежит Софье Ильиничне.. К тому же доход с этого имения весь вложен в обсеменение полей, в запашку пара и в покупку рогатого скота... Я рассчитывал, признаться, что вы здесь зазимуете. А вдруг — Париж. Денег? Надо было месяца за два предупредить. Какие же в деревне деньги?.. Удивлен чрезвычайно...

Посиневшими губами Николай Николаевич пролепетал:

— А если векселек?

Илья Леонтьевич поднялся с дивана и опять сел. У Николая Николаевича ходили огненные круги перед глазами. Тесть сказал:

— Вы хотите выдать вексель Софье Ильиничне? Но у нее денег нет...

— Знаю, но если, дорогой тесть, сделать так: я дам вексель моей жене, она же в свою очередь даст на такую же сумму вексель вам... Деньги дадите, собственно, вы... Это страшно, страшно просто. Что?

Илья Леонтьевич был сбит с толку и проговорил упавшим голосом:

— Посмотрим, какова будет воля Софьи Ильиничны...

Сонечка, как и надо было ожидать, сказала мужу: «Ради бога, все, что тебе будет угодно». Тогда Илья Леонтьевич заявил, что у него нет вексельной бумаги и поэтому придется гнать в город за бумагой, мучить по распутице лошадей и людей. Но в чемодане Николая Николаевича оказалась вексельная бумага,— возил он ее с собой на случай. Затем серьезная разноголосица с тестем вышла из-за суммы, говорили об этом до сумерек. Наконец оба векселя были подписаны (на три тысячи семьсот рублей). Илья Леонтьевич щелкал у себя в кабинете счетами, рвал какие-то бумажки. Переслюнив

и отсчитав деньги, перевязав их бечевочкой крест-накрест, он пошел наверх, к молодым. Сонечка, склонясь у свечи, пришивала пуговицу к рубашке мужа. Николай Николаевич жевал папироску, шагал по комнате под низким потолком, совал в чемодан колодки от башмаков. Увидев тестя и, особенно, в руках его пачку денег, он нагнул голову, как будто говоря: «Нет, нет, не надо, не надо...» Пошел — и обнял старого Репьева:

— Так грустно, так тяжело, папа, люблю ее, как бога, и вдруг — разлука.

Илья Леонтьевич освободился от объятий и передал деньги. Сонечка откусила нитку, расправила рубашку и, встав, положила ее в чемодан.

— Пойдем вниз,— сказала она Илье Леонтьевичу, ласково беря его под руку.— Ты еще не пил чаю? Николай уложится и без нас.

В столовой Сонечка села близко к отцу, налила ему чаю и сама положила сахар, налила сливок и, обхватив его руку у плеча, прижалась щекой. Илья Леонтьевич сидел сутулясь, чуть трясая седой головой, точно кивал преогромной чашке, на которой было написано: «Со днем ангела».

Наконец он почувствовал сквозь рубашку горячую влагу слез, обхватил Сонечку за плечи и спросил сдержанно:

— Как же это у вас вышло все?

— Слава богу, что скоро вышло, не так больно,— ответила Сонечка, глядя на огонь лампы, висящей над столом.

— Навсегда, что ли, расстаетесь?

— Навсегда, папочка,— не люблю его.

Неслышно в комнате появился кот, гладкий, ласковый. Подняв торчком хвост, мяукнул еле слышно, но, видя, что хозяева внимания на это не обращают, отправился по своим тайным делишкам. Илья Леонтьевич сказал:

— Не понимаю... Нет, не могу понять таких отношений.

Тогда Сонечка принялась рассказывать ему все, что было. Прошое в этом рассказе представилось ей отошедшим далеко, точно она передавала чужую повесть. Точно не она мечтала в гнилопятском парке о жгучих глазах

под черными полями шляпы, точно не ее — другую — заставил жгуче покраснеть красавец парень, опрокинув вместе с возилкой в ворох соломы, точно не ее тревожно и бесстыдно поцеловал на качелях Николай Николаевич.

Глаза Сонечки потемнели, лицо обтянулось, стало строгим. Илья Леонтьевич с изумлением глядел на дочь. Сонечка-девочка умерла. Перед ним сидела и печальным голосом раздумчиво рассказывала глупенькую и трогательную повесть Сонечка-женщина.

— Я, может быть, рада, что миновало девичество. Был сладкий туман, — ничего в нем не оказалось, кроме слез. Теперь — если придет новое чувство — буду любить, любить... Ах, отец, отец... Я чувствую, как могу полюбить человека... Во мне столько нежности... Не может быть, — неужели же я никому, никому не нужна?..

Она опять крепко прижалась к его плечу, и сквозь рубашку Илье Леонтьевичу снова стало горячо...

— Ну, конечно, мне тяжело, мне больно... Ты сам все видишь, отец...

— Много нужно страдать, много, — сказал Илья Леонтьевич, — человек, как зерно прорастает — через страдание, через тягость борьбы. А что же полечку-то всю жизнь танцевать! Прыгает, прыгает человек, — смотришь: от него уж одна тень прыгает... Не бойся, не беги страдания, Соня, — страдай во всю глубину и люби во всю глубину женскую... Вот также твоя мать, такая же, как ты, была... То же лицо дорогое...

— Папочка, милый, не плачь.

Рано поутру Николай Николаевич уехал. Прощаясь, он сильно задумался, — смутило его спокойное равнодушие Сонечки. Не было ли здесь какой-нибудь неожиданной ловушки? И совсем уже он призадумался, когда оглянул жену с «птичьего полета». Он сидел в тарантасе, она стояла на крылечке, держа обеими руками под руку Илью Леонтьевича. Она показалась ему вдруг и выше ростом, и похудевшей, и прекрасной, — никогда он еще такую ее не видел: спокойная, с грустной улыбкой стояла она в беличьей шубке, в пуховом платочке. «Ах, черт, а не захватить ли ее с собой? Ох, кажется, упущу большое удовольствие», — подумал он, в нерешительно-

сти высовывая одну ногу из тарантаса. Но Сонечка сказала:

— Прощай, Николай, прощай, голубчик.

Кучер, подхватив вожжи, прикрикнул уныло: «С богом!» Лошади тронули, от колес полетели комья грязи. Белые гуси, потревоженные на лугу, где щипали траву, зашипели вслед тарантасу.

На повороте за околицей Смольков оглянулся. Крыльцо было пусто, подошедшая собака обнюхивала следы. Сжалось сердце у Николая Николаевича. «Э, пустяки, через месяц напишу письмецо, — прискачет», — и он плотнее завернулся в чапан.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Степанида Ивановна, пригорюнившись, сидела у окна, за ним опадали желтые листья. Солнце к восьми часам пригрело, и только в тени дома да кое-где под кустами синела от студеной росы трава. Много птиц улетело за моря, дом опустел. Алексей Алексеевич, шаркая туфлями, ходил по комнатам и вздыхал, бог знает о чем. Лицо его все желтело, и гнулась спина, что очень заботило генеральшу. Утомилась ли она за это лето, или осень слишком опечалила ее думы, но только реже ездила Степанида Ивановна на раскопки, особенно с тех пор, как едва не прогнали от дела Афанасия, изолгавшегося без совести.

Афанасий однажды в присутствии генерала принес ворону и, держа ее за крыло, уверял, что это и есть вторая примета — орел, черный же он оттого, что долго лежал в земле. Генерал немедля вышвырнул Афанасия вместе с вороной за дверь. В тот же день из города был выписан немец — специалист по земляным работам.

Немец повел раскопки аккуратно; поставил солидные крепи, в слабых местах вывел свод, нанял новых рабочих, действительно нашел старые ходы под землей, идущие зигзагами, принес генеральше птичьи косточки в прозеленевшем горшке и, наконец, выкопал грубо высеченную из камня человеческую голову, на лбу которой был начертан план подземелий. Оказалось, что голо-

ва эта стояла на половине пути, и от нее подземелья шли в глубину горы, страшно запутанные и рухнувшие. Раньше ноября нечего было и думать добратся до клада, и генеральша была весьма этим расстроена и даже обессилена.

— Копаем,— говорил прокуренный табачищем немец,— еще три аршина прошли. Пожалуйста денег.

Не так разговаривали Афанасий и Павлина. Слова их были таинственны и волновали генеральшу. Каждое утро она ждала, бывало, с нетерпением рассказа о Павлинином сне. Вечером Афанасий приносил ей какие-нибудь черепки и рассказывал, как едва не утянула нечистая сила под землю мальчишку-поденщика. У генеральши глаза выкатывались от ужаса и любопытства.

— Я так и знала, это очень опасно. Они охраняют, но мы победим.

Павлина жила в своей каморке за лестницей, но на глаза показывалась редко и то для того только, чтобы наговорить на проклятого немца в пользу Афанасия, мрачно прислуживавшего у стола.

— Мне и самой надоел немец,— сказала раз генеральша,— но как его прогнать, когда он честный...

Видя такое недовольство Степаниды Ивановны, Афанасий поступил решительно: выворотил шубу, ночью вошел к спящей Павлине, завалился к ней на лежанку и, скрежеща зубами, объявил, что он и есть огненный бес, всю жизнь искушавший бабу.

Павлина обмерла, а бес сказал, что если завтра же не прогонят пузатого немца и к работам не приставят раба Афанасия, то он, бес, обрушит, все вырытые ходы, а Павлину ухватит поперек живота, потащит в пекло.

— Хорошо, батюшка, все так будет,— вся дрожа, шептала в темноте Павлина.

Бес царапанул ее по спине ногтями и ушел...

Павлина все это, конечно, подробно рассказала генеральше. Степанида Ивановна тотчас рассчитала немца. Повеселевший Афанасий уехал на работы и в тот же вечер привез известие, что «гудит». Все поверили и удивились, хотя никто не знал, что гудит.

Но теперь, когда с кладом дело было налажено, началась у Степаниды Ивановны новая забота — тайная и усиленная переписка с одним старичком шведом. Это

и было то главное и огромное дело, из-за которого начала она рыть клад.

С каждым днем забот становилось больше, сил уже не хватало. С трудом оканчивала генеральша свой день и засыпала тяжелым, глухим, как смерть, сном; и постоянно томило ее какое-то беспокойство; она приписывала это усталости и суёте.

С каждым днем все более волновал ее Алексей Алексеевич: генерал таял, как воск, тосковал, не притрагиваясь ни к какой работе.

Началось это со злосчастной продажи хлеба. Простудился ли тогда Алексей Алексеевич, или сердце его, не перенеся удара, слишком надорвалось, — неизвестно, только пышные усы его и белые волосы на голове заметно стали редеть. Ночью, лежа подле жены, генерал часто стонал во сне.

Невеселые мысли проходили сейчас перед Степанидой Ивановной. Облокотясь о подоконник, глядела она на желтый лист, повисший на паутине, и трясла головой в кружевном чепце.

По коридору, медленно шаркая ногами, шел Алексей Алексеевич. Генеральша прошептала:

— Как он ноги волочить стал, а прежде, бывало, взбежит по лестнице — не задохнется.

Генерал медленно, несколько раз нажимая скобку двери, вошел, кротко улыбнулся и, показав попугаю палец, сказал:

— Что, брат, видно, осень пришла...

— Он хворает, — поспешно ответила генеральша, — совсем не разговаривает...

Генерал постоял немного и ушел.

Степанида Ивановна, наморщив лоб, глядела на то место, где только что стоял муж, — все ей представлялась сутулая его спина и жалостливая улыбка.

«Ах, сколько раз я его огорчала, — думала она, — а он такой добрый: видеть не могу, как он улыбается; бедный мой Алешенька».

Она положила руки на подоконник и голову на руки и застыла, слушая, как бродит генерал по комнатам, будто не находит места.

«Что он все ходит, все ходит... В самом деле, у нас пусто и скучно в доме».

Когда, спустя долгое время, генерал опять вошел в ее спальню, генеральша проговорила:

— Сядь, Алексей, расскажи, что с тобой? Отчего у тебя так ноги шаркают. Болен? Или скучно тебе?

— Странная вещь,— ответил Алексей Алексеевич глухим голосом,— я нигде не могу найти мой носовой платок... Куда...— Он не окончил говорить и сел на стул позади генеральши.

После долгого молчания Степанида Ивановна услышала странные звуки, словно во рту генерала шипел и вертелся валик от игрушечного органчика.

Содрогнулась она, как бы от толчка в спину, и тупые иглы забегали по телу. Понимая, что смертельно испугалась, она взглянула: один глаз у генерала стал оловянный и выпучился, другой был закрыт; рот и все побавровевшее лицо его перекосило; из лиловых губ вылетел странный звук.

— Ай! — закричала генеральша, махая на мужа руками.

А он все клонился на правую сторону, пока не съехал на ковер.

На крик генеральши прибежали слуги, подняли огромного Алексея Алексеевича. Он двигал одной левой рукой и ногой, не говорил, а только шипел, вращая глазом. Его положили на диван.

Степанида Ивановна, пронзительно вскрикивая, билась в руках Павлины и Афанасия. Увидев, что генерал жив и шевелит пальцами по краю тужурки, она метнулась, упала подле него на колени и быстро, словно смахивая пыль, стала гладить волосы его и лицо:

— Алешенька, оправься. Друг ты мой, скажи, что тебе не больно. Скажи, что пошутил. Помнишь, бывало, я покричу на тебя, а ты ляжешь на кровать и притворишься, что умираешь... Алешенька! Алексей, где болит у тебя? Сейчас компресс положим. Афанасий, вина принеси и воды горячей. Выпей. Рот разожми. Не можешь? Отчего не отвечаешь? Постой, я другой глаз тебе открою... Больно? Алексей, что с тобой, да ты жив ли? Жив?

Она обеими руками трясла мужа и снова бормотала:

— Не огорчай меня, сделай усилие, оправься. Посмотри, как я боюсь. Доставь мне удовольствие. Я умру от страха. Алексей! Посмотри — вот я рассердилась,

ухожу, буду плакать... Доктора! За доктором послать! Скорее! — вдруг закричала она, подбежала, вернулась и опять припала к Алексею Алексеевичу.

Афанасий поскакал в село за земским врачом. Степанида Ивановна, увидав, что Павлина снимает с генерала туфли, оттолкнула ее, сама раздела мужа, закутала в теплый плед и села у его изголовья, поминутно наклоняясь.

Жужжать генерал перестал. В открытом его глазу исчезло выражение ужаса, веки полузакрылись. Тогда генеральша, сняв башмаки, на цыпочках подошла к образу, опустилась и шептала:

— Отче наш... иже еси на небеси...— Она обернулась, с ужасной тоской взглянула на мужа и на минуту припала лбом к холодному полу.— Не так нужно просить. Ему душа надобна. Он не поймет, почему я не хочу отдавать ему Алексея... Отче наш, повремени, он не уйдет от тебя... Ах, ты меня не слышишь...

И генеральша снова припала к паркету. Такой ее нашел, потирая только что вымытые руки, местный доктор. Генеральша поглядела на короткие, в рыжих волосах пальцы врача, стремительно поднялась и поцеловала их. Врач смутился и занялся больным.

Глядя доктору в глаза, выслушала Степанида Ивановна, что, если не будет еще удара, генерал выживет, в противном же случае,— тут доктор тяжело вздохнул и, разведя руки, поклонился,— тогда конец.

— Конец,— твердо повторила генеральша.

Быстро сделав все, что было прописано, она затворила дверь на ключ и с решительным лицом подошла к Алексею Алексеевичу, готовая на крайнее, но верное средство, которое, пробудив в генерале дух, поднимет и ослабевшее его тело.

— Алексей,— сказала Степанида Ивановна торжественно,— я открываю тебе тайну. Алексей, фамилия Брагиных по женской линии есть престолонаследная ветвь шведских королей Бернадотов. Теперешний шведский король бездетен и скоро умрет, после него единственным наследником престола являешься ты. Для этого все предварительное сделано, остается теперь объявить себя претендентом. Ты узнал все, и перст всемогущего указал на тебя: Алексей, корона шведских королей,

потерянная Карлом Двенадцатым, утаенная Мазепой, в моих руках. Алексей, встань!

Степанида Ивановна, сверкая глазами, подняла руку. Волнение ее, должно быть, передалось Алексею Алексеевичу. Когда генеральша приказала: встань! — он здоровой рукой оперся о кровать, приподнялся до половины, вдруг икнул громко, закинул голову и повалился с дивана на ковер. Присев около мужа, генеральша стала царапать себе лицо, потом легла на Алексея Алексеевича и застыла так на много часов.

Омытый, одетый в парадный мундир, со всеми орденами и лентами, третий день лежал Алексей Алексеевич в зале на столе, скрестив на груди большие руки.

Павлина, опухшая от слез и довольная, что сподобилась походить за таким покойничком, распорядилась похоронами. У аналая, между двух свечей, не переставая читали монахини. Третья свеча таинственно светила в лицо мертвому Алексею Алексеевичу. Смутно были озарены зеркала, занавешенные черным тюлем, огромный гроб и подле — маленькая генеральша, комочком сгорбленная на своем стуле.

Сложив руки на коленях, склонив голову, терпеливо ждала Степанида Ивановна, когда в столовой пробьют часы, — тогда она приподнималась и заглядывала мужу в лицо. Ей чудилось — вот Алексей Алексеевич очнется от ужасной неподвижности, улыбнется ей живыми губами, облизнет на них полоску сукровицы.

Но ни один волос генерала не шевелился, хотя сквозь желтую кожу щеки как будто проступал румянец: может быть, играл это свет свечи.

Генеральша терпеливо садилась опять и ждала, жалобно, иногда в недоумении улыбаясь.

На третьи сутки появился в комнате священник, дьяк и мужики. Отворили все двери и ставни. В душную комнату ворвался день, и от синего его света генерал сразу позеленел. Степанида Ивановна испугалась и отошла к стене. Священник облачился в бархатную с серебром ризу, дьяк кашлянул в кулак, забасил густо, все запели. Генеральша подумала, что Алексею Алексеевичу приятно слышать, как о нем скорбят и поют.



«ЧУДАКИ»



«ЧУДАКИ»

Наконец Павлина брякнулась около гроба, и все пошли прикладываться к мертвой руке. Парни, с белыми полотенцами, толкаясь, отодвинули свечи и подняли гроб на плечи. Генеральша побежала за ними, умоляя поосторожнее браться,— не толкать и не тревожить Алешеньку. Топоча, его понесли ногами вперед в раскрытую стеклянную дверь.

— Куда вы? — спросила генеральша, но ей не ответили, и все несли с крыльца на двор, через плотину, по дороге, в гору, мимо Свиных Овражков — в монастырь.

Спотыкаясь, спешила генеральша за гробом и удивлялась,— чего же она не понимает? Для чего нужно ей так далеко бежать на одеревенелых ногах?

В церкви подошла к ней мать Голендуха и, поцеловав в губы, измочила слезами. После службы, опять шепотом споря и толкаясь, понесли парни Алексея Алексеевича на мирской лужок и, опустив гроб, наложили крышку, стали заколачивать гвозди.

— Тише вы, отчаянные,— сказала генеральша и заглянула в глубокую яму... Туда на веревках опустили гроб, священник первый бросил горсть земли.

— Вы в него землей бросаете? — спросила генеральша и снова заглянула вниз, где на глинистом дне лежал Алексей Алексеевич.— Как можно, он привык спать на мягкой постели...

Она раскрыла широко глаза и часто-часто затрясла головой, поняла, наконец, то, что все эти дни было от нее скрыто. Она поспешно подобрала платье, чтобы прыгнуть вниз к мужу, не оставить его одного навсегда. Но Степаниду Ивановну схватили и повели к экипажу... Она вырвалась и опять побежала. Тогда ее с руками закутали в плед, положили в коляску и погнали Ахиллеса и Геркулеса, и долго еще крестьяне, неторопливо расходясь, слышали удаляющийся по дороге тонкий крик:

— Алексей! Алексей!

Дома генеральша обеспамятела. Павлина sprыснула ее с уголька,— это помогло, и Степанида Ивановна, как каменная, пролежала до вечера в неубранной постели. На закате внезапно поднялась, оправила платье и,

крикнув Павлину, пошла со свечой по комнатам, заглядывая во все углы...

Так обошли они весь низ дома, где в необитаемых покоях пыльные окна были темны и страшны, поднялись в Сонечкины белые антресоли, спустились по скрипучей лесенке обратно и остановились перед кабинетом.

— Как ты спал, хорошо? — громко вдруг сказала генеральша. — Голова не болит? А у меня, знаешь, самое темя ломит. — И она, прикрывая ладонью свет, вошла в кабинет. А Павлина поползла по коридору, — не помнила, как очутилась в кухне, где сейчас же рассказала, что генеральша разговаривает с мертвым баринном.

В кабинете Степанида Ивановна поставила свечу на курительный столик и прилегла на диван.

— Знаешь, Алексей, любовь наша не угасла, нет, нет... Я, как прежде, влюблена в тебя. Я много передумала за эти дни и решила, что несправедливо тебя обижала. Я хочу сегодня просить у тебя прощения.

Она оглянулась, вздохнула коротко, посидела еще, пригорюнясь, и побрела к себе, в дверях обернулась, сказала:

— Спи спокойно.

У себя она затворила окно; дождь в него наплюхал лужу на ковре. Сильный ветер шумел деревьями, лепил желтые листья к стеклам, подвывал в трубе.

Присев перед зеркалом, Степанида Ивановна сняла чепец, из флакона налила на плечи и грудь густых духов и, подняв свечу, стала разглядывать свое лицо.

— Ничего еще, я все-таки хороша. Нужно очень следить за собой...

Заячьей лапкой она нарумянила ярко щеки и уши, подвела дугою брови и надела парадную заколку из кружев.

— Видишь, — она жеманно улыбнулась, — это еще не все. — Вынула темно-красные кораллы, окрутила их кругом шеи, в левую руку взяла кружевной платочек, правую подняла и, погрозив пальцем, оглянула всю себя в большое зеркало. Голова у нее затряслась. Потом она зажгла два канделябра на стене, легла на постель и, повертевшись, проговорила громким шепотом:

— Что же ты не идешь?

Прошло долгое время, и генеральша зашептала:

— Знаешь, Алексей, я почему-то все вспоминаю поход на Дунай: ты приходил усталый в палатку и сейчас же засыпал. На мне было премиленькое черное платье, я садилась подле тебя и все глядела. У тебя во сне горели щеки, нельзя было не любоваться тобой. Теперь мне очень жалко, что умерла наша дочка. Она так мило перебирала пальчиками, она была похожа на тебя... Алексей, я вот уже час как разговариваю, а ты не идешь. Тебя, наверное, задерживают по этому делу. Пожалуйста, сразу не соглашайся быть королем, откажись по крайней мере один раз, потребуй, чтобы весь народ просил тебя взойти на престол. У меня много жемчуга. Ты ведь знаешь, жемчуг умирает, если его не носить, а в земле опять оживает. Мой жемчуг двести лет лежал под землей. Алексей, для тебя я добыла из земли сокровища... Что же ты медлишь?

Генеральша прислушалась. Ветер хлестал дождем в окно, обсыпалась штукатурка в печной трубе. Мрачно выл угол дома.

— Алексей, может быть, ты меня обманываешь,— привстав, сказала генеральша,— может быть, к тебе пришла она. Я понимаю твою комедию. Ты подстроил, чтобы тебя похоронили, и там хочешь встретиться с ней. Она всю жизнь душила меня по ночам. Теперь она смеется... Иди ко мне... Оттолкни ее... Это ты его убила!.. Алексей, Алексей!..

Генеральша соскочила с кровати, трясая головой, сжала кулачки.

— Ты воспользовался гадким случаем, чтобы обмануть... Я отомщу...

Степанида Ивановна стремительно побежала в кабинет, ощупала пустой диван, кресло, углы за шкафами и остановилась, тяжело дыша.

— Они там, у церкви, на погосте, там встретились...

Сняв со стены двуствольный пистолет, генеральша побежала в прихожую, накинула плед и отворила стеклянную дверь на веранду. Мокрый ветер подхватил ее покрывало, сорвал, иссек дождем, закрутил ее иссохшее тело. Обессиленная, упала Степанида Ивановна на каменные холодные плиты...

— Дверь будто звякнула, — прошептал Афанасий, сидя на лежанке. — Слушай-ка, крикнули, не случилось ли беды какой с нашей барыней, Павлина. Пойти посмотреть...

Взяв коптилку, пошли Афанасий и Павлина, подсовывая друг друга, пугаясь скрипящих половиц, туда, где под дождем лежала обезумевшая Степанида Ивановна.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

«Любезнейшая дочь моя, Софья Ильинична, приключилось у нас великое горе: Алексея Алексеевича нашел господь в возрасте сына царствия божьего, — помер. Аминь. Ревем, не переставая. Перед смертью язык у него шипел, как в шарманке, — набрались страху. Однако генерал погребен с благочестием. Старуха, Степанида Ивановна, совсем ополоумела. Не знаем, что с нею и делать. Срамотища, — соблазн и грех на всю округу. Монашки мои, дуры, — все языки обтрепали. Народ не столько молиться к нам течет, сколько срамные их рассказы слушать про генеральшу. Видно, за грехи помутилась моя голова, не рада, что и связалась со Степанидой Ивановной. Увезите ее, Христа ради, от нас. В Гнилопятах — поток и разорение, — воруют кому не лень. Простите за глупое письмо сие, примите мое благословение. Настоятельница Чернореченского женского монастыря, смиренная игуменья Голендуха».

Как громом поразило Сонечку и Илью Леонтьевича известие о внезапной смерти Алексея Алексеевича. На другой день после получения письма от Голендухи Илья Леонтьевич вместе с Сонечкой выехал в Гнилопятах, где мучилась, покинутая всеми, сумасшедшая генеральша.

Афанасий и Павлина подняли тогда ночью Степаниду Ивановну, лежавшую на проливном дожде, уложили в постель, укутали, натерли водкой. Генеральша бредила, несла несуразное и соблазнительное.

Всю ночь проскулила Павлина, сидя на своей лежанке:

— Крышка нашей благодетельнице! Ох, Афанасьюшка, прошли наши красные денечки...

Но, к удивлению всех и в особенности доктора, Степанида Ивановна через неделю «околемалась» и даже встала с постели. Маленькое ее личико, до костей иссу-

шенное лихорадкой, огромные в глубине черепа глаза и засохшие полоски губ, не закрывающих десен, показывали, что горит еще в птичьем ее теле огонь и спокойно генеральша не уйдет в землю.

Днем Степанида Ивановна лежала, одетая, на постели, не отвечала ни звука на слезливые словечки Павлины, не пила, не ела. Когда наступал вечер, она вставала, словно поднятая рукой, и, волоча смятое и порванное лиловое платье, ходила по спальне и бормотала:

— На твою душу падет мой новый грех. Ты, ты сам довел меня до отчаяния. Знай — не успокоюсь, покуда тебе не отомщу.— И заламывала руки.— Ах, как двери скрипят! Ах, не могу видеть эти стены!.. Ах, как пусто, пусто!

В тоске она шла по пустынным комнатам. В зале, отогнув на зеркале траурный креп, всматривалась в свое изображение и деловито охорашивалась — и была похожа на маленькую, густо наруганную девочку, с трясущейся головой, с оскаленным ртом. Ревность, злоба, неутоленные желания изглодали ее, высушили, как корешок. Вся воля ее была устремлена на одно — отомстить.

— Ты нарочно завез меня в проклятые Гнилопяты! Бросил, обманул, и там сейчас тешишься со своей первой... погоди, погоди! Ты там утешаешься, а я здесь отомщу...

Она вынимала из ларчика драгоценности — колье, фермуары, браслеты, серьги, рассматривала, примеряла и вновь приходила в отчаяние: «Нет, нужны царские сокровища, — затмить в Петербурге всех, всех, чтобы забыли эти морщины, эти года».

Генеральша снова начала прерванные раскопки...

После смерти генерала были предъявлены ко взысканию несколько крупных векселей. Приказчик и главным образом Афанасий, орудовавший теперь по всему хозяйству, продали и заповедник и запашку будущего года, уплатили по векселям и сшили каждый себе по кафтану со смушками. Кроме того, оказалось множество мелких долгов. Павлина докладывала о них ежедневно. Генеральша только сердилась, требовала себе денег — золотыми монетами — и сыпала их на дно ларца. Гневалась она также на дождливую погоду, приостановившую работу по раскопкам. Действительно, вторую неделю шумели в парке и на полях несносные дожди. По дну Свиных

Овражков катилась мутная река. Таких дождей не помнили старожилы.

Неожиданно генеральша потребовала у матери Голендухи двух монашенок и усадила их переделывать и обновлять многочисленные, но уже пришедшие в ветхость платья. Тут-то и начался соблазн и разговоры.

Монашенки, уходя ночевать в монастырь, рассказывали о чудесах в гнилопятском доме, о ночных прогулках Степаниды Ивановны, о раскрываемых в зале после полуночи зеркалах, в которые генеральша смотрелась, говорят, даже совсем нагишом, о странных криках в кабинете покойного генерала, о шумах и стуках, о столах и хохоте, слышном каждую ночь на чердаке, и о многом таком, что передавалось шепотом, и волосы шевелились под платочком у черниц.

Наконец дожди кончились, настали ясные осенние дни. Степанида Ивановна сама поехала на Свиные Овражки и неподалеку от раскопок, в месте, куда все это время сильно била вода, обнаружила глубокий провал и часть обнажившейся древней кладки. Тотчас приказано было рыть. Четыре дня генеральша не отходила от работ и ночевала там в овраге, в нарочно привезенной карете.

На пятый день из-под земли послышался глухой шум голосов, и Афанасий, выскочив из ямы, заорал:

— Ваше превосходительство, нашли!

Степанида Ивановна затряслась в лихорадке, застучала вставными зубами и полезла в яму. Афанасий с фонарем повел генеральшу по узкому, уходящему вниз тоннелю... После множества заворотов тоннель окончился низкой сводчатой пещерой. Здесь было сыро, как в могиле. В глубоких нишах пещеры, под сводами, стояли глиняные горшки; два были разбиты, один валялся на полу... Афанасий, высоко держа фонарь, светил. Генеральша, путаясь в платье, взобралась, как обезьяна, в нишу, ухватилась за край горшка, заглянула, запустила руку туда и вскрикнула пронзительно:

— Пуст, пуст! Ограбили!..

Обхватив горшок, она затряслась, заплакала от злобы и отчаяния. Рабочие охали, разводили руками. Афанасий заглянул в остальные горшки, они тоже были пусты... Затем он наткнулся в углу на зарытый до половины сундук с разбитой крышкой: обшарил его и в пыли и

прахе нашел камешек величиною с грецкий орех, поплевал на него, отер, и затеплилась в свете фонаря молочно-розовым светом жемчужина необычайной величины... Степанида Ивановна выхватила ее у Афанасия, зажала в кулачке, хрипло, дико засмеялась.

Степанида Ивановна лежала навзничь на кровати и глядела на жемчужину, положенную около, на черной подушечке для булавок. Под огромным абажуром неяркая лампа освещала грязные простыни и угол подушки,— все остальное было погружено в красноватый полумрак.

Степанида Ивановна боролась с видениями, возникающими, как ей казалось, в живом, то молочном, то алом, то зеленоватом теле жемчужины. Из видений самое страшное было одно, постоянно повторяющееся, мучительное. Видела генеральша мокрое истоптанное поле; в конце его тусклая, вечная полоса заката. Холмики, кресты, холмики и вдруг яма. Ноги скользят, сыплются комья. Нужно прильнуть к земле, чтобы не скатиться. Там, на дне ямы, лежит усатый огромный человек. «Алешенька,— зовет генеральша,— я тебя все-таки нашла. Холодно тебе одному? Что ты какой мерзлый». Кругом нет ничего, нечем согреться, все мокрое, все холодное. А прыгнуть туда, прильнуть — страшно. Тогда вкрадчивым сладким голосом начинает она вспоминать прежние ласки, обольщает его, щурится. И вдруг из-под генерала заструился дымок и вылизнули красные, огненные язычки... Генерал розовеет, скрещенные руки его трепещут... Он шевелится на огне, хочет разлепить глаза, привстать... «Ведь это муки адские»,— думает генеральша. И силится оторваться от злого видения, и не может. Генерал подплясывает на пламени, раскрывает глаза. «Алешенька,— шепчет она,— взгляни на меня, мучаюсь». Он глядит на нее и не видит. И чувствует она — нет той силы, какая могла бы соединить их глаза... Уже вся яма в огне, по всему полю танцует огонь, не жаркий, ледяной. И в глубокую яму к веселому генералу стремительно сходит тень... Это та, *другая*, Вера...

Мечется генеральша по постели, вскрикивает.

— Что, матушка, благодетельница, или головка болит? — медовым голоском спрашивает Павлина.

— Боюсь я смерти, Павлина! Боже мой, как боюсь! Ведь потом будут только муки, муки, муки!.. Нам раз дано жить, насладиться. А потом темнота, холод, ужас!..

У Павлины из головы не шел недавний разговор с генеральшей, которая все повторяла в исступлении и бреду о том, как она ослепит золотом и кокетством какого-то нечеловеческой красоты желтого кирасира и предастся с ним таким излишествам, что Алексею Алексеевичу станет тошно на том свете. Даже сейчас, истерзанная неудачей с сокровищами Мазепы, не отказалась Степанида Ивановна от мысли — отомстить. Она судорожно цеплялась за уходящие часы жизни, ее беспокойство и муки возрастали.

Павлина узнала, что найденная в пещере жемчужина одна стоит много тысяч, и, вынимая ночью для генеральши драгоценности из ларца, прикинула и ахнула: если продать все эти броши, серьги и браслеты да прибавить к ним червонцы на дне ларца — навек можно стать богатейшей барыней... А попадет все это какому-нибудь пьянице офицеру.

Всю ночь проворочалась Павлина на лежанке и утром подъехала к Афанасию, пившему в столовой кофе. (Генеральша просыпалась только вечером, и весь день прислуга в доме делала, что хотела.)

Павлина стала за его стулом, вытерла губы и сказала умильно:

— Счастья твоего желаю, Афанасьюшка, бездельные мы с тобой, безродные... Умрет наша благодетельница — куда пойдём?

— Не знаю, как ты, баба, — сказал Афанасий, закуривая генеральскую сигару и развалясь, — я ничего себе живу, хорошо. А старуха умрет — открою трактир при монастыре. Ты же пошла от меня прочь, видишь, я сигару курю.

— Да я уйду, Афанасьюшка, уйду, коли гонишь. А быть бы тебе барином, не то что в трактире тарелки мыть. В двести тысяч могла бы тебя произвести.

Афанасий посмотрел на Павлину. «Ох, рожа хитрущая у бабы, ну и рожа!»

— Рассказывай, слушаю.

— У благодетельницы нашей деньгами и брошками акурат эта сумма лежит. Без меня не видать тебе ломаного пятака. Женись на мне — счастье найдешь, не хочешь — другого отыщу... Вашего брата много тут бегают, — давеча приказчик ко мне подъезжал.

— Ты не грабить ли задумала? Ой, донесу.

Но тут Павлина, присев рядышком, подробно и толково принялась рассказывать все, что надумала за эту ночь. Афанасий, слушая, бросил сигару, потом начал отплевываться и, наконец, хватив бабу по спине, заржал на весь дом.

— Не люблю, сударь, такого обращения, — сказала Павлина. — У меня спина женская. Даю тебе день сроку, подумай и сам решай. Рожа-то я рожа, а ума ни у кого не займу.

К утру Афанасий действительно додумался и поехал в город, где взял себе у парикмахера фрачную пару, парик и накладные усы.

Павлина за это время не отходила от Степаниды Ивановны и, едва генеральша переставала бредить, заводила разговор о каком-то господине Фиалкине, писаном, говорят, красавце мужчине, который собирается заехать в Гнилопята — познакомиться с генеральшей: прослышал, так и рвется повидать.

— О каком Фиалкине говоришь? О каком Фиалкине? Не знаю такого, — с тоской спрашивала Степанида Ивановна, — разве я могу сейчас принять молодого человека? Дай поправлюсь, пополнею немножко... Отстань от меня!

— Красивый, сытый, на слова бойкий, — шептала Павлина, — увидит женщину — так весь на нее и прыгает, как жеребец... Редкий мужчина... Уж сама не знаю, благодетельница, допускать ли его до вас?

Генеральша промолчала. Затем потребовала зеркало и долго огромными глазами всматривалась в ужасное лицо свое. Без сил уронила руки и сказала, едва слышно, с отчаянием:

— Не вижу ничего, Павлина, — темно. Скажи, не слишком ли я стара?.. Скажи правду.

— И, благодетельница, нечего душой кривить, — не восемнадцати лет... Червоточинка есть, но самую малость, — припудритесь, хоть кого в дрожь вгоните. А я

еще и лампу приверну,— чистый ангел небесный! В ва-ши-то года — баба-ягода. С ума его сведем, нашего Фиалкина-то.

— Какого Фиалкина? Ничего я не пойму... Путаешь ты меня, глупая баба.

В тот же вечер в спальне Степаниды Ивановны появился странный господин. У него были черные, густые, как баранья шерсть, волосы и необыкновенно длинные усы. На нем был фрак, красный галстук и скрипящие сапожки. Он прошел из дверей до середины комнаты, снял фуражку с кокардой, поклонился генеральше и раза три топнул ногой, как жеребец,— только что не заржал.

Она приподнялась на локте. «Что это — опять бред? Какой гнусный!» Но поскрипывают сапожки,— ближе, ближе бараньи усы. Господин говорит басоватым голосом:

— Я Фиалкин. Ехал по частным делам, но — вот так штука! — сломался тарантас. Нельзя ли, ваше превосходительство, переночевать у вас?..

С ужасом глядела Степанида Ивановна на господина Фиалкина, не понимала — бред это или сам черт за ней явился?

Он сел на постель, расправив фалды,— впереди всего торчали у него черные усы.

— Так как же насчет ночевки? А кроме того, большой я любитель насчет проклятого... Хи-хи... Насчет этого самого... Хо-хо... Сладкого... Ги-го-го...

Он, как дьявол, зашевелил усами, закрутил носом. Генеральша едва слышно проговорила:

— Кто вы такой? О чем вы говорите? Что вы так странно смотрите?

— Лют я до вашего пола. Ни одной не пропущу. Я мастак. Хо-хо!

— Какой вы страшный.

— Это хорошо, что я страшный. Я до баб, как черт, лютый.

— Так я же старая, что вы...

— Это мы посмотрим. А мне по вкусу.

— Уйдите...

— Нет, грешить — так грешить.

Фиалкин ткнул пальцем Степаниду Ивановну под ребро. Она ахнула и хихикнула. Он ткнул с другой сто-

роны. Тогда она начала смеяться, отмахиваться. Слезы потекли по сморщенному ее личику. Теплая, тягучая паутина поползла по всему телу, затягивала лицо, застила-ла глаза.

А Фиалкин гудел, ржал, щекотал пальцами. Черные усы шевелились, вставали дыбом. Басок все гудел о каких-то брошках, червонцах... Генеральша ежилась, соби-ралась в комочек... Не сводила глаз с этого человека. Но он уже расплылся в глазах. Быстро-быстро наматывалась вокруг нее паутина. Это он, огромный червяк, обматывал ее, душил...

— Пустите... Мне душно... — простонала Степанида Ивановна. Фиалкин исчез...

...
— Старуха-то помирает.

— Врешь!

— Посинела вся.

— Зачем ты ее сразу-то облапил, надо бы легче.

— Я думал, сразу надо.

Афанасий, стоя за дверью, вытирал потное лицо. Один ус отстал у него, не приклеивался. Павлина, тара-щаась, шептала:

— А помрет — деньги сейчас же брать надо да вещи с брильянтами. Закопаем их в землю — и знать ничего не знаем...

— А власти наедут?

— Ну что ж! И — отопремся. И посидим — выпу-стят... Деньги-то большие.. Ну, иди опять к ней, на ска-китай.

— Ой, не могу, противно. С души воротит.

— Иди, говорю, напугай ее хорошенько. Один ко-нец...

Афанасий зашевелил усами, втянул голову, растопы-рил пальцы и пошел к постели. Но генеральша уже не видела его. Лежа на бочку, она только часто-часто стона-ла. Крошечное тело ее потрясали мелкие судороги.

— Кончается? — зашептала Павлина, просовываясь в дверь. Афанасий и Павлина сели на кровать, глядели на генеральшу, ждали. Павлина вынула из кармана юб-ки два пятака — прикрыть глаза покойнице. В это вре-мя на дворе усадьбы малиново, весело залился коло-кольчик.

Афанасий сорвал с себя усы и побежал на крыльцо. Павлина грохнулась около генеральшиной постели и заголосила на три голоса сразу. К дому подкатила коляска, в ней сидели Сонечка и Илья Леонтьевич.

Степаниду Ивановну похоронили. В ларчике ее, среди драгоценностей, было найдено завещание Алексея Алексеевича. По его воле все движимое и недвижимое имущество Гнилопят, в случае его и генеральшиной смерти, переходило Сонечке Смольковой.

Сонечка сказала, что не хочет жить в Гнилопятах. Она просила все в доме оставить стоять на своих местах, как было при генерале и генеральше, и дом закрыть наглухо. С утра до ночи рабочие стучали молотками, заколачивая досками двери и окна. Гулко раздавались удары по пустым комнатам.

В один из этих печальных часов Сонечка сидела у пруда. по-осеннему синего и прозрачного. Осыпались последние листья. Сонечка думала:

«Промчится жизнь. Приду когда-нибудь осенью и сяду на эту скамью. Пруд будет таким же ясным. Наклонюсь и увижу себя, — седые волосы, потухшие глаза. Будут стучать молотки, заколачивая за мною дверь. Как прожить мимолетную жизнь? Как остановить из этого потока хотя бы одну минутку, — не дать ей утечь?»

Сонечка подумала о недолгой женской жизни, о муже. — вздохнула и покачала головой: муж припомнился ей, словно вычитанный из какой-то пыльной книжки.

Долетел из-за роши удар колокола, — в монастыре звонили к вечерне. Сонечка обернулась и долго слушала и снова опустила голову.

«Нет, этот зов не для меня. Успокоение? Нет!» Тревожно билось сердце, — молило: «Хоть гибели, хоть горьких слез, но жить! жить! жить! Не бродить в сладком тумане, в очаровании, как прежде, но жить! Гореть, как куст, раскинув огненные руки к этому синему небу, к этой печальной земле... Прими, вот я вся взвилась огнями перед тобой!»

ХРОМОЙ БАРИН

РОМАН



С престола ледяных громад,
Родных высот изгнанник вольный,
Спрядает вольный водопад
В теснинный мрак и плен юдольный.
А облако, назад — горе —
Путеводимое любовью,
Как агнец, жертвенною кровью
На снежном рдеет алтаре.

(Вяч. Иванов «Кормчие звезды»)

ЛУННЫЙ СВЕТ

1

К полуночи луна, взойдя над Колыванью, осветила с левой стороны неровные стекла изб, направо погнала густые тени по притоптанному гусиному щавелю деревенской улицы и задвинулась заблудившимся в ночном небе облаком, — в это время вдоль села мчалась во весь дух с подвязанным колокольчиком тройка, впряженная в откидную коляску.

Еще не пели петухи, а собаки уже перестали брехать, и только в избе с краю села сквозь щели ставней желтел свет.

У избы этой над двухскатной крышей ворот торчал шест с обручем, обвязанным сеном, издалека указывая путнику постоянный двор. За избой далеко расстилалась ровная, серая от лунного света степь, куда и уносилась взмыленная тройка с четким, гулким в ночной тишине галопом пристяжных и валкой, уходистой рысью коренника. Человек, сидящий в коляске, поднял трость и тронул кучера. Тройка осела и стала у постоянного двора.

Человек снял с ног плед, взялся за скобу козел и, прихрамывая, пошел по траве к низкому крылечку. Там, обернувшись, он сказал негромко:

— Ступай. На рассвете приедешь.

Кучер тронул вожжами, и тройка унеслась в степь, а человек взялся за кольцо двери, погромел им и, словно

в раздумье, прислонился к ветхому столбику крылечка. Его узкое лицо было бледно, под длинными глазами — тени, вьющаяся небольшая бородка оставляла голым подбородок. Он медленно стянул с правой руки перчатку и постучал во второй раз.

По скрипящим доскам сеней послышались босые шаги, дверь приоткрылась, распахнулась быстро, и на пороге стала молодая баба.

— Алешенька! — сказала она радостно и взволнованно. — А я и не ждала. — Она несмело коснулась его руки и поцеловала в плечо.

— Принимаешь, Саша? — спросил он. — Я к тебе до утра. — И, кивнув головой, вошел в залитые лунным светом сени.

Саша шла впереди, оборачиваясь и открывая улыбкой на свежем красивом лице своем белые зубы.

— Я видела, как ты о полдень проехал по селу. Наверно, подумала, к барину Волкову, там тебя и ночевать оставят, а ты вот как, батюшка, ко мне прибыл...

— У тебя никто не спит из приезжих?

— Нет, никого нет, — ответила Саша, входя в летнюю дощатую горницу. — Мужики с возами остановились, только все спят на воле, — и она села на широкую, покрытую лоскутным одеялом кровать и улыбнулась нежно.

Свет месяца, пробираясь в горницу через небольшое окошко, осветил Сашино лицо с приподнятыми углами губ, высокую шею в вырезе черного сарафана, на груди — шевелившуюся нитку янтарных бус.

— Принеси вина, — сказал вошедший.

Он стоял в тени, держа шляпу и трость. Саша проворно соскочила и ушла. А он лег на кровать, закинул за голову руки. Понемногу лицо его сморщилось, искажилось. Он повернулся на бок и, охватив подушку, сунул в нее голову.

Саша вернулась, неся небольшой столик, покрытый салфеткой; на него она поставила две бутылки — одну с вином, другую со сладкой водкой, поднялась по лесенке в чулан и вынесла оттуда на тарелке орехи, пряники, изюм. Двигалась она быстро и легко, переходя из лунного света в тень. Лежавший приподнялся на локте, сказал:

— Поди сюда, Саша. — Она сейчас же села в ногах его, на кровать. — Скажи, если бы я тебя обидел, страшно бы обидел, простишь?

— Воля твоя, Алексей Петрович, — помолчав, дрогнувшим голосом ответила Саша. — А за твою любовь — благодарю покорно. — Она отвернулась и вздохнула.

Алексей Петрович, князь Краснопольский, долго старался в темноте разобрать лицо Саши. После молчания он сказал тихо, точно лениво:

— Все равно — ты ничего не поймешь. Рада, что я приехал, а не спросила — откуда и почему я у тебя здесь лежу?.. А то, что я у тебя лежу сейчас, — отвратительно... Да, ужасно, Саша, гнусно.

— Что ты, что ты! — проговорила она испуганно. — Если бы я тебя не любя принимала.

— Поди ближе. Вот так, — продолжал князь и обхватил Сашу за полные плечи. — Я и говорю — ты ничего не понимаешь, и не старайся. Послушай, нынче вечером я досыта наговорился с одним человеком. Хорошо было, очень.

— С барышней Волковой?

— Да, с ней. Вот так — сидел близко к ней, и голова у меня кружилась больше, чем от твоего вина. Знаешь, как во сне покажется, что тебя нежно погладят, так и я о ней словно во сне вспоминаю. Сейчас ехал оттуда, и мне казалось, будто совсем все у меня хорошо и благополучно. А когда въехал в Колывань, подумал: стоит только остановить лошадей у твоего крыльца — и все мое благополучие полетит к черту. Теперь понимаешь? Нет? Нельзя мне к тебе заезжать. Хоть бы ты мне отравы какой-нибудь дала.

Сашины руки упали без сил, она опустила голову.

— Жалеешь ты меня, Саша? Да? — спросил князь, привлек ее и поцеловал в лицо, но она не раскрыла глаз, не разомкнула губ, как каменная. — Перестань, — прошептал он. — Я с тобой шучу.

Тогда она заговорила отчаянно:

— Знаю, что шутишь, а все-таки верю. Зачем же мучаешь? Ведь на душе у меня живого места не осталось. Знаю — из милости любишь. Баба я, какой мой век, какое уж мне счастье!

За стеной в это время громко закричал петух. Лошадь спросонья ударила в доску. Понемногу в утреннем слабом свете яснее стало видно худое, в тенях, красивое лицо князя. Большие глаза его были печальны и серьезные, на губах — застывшая усмешечка.

Саша долго глядела на него, потом принялась целовать князю руки, плечи и лицо, ложась рядом и согревая его сильным своим, взволнованным телом.

2

На другой стороне села, за плетнем, посреди заросшего бурьяном дворика, в новой избе, на полатах лежал доктор Заботкин.

Снизу была видна только его голова, упертая в два кулака подбородком, на котором росли прямые рыжие волосы. Такие же космы во все стороны, начиная с макушки, падали на лоб и глаза, лицо было неумыто и припухло от сна.

Доктор Григорий Иванович Заботкин, прищуря глаз, сплевывал вниз с полатей, стараясь попасть в сучок на полу.

Напротив, в простенке, под жестяной лампой сидел на лавке попик небольшого роста, тихий и умильный, с проседью в темной косице. Рукава его подрясника были засалены и в складках, как у гармоники. Запустив в них пальцы, отец Василий морщился и молчал, глядя, как доктор плюется.

— В три года во что себя человек обратил, — сказал, наконец, отец Василий.

— А что, не нравится? — лениво ответил Григорий Иванович. — А у меня с детства такая привычка: когда очень скучно, залезу в тесное место и плююсь. Не нравится — не глядите. У меня даже излюбленное местечко было — под амбаром, где мягкая травка росла. Там наша собака постоянно щенилась. Щенята — теплые, молоком от них пахнет; собака их лижет — они скулят. Хорошо быть собакой, честное слово.

— Дурак ты, Григорий Иванович, — помолчав некоторое время, сказал отец Василий. — Я лучше уйду.

— Вы, отец Василий, не имеете права уходить, пока не доставите мне душевного облегчения, вам за это правительство деньги платит.

— Сколько тебе лет?

— Двадцать восемь.

— Университет окончил, года молодые, занятие светское, я бы на твоём месте весь день смеялся. А ты, эх! Ну куда ты годен с твоими идеями? Лежишь и плюешься.

— У меня, отец Василий, идеи были замечательные.— Григорий Иванович повернулся на спину, вытянул с полатей руки, хрустнул пальцами и зевнул.— Вот к водке я привыкнуть не могу. Это верно.

— Эх! — сказал отец Василий, аккуратно достал из подрясника жестяной портсигар, чиркнул спичкой, по привычке зажигать на ветру подержал ее между ладонями — шалашиком, закурил и, покатав в пальцах, бросил под лавку.— Ну, вот поверь — была бы в селе другая, кроме тебя, интеллигенция, нипочем бы не стал ходить к тебе.

Подобные разговоры происходили между доктором и отцом Василием постоянно, начиная с весны, когда сгорела колыванская больница. Григорий Иванович передал тогда все дела фельдшеру и сидел в избе, нанятой земством на время, пока не построят новую больницу.

Три года назад Григорий Иванович был назначен на первое свое место в Колывань. Сгоряча он принялся разъезжать по деревням, лечить и даже помогать деньгами. Таскаясь в распутицу по разбухшей навозной дороге или насквозь продуваемой ледяным ветром в январскую ночь, когда мертвая луна стоит над мертвыми снегами; заглядывая в тесные избы, где кричат шелудивые ребятишки; угорая в черных банях — под горой — от воплей роженицы и едкого дыма; посылая отчаянные письма в земство с требованием лекарств, врачебной помощи и денег; видя, как все, что он ни делает, словно проваливается в бездонную пропасть деревенского разорения, нищеты и неустройства,— почувствовал, наконец, Григорий Иванович, что он — один с банкой касторки на участке в шестьдесят верст, где мором мрут ребятишки от скарлатины и взрослые от голодного тифа, что все равно ничему этой банкой касторки не поможешь и не в ней дело. В это время сгорела больница, он шваркнул касторку об землю и полез на полати.

Отец Василий, на глазах которого выматывался таким образом третий доктор, очень жалел Заботкина, забегал к нему каждый почти день, стараясь как-нибудь — папиросочкой или анекдотцем — уж не утешить — какое там утешение, когда от человека осталась одна копоть, — а хоть на часок рассмешить: все-таки посмеется.

Окончив зевать, Григорий Иванович повернулся опять на живот, спустил руку и попросил покурить.

— Сегодня табачок у Курбенева купил, — сказал на это отец Василий и, став под полатями на цыпочки, поднял портсигар, нажав у него потайную пружину.

Григорий Иванович хотя и знал, что портсигар этот «фармазонный» — с фокусом, сделал вид, что не помнит, и потянул фальшивое дно, где папирос не было...

— Что, получил папиросы «фабрики Чужаго», — засмеялся отец Василий, очень довольный шуткой. — Ну, кури, кури. А я знаешь, сегодня у Волкова был.

— Говорят, зверь, страшная скотина твой Волков.

— Совершенная неправда! Мало что болтают. Отличный человек, а живет... Вот бы ты, Григорий Иванович, посмотрел хорошенько на таких людей — не валялся бы тогда на полатях. А дочка его, Екатерина Александровна, поверь мне, замечательная красавица, благословенное творение божие... Был бы я живописцем — Марию бы Магдалину с нее написал, когда она перед женихом усмехается.

— Как это так — усмехается перед женихом? — внезапно перебил Григорий Иванович.

— Разве ты этого не слышал? Великие живописцы всегда эту усмешку отмечали в своих творениях. Девушка, девственница, сосуд любви и жизни, постоянно, как бы видя около себя ангела, указующего перстом на ее чрево, дивно усмехается. Я это тебе не шутя говорю. Ты не смейся. — Отец Василий поднял брови и курил, пуская дым из носа; потом сказал: — Да, так вот как, — вздохнул, помолчал и ушел.

Но Григорий Иванович совсем не смеялся. Втянув на полати голову, лежал он тихо — закрыл глаза, стиснул челюсти, потому что недаром было ему всего двадцать восемь лет и могли еще его, как гром, поражать нечаянные слова о девичьих усмешках.

Сияет в темно-синем небе лунный свет, и кажется — конца не будет ему,— забирается сквозь щели, сквозь закрытые веки, в спальни, в клетки, в норы зверей, на дно пруда, откуда выплывают очарованные рыбы и касаются круглым ртом поверхности вод.

Той же ночью луна стояла над утоптаным копытами берегом пруда,— он вышел светлым крылом из густой чащи волковского сада.

У воды, в траве, на полушубке лежал широкоплечий бородатый конюх, опираясь на локоть. Конюшонок неподалеку дремал в седле, сивый конек его спросонок мотал головой и брякал удилами. По низкому лугу, среди высоких репейников и полыни, паслись лошади. Жеребята лежали, касаясь мордой вытянутой ноги.

Вдоль берега, от высоких ветел плотины, медленно шел старичок в кафтане. Дойдя до конюха, он остановился и долго не то смотрел, не то слушал...

— Да, ночь теплая,— сказал старичок.

Конюх спросил лениво:

— Что ты все бродишь, Кондратий Иванович,— беспокоишься?..

— Брожу, не спится.

— Все думаешь?

— Думается, да... Ведь я по этим местам, как в колесе, всю жизнь прокрутился — по дому да вокруг. Землю-то до камня протер... Они и тянут — старые следы. Помирать, что ли, время?

— На покой тебе нужно, Кондратий Иванович, на пенсию.

— А тут еще барин давеча опять расшумелся,— вполголоса говорил Кондратий.— Князь-то опять в сумерки приезжал. Коляску оставил за прудом и, ворвором, на лодке подъехал к беседке и с барышней — разговор... Такой влипчивый, прямо сказать — опасный.

— На то он и князь, Кондратий Иванович, это мы с тобой нанялись — продались да помалкиваем, а он что хочет, то и творит. Сказывали, он — гостей провожать — из пушки стреляет.

— Не то плохо, а зачем ездит и не сватается. На барышне нашей лица нет...

Кондратий Иванович замолчал. Конюх, привстав на полушубке, взгляделся и крикнул:

— Мишка, не спи, кони ушли!

Конюшонок очнулся в седле, дернул головой и зачмокал, замахал кнутом; сивая лошадь шагнула и стала, опустив шею. И опять задремала и она и конюшонок: такая теплая и тихая была ночь.

Постояв, помолчав, проговорив многозначительно: «Да-с, так-то вот оно все», Кондратий побрел обратно к саду.

Старая ветла, разбитая грозой, плетень, канава с лозом через нее, дорожки, очертания деревьев — все это было знакомо, и все, словно ключиками, отмыкало старые воспоминания о тяжелом и о легком, хотя если припомнить хорошенько, то легкого в жизни было, пожалуй, и не много.

Кондратий служил камердинером при Вадиме Андреевиче и при Андрее Вадимыче и помнил самого Вадима Вадимыча Волкова, о котором Кондратий даже во сне вспоминать боялся, — такой был он усатый и ужасный, не знал удержу буйствам и для унижения мелкопоместных дворян держал особенного — дерзкого шута Решето и дурку. От них-то и произошел Кондратий, получив с рождения страх ко всем Волковым и преданность.

Вадим Андреевич, отец теперешнего Александра Вадимыча, был большой любитель почитывать и пописывать, издал даже брошюру для крестьян, под названием «Добродетельный труженик», но был решительно против отмены крепостного права и однажды, приказав привести в комнаты кривого Федьку-пастуха, усадил его на шелковый диван, предложил сигару и сказал: «Теперь вы, Федор Иванович, самостоятельная и свободная личность, приветствую вас, можете идти, куда хотите, но если желаете у меня служить, то распорядитесь, будьте добры, и вас в последний раз высекут на конюшне». Федька подумал и сказал: «Ладно».

При отце Вадима Андреевича — Андрее Вадимыче — Кондратий начал служить казачком. Барин был сырой, скучливый, любил ходить в баню и там часто напивался, сидя вместе с гостями и с девками на свежей соломе нагишом. Так в бане его и сожгли дворовые.

Теперешний Александр Вадимыч Волков был уже не тот — мельче, да и вырос он на дворянском оскудении, когда нельзя уже было развернуться во всю ширь.

И не то что не боялся Кондратий Александра Вадимыча, а недостаточно уважал и был привязан только, но зато всею душой, к дочке его Катюше, первой красавице в уезде.

Перейдя плотину, Кондратий спустился в овраг, перелез через плетень и побрел по сыроватой и темной аллее.

В саду было тихо, только птица иногда ворочалась и опять засыпала в липовых ветвях, да нежно и печально охали древесные лягушки, да плескалась рыба в пруду.

Овальным пруд обступили кольцом старые ветлы, такие густые и поникшие, что сквозь их зелень не мог пробиться лунный свет,— он играл далеко на середине пруда, где в скользящей стеклянной зыби плавала не то утка, не то грачонок еле держался на распластанных крыльях,— нахлебался воды.

Дойдя до конца аллеи, Кондратий заглянул налево, туда, где над прудом стояла кривая от времени беседка, сейчас — вся в тени.

Вглядываясь, он различил женскую фигуру в белой шали, облокотившуюся о перила. Под ногой Кондратия хрустнул сучок, женщина быстро обернулась, проговорила взволнованно:

— Это вы? Вернулись?

— Это я Катенька,— покашляв, сказал Кондратий и двинулся к мосткам.

Екатерина Александровна легко по доскам сошла на берег, до подбородка закутанная в шаль, постояла перед Кондратием, сказала:

— Ты тоже не спишь? А у меня столько комаров налетело в комнату — не могла заснуть. Проводи меня.

— Комары комарами,— заметил Кондратий строго,— а на пруду по ночам девице одной неудобно...

Катенька, шедшая впереди, остановилась.

— Что за тон, Кондратий!

— Так, тон. Александр Вадимыч пушил меня, пушил сегодня, и за дело: разве мыслимо по ночам прогуливаться, сами понимаете...

Катенька отвернулась, вздохнула и опять пошла, задевая краем платья сырую траву.

— Ты папе ничего не рассказывай про сегодняшнее, голубчик,— вдруг прошептала она и губами коснулась сморщенной щеки Кондратия...

Он довел барышню до балкона, с которого поднимались шесть кое-где облупленных колонн, наверху синевато-белых от лунного света; подождал, пока зашла в дом Екатерина Александровна, покашлял и повернул за угол к небольшому крылечку, где была его каморка с окном в кусты.

И только что он сел на сундук, покрытый кошмою, как по дому прокатился гневный окрик Александра Вадимыча:— Кондратий!..

Кондратий по привычке перекрестил душку и стариковской рысью побежал по длинному коридору к дверям, за которыми кричал барин.

Берясь за дверную ручку, Кондратий почувствовал запах гари. Когда же вошел, то в густом дыму, где желтел огонек свечи, увидел на постели Александра Вадимыча, в одной рубахе, раскрытой на жирной и волосатой груди, с багровым лицом.— барин наклонился над глиняной корчагой, из которой валил дым от горящего торфа. Подняв на Кондратия осовелые, выпученные глаза, Волков сказал хрипло:

— Комары заели. Дай квасу.— И когда Кондратий повернулся к двери, он крикнул:— Вот я тебя, мерзавец! Зачем на ночь окошки не затворяешь?

— Виноват,— ответил Кондратий и побежал в погреб за квасом.

НЕОЖИДАННОЕ ЧУВСТВО

1

Григорий Иванович Заботкин долго разглядывал на полатах какие-то тряпки, мусор, окурки, пыль, втянул через ноздри тяжелый воздух, потрогал болевшую голову и медленно, точно все тело его было тяжелое, без костей, полез вниз, морщась и нащупывая ногами приступки в печи.

Став на пол, Григорий Иванович поддернул штаны и нагнулся к осколку зеркала под лампой. Оттуда глянуло на него желтое сальное лицо, осовелые мутно-голубые глаза и космы волос во все стороны.

— Ну и харя! — сказал Григорий Иванович; запустил пальцы в волосы, откинул их, сел к столу, подперся и задумался.

Бывают такие остатки мыслей, прибереженные напоследок, густые, как болотная тина, дурные, как гниль; если сможет человек их вызвать из душевных подвалов, перенести их боль и оторвать от себя, тогда все в нём словно очнется, очистится; а станет переворачивать, трогать их, как больной зуб, снова и снова дышать этой гнилью, болеть сладкой болью омерзения к себе, — тогда на такого можно махнуть рукой, потому что всего милее ему — дрянь, плевков в лицо.

Григорию Ивановичу очень не хотелось расставаться с лежалыми своими мыслями, — за три года накопилось их очень много. К тому же очень бывает опасно для еще не окрепшего духом человека видеть только больных, только несчастных, только измученных людей. А за три года перед Григорием Ивановичем прошло великое множество истерзанных родами и битьем баб, почерневших от водки мужиков, шелудивых детей в грязи, в голоде и сифилисе. И Григорию Ивановичу казалось, что вся Россия — такая же истерзанная, почерневшая и шелудивая. А если так и нет выхода — тогда пусть все летит к черту. И если — грязь и воняет, значит так нужно, и нечего притворяться человеком, когда ты — свинья.

«Все это так, и припечатано, — думал он, помахивая перед лицом тощей кистью руки. — Жизни я себя не лишу конечно, но зато — пальцем не поведу, чтобы лучше стало. Для утешения — девицу Волкову мне приплел. Так вот что, отец Василий, потаскал бы я эту вашу девицу Волкову по сыпному тифу — посмотрел бы тогда, как она станет «усмехаться перед женихом»...»

Григорий Иванович ядовито засмеялся, но затем почувствовал, что не совсем прав...

«Ну, скажем, эта барышня ничего не видела и не знает — тепличный фрукт... Это еще что-то вроде оправдания... Но поп возмущает меня... Да где оно,

это все ваше хорошее, покажите мне? Родится в грязи, живет в свинстве, умирает с проклятием... И никакого просвета в этой непролазной грязище нет. И если я честный человек, то должен честно и откровенно плюнуть в это паскудство, называемое жизнью. И прежде всего в рожу самому себе...»

Григорий Иванович действительно плюнул на середину избы, затем повернулся к окошку и увидел рассвет.

Этого он почему-то совсем не ожидал и удивился. Затем вылез из-за стола, вышел на двор, вдохнул острый запах травы и влаги и сморщился, словно запах этот разрушал какие-то его идеи. Потом побрел вдоль плетня к луговому поему речки.

Плетень, огибая с двух сторон избу и дворик, сбегал к воде, где росли ивы; одна стояла с отрезанной верхушкой, на месте ее торчало множество веток, другая низко наклонилась над узкой речонкой.

Небо еще было ночное, а на востоке, у края земли, разливался нежный свет; в нем соломенные верхи крыш и деревья выступали ясней и отчетливей.

По селу кричали петухи. Откликнулся петух и у Григория Ивановича на дворе. А ветерок, острый от запаха травы, залетел в иву, и листья ее, качнувшись, как лодочки, нежно зашумели.

— Все это обман, все это не важно,— пробормотал Григорий Иванович и, стоя у дерева, глядел не отрываясь, как на бледно-золотом востоке, от света которого уходило ночное небо, делаясь серым, зеленым, как вода, и лазоревым, горела невысоко над землей большая звезда. Это было до того необычайно, что Григорий Иванович раскрыл рот.

Звезда же, переливаясь в пламени востока, таяла, и вдруг, загасив ее, поднялось за степью солнце горячим бугром.

Над рекой закурился пар. По сизой траве от ветра побежали синеватые тени. Грачи закричали за рекой в ветвях, и повсюду — в кустах и в траве — запели, зачирикали птицы... Солнце поднялось над степью...

Но Григорий Иванович был упрям: усмехнулся презрительно, прищурил глаза на солнце и побрел обратно в вонючую избенку.

Когда же вошел — желтым светом на стене горела жестяная лампа, все было прокурено, приспособлено для головной боли.

— Фу, черт, хоть топор вешай,— пробормотал Григорий Иванович и сейчас же вернулся на дворик, где, потеряв лоб, подумал: «Пойти искупаться. Ах, со мной творится неладное».

2

Студеная вода ознобила Григория Ивановича, и, окунувшись с фырканием два раза, он быстро оделся, сунул руки в рукава и сел на ползучий ствол ивы, глядя на восток.

Лазоревые изгибы речки скрывались в камышах и, вновь разливаясь по зеленому лугу, уходили за березовый лес вдалеке.

Напротив, на той стороне, белели, как комья снега, гуси на гусяном щавеле. В затуманенной паром воде ходили пескарики, тревожа водоросли. На дне, у самых ног, лежала коряга, точно сом с усами, которого боялись мальчишки за то, что он хватает за ноги. В камышах летали серые птички и посвистывали.

Григорий Иванович, мелко стуча зубами, глядел на все это, а солнце уже припекало ему лицо и босые ноги.

«Конечно, это удовольствие,— думал он,— но все это скоро окончится, все это случайное». Он опустил голову, и почему-то именно сегодняшняя ночь представилась ему как дурной сон — лежание в грязи на полатях, затхлый воздух и головная боль.

Вдруг его испугали гуси: гогоча, побежали они с гусаком во главе к берегу. Раскинув белые крылья, попрыгали в воду и — поплыли, надменно поворачивая головы направо и налево...

Григорий Иванович подавил вздох (словно душе его хотелось и нельзя было крикнуть) и стал глядеть, как от речки в небо уходит туман.

Река длинна, много в ней излучин и заводей, и отовсюду курится тонкий этот туман, собираясь за лесом в белые облака.

И как солнцу встать, поднимается из-за березового леса первое облако, за ним по той же дороге летят еще

и еще. Словно в гнезде, клубятся они над лесом. Смотришь, и синее небо уже полно облаков. Плывут они все в одну сторону, медленно, как лебеди, зная свой недолговечный срок. По степи от них скользят прохладные тени. Облака меняют обличья, прикидываются зверем, полянкой, фигурой какой-нибудь и так играют, пока ветер не собьет их в тяжелую тучу, пронизет ее молниями, и понесет она плод, чтобы пролить его на землю и самой истаять.

— Я просто щенок,— пробормотал Григорий Иванович,— упрямый и лентяй. А все-таки изумительно...

Не сдерживаясь более, обрадовался он до того, что руки стали дрожать и часто замигали глаза, пошел к плетню, влез на него и принялся оглядываться — нет ли удивительного, милого человека, чтобы все это ему тут же и рассказать.

В это время на улице, сбоку плетня, показались мальчишки: они шаркали ногами, поднимали мягкую пыль, побрыкивали и ходили через голову колесом.

За мальчишками шли, взявшись за руки, девки в ситцевых сарафанах, в пестрых полушалках. Они пели какую-то не новую и славную песню — незнакомую.

Позади увязались парни. Один из них, высокий, худой, в драном армяке, дул в тростяные дудки, верхняя губа его надувалась пузырем; другой, коренастый, на кривых ногах, в жилете и картузе, растягивал гармонь.

Мальчишки, девки и парни повернули за угловую избу и плетни. Песни и музыка доносились уже издаече. Потом все показались еще раз, переходя вдалеке через мост, и скрылись за бугром, за обгорелыми столбами больницы.

— Изумительно,— пробормотал Григорий Иванович.— Или день сегодня такой особенный?

К плетню подошел степенный мужик, одетый в новое и красное, без шапки, волосы его были помазаны; он взялся за кол у плетня, сунул между прутьев сапог, смазанный дегтем, на который уже насела пыль и соломины, и спросил:

— Гуляете?

— Здравствуй, Никита. Куда это они пошли? — спросил Григорий Иванович.— Разве сегодня праздник?

— Троица нынче. Троица,— ответил мужик спокойно.— Эх, Григорий Иванович, дни путать стали. Девки венки пошли завивать.

Никита погрогал — крепко ли кол стоит в плетне, и вдруг, раскрыв немного рот, обросший русой бородой в завитках, глянул в глаза Григорию Ивановичу.

И от понимающего этого взгляда выцветших под солнцем глаз мужика, от смуглого его лица, от крепкого, с хорошим запахом тела стало понятно Григорию Ивановичу, что Никита подошел к нему посмотреть на досуге — каков такой барин и какая в нем придурь, и сразу, взглянув, как на колесо какое-нибудь, определил доктора Заботкина, который ему, Никите, ни с какой стороны не нужен, потому что хоть и доктор и читает книжки, а себя определить не может и никуда не годится.

Поняв это, Григорий Иванович засмеялся.

— А у меня к тебе просьбишка,— сказал Никита.— Доезжай со мной к бабушке, давно она помирает, да лошади все заняты и самому не оторваться... А я бы сейчас добежал запряг.

— Вот и хорошо! — воскликнул Григорий Иванович.— Сбегай запряги.

Никита действительно живо запряг и подал к крыльцу новую телегу, полную свежего сена.

Григорий Иванович с удовольствием влез на нее, сбил под себя сено, уселся, скрестил поджатые ноги и сказал:

— Знаешь, Никита, сегодня в самом деле праздник. Ты женат, наверное? Жену-то любишь?

Никита поднял брови, чмокнул, и они поехали. Сапоги его от толчков подпрыгивали у колеса. Григорий Иванович, широко улыбаясь, трясся на волглом сене, поглядывал. Хорошо!

Когда телега с грохотом проехала по земскому мосту, с перил попрыгали в осоку лягушки, утки из-под моста бросились их ловить...

— Лягушек-то сколько,— сказал Никита и подмигнул.

За рекой были выгоны и луга, а дальше — березовый лес. Никита оборачивался и заговаривал с доктором о пустяках; и так как Григорий Иванович больше

молчал, не задавая глупых вопросов, Никита стал рассказывать ему о своих крестьянских делах, о том, что передумал за зиму, и вдруг неожиданно сказал, прищурив умные серые глаза:

— Крестьянствовать трудно стало нынче: все на деньги перевели. А мужика перевести на деньги, какая ему цена — грош. Трудиться, выходит, не из-за чего. Вот и подумаешь...

Никита нахмурился, потом сразу, не ожидая ответа, тряхнул головой и, вновь усмехаясь, показал кнутом на опушку леса.

Между берез ходили девки, плетя из веток венки. Мальчишки лазили по деревьям. Парни лежали в траве, слушая гармонь.

— К вечеру все напьются, — сказал Никита, — и такие хи-хи заведут — один грех. Раньше лучше было.

Телега выехала из леса на неширокую межу между волнуемых теплым ветром хлебов, от которых пахло землей и медом. Облака, теперь белые и крутые, как руно, видны были по всему синему небу. Дорога то уходила в овраг, то вилась по откосу горы, и у края земли лежали новые огромные груды белых облаков. Что в них удивительного? Но Григорий Иванович будто не замечал раньше, а только теперь понял их красоту в первый раз.

— Посмотри, Никита, облака-то какие! — сказал он.

— Облака действительно, — ответил Никита, посмотрев. — Только они пустые — за водой летят, а как вернуться с водицей — потемнеют. Вот намедни туча одна с лягушками пролетела... Много смеялись.

Он соскочил на землю и пошел у оглобель, помахивая вожжами, — телега взбиралась на песчаный откос.

С откоса открылась глазам Григория Ивановича просторная равнина, исчерченная светлыми, темно-зелеными и желтыми квадратами хлебов, и два серебряных крыла пруда, словно венком, окаймленного ветлами. По эту сторону деревня. За прудом сад, и в кудрявых деревьях — красная крыша дома.

— Волково, — сказал Никита, показав кнутовищем.

И Григорий Иванович почувствовал, как теплая, словно ветер, любовная радость коснулась сердца. За-

хотелось ему полететь к широкой красной крыше и хоть на минутку посмотреть, как это так дивно усмехается волковская дочка.

3

Никитова хвора́я бабушка жила на той стороне Волги. Лошадка еле волокла телегу по прибрежному песку между тальников, кое-где поломанных и замаранных дегтем. Наконец показалась лянная крыша конторки и флаг с буквами П.О.С.

Ветра не было. Волны от пробежавшего парохода медленно взлизывались на песок, покачивая две полные воды лодки, привязанные к мосткам. Григорий Иванович через зыбкие мостки прошел на конторку и сел, глядя на тот берег, зеленый и крутой, где между деревьями на юру стоял белый дом с куполом и колоннами, всегда забитый досками поперек окон,— усадьба Милое, покойной княгини Краснопольской. Григорий Иванович за частые поездки привык к этому дому и не заметил сейчас, что все окна были отворены и между колонн двигались люди, маленькие издали, как мухи.

Вдруг перед домом поднялось белое облачко, прокатился по реке выстрел, и недолго спустя от берега отчалила тяжелая завозня.

— Как по туркам хватил,— сказал Никита, стоя у перил.— Князь гостей провожает.

— Да, да,— ответил Григорий Иванович,— я и не заметил, что в доме живут. С каких это пор?..

— С весны, Григорий Иванович, хозяин явился, хромым князек. Что тут было первое-то время! Так и думали, что дом сожгут. Князь, говорят, жениться хочет,— ну вот и приманивает невест пушкой.

Завозня наискось пересекала реку. Гребли в ней четыре матроса, без шапок, в синих рубахах. Над лодкой покачивался красный зонт, отражаясь в воде.

Скоро уже можно было различить бритые затылки матросов и лица девушки и толстого человека, одетого в поддевку и белый картуз с большим козырьком. Он опирался подбородком о трость, вдоль нее висели его длинные рыжие усы.

Девушка, сидевшая с ним рядом, была вся в белом. Соломенная шляпа ее лежала на коленях. Две русые косы обегали вокруг головы, солнце сквозь зонт заливало розовым светом ее овальное гордое и прелестное лицо с маленьким, детским ртом.

— Серьезный барин,— сказал Никита.— По старине живет, за землю держится, а дочку за князя норовит пропить,— и то сказать — Волков...

«Так вот она какая»,— подумал Григорий Иванович и, застыдившись, отошел от перил, толкнулся по палубе, ушел на корму, за мешки с мукой, и ужасно покраснел, бормоча:

— Что за глупость, мальчишество...— и пальцем принялся ковырять дыру в мешке.

Был уже слышен плеск весел. Завозня подходила, несомая течением. Скоро с лодки крикнули «держи», матрос на конторке ответил «есть» и побежал за ударившей о крышу бечевой: лодка тяжело ткнулась, и спустя мгновение Григорий Иванович услышал голос, как музыку: «Папа, дайте руку», затем вскрик и всплеск воды.

Холод испуга проколол Григория Ивановича, он ухватился за мешок, потом кинулся к перилам...

Екатерина Александровна стояла внизу трапа, приподнимая с боков намокшую юбку, и смеялась. Волков же говорил ей сердито:

— Ты не коза в самом деле... Нельзя же так прыгать...

И оба— отец и дочь — поднялись наверх, сошли не спеша на берег и сели в коляску, запряженную вороной тройкой.

Екатерина Александровна, обернув голову, взглянула на дом на той стороне, словно погладила его серыми своими, немного выпуклыми, как у отца, большими глазами. Волков сказал «трогай», лошади в наборной упряжи рванулись и унесли лакированную коляску за тальники.

А Григорий Иванович еще долго стоял, глядя вслед, потом вернулся на скамейку, увидел под своим сапогом на полу влажный след от женского башмака и осторожно отодвинул ногу.



«ХРОМОЙ БАРИН»



«ХРОМОЙ БАРИН»

Скоро пришел пароход. Григорий Иванович съездил вниз к Никитовой бабушке и домой вернулся поздно ночью, разбитый и неразговорчивый.

В избу он не пошел, а спать лег в сенцах на сундуке. Сон его одолел сейчас же, но ненадолго. От крика петуха он проснулся и глядел на четырехугольник раскрытой двери, через которую были видны звезды, потом лег на бок, повернулся ничком и, зажмурясь, принялся вздыхать и глотать слюни.

ЯДОВИТЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

1

Князь Алексей Петрович проснулся в глубоком кресле, перед туалетным столом, у высокого, с отдернутой шторой окна. Другие два окна спальни были занавешены, и на камине, в темноте, постукивал неспешно маятник.

За окном видны были вершины сада; далее — лиловая река, за ней конторка, тальниковые пусторосли, заливные луга с красноватыми озерами, — в овальном зеркале их отражался печальный с сизыми тучами закат; туда, через поля и холмы, бежала дорога, узкая, чуть видная.

От закатного, гаснущего света краснели края туч, а облака, что висели повыше, казались розовыми в небе цвета морской воды; еще повыше теплилась звезда.

Алексей Петрович глядел на все это, касаясь холодными пальцами худой и бледной щеки.

Во впадине глаз у него лежала густая синева, по округлой скуле вились тонкие волосы каштановой бородки.

Только это — белая кисть руки, щека и выпуклый глаз — отражалось в зеркале туалета; Алексей Петрович, переводя иногда взор на себя в зеркало, не шевелился.

Он знал, что, если пошевелится, вся муть сегодняшней ночи ударит в голову, нарушив спокойное созерцание всех вещей, ясных, словно из хрусталя. Прозрачными и печальными были и мысли.

Так печалит закат над русскими реками. И еще грустнее было глядеть на убегающую на закат дорогу: бог знает, откуда ведет она, бог знает — куда, подходит к реке, словно чтобы напиться, и вновь убегает, а по ней едет... телега ли? — не разберешь, да не все ли равно.

В этой печали неба и земли отдыхал Алексей Петрович. Ему казалось, что все бывшее не коснулось его, а то, что будет, пройдет так же ненужно и призрачно, а он — после шумных попок с друзьями, после тревожных свиданий с Екатериной Александровной в саду по вечерам, когда хочется коснуться губами хоть платя и не смеешь, после трогательных ласк Саши, после радостей и раскаяния, после, наконец, острых до холода воспоминаний о Петербурге — снова, как усталый актер, сотрет румяна и будет всегда, всегда глядеть на этот закат, холодящий сердце, на дорогу.

Но едва только Алексей Петрович подумал об этом покое, противоречивые мысли, словно спорщики, принялись беспокоить исподтишка...

«А ведь ты, как покойник, холоден и одинок, — пришла и сказала одна мысль. — Ты только разрушал и себя и других, и до тебя, вот такого маленького в этом кресле, никому дела нет... А ты, быть может, изо всех самый печальный и очень нуждаешься в ласке и участии...»

«Даром никто не дает ни ласк, ни участия», — ответила вторая мысль.

Третья сказала горько: «Все только брали от тебя, требовали и опустошали».

«Но ведь ты никого не любил, — опять сказала первая, — и теперь отвержен, и сердце уже высохло».

— Нет, я любил и могу, я хочу любить, — прошептал Алексей Петрович, повертываясь в кресле.

Спокойствие было нарушено. А за окном выцветал закат и тускнел, с боков заливаемый ночью.

— Боже мой, какая тоска, — сказал Алексей Петрович и крепко зажал глаза ладонью, до боли. Он знал, что теперь настал черед метаться по креслу, мучиться от стыда и думать о Петербурге...

Нельзя уйти от этих воспоминаний, они всегда настороже, и утолить их можно вином или разгулом.

Алексей Петрович служил в ... гвардейском полку, зачислясь туда в год смерти матери и отца, восемь лет тому назад.

Небольшие деньги он старательно проживал, уверенный, что, когда разменена будет последняя сторублевка, кто-нибудь умрет из родственников или вообще что-нибудь случится.

Благодаря этой уверенности трудно было найти в Петербурге человека беззаботнее, чем князь Краснопольский. Он очень нравился женщинам. Связи его были всегда непродолжительные и легкие и не оставляли в нем следа, кроме разве милых или забавных воспоминаний.

Прошло шесть лет службы в полку. В шумной и угарной перспективе этих лет дни походили один на другой. И вот однажды Алексей Петрович оглянулся — и ему представилось, что он словно шел все это время по однообразному коридору и такой же серый, глухой коридор был впереди. Это новое ощущение жизни его удивило и огорчило.

В это как раз время в скучном и малознакомом доме, в гостиной княгини Мацкой, он встретил женщину, которая неожиданно, как гроза, разбудила его дремавшие страсти.

Алексей Петрович стоял подле истощенного молодого человека из дипломатического корпуса, слушая идиотские, давно всем известные экспромты и остроты, и уже собирался незаметно скрыться, когда лакей распахнул золоченую дверь. Шумя суконным платьем, вошла дама, очень высокая, в накинутом седом и буром мехе, и быстро села на диван.

Ее движения были стремительны и связаны платьем. Под шляпой от низкого лба поднимались волосы цвета меди. Лицо было матовое, с полузакрытыми прекрасными глазами и узким носом, — тревожное, невеселое.

— Кто она? — быстро спросил Алексей Петрович.

— Мордвинская, Анна Семеновна, о ней говорят, — ответил дипломат, проливая кофе из чашки на ковер.

Такова была первая встреча. Алексей Петрович помнил ее до мелочей.

Когда его представили, Анна Семеновна, прищурясь, мимолетом взглянула, словно примерила его.

Алексей Петрович, позванивая шпорой, придерживая шапку у бедра, старался найти слова, — всегда такие обычные и легкие, теперь они казались лишенными смысла.

Анна Семеновна слушала, вытянувшись, слегка приподняв розовое ухо. В черной ее юбке лежал белый платок, благоухая как-то особенно — по-женски, а быть может, от нее самой исходил этот запах. Потом она улыбнулась, словно окончила прием. Алексей Петрович не догадался сейчас же отойти, и она поднялась, шурша шелком и сильно выпрямив грудь, кивнула знакомым и прошла в другую гостиную, недоступная и необычайная.

После встречи Алексей Петрович несколько дней жил в чудесном мире запахов. Все, что не походило на аромат платочка, брошенного тогда в колени Анны Семеновны, — не существовало, и от слабого хотя бы намека на тот запах глаза Алексея Петровича темнели, сжималось сердце.

Сидя в трех комнатах холостой своей квартирки в первом этаже на Фонтанке, близ Летнего сада, Алексей Петрович рассеянно глядел на стены, простреленные кое-где во время холостых пирушек, присаживался к столу, уставленному женскими фотографиями, лежал на кожаном диване, курил, насвистывал из Шопена — и повсюду видел бледный профиль с нежным ртом и глазами, будто подернутыми горячим теплом. Даже денщик, певший обычно на кухне бабьим голосом солдатские песни, не раздражал более.

Когда повалил за окном крупный снег, Алексей Петрович, прижав лоб к стеклу, долго глядел на зыбкое, опускающееся с неба покрывало и вдруг закричал денщику: «Скорее шинель и шапку!»

Таков снег, когда он застилает небо, и землю, и дома, когда женщины запахивают шубы, согревая плечами и грудью душистый мех, когда из вьюги вылетит рысак с отнесенным по ветру хвостом и пропадает вновь так быстро, что едва заметишь, кто сидит

в низких санках,— тогда нужно стать за углом и караулить: кто набежит, блеснув из-под капора темными глазами на разруганном лице? Тогда нужно самому сесть на лихача и мчаться, пряча лицо в воротник, и думать: кого встретишь в этот вечер, с кем потеряешь сердце?

Алексей Петрович быстро шел по набережной, распахнув меховую шинель. Снег таял на его щеках, и ласковый звон шпор поддразнивал. На Эрмитажном мосту он остановился, сообразив, что идет к дому княгини Мацкой.

Он вздернул плечами, усмехнулся и поглядел вокруг. Густой снег застилал свет фонарей, ложась на все карнизы и статуи, покрывал подушками темный гранит. Прохожих не было; окна дворца были темны; часовой у подъезда стоял недвижно, закутанный в тулуп, с прилипшим к боку ружьем.

Вдруг раздался вскрик, и, взлетев на Эрмитажный мостик, промчался вороной рысак, в пене и снегу, далеко выбрасывая ноги. В узких санках за широкой спиной кучера сидела, наклонясь вперед, Анна Семеновна в темных соболях...

Алексей Петрович, приложив руку к высокой бобровой шапке, так и остался стоять, глядя в пургу, где пропал рысак. Шинель сползла с его плеча, открыв золотые галуны, холод словно ожег до сердца...

Назавтра Алексей Петрович приехал к Мордвинским с визитом. Краснея и путаясь, он объяснял мужу, что имеет честь засвидетельствовать почтение Анне Семеновне, с которой встретился у княгини, и, объясняя, все ждал, не выйдет ли она из комнат. Мордвинский холодно слушал князя, приподняв брови, ни разу не вскинув глаз. Был он велик ростом, сутул и толст, и Алексей Петрович, глядя на землистое его лицо с хищным носом и усами вниз, представлял, как он будет морщиться после ухода гостя, зная, что необходимо отдать ненужный визит.

Но Мордвинский с обратным визитом не приехал, и Алексей Петрович, прождав его неделю, решил при первой же встрече наговорить дерзостей и драться...

А спустя время в одной гостиной, уже уходя, встретился с Анной Семеновной в дверях. Она подняла си-

ние глаза на князя и усмехнулась. Он остался стоять, словно скованный великой силой.

Полтора месяца он разыскивал Мордвинскую по салонам, балам, вечерам и вечерам в светских церквях. Он не гадал никогда, что может так страдать. Он постоянно привык думать о ней, напряженно, как о болезни. Входя в гостиные, он всегда знал, еще не видя, там ли она. Однажды, когда она неожиданно подошла сзади, он задрожал и быстро обернулся, расширив глаза...

— Вы, кажется, боитесь меня? — спросила она.

Это были первые ее несветские слова...

Анна Семеновна обращала на него, быть может, больше даже внимания, чем на других, но он считал себя ничтожным и недостойным. И не радовался более чувству: был не волен в нем, оно жгло и подтачивало. Недаром говорят в народе, что любовь — как змея...

Тогда неожиданно (как поступал он всегда) Алексей Петрович признался во всем малознакомому офицеру, принятому у Мордвинских... Офицер, покусывая усы, внимательно выслушал (они сидели в кабаке, — над ухом, заглушая слова, выли румыны), а на следующий день все рассказал Мордвинской.

В этот памятный вечер они встретились на балу. Алексей Петрович, похудевший и серьезный, проходил в толпе мундиров, фраков и женских платьев, поглядывая исподлобья; звякал шпорами, кланялся, сейчас же отворачиваясь, и пристально искал ее, словно боялся не узнать или ошибиться.

Анна Семеновна стояла у колонны. На ней было платье из зеленого шелка, простое и открытое, на подоле брошена большая розовая роза.

— У меня с вами длинный разговор, — сказала Анна Семеновна князю, который, касаясь губами ее руки, не слышал больше ничего, не видел... Ему было тяжело до слез — страшно и радостно.

— Не гневайтесь на меня, — проговорил он тихо.

Они прошли через зал в зимний сад.

Анна Семеновна села на диванчик у неровной, обложенной диким камнем стены... Камни и выступы оплетал плющ, сверху висели нити ползучих растений;

с боков диванчика до стеклянного потолка стояли пальмы, и ровный свет, не бросая теней, был повсюду, освещающая зелень, журчащий фонтан и всю тонкую, злую Анну Семеновну. Ударяя веером по ладони, она усмехнулась, потом сказала:

— Я слышала, вы отзывались непочтительно обо мне, правда это?

Алексей Петрович вздохнул и опустил голову, Анна Семеновна продолжала:

— Вы не отвечаете, значит это правда?..

Он раскрыл сухие губы и вымолвил невнятное...

— Что, что?! — воскликнула она и вдруг добавила неожиданно тихо: — Видите сами — я не слишком сержусь на вас.

В словах этих показалась ему и насмешка и участие совсем женское — ведь так легко исцелить печаль. У него смешались все мысли, он почувствовал, что сейчас забудется, — тогда погибло бы все.

Но в это время вошел Мордвинский; увидав князя, он сделал тошное лицо и сказал жене:

— Получена депеша, я уезжаю.

— Да, но я не читаю ваших депеш, — ответила Анна Семеновна. — Меня проводит князь.

Мордвинский, поклонившись, вышел. В коротком слове «князь» было обещание... Анна Семеновна взяла его под руку, и они пошли в зал, где были танцы. Там Алексей Петрович, словно внезапно опьянев, рассказывал, смеясь, о том, как проводил эти дни. Анна Семеновна чуть-чуть сдвигала брови, когда он слишком пристально взглядывал ей в глаза.

В три часа они ушли. Садясь в автомобиль, Анна Семеновна приподняла серую шубку, открыв до колена ногу в белом чулке, — сквозь него видна была кожа... Алексей Петрович закрыл глаза. Сидя рядом на мягко подпрыгивающем сиденье, он словно видел всю ее, от белых чулок до алмазной цепочки на шее, и молчал, откинувшись и чувствуя, как глаза ее, холодные и светлые от бегущего навстречу фонаря, следят за каждым его движением...

Наконец стало невыносимо молчать. Он засунул палец за воротник, потянул, и отскочили крючки и пуговицы на опущенном мехом мундире.

— Не нужно волноваться,— сказала Анна Семеновна; рукой в белой перчатке потерла запотевшее стекло и добавила тихо: — Вам я все позволю...

Была ли то прихоть Анны Семеновны, или зашла она слишком далеко в игре, но до пяти утра, сначала в автомобиле, потом у Алексея Петровича на дому, они ласкали друг друга, отрываясь только, чтобы перевести дух...

Анна Семеновна, как только вошла в спальню, сказала удивленно: «Какая узенькая кровать»,— и это были ее единственные слова.

В спальне, освещенной лампадкой перед золотым образом, на креслах и ковре разбросала она шубу, платье и надушенное белье. Алексей Петрович трогал разбросанные эти вещи, качаясь, как пьяный, потом, торопясь, снова ложился на подушки, серьезно глядя на молодую женщину, еще более чудесную в сумраке, и, чтобы почувствовать, что она не снится ему, прикасался к ней губами и забывался в поцелуе, закрыв глаза.

Эта ночь преломила жизнь Алексея Петровича. Он познал страдание, несравненную радость и потерял волю. С каждым часом следующего дня он все нетерпеливее хотел повторить то, что было... И если бы это было нужно, сейчас бы согласился поступить к ней в кучера, в лакеи... Он бы трогал ее вещи, смотрел на нее, слушал, целовал сиденье кресла, где только что она сидела.

Но Алексей Петрович не был ни кучером, ни лакеем. Анна же Семеновна не назначила места новой встречи.

Прошли — день, бессонная ночь и новый день, полный тревоги... Вечером был в Дворянском собрании благотворительный базар. Алексей Петрович, едва вошел в огромный зал собрания, увидел ее за прилавком. Анна Семеновна продавала грубые кружева и крестьянские вышивки. Направо стоял муж, а налево, опираясь о прилавок, вертел моноклем истощенный молодой человек из дипломатического корпуса.

Словно солнце осветило все вокруг, когда Алексей Петрович, широко улыбаясь, подходил к прилавку... Анна Семеновна взглянула на подходящего, резко сдви-

нула брови, опустила глаза и отвернулась к истощенному молодому человеку. У Алексея Петровича схватило дыхание... Он поклонился. Она не протянула руки. Муж едва ответил на поклон.

Весь вечер Алексей Петрович ходил, толкаясь в толпе, покупал ненужные вещи, носил их, потом оставлял на подоконниках и каждый раз, описав круг, останавливался недалеко от киоска с кружевами. Анну Семеновну загораживали офицеры, и слышно было, как она смеялась. За час до разъезда он сошел в раздевальню и разыскал шубу Мордвинской. Когда она показалась на лестнице под руку с мужем, Алексей Петрович подошел и, не глядя, чтобы уже не видеть ее холодных глаз, заговорил о продаже кружев... Она не ответила. Швейцар, бросив ее ботинки на пол, помогал надевать шубу. Алексей Петрович нагнулся к серым ботинкам и, слегка отодвинув полу ее шубки, стал обувать, зная, что делает ужасное. Голова его наклонялась все ниже к синему прозрачному чулку, он быстро коснулся ее ноги губами, поднялся весь красный и увидел Мордвинского, который, совсем одетый, глядел на ноги жены, криво и странно усмехаясь...

Это было началом той ужасной катастрофы, после которой Алексей Петрович оставил полк и бежал в имение Милое, полученное по наследству от бабушки Краснопольской, умершей этой весной где-то в Германии на водах.

Катастрофой кончилась молодость Алексея Петровича, и казалось ему теперь, что нет избавления от этой жизни — нудной и призрачной. Быть может, спасет иная любовь. Но он чувствовал, как сердце его истерзано и полуживое, а чтобы полюбить еще раз, надо родиться дважды.

3

Алексей Петрович, чтобы не оставаться с ядовитыми воспоминаниями с глазу на глаз, каждый вечер звал гостей, — одних и тех же. Гости приезжали в сумерки: братья Ртищевы на двухколесной таратайке, старый Образцов в плетеном тарантасе, и после всех в кебе, — Цу-

рюпа, купеческий сын, пообтертый по заграницам. Так было и сегодня.

В положенный час лакей поднялся наверх к Алексею Петровичу и, приотворив дверь спальни, увидел князя, лежащего головой на подоконнике.

Алексей Петрович не сразу расслышал, что зовут обедать и гости уже приехали. Сквозняк из отворенной двери поднял его волосы. Он оглянулся, болезненно щуря глаза на свет задуваемого канделябра в руке лакея, и сказал:

— Пусть гости садятся за стол.

Обедали обычно в большом зале. Вдоль четырех его стен и отступя от них, чтобы образовать проход, стояли два ряда круглых колонн; шесть окон за ними открывались в сад; на противоположной стене окна были фальшивые, со вставленными зеркалами; между колонн были поставлены диванчики без спинок...

Когда лакей доложил об обеде, с этих диванчиков поднялись, крякая и потирая руки, братья Ртищевы, Цурюпа и Образцов, сели за стол и раздвинули локтями на снежно-белой скатерти хрусталь и тарелки. Братья Ртищевы всегда садились рядом, — широкие спины их были обтянуты серыми поддевками с кавказскими пуговицами, у обоих были косматые усы, курносые, отменного здоровья лица и коровьи глаза. Братья стеснялись и ждали, когда Цурюпа, за хозяина развалившийся в конце стола, возьмет первый кусок. Лысый Образцов, сложив губы сладкой трубочкой, шарил по столу стариковскими глазами, мутными от подагры.

— Шампанское подашь вчерашней марки, — вытянув нижнюю губу, приказал Цурюпа... На нем был смокинг, а за жилет заложен красный, как для причастия, носовой платок.

— А вишневочку, душенька, ты забыл подать, я просил тебя сладенькую, — помнишь, вчера? — сказал Образцов.

— Слушаю-с, — хмуро ответил лакей.

Кухонный мальчик внес в это время суп. Ртищевы, Иван и Семен, сказали, потолкавшись:

— Полезнее всего простая водка, от шампанского живот пучит... Передай, Семен, грибков да налей-ка...

Цурюпа ел мало и молчал, мигая веками без ресниц: он приберегал остроты к выходу князя.

Образцов с удовольствием, подвязавшись чистой салфеткой, хлебал суп, и мешочки под глазами у него вздрагивали. Он сказал, кивнув на братьев:

— Они имеют резон: у нас прокурор опасно заболел от шампанского — распучило донельзя. Но, разумеется, нельзя же все на водку напирать да на водку...

Цурюпа визгливо захохотал, катая хлебный шарик. Братья Ртищевы положили вилки, раскрыли рты и тоже засмеялись, точно из бочки.

— Вот мой брат был шутник действительно,— продолжал Образцов,— он, бывало, так скажет, что даже дамы уйдут...

Лакей и мальчик вносили блюда и вина. Над люстрой кружились бабочки, падая с обожженными крыльями на стол. Гости ели молча, иногда только Иван или Семен шумно вздыхали от неумеренности.

Наконец за стеной слышались знакомые припадающие шаги. Цурюпа поспешно вытерся салфеткой и, вынув из жилетки монокль, бросил его в плоскую впадину глаза. Вошел князь. Глаза его были красны, влажные волосы только что зачесаны наверх, а в сдержанных движениях и в покрое платья в сотый раз увидел Цурюпа необъяснимое изящество; стараясь его перенять, он покупал тройные зеркала, выписывал одежду и белье из Лондона, родных своих, захудалых купчишек, всех разогнал, чтобы не портили стиля.

— О, не вставайте, не вставайте, друзья мои,— сказал князь, здороваясь.— Надеюсь, повар исправил вчерашний грешок?

Ртищевы из благовоспитанности шаркнули под столом ногами. Образцов потянулся поцеловаться. Цурюпа же вскочил и не удержался — потрепал князя по плечу.

Алексей Петрович присел к углу стола, взял хлеб и ел. Ему налили вина, которое он жадно выпил. Облокотясь, коснулся пальцами щеки.

— Расскажите, что случилось нового. Да, пожалуйста, дайте мне еще вина.

— Всегда новое — это вы сами,— сказал Цурюпа.— А вот, кстати, я привез анекдот..

Он перегнулся к уху князя и, давясь от смеха, стал рассказывать. Князь усмехнулся, братья Ртищевы, посмеявшись, морщили лбы — старались придумать интересное, но в голову им лезли собаки, потрава на покосе, захромавший коренник — все, мало подходящее для такого высокого общества. Образцов же сказал:

— Если разговор пошел на девочек, то князюшке нашему и книги в руки... Он угостит.

— Да, да, непременно, — зашумели гости, — пусть князь достанет хорошеньких девчонок!

— Лучше махнем в Колывань, господи!

— На въезжую! К Саше!

— Это не по-дружески — сам пользуется, а нам — шиш, — нет, в Колывань! В Колывань!

Князь нахмурился. Братья Ртищевы топали пудовыми сапогами и, вспотев, кричали: «В Колывань!.. В Колывань!..» Цурюпа лез к уху князя, шепча: «Нехорошо, князь, нехорошо». Образцов тер салфеткой лысину и высовывал кончик языка, совершенно раскисая при мысли о Колывани. Все были пьяны. Князь, облокотясь, опустил голову. Выпитое вино, да еще на вчерашнее похмелье, отуманило голову, как душное облако. «Сегодня нужно быть пьяным больше, чем когда-либо», — подумал он, поднялся и, подхваченный под локоть Цурюпой, усмехнулся:

— Идем в сад.

Лакей тотчас распахнул балконные двери, откуда влетела вечерняя прохлада, и гости по ступеням сошли в сырой сад.

Песчаная дорожка от балкона вела к оврагу, на краю его стояла полускрытая кустами шиповника балюстрада с одной уцелевшей каменной вазой.

На вазу эту, на несколько балясин меж листвы, на деревья, на дорожку падал свет из шести окон зала. Под обрывом на широкой, едва видимой реке горели красные и желтые сторожевые огни.

— Надо уговорить братьев побороться, — шепнул Цурюпа князю, который, прислонясь щекой к вазе, глядел на Волгу, думая: «Сегодня, непременно сегодня, неужели не хватит храбрости?»

— Уговорите, — ответил князь.

Винный хмель брал его не сразу. Сначала князь настораживался, как бы предчувствуя что-то, потом становилось печально до слез; все звуки казались отчетливыми, вещи — понятными, и над всем словно тяготел роковой конец. Но вдруг — как в туче открывается молния — пробежала у него острая боль от сердца по спине к ступням холодеющих ног, он встряхивался: тогда начинался разгул.

Пока князь стоял у балюстрады, Цурюпа колкими словами принялся стравливать братьев, и уже Иван Ртищев косо поглядывал на Семена.

Ртищевы славились в уезде силой и не раз на конских ярмарках вызывали какого-нибудь табунщика-татарина на борьбу между телег, в кругу помещиков и мужиков. Когда же не было противников, возились обыкновенно брат с братом.

— А Семен тебя уложит,— шептал Цурюпа, подталкивая Ивана.

— Конечно, брякну,— ответил Семен, а Иван уже наступал на брата, и Семен выпячивал грудь и сопел.

— Эх, трусишки!— воскликнул Цурюпа и, мигнув Образцову, который плечом стал подпихивать Ивана, со всей силой толкнул Семена между плеч.

Братья засопели и столкнулись. Иван схватил Семена под «микитки».

— Не по правилам,— воскликнул Семен, присел и поднял брата, который болтнул ногами. Потом они сцепились и заходили, тяжело дыша. Цурюпа вертелся около них и хлопал в ладоши. Братья допятылись до края оврага, Цурюпа «подставил ножку», Семен опрокинул Ивана, и оба, рухнув на землю, покатались под обрыв, ревя и ломая кусты.

Алексей Петрович громко засмеялся. Туча, давившая сердце, отошла. Хохоча, он держался за край холодной вазы.

Прибежали на зов лакей и садовник с веревкой, братьев вытащили из оврага запыхавшихся, веселых и ободранных. Тут же они принялись ловить Цурюпу, он убегал от них в лакированных башмаках по мокрой траве, пронзительно вскрикивая деревянным голосом...

А у крыльца уже стояла заложенная коляска. В ноги туда положили ящик с вином, спинами друг к

другу посадили на ящик братьев. Образцов просунулся в сиденье между князем и Цурюпой. Князь нагнул шляпу. Цурюпа крикнул «пшел», и кони под гору понесли коляску на перевоз в Колывань.

4

Саша стояла посреди чистой, теперь дымной от табака избы, сложив голые до локтя руки под грудью, перетянутой зеленым запоном.

Милое свое лицо с прямыми бархатными бровями она обратила на князя, заливая его любовью темных глаз. Рот ее был полуоткрыт, Саша только что пела, немного теперь запыхалась, на шее у нее двигались янтарные бусы.

— Дальше пой! Дальше, Саша!— кричали гости. Саша улыбнулась, кивнула и низким голосом, словно в груди у нее заплакала душа, негромко запела:

Ах, полынь, полынь,
Трава горькая,
Не я тебя садила,
Не я сеяла,
Сама ты, злодейка,
Уродилась,
По зеленому садочку
Расстелилась...

Князь, положив локти на некрашенный стол и охватив одурманенную голову, внимательно слушал. Образцов прохаживался по горнице мимо Саши и, прищелкивая пальцами, закатывал глаза. Ртищевы сидели на лавке, расстегнув поддевки. Цурюпа же, протянув ноги, сунул руки в карманы штанов и покачивался.

Саша отпела. Князь сейчас же сказал охрипшим голосом:

— Ну, а ту, другую, Саша, помнишь?

— Нехорошая она,— молвила Саша.— Неверная, не люблю ее. Только разве для вас...

Она опустила ресницы и, вздохнув, запела печально:

Не в Москве было, во Питере,
Во Мещанской славной улице,
Тут жена мужа потребила,
Вострым ножиком зарезала.

— Саша! — крикнул князь, повторяя последние слова песни. — А ведь это хорошо — «правый локоть на окошечко, горючи слезы за окошечко», и делу конец, а милый-то под окошечком ждет, смеется над старым мужем. Теперь ты вот эту спой, в ней подробности хороши...

Петельку на шею
Накидывала,
Милому в окошко
Конец подала...

— Ведь подходит как — именно сегодня. Будто для нас писано. Ну, Саша...

Саша испуганно и серьезно запела:

Толстый узлище
Не оборвется,
У старого шея
Не оторвется.
Старый захрипел —
Будто спать захотел,
Ногами забил —
Будто шут задавил.
Руки растопырил —
Зубы оскалил —
Плясать пошел,
Смеяться стал.

— Я бы, Алексей Петрович, плясовую лучше, — перебила она поспешно.

Князь двинул стол, и хлопая в ладоши, стал топтать ногой. Саша закружилась, поводя руками, приговаривая частушку.

Кумачовые юбки ее развились колоколом, и под ними ноги в белых чулках и козловых башмаках поплыли, притоптывая...

Образцов засеменял около Саши, крича: «Гляди, гляди!» Иван Ртищев, разгораясь, не выдержал, уперся в бок и пошел ходить присядкой, отбрасывая полы. Цурюпа, хихикая, сорвал с волос Саши платок.

— Не трогай ее, хам! — закричал князь.

Маленькая Сашина головка с черными косами вертелась на полной шее, как подсолнух к солнцу, — солнцем был князь. Он сидел бледный и пьяный, с высох-

шим ртом. Вдруг Саша, закрутясь, упала к нему на лавку и, обнимая, прижалась к плечу.

— Девоч! — заревели братья Ртищевы. — Девоч давай!

Обиженный Цурюпа ушел в светелку и лег, стараясь не помять смокинга, на Сашину кровать...

— Любопытный сюжет, — пробормотал он, вытирая платком лицо. — Интересно будет порассказать, как наш князюшка веселится... Это хваленый-то жених... «Хам». Я ему припомню хама. Эх, сволочи вы все!

В это время распахнулась дверь, осветилась светелка, вылетел из табачного дыма и грохота Образцов, придержался за притолоку, кинулся к выходу и скрылся во дворе.

— За девками, — продолжал Цурюпа. — Погодите, теперь устрою бал, брошу вам собачий кусок — из Москвы Шишкина хор выпишу. Да не то что Шишкина, самого Шаляпина позову... Гонор гонором, а денежки вы все любите.

Долго Цурюпа размышлял, какие сногшибательные штуки он придумает для утирания дворянского носа. Наконец со двора в светелку, шушукаясь и упираясь, вошли четыре солдатки, — их подталкивал Образцов, громко шепча:

— Дуры, чего боитесь, не съедим, а сладенького поднесем, погреемся.

Дверь за бабами закрылась. Изнутри поднялся визг и жеребьячий хохот Ртищевых. И сейчас же в светелку вышли князь и Саша.

— Куда ты, голубчик? Не езд, — говорила Саша.

Князь, не ствечая, прошел на крыльцо. Здесь на столбике висел глиняный рукомоийник. В сумерках сквозь дверь было видно, как князь налил воды в ладони, плеснул на лицо и вытерся. Саша, охватив другой столбик, продолжала просить:

— Она молоденькая, разлюбит тебя, а мне ничего не надо, я и пьяного тебя спать уложу. Не езд... Завтра поедешь, если надо, миленький.

— Ах, пожалуйста, оставь, что за слова, ты сама пьяна, должно быть! — ответил князь.

Саша смолчала. Князь перевел дух, кликнул лошадей и сошел по лесенке вниз. Саша продолжала стоять

у столбика. На дворе затопали кони, кучер их обласкивал. Потом тяжело заскрипели ворота и голос князя приказал:

— Волково...

Коляска укатила. Саша отошла от столбика и села на ступеньках, по которым ступал Алексей Петрович. Неподвижная и темная ее фигура с локтями на коленях и опущенной простоволосой головой и наверху неровные линии надворных крыш и шест колодца хорошо были видны в ночном сумраке сквозь четырехугольник двери.

Все это казалось Цурюпе до того знакомым и тоскливым, что он стал морщиться, думая: «Русский ландшафт,— черт бы все это побрал. Уеду совсем в Париж; в самом деле, денег, что ли, у меня мало?.. А про князя все будет доложено кому надо. Ну и прохвост...»

За дверью все громче топали ногами, гоготали и вскрикивали, много веселясь.

КАТЯ

1

Александр Вадимыч перекрестил, поцеловал дочь и подошел в туфлях к дивану, где приготовлена была ему постель.

Катя притворила дверь кабинета и, закутав плечи в пуховый платок, вышла в зал. На старом паркете лежал переплетами окон лунный свет. Углы зала, где стояли диваны, были в тени. Глядя на лунные квадраты на полу, Катя поднесла к щеке ладонь и вдруг усмехнулась так нежно, что сердце у нее стукнуло и замерло.

«Еще рано! — подумала она.— Может быть, он ждет? Нет, нет, все-таки нужно обождать».

Она приподняла с боков платье и, сделав страшные глаза, стала кружиться...

Невдалеке в это время хлопнула дверь; Катя сразу присела: вдоль стены шел Кондратий, неся свечу и платье Волкова.

Увидев барышню на полу, он остановился и пожевал губами.

— Я думала — это привидение идет, — сказала Катя срывающимся на смех голосом. — А это ты, Кондратий? Кольцо потеряла, поди поищи.

Кондратий подошел и наклонился со свечой к паркету.

— Какое кольцо? Нет тут кольца никакого.

Катя засмеялась и убежала в коридор... За дверью она высунула язык Кондратию и, нарочно топая, пошла как будто к себе, но, не дойдя до конца коридора, где висел ковер, стала в нишу окна, от смеха закрывая рот.

Когда воркотня и шаги обманутого Кондратия затихли, Катя вернулась на цыпочках в зал и через балконную дверь проскользнула в сад. Там под темными деревьями она остановилась — стало вдруг грустно.

«Я, наверно, ему надоела, — подумала она. — А если не надоела, так надоем. Что он во мне нашел? Разве я его утешу? Он столько страдал, а я с глупостями пристаю. Хороша героиня!»

Она до того огорчилась, что присела на дерновую скамью. «Настоящая героиня ничего не ест, ночью разбрасывает простыни, и на груди у нее дышат розы, не то, что я — сплю носом в подушку...»

Катенька вдруг громко засмеялась. Но огорчение еще не прошло... Вдалеке ухали и квакали прудовые лягушки. За деревьями между черных и длинных теней трава от лунного света казалась седой.

Катя вдруг вытянула шею, прислушалась — и побежала по аллее, придерживая за концы платок. К щеке прилипла паутиная нить. Катя смахнула паутину, и там, где аллея заворачивала вдоль пруда, раздвинула кусты смородины, чтобы сократить путь, и, цепляясь за них юбками, вышла к мосткам. За беседкой над прудом стоял месяц, светя в воду и на глянцевиные листья кувшинок. В беседке у откидного столика, где обычно пили с гостями чай, сидел, подперев обе щеки, Алексей Петрович. Катеньке показалось, что он широко открыл глаза, смотрит и не видит.

«Что с ним?» — быстро подумала она и позвала:

— Алексей Петрович!

Князь сильно вздрогнул и поднялся. Катя, смеясь и говоря: «Спал, спал, как не стыдно», сбежала к нему по зыбким доскам.

Алексей Петрович припал губами к ее руке и проговорил хрипло, как после долгого молчания:

— Спасибо, спасибо...

— Вы опять думали о себе? — спросила Катя ласково и села на скамью, положив локоть на ветхую балюстраду.— Ведь я просила не думать. Вы очень хороший, я все равно знаю...

— Нет,— тихо, но твердо ответил Алексей Петрович.— Катя, милая, мне очень, очень тяжело. Подумать только, что я делаю?.. Вы любите меня немножко?

Катя усмехнулась, отвернув голову,— не ответила. Князь сел рядом, глядя на ее волосы, лежащие ниже затылка, на овальную щеку, четкую на зеркале воды. Выше, над головой ее, в тенетах висел паук.

— По дороге сюда я думал: сказать вам или нет? Если не скажу, то никогда, быть может, не посмею больше прийти, а если рассказать — вы сами отвернетесь, будет тяжело, но постараетесь меня забыть... Что же делать?

— Сказать,— ответила Катя очень серьезно.

— А вы не подумаете, что я лгу и прикидываюсь?

— Нет, не подумаю.

— Я сделал много плохих вещей, но одна не дает жить,— с трудом, с хрипотцой сказал князь.— Вот так всегда бывает: думаешь, что забыл уже, а гадость, которую сделал давно, становится определенной гадостью, и жить от нее нельзя...

— Я прошу, рассказывайте,— повторила Катя, и руки ее, держащие концы платка, задрожали.

— Вот-вот, я так и думал, что нужно сказать. Это было очень давно. Нет, недавно, в прошлом году... Я встретил одну даму... Она была очень красива. Но не в этом ее сила... Она душилась необычайными духами, они пахли чем-то невыразимо развратным. Вот, видите, Катя, что я говорю. Так нельзя... Не оглядывайтесь... До этой встречи я не любил ни разу. Женщины казались мне такими же, как мы, той же природы. Это неправда... Женщины, Катя, живут среди нас как очень странные и очень опасные существа. А та была еще развратна и чувственна, как насекомое. Это ужасно, когда развратна женщина. Я жил, как в чаду, после встречи... Я чувствовал точно острый ожог.

Алексей Петрович вдруг остановился и поднес пальцы к вискам.

— Я не то говорю. Я мучаю вас. Поймите — все это прошло. Я ненавижу ее теперь, как только могу... Она околдовала меня, сошлась и бросила, словно раз надевшую перчатку. Я потерял рассудок и стал преследовать ее... Словно жаждал — дали воды, коснулся губами, а воду отстранили: тянешься, а рот высох, как в огне... Однажды после бала, в отчаянии, быть может со зла, при всех я ее поцеловал. На следующий день меня встретил муж этой дамы и пригласил к себе за какими-то билетами. Я предчувствовал, зачем зовут, — и поехал. Помню, было морозное утро, и я так тосковал, глядя на снег! Муж ее сидел в кабинете у стола и, когда я вошел, тотчас опустил голову. Он держал в толстых руках серебряную папиросочницу. Я глядел, как его пальцы, короткие и озябшие, старались схватить папироску и не могли — дрожали. Такие папироски я купил потом. А на столе, поверх бумаг, увидел хлыст, окруженный белой проволокой. Я стоял перед ним, а он все глядел на папироски. Вдруг я сказал развязно: «Здравствуйте же, где ваши билетки?» — и протянул руку почти до папиросочницы, но он руки не подал, сердито замотал жирным лицом и сказал: «Ваше поведение я нахожу непорядочным и подлым...» Тогда я закричал, но, кажется, очень негромко: «Как вы смеете!» А он задрожал, как в лихорадке, лицо его затряслось, схватил хлыст и ударил меня по лицу. Я не двинулся, не почувствовал боли. Я увидел, что на жилете его две пуговицы расстегнуты, как у толстяков. Он же проговорил: «Так вот тебе», — перегнулся через стол и стегнул еще раз по воротнику, потому что я глядел в глаза. Я поспешно сунул руки в карман и вынул револьвер. У него тоже в руке появился револьвер, и он двинулся ко мне, даже улыбаясь от злости, а я смотрел на свинцовые пульки и темную дыру в его револьвере... Ужасно! Я почувствовал, что не могу умереть, не могу убить, и попятился, — задел ковер у зеркала. В зеркале отражалась раскрытая дверь, а в двери стояла та дама, в шляпке и длинных перчатках. Она сжала рот и внимательно следила за нашими движениями. «Я пришлю секундантов», — сказал я. Тогда муж топнул ногой и

закричал: «Я тебе покажу секундантов, щенок! Вон отсюда!» Я закрыл глаза и поднял револьвер. А он ударил меня по руке, потом по глазам, и я упал на ковер. Потом я поднялся, в прихожей надел пальто. А он, стоя с хлыстом в дверях, провожал меня, словно гостя, но больше не ударил...

Алексей Петрович перевел было дух, но сейчас же продолжал поспешно:

— Мне оставался один выход. Я три дня в ознобе лежал на кровати, лицом к стене. Я не мог спать и припоминал все, как было: как я пришел, а он держал папиросочницу, все мои слова, и как он стегнул... Тут я принимался ворочаться и соображать: что нужно было сделать? Как бы я сейчас, например, расправился... Я сел на кровати и скрипел зубами... Но воля моя опустилась... Я знал, что нужно встать, поехать в магазин купить новый револьвер (старый остался у него в прихожей), поехать туда и убить. Но я не мог этого сделать, опрокидывался на постель и глядел на обои. Наконец я понял, что нужно думать о другом: я стал припоминать корпус и деревню, куда ездил в отпуск. Мне стало жаль себя, я заплакал и уснул. Пробудился я наутро с тою же жалостью к себе. Не хотелось мне верить, что случилось — зло. А я ведь должен совершить еще худшее. Так недавно я еще был свободен. Но я должен, должен, должен дойти до конца... Ужаснее всего, что я не волен... Я оделся, вышел на улицу, поднял воротник, крикнул извозчика и сказал адрес оружейного магазина, но сейчас же подумал: выбирать для этого револьвер я не могу, лучше ткну его саблей... На углу, близ его подъезда, я слез и стал ходить по тротуару.

Мимо, как сейчас помню, прошел старый генерал с бакенбардами и багровым носом. Было ясно и морозно. «Нужно,— подумал я,— попросить у него прощения, тогда все устроится. Нет, нет. Люди совсем не любят, они злые и мстительные, нужно оскорблять их, убивать, надругиваться...» В это время на меня наскочил какой-то армейский офицер, розовый, совсем мальчик, пре- больно толкнул и вежливо извинился. Но я уже потерял голову и крикнул ему: «Дурак!..» Офицер ужасно сконфузился, но, заметив, что я гляжу в упор, нахму-

рился и сказал, подняв курносое личико: «Милостивый государь...» и еще что-то. Я оскорбил его и тут же вызвал на дуэль. Наутро мы дрались, он прострелил мне ногу. Бедный мальчик, он плакал от огорчения, присев около. Я лежал на снегу, лицом к небу, ясному и синему... Тогда было хорошо. Вот и все...

Катя долго молчала, спрятав руки под платком, потом резко спросила:

— А та женщина?

Алексей Петрович соскользнул со скамьи к ногам Катеньки, коснулся лбом ее колен и проговорил отчаянно:

— Катюша милая, простили вы? Поняли? Ведь это не просто... Я вам не гадок?

— Мне очень больно,— ответила Катя, отстраняя колени.— Прошу вас, оставьте меня и не приезжайте... несколько дней.

Она всгала. Подавая пальцы князю, отвернулась и медленно пошла через мостки на берег к темным деревьям. За ними ее платье, белое от лунного света, шло в тень.

Долго глядел на это место Алексей Петрович, спустился по ступенькам к воде и горстью стал поливать себе на лицо и затылок.

2

Катя вошла на цыпочках к себе, зажгла свечи перед зеркалом туалета, сбросила пуховый платок, растегнула и сняла кофточку и вынула шпильки,— волосы ее упали на плечи и грудь.

Но гребень задрожал в ее руке, ладонью прижала она мягкие волосы к лицу и опустилась в полукруглое кресло.

За этот прошедший час она услышала и пережила так много, что, хотя не поняла еще ни зла, ни правды — ничего, знала уже и чувствовала, что пришло несчастье.

Всего какой-нибудь час назад ей казалось, будто она с князем — одни во всем свете и до них, конечно, никто так нежно не любил. И как тяжелые волосы оттягивают голову, так чувствовала Катя в сердце горячую тяжесть любви. До этой любви она не жила. И

князь разве мог жить до нее? Он явился вдруг, и весь он — ничей, только Катин. Так было всего час назад.

— Ах, все это чудовищно, — прошептала она. — Так подробно все рассказать. Ведь грязь пристанет, ее не отмоешь... Он был всегда грустный, — так вот почему? Конечно, он и сейчас любит ту... Конечно, иначе бы не тосковал, не рассказывал бы. А эти побои по лицу, по глазам, по его глазам... Я не смела их даже поцеловать... И он ничего не сделал, не бросился, не убил... Бессильный, ничтожный... Да нет же, нет... если бы ничтожный был — не рассказал бы. А потом лежал один три дня и тосковал. Глаза грустные, замученные. Я бы села на кровать, взяла его голову, прижала бы... Один, один, в тоске, в муке... И никто, конечно, не понимает, не жалеет его... Но я-то не дам в обиду... Поеду к этой женщине, скажу ей, кто она такая... Ох, боже мой, боже мой, что мне делать?

Катя провела языком по пересохшим губам и долго потемневшими, невидящими глазами всматривалась в зеркало. Затем медленным движением откинула на голую спину волосы. Покатые ее плечи и руки и начало выпуклых грудей, полуприкрытых кружевами, были белы, как выточенные... Щеки пылали. Наконец она увидела себя и гордо усмехнулась.

«Вот я такая, — подумала она. — Меня никто не трогал и не посмеет, а он — нечистый и побитый».

Она быстро встала, освободилась от лишнего белья, не спеша заплела косу, но когда доплела до конца, остановилась, задумалась, тряхнула головой и легла в кровать.

Второе овальное зеркало на стене отразило широкую и низкую, бабкину еще, кровать на бычьих ногах и в подушках разгоревшееся лицо Кати с презрительно сжатым ртом. Губы ее дрогнули, она прошептала:

— Еще и я его обижу, — и, быстро повернувшись ничком, она, как девочка, заплакала, вздрагивая плечами.

После слез Катя забылась. В белой ее высокой комнате горели две свечи, бросая темные и теплые тени от мебели на ковер. Было так тихо, что казалось, могло само пошевелиться платье, брошенное на стуле. В углу принялся сухо и надоедливо трещать сверчок.

Потом из-за кровати появился сухой, как соломинка, высокий и красный человечек. Не касаясь пола, он стал подпрыгивать и дрыгать ногами, держа в руках тонкие проволоки. Они тянулись и опутывали Катю, а человечек все подпрыгивал.

Потом одеяло стало свертываться, легло, словно камень, на грудь, и ноги застыли. И над головой завертелись, сходясь и расходясь, красненькие проволоки, кольца... Человечек прыгнул верхом на грудь и схватил за горло...

Катя крикнула, приподнимаясь на подушках. Протянутыми руками хотела столкнуть тяжесть. Свет от свечей уколол глаза, и она опрокинулась вновь... У нее начался жар.

ДОНОС

1

Этой же ночью Александр Вадимыч спал очень хорошо — комары его не кусали, а проснулся он, по обычаю, рано.

Разлепив глаза, Александр Вадимыч протянул руку за кружкой с квасом, выпил, крякнул, перевернулся на спину, отчего затрещали пружины в тюфяке, сделал свирепое лицо и, сказав «пли!», сел, сразу попав ногами в войлочные туфли.

После этого он решился посидеть немного и с удовольствием оглянул комнату. Кабинет был старый и облезлый, в нем ничего не переделывалось со смерти отца.

На одной стене висели хомут, расписная дуга и сбруя, подаренная еще прадеду Алексеем Орловым. У стены противоположной стояло собачье чучело и черкесское седло на подставке. Над диваном прибиты фотографии любимых лошадей, а на письменном столе лежали — переплетенная за много лет сельскохозяйственная газета, всевозможные семена на бумажках, счета, груды мундштуков и прочий мусор.

Александр Вадимыч, скучая зимой, когда снегом заносило крыши дворов и свистела, выла метель, придумывал разные занятия и выписывал для этого приборы

из Берлина и Москвы... Так, однажды понадобилась ему автоматическая машинка для чинки карандашей, и Кондратий повсюду разыскивал сломанные карандаши, относя их барину... Потом увлекался Александр Вадимыч фотографией, и тогда повсюду лежали негативы и стояли мензурки с кислотой. Иную зиму вырезывал он из картона и клеил примерные хутора, мельницы и сельскохозяйственные машины. Однажды, узнав от заезжего землемера, что можно домашним путем провести электричество, выписал все для этого нужное и осветил, после многих трудов, кабинет; обещался даже Катеньке провести электрический свет, но лето отвлекло Александра Вадимыча от этой затеи,— с первым шумом весенних вод начинал чувствовать он, как бежит в жилах кровь, и предавался лишь благородным занятиям: в марте случал коней, в апреле гатил плотины, в мае наезжал лошадей, а там — покос, жнивье, молотба и осень, когда все пьяным-пьяно и везде свадьбы.

Александр Вадимычу надоело сидеть на постели, и он крикнул бодро:

— Кондратий, штаны!

Кондратий вошел, держа на руке просторные штаны, поклонился и сказал:

— С благополучным вставанием.

— Ну как, все благополучно? — спросил Александр Вадимыч.

— Ничего, слава богу, все благополучно.

— Ничего не случилось, а?

— Будто ничего.

— А мужики приходили?

— Мужики действительно приходили.

— Что же ты им сказал?

— Да сказал, что, мол, барин велел в шею гнать.

— А они что?

— Да ничего. Потеснились. Одно занятие — затылок чесать, ежели скотину выгнать некуда...

— Это еще что за разговоры? Смотри, Кондрашка...

Александр Вадимыч свирепо уставился на Кондратия, который отвернулся, пожевал и молвил:

— Барышня у нас будто захворали.

— Как так?

— Так и захворали, всю ночь метались... Вот что.

Александр Вадимыч сказал «гм» и поморщился. В то, чтобы Волковы могли хворать, он не верил, а если дочь не спала ночью — значит, одолевала ее девичья дурь, от которой лечат свадьбой. Вот предстоящая свадьба и была причиной, почему Александр Вадимыч поморщился. Где найти подходящего жениха? Черт его знает! Намечается, пожалуй, князь, но как его сосватать, когда он в дом ездит, даже по ночам, говорят выдается с Катей в саду, а не сватается — нахал. Все это канительно до тошноты, и было бы хорошо, например, заснуть с вечера, а наутро Кондратий бы сообщил: «Барышня замужем-с...»

— А черт, расстроюсь я с вами,— сказал, наконец, Александр Вадимыч, повернул голову, кашлянул и плюнул. Потом протянул Кондратию ноги, застегнул на костяную пуговицу просторные штаны, встал и, сказав:— Распорядись Кляузницу в дрожки заложить,— подошел к умывальнику.

Умывальник был устроен в виде фаянсового кувшина, который, если коснешься его носика, перевертывался на ушках и обливал сразу и много. Александр Вадимыч, фыркая, помылся, надел парусиновый кафтан, от долгого ношения принявший форму тела, обозначив даже сосочки на грудях, и прошел в столовую.

В столовой за кофе Александр Вадимыч вспомнил о дочери, опять поморщился и направился к ней по коридору.

Катя лежала в постели, осунувшаяся и бледная. Привстав, она поцеловалась с отцом — рука в руку — и вновь опустилась на подушку, засунула обе ладони под щеку, закрыла глаза.

— Ах ты кислятина,— сказал Александр Вадимыч, сильно потрепав указательным пальцем нос.— За доктором, что ли, послать?

Катенька, не открывая глаз, медленно покачала головой. Тогда Александр Вадимыч из упрямства тотчас приказал Кондратию гнать в Колывань и тащить доктора, живого или мертвого. Потом потрепал дочь по щеке. Вышел на крыльцо и, упершись в бока, залюбовался гнедой кобылой, запряженной в дрожки.

Кобыла Кляузница поводила налитыми глазами, пряла ушками и приседала, дожидаясь, когда ее отпустят, чтобы накуролесить.

— Шельма кобыла,— весело сказал кучер, держа под уздцы Кляузницу,— утрась конюху ужасно всю руку выгрызла.

— За увеченье поднести надо, Александр Вадимыч,— проговорил конюх, снимая шапку.

— Ладно, поди на кухню,— ответил Александр Вадимыч, сошел с крыльца и с удовольствием почувствовал легкую дрожь. Сдержав себя, сел верхом на дрожки, разобрал вожжи, глубже надвинул белый картуз и сказал негромко: — Пускай.

Кучер отпустил. Кляузница не двигалась, шумно только вздохнула, раздула розовые ноздри.

Александр Вадимыч сказал: «Но, милая» — и тронул вожжой. Кляузница попятилась и присела. Кучер хотел было опять схватить под уздцы, но Волков крикнул: «Не тронь!» — и хлестнул обеими вожжами.

Кляузница рванулась, села и вдруг «дала свечку». Волков еще ударил, тогда она махнула задом, окатила седока и понесла... Конюх и кучер побежали вслед. Но Кляузница уже вынесла на дорогу, и Александр Вадимыч, тщетно натягивая вожжи, отплевывался только, пыхтел и выкатывал глаза. Кучер же и конюх, добежав до околицы, ударили себя по коленкам, хохоча и приговаривая: «Это тебе не квас...»

Кляузница скакала без дороги по бьющей по ногам траве, лягалась, взвизгивала и всячески старалась вывернуть дрожки, но Александр Вадимыч сидел крепко, с усами по ветру, и старался направить кобылу вверх на холмы.

Это ему удалось, но Кляузница, выскакав на горку, за которой скрылась усадьба, выдумала новую штуку — ложиться в оглоблях на всем ходу.

Волков этого не ждал и, когда лошадь упала, слез с дрожек, чтобы помочь ей подняться.

Но Кляузница сама проворно вскочила, опрокинула Волкова и унеслась по полю, трепля дрожки.

Необыкновенно досадно стало Александру Вадимычу, побежал он было за Кляузницей, но тут же загорелся и лег отпыхаться у прошлогоднего стога.

В это как раз время неподалеку стога по дороге трусцой проезжала плетушка, запряженная парой кляч в веревочной упряжи...

Сидящие в плетушке отлично видели позор Волкова, остановили клячу, и знакомый голос крикнул из плетушки:

— Александр Вадимыч, не расшиблись?

Волков посмотрел на проезжих и выругался про себя. В плетушке, повесив голову, спал Образцов, по траве к стогу бежал Цурюпа, в смокинге и лакированных башмаках...

«Увидал, мерзавец,— подумал Волков.— Теперь по всему уезду раззвонит, что меня паршивая кобылешка обошла».

Цурюпа, добежав, поддернул брюки и присел над Волковым:

— Боже мой, вы без чувств!

Волков тотчас же сел.

— Что вы все пристали ко мне в самом деле! Ездил, ездил, уморился и лег в холодке.

— А где же лошадь ваша, Александр Вадимыч?

— Ах, черт возьми, ушла... Вот неприятность!.. Стояла все время смирно,— должно быть, мухи заели.

— Лошадь на хутор ускакала, мы с горы видели,— сказал Цурюпа.— Но это пустяки... Я очень рад, что мы встретились, я хотел сам к вам пожаловать и сообщить очень важное.

Он наклонился к уху Волкова и прошептал:

— Должен предупредить: князь Краснопольский, Алексей Петрович, прямо-таки подлец, только между нами.

— Что такое? — спросил Александр Вадимыч, вставая на четвереньки, потом во весь рост. Одернул кафтан и добавил:— Опять сплетня?

— Ах, я сам не люблю сплетен,— поспешно продолжал Цурюпа.— Это моветон, но из дружбы к вам, притом же замешана честь. Вчера, видите ли, приехали к нему обедать — я, Ртищевы и Образцов,— полюбуйтесь, в каком он виде сейчас. Излишество, конечно, у князька за столом — прямо непристойное. После обеда всевозможные самодурства, и предлагает вдруг ехать в Колывань к девкам. Что за манера! Но — компания. Поехали. В Колывани все напильсь до полной потери культуры и — привели четырех голых девок.

— Голых? — переспросил Александр Вадимыч.

— В том-то и дело... Противно ужасно, но — думаю — пусть покажет себя князек до конца. И представьте, что он выкинул? — Цурюпа на миг приостановился, глядя в глаза Волкову, который внезапно крикнул и подмигнул. — Представьте — около полуночи князек выбежал на двор и кричит: «Эй, лошадей, еду в Волково...»

— Ко мне? — спросил Александр Вадимыч.

— Ну да же, поймите... Это ужасно щекотливо: конечно, он ехал к вам — Александру Вадимычу, но, — как бы изящно выразиться, — люди могут подумать, что и не к вам.

Цурюпа для ясности растопырил пальцы перед носом Александра Вадимыча, который вспыхнул, вдруг поняв намек.

— Ах ты болван!

Но Цурюпа слишком уже разошелся и поэтому, не обидясь, продолжал еще поспешнее:

— И действительно, к вам ускакал, и все, знаете ли, принялись такие штуки неприличные отмачивать, что я закричал, приказал прямо: довольно гнусных сцен, едем отсюда! Но мы своих лошадей в Милом оставили, — вот и плетемся на земских. Я давно говорил: этого князька нельзя принимать. Да и князек ли он, не еврей ли?

Но Александр Вадимыч уже не слушал Цурюпу. Подогретый к тому же афронтом с Кляузницей, освирепел он до того, что не мог слова вымолвить, и только сопел, раскрыв рот, отчего Цурюпа даже струсил. Наконец Волков выговорил:

— Да где же этот мерзавец? Подать сюда лошадей! Запорю!

— И отлично, и отлично, доедем на клячах до меня, а оттуда вместе нагрянем в Милое и Ртищевых захватим: пусть даст отчет, — шептал Цурюпа и, завиваясь ужом, бежал за Волковым к тарантасу, радуясь, что отомстил за вчерашнего «хама».

2

Только после обеда выехали разгоряченные вином всадники из усадьбы Цурюпы в Милое.

Впереди на косматом сибиряке, храпевшем под тяжестью всадника, скакал, раскинув локти, Волков. За ним

неслись братья Ртищевы, поднимали нагайки и вскрикивали:

— Вот жизнь! Вот люблю! Гони, шпарь!

Ртищевым было все равно — на князя ли идти, стоять ли за князя, — только бы ветер свистел в ушах. К тому же, после уговоров Цурюпы, они решили покарать безнравственность.

Позади всех, помятый, угасший, но в отличной визитке, рейтузах и гетрах, подпрыгивал на английской кобыле Цурюпа.

Швыряя с копыт песком, мчались всадники по тальниковым зарослям, и чем меньше оставалось пути до Милого, тем круче поднималась рыжая бровь у Волкова, другая же уезжала на глаза, и он выпячивал нижнюю челюсть, с каждой минутой придумывая новые зверства, которые учинит над князем.

Алексей Петрович, тревожно проспав остаток ночи, взял прохладную ванну, приказал растереть себя полотенцем и сидел у рояля в малом круглом зале с окнами вверху из цветных стекол.

Рояль был в виде лиры, палисандровый, разбитый и гулкий. Князь проиграл одной рукой, что помнил наизусть — «Chanson triste». Солнце сквозь цветные стекла заливало паркетный пол, на котором мозаичные гирлянды и венки словно ожили. На синем штофе стен висели скучные гравюры и напротив рояля — портрет напудренного старичка, в красном камзоле, со свитками в руке. Все это — и потертые диваны, и круглые столы, и ноты в изъеденных корешках — было нежилое, ветхое и пахло гниением. Алексей Петрович, повернувшись на винтовом стуле, подумал:

«Они глядели через эти пестрые окошки, слушали вальсы, лежали на диванах, любили и целовались втихомолку — вот и все, потом умерли. И насиженный дом, и утварь, и воспоминания достались мне. Зачем? Чтобы так же, как все, умереть, истлеть!»

Он снова перебрал клавиши, вздохнул, и усталость, разогнанная ненадолго ванной, снова овладела им, согнула плечи. Он проговорил медленно:

— Милая Катя!

И закрытым глазам представилась вчерашняя Катенька, ее повернутый к лунному свету профиль и под

пуховым платком покатое плечо. Прижаться бы щекой к плечу и навсегда успокоиться!

«Разве нельзя жить с Катей, как брат, влюбленный и нежный? Но захочет ли она такой любви? Она уже чувствует, что — женщина. Конечно, она должна испытать это. Пусть узнает счастье, острое, мгновенное. Забыться с нею на день, на неделю! И уехать навсегда. И на всю жизнь останется сладкая грусть, что держал в руках драгоценное сокровище, счастье и сам отказался от него. Это посильнее всего. Это перетянет. Сладко грустить до слез! Как хорошо! Вчера ведь так и кинулась, протянула руки. Зацеловать бы надо, ах, боже мой, боже мой... Рассказал ей пошлейшую гадость... Зачем? Она не поймет... Не примет!»

Алексей Петрович провел по лицу ладонью, встал от рояля, лег навзничь на теплый от солнца диван и закинул руки за голову. В дверь в это время осторожно постучался лакей — доложил, что кушать подано.

— Убирайся,— сказал Алексей Петрович. Но мысли уже прервались, и, досадуя, он сошел вниз, в зал с колоннами, где был накрыт стол, мельком взглянул на лакея,— он стоял почтительно, с каменным лицом,— поморщился (еще бродил у него тошнотворный вчерашний хмель) и, заложив руки за спину, остановился у холодноватой колонны. За стеклянной дверью, за верхушками елей садилось огромное солнце. Печально и ласково ворковал дикий голубь. Листья осины принимались шелестеть, вертяться на стеблях, и затихали. Все было здесь древнее, вековечное, все повторялось снова.

«Я изменюсь,— думал Алексей Петрович.— Я люблю ее на всю жизнь. Я люблю ее до слез. Милая, милая, милая... Катя смирит меня. Господи, дай мне быть верным, как все. Отними у меня беспокойство, сделай так, чтобы не было яду в моих мыслях. Пусть я всю жизнь просижу около нее. Забуду, забуду все... Только любить... Ведь есть же у меня святое... Вот Саша — пусть та отвечает. Сашу можно замучить, бросить! Она кроткая: сгорит и еще благословит, помирая».

Алексей Петрович сунул руку за жилет, точно удерживая сердце,— до того билось оно все сильнее, пока не защемило. Он крепче прислонился к колонне. На лбу проступил пот. Алексей Петрович подумал: «Надо бы

бром», шагнул к широкому креслу и опустился в него, обессиленный припадком чересчур замотанного сердца.

А в это время в доме захлопали двери, затопали тяжелые шаги. Лакей с испуганным лицом подбежал к дверям, дубовые половинки их распахнулись под ударом, и в зал ввалился Волков, за ним Ртищевы и Цурюпа.

— Поддай мне его! — закричал Волков, поводя выпученными глазами. Обеденный стол он пихнул ногой так, что зазвенела посуда. — Он еще обедать смеет! — Потом шагнул к балконной двери и, увидев между колонн князя, который, ухватясь за кресло, глядел снизу вверх, проговорил, выпячивая челюсть: — За такие, брат, дела в морду бьют!

— Да, бьют! — заорали Ртищевы за его спиной.

Цурюпа же, стоя у двери, повторял:

— Господа, господа, все-таки осторожнее.

Князь побледнел до зелени в лице. Он подумал, что Катя все рассказала отцу. Теперь его — битого — оскорбят еще. Так же свистнет блестящий хлыст. Опять нужно будет лечь, кусать подушку...

Но Волков под взглядом князя вдруг притих, словно стало ему совестно. Такой взгляд бывает у перешибленной собаки, когда подойдет к ней работник с веревкой, чтобы покончить поскорей — удушить, — защита ее в одних глазах. У иного и рука не поднимется накинуть петлю, — отвернется он, отойдет, кинет издали камешком.

Так и Волков попятился и проговорил, опуская бровь:

— Ну что уставился? Так, брат, не годится поступать, хоть ты и хорошего рода. Я все-таки — отец. Ты пьянствуй, а девицу марать не смей!

При этих словах он опять запыхтел и закричал, наступая:

— Нет, побью, сил моих нет!

— Что я сделал? — тихо спросил Алексей Петрович, начиная вздрагивать незаметно от острой радости, — самое страшное миновало.

— Как что? С Сашкой безобразничаешь, а потом при всех хвастаешь, что ночью ко мне едешь. Я тебя и в глаза не видел. На весь уезд меня опозорил.

Алексей Петрович быстро поднялся, не сдержав легкого смеха. Схватил удивленного Волкова за руки.

— Идем, дорогой, милый,— увлек Александра Вадымыча на балкон и, прильнув к его плечу, пахнущему потом и лошадьё, проговорил:— Я люблю Катю, выдайте ее за меня. Милый, я изменился... Теперь все перегорело...

Он задохнулся. У Волкова голова затряслась от волнения:

— Так, так, понимаю. Ты вот как обернул? Это совсем дело другое. Я и сам хотел... Только ты, братец, как-то сразу. Экий ты, братец, торопыга.— Он потер лоб и окончил упавшим голосом:— Я по саду пройду, в кусты. Дело важное, не бойся,— только отойду немножко...

И Волков, тяжело ступая, спустился с балкона. Князь вернулся в зал и, крепко сжав сухие кулаки, сказал сквозь зубы Ртищевым и Цурюпе:

— Пошли вон!

Волков не любил медлить и раздумывать, если чего-нибудь ему очень захотелось. Поэтому, посидев в кустах, он вернулся и объявил князю, что этим же вечером нужно все покончить. Сам пошел на конюшню, где долго ругал конюхов, хозяйским глазом уличив их в нерадении. Походя заглянул во все стойла и в каретники и, уже идя обратно, крикнул князю, стоящему на крыльце:

— Ну, батенька, ты меня прости, а ты фефела — так запустить конюшни! Вот, слава богу, уж я у тебя порядки наведу.

Князь же только смеялся мелким смешком. Смешок этот нельзя было удержать, он боялся его и чувствовал, что не ждать добра. Поэтому, когда Волков, выбрав лучшую коляску, велел запрячь в нее вороную тройку и повез Алексея Петровича к себе, князь держался во время дороги так странно, что, когда они проехали полпути, Волков сказал, покосясь на спутника:

— Что ты такой неудобный стал? Перестань, говорю, вертеться,— Катерина тебе не откажет.

Но в Волкове, куда они приехали на закате, ждала их неожиданная неприятность, которая, ускорив событие, отозвалась тяжело не только на князе и Катеньке, но и на докторе Григории Ивановиче Заботкине, влетевшем во всю эту историю, как муха в огонь.

Утром этого дня за Григорием Ивановичем были посланы лошади.

Он в это время, растворив окна и дверь, мыл кипятком и мылом засиженную свою избенку, повсюду раскладывая чистую бумагу, найденные под печкой глубоко неинтересные книги, и останавливался иногда с тряпкой в руке поглядеть на солнышко, от которого быстро высыхали и лавки и пол.

«Люблю чистоту,— думал Григорий Иванович.— От нее на душе чисто и празднично. А день-то какой — и гуси на воде и облака на небе. Восторг».

Забежал на минуточку поп Василий и до того удивился, что спросил озабоченно: «Да ты здоров, Гриша?» Но с первых же его слов все понял и, боясь потревожить еще непрочную (как ему казалось) радость, поулыбался и потихоньку ушел,— Григорий Иванович и не заметил его ухода.

Казалось ему, что именно сегодня придет счастье. А если не придет? Нет, иначе быть не может.

Часу во втором к докторскому домику подкатила пара вороных, запряженная в шарабан. Григорий Иванович, удивясь, высунулся с тряпкой в руке в окошко. Кучер соскочил с шарабана, подошел к окну и спросил:

— Что, садовая голова, дома доктор или уехал?— Заглянул в избенку и прищурил на Григория Ивановича глаза.— Расстарайся, покличь доктора,— у нас барышня нездорова. К Волкову, скажи, Александру Вадимычу.

Григорий Иванович сейчас же отошел от окна и уронил тряпку. Сердце заколотилось, захватило дух. И ему представилась Екатерина Александровна, когда, приподняв намокшее платье, всходила она по трапу; показалась сияющая ее голова, круглые плечи и высокий стан, охваченный шелком.

«А вдруг тиф?— подумал Григорий Иванович.— Нет, не может быть».

— Эй, ты!— воскликнул он, подбегая опять к окну.— Я и есть доктор, сейчас еду!— И уже держа в руке фуражку, взглянул в осколок прибитого между окошек зеркала, в котором криво-накосо отразилось

красное, с пухом на щеках, широкое лицо, покрытое до плеч мочальными волосами.

— Что за пакость,— отступив, пробормотал Григорий Иванович.— Действительно — «садовая голова». Нельзя, я не могу ехать.

Он быстро присел на лавку, в недоумении наморщив лоб, но тотчас вскочил, взял ножницы и, тыча в голову их концами, стал отрезать сбоку прядь волос, которая, не рассыпаясь, упала на пол. Григорий Иванович наступил на нее и, косоротясь, резал еще и еще, окорнал себя с обеих сторон и сейчас же догадался, что сзади ножницами не достанет и вообще сходит с ума.

Бубенчики позванивали за окном, кучер нарочно громко зевал, поминая господ, а Григорий Иванович, весь в поту, подогнув колено, скривив шею, стриг затылок. Потом швырнул ножницы, схватился за умывальник, а воды не было. Неизвестно, где лежал сюртук. Кучер постучал кнутовищем о ставню, спросив: «Скоро ли?» Заботкин только ногой топнул — с ним не случилось подобного,— разве во сне, когда нужно бежать, а ступни приросли, хочешь замахнуться — и руки не поднять.

— Гони, гони вовсю,— проговорил, наконец, Григорий Иванович, впрыгивая в шарабан. И всю дорогу прихорашивался, тер платком лицо и отчаивался. Когда же с горы стали видны пруды, сад и красная крыша Волкова, хотел выскочить. Все, что происходило в нем в этот день, было словно во сне.

На крыльце доктора встретил Кондратий и повел в дом. Григорий Иванович, вдохнув тонкий, чуть-чуть тленый запах старых этих комнат, сейчас же пошел на цыпочках, понимая, что здесь говорить нужно деликатно и делать изящные жесты,— ведь по каждой половице прошла хоть раз Екатерина Александровна, у каждого окна стояла; это был не обыкновенный дом, а чудо.

— Вот сюда,— сказал Кондратий, останавливаясь перед ковром, покрывавшим дверь.— А вы вот что,— он пожевал,— не больно на порошки-то налегайте.

И он отогнул ковер. Григорий Иванович, пробормотав: «Погоди, погоди, ну ладно», одернул сюртучок, повел ладонью по лицу, вошел, и разбежавшиеся его глаза сразу остановились на подушках, где лежала

повернутая к двери затылком девичья голова. Две косы, разделенные полоской пробора, огибали шею, поверх голубого одеяла покоилась голая до локтя рука.

Григорий Иванович зажмурился, потом поглядел на красные туфельки на ковре и краешком подумал, что он — доктор Заботкин — шарлатан и куча грязных тряпок. И сейчас же забыл об этом.

А Катя в это время вздохнула и медленно повернулась на спину. Григорий Иванович в страхе попятился. Она быстро мигнула, совсем пробуждаясь, и глаза ее с удивлением остановились на вошедшем. Потом она опустила веки и покраснела.

— Ах, это вы, доктор, — сказала она. — Здравствуйте... Простите, что вас потревожили... Но папа...

Григорий Иванович с усилием подошел. Катя протянула ему теплую еще от сна руку, и он, страшно покраснев, пожал ее, спохватился, вынул часы, но стрелок не увидел, принялся ногой отбивать секунды, сейчас же понял, что запутался, погиб, выпустил ее руку и уронил часы. Тогда Катя медленно закрыла ладонями лицо, плечи ее колыхнулись, и она, не в силах сдержаться, засмеялась.

Лютый мороз пополз по доктору Заботкину, затошнило даже, а губы раздвигались в дурацкую улыбку, — будь она проклята! Наконец Катя, с глазами, полными веселых слез, проговорила:

— Не сердитесь, милый доктор, ради бога объясните, что с вашими волосами? — И уже совсем громко и звонко засмеялась.

Тогда он, в отчаянии взглянув в зеркало, увидел перекошенное свое лицо, на голове пролысину, зубцы и сзади косицу...

— Это в темноте, — пробормотал он. — Я всегда имею привычку... — и, не выдержав, попятился и выскочил за дверь.

4

У дверей, в коридоре, ждал его Кондратий.

— Послушай! — с отчаянием крикнул ему Григорий Иванович. — Сбегай, вели лошадь подать, сию минуту уеду, я не могу.

— Не извольте фордыбачить,— ответил Кондратий строго.— Вы не у себя-с, пожалуйста за мной.

Григорий Иванович сказал «ага» и послушно последовал за Кондратием по коридору, под лестницу, в каморку, где и сел на сундук, покрытый кошмой.

— Меня не «послушай» зовут, а Кондратий Иванович,— после молчания сказал Кондратий, прислонясь к дверному косяку,— вот что. А вы что же — барышню уморить приехали, нарочно так остриглись, для невежества?

— Кондратий Иванович, — закричал доктор,— замолчите! Я сам все понимаю!

— Слушаться надо, а не мудрить, господин доктор. Лошадей все равно не дам. А насчет Катеньки, так я ее на руках вынянчил и мудрить над ней, пока жив, никому не позволю. Лечить ее надо не порошками, а добрым словом,— хворь у нее самая девичья. Поняли? Ну, ладно. А что вы ее дурацким видом своим насмешили — это хорошо. Я и сам — был молодой — шутки откалывал. Как расколыхается барин на доброе здоровье, так в дому сразу хозяйственно, и слуги дело свое исполняют. Дайте-ка я вам подчищу. Второй раз явиться в уродливом виде — невежество, а уж не смех.

Кондратий взял ножницы, и Григорий Иванович, угодливо подставив ему голову, спросил:

— Вы, Кондратий Иванович, разве барышню на руках выходили?

— Да-с, на руках,— ответил Кондратий и вдруг опустил ножницы, прислушиваясь: кто-то ходил по коридору, пробуя ручки дверей, потом не то закашлял, не то заплакал глухо.

— Будто чужой кто? — сказал Кондратий.— А?

Шум затих, и старый слуга озабоченно вышел.

Вскоре послышался его голос: «Нельзя, уходи, уходи», и другой — женский, торопливый и умоляющий. Но Григорию Ивановичу было все равно, он помылся, пригладился, почистил сюртучок и, подумав: «Конечно, я некрасив, даже мешковат, но есть известная молодость в лице и особенно выражение глаз», сдержанно вздохнул и вышел в сад, ожидая, когда позовут к больной.

В саду он завернул за угол дома, пошел по траве и сел на чугунную скамью, против окон, положив руку на зеленую лейку, стоящую около.

У ног, над травой, крутились пчелы, пахла медовая кашка, и запах этот, и теплое, совсем низкое солнце, залившее сквозь листву штукатуренную стену дома, и Катенькино окно с опущенной занавеской (по занавеске он и догадался, чье это окно) волновали, как музыка, и Григорий Иванович, жмурясь и подставляя затылок солнцу, чувствовал, что все в нем слабеет (да и зачем ему это свое?): он будто растворяется в свете, в тишине и все — небо, облака на небе, вода, деревья и луг — все в нем. Или он сам это расплывается, отдавая глаза — небу, душу — облакам, кровь — воде, руки — деревьям, тело — земле? Это было похоже на смерть, на сон или на любовь. «Пусть всю жизнь буду по дорогам таскаться, по вонючим избам,— подумал он.— Пусть я урод, не способен умереть за нее,—ну нет, умереть-то я очень способен, пусть только прикажет,— что мне нужно? Ничего! Только жить, чувствовать, взды- хать...»

На балконе в это время, между облупившихся кое-где до кирпича колонн, появился князь Алексей Петрович. Одет он был в черный сюртук и полосатые панталоны, правой рукой опирался на трость, а левой, держа перчатки, отмахивался испуганно от пчелы. Пчела улете- ла. Князь поспешно сошел в сад и, не замечая Заботки- на, принялся в необыкновенном волнении, поднимаясь на цыпочки, смотреть на занавешенное окно.

— Не может этого быть! — проговорил он громко.— Это слишком! — взмахнул тростью, повернулся и, уви- дев Григория Ивановича, выпятил нижнюю губу.

«Это еще кто?» — подумал доктор, разглядывая князя.

Алексей Петрович спросил:

— Вы — доктор? Кто сейчас у Екатерины Алексан- дровны? Вы знаете что-нибудь?

— А что случилось? Разве несчастье?

— Нет, впрочем, я не знаю.— Алексей Петрович сел на скамью, коснулся руки Григория Ивановича и осо- бенно мягко заговорил:— Перед священниками и док- торами не скрываются, правда? Скажите, быть может

есть средство, чтобы сердце не так болело, чтобы им владеть?

— Бром,— ответил Григорий Иванович.

— Ну да, но я не про то. Когда узнику открывают тюрьму и он с порога видит солнце, тогда ему говорят: «А мы старый грешок вспомнили,— иди назад...» — «Но я исправился...» — «Нет, иди обратно». Доктор, муж Екатерины Александровны должен быть чист и свободен, правда?

— Вы женитесь? — спросил Григорий Иванович, всматриваясь в слишком красные губы князя и беспокойные его глаза. «Руки белые какие», — подумал Григорий Иванович, и ему стало вдруг необычайно грустно.

Князь продолжал:

— Я не враг себе, пусть и она поверит, что не враг. Я мучаюсь больше ее. Не для радости же в Колывань ездил... Впрочем, вы ничего не знаете... Я приехал просить ее руки, вот... Доктор, если выйдет несчастье — вы поможете? Сейчас за окном, я знаю, на меня донос.

Он перевел дух, вздохнул, поглядел доктору в глаза и улыбнулся жалобно.

— Екатерина Александровна достойна, чтобы из-за нее страдали,— проговорил, сам не зная для чего, Григорий Иванович и, смутившись, стал нагибать лейку, пока из дудочки не потекла вода.

В это время за Катиным окном раздался вопль и его покрыл густой бас, кто-то кинулся к раскрытому окошку, занавеска заколебалась, и простоволосая женская голова опрокинулась изнутри на подоконник. Закинулись голые руки, стараясь отодрать от горла чьи-то короткие волосатые пальцы.

Затем раздался другой отчаянный женский крик, от которого Заботкин похолодел, а князь, страшно бледный, вскочил со скамейки, мучительно повторяя: «Не трогай ее, не трогай, не трогай...» Волосатые пальцы отпустили шею, голова женщины соскользнула с подоконника. Григорий Иванович хотел встать, но на колени его, хватаясь слабейшими пальцами, склонился князь,— голова его моталась.

— Это ничего, прислонитесь, вот так, сейчас пройдет,— бормотал Григорий Иванович, смачивая лоб князю водой из лейки.

ВОДОВОРОТ

1

Григорий Иванович, поддерживая князя, повел его через балкон в зал, ища — где бы спокойнее уложить. Из зала правая боковая дверь вела в библиотеку. «Туда», — сказал князь, пожимая его руку. В это время изнутри дома послышались голоса, вскрики и топот ног.

И едва князь и Заботкин подошли к библиотеке, как дверь в зал из коридора распахнулась, и в сумерках было видно, как конюх и кучер вели под руки Сашу. На ней черный сарафан был порван, волосы растрепаны, заплаканное лицо с поднятыми бровями запрокинуто. Саша тихо и отчаянно повторяла:

— Что вы, что вы...

Сзади подталкивал ее Кондратий Волков, стуча кулаком по двери, чертыхался и кричал:

— В амбар ее, мерзавку, на замок!.. — Князя и Заботкина он не заметил, — они успели войти в библиотеку.

Сашу вывели. Волков звякнул балконной дверью и, ругаясь, ушел во внутренние покои.

Долго на диване у книжного шкафа молчали Григорий Иванович и князь, — у доктора тряслись коленки, князь не двигался, прислонясь затылком к спинке, закрыл глаза.

— За что они ее? — наконец спросил доктор шепотом и посмотрел на князя, — лицо его, едва различимое в тени сумерек, было очень красиво. «Вот как нужно любить, — подумал Григорий Иванович, — изящно и сильно, падать в обморок, переживать необыкновенные страсти! Он настоящий муж для Екатерины Александровны. О таких в книгах пишут». Доктор осторожно потянулся и погладил князя по руке. Алексей Петрович сейчас же спросил негромко:

— Доктор, вы побудете со мной?

Григорий Иванович кивнул головой.

— Ее увели? — продолжал князь. — Это ужасно. Не так-то просто жить, милый доктор. Бедная Саша!

Алексей Петрович выпрямился вдруг, словно сбросил маску.

— Я знаю, что благородно и что честно, — сказал

он,— а поступаю неблагородно и нечестно, и чем сквернее, тем слаще мне... Так можно с ума сойти. А что может быть слаще, как смотреть на себя сбоку: сидит в коляске негодяй, в серой шляпе, в перчатках, и никто его не бьет по глазам, и все уважают, и сам он себе нравится. Дух захватит, когда это до глубины поймешь. И разве не странно — я возвращаюсь ночью отсюда, от Екатерины Александровны, гляжу на небо с луной (неприменно с луной) и смеюсь от счастья потихоньку, чтобы не слышал кучер. И сейчас же, глядя сбоку, вижу, что было бы чудовищно сделать мерзость. А ладонь моя еще пахнет ее духами. И когда совсем захватит дух, я останавливаю лошадей у Сашиного двора, захожу, беру за руку, прислоняю голову к ее груди и притворяюсь: «Саша милая, утешь»,— и она утешает, как может. А после утешения я рассказываю, зачем приехал,— это еще высшая гадость: я опять лгу, а у ней сердце разрывается... И так накручивается все сильнее, а сейчас вот — лопнула пружина.

— Послушайте, ведь это чудовищно, вы с ума сошли,— отодвигаясь, прошептал Григорий Иванович. Он еще не совсем понял, только почувствовал, что князь, путаясь и скользя, как уж, обнажается. Григорию Ивановичу стало гадко и смутно. Он принялся теребить бородку, встал и заходил.

— Да, это чудовищно, — продолжал князь, и голос его был ровный, словно он разглядывал себя.— Но еще хуже, что и вам сейчас нагнал... Очень трудно сказать настоящую правду; крутишься около нее, вот-вот скажешь, — смотришь, а уж правды не видно — удрал от нее по кривой дороге. Все равно как дневник писать... Вы пробовали? Не пытайтесь. Я перед вами сейчас себя выставил носителем чуть ли не великих тягот... Какой я там носитель! Просто человек с изъяном, с трещинкой,— вот как эта нога: пуля вот сюда вошла; кажется, совсем ногу могу выпрямить, а она пошаливает,— видели, опять в сторону увильнула... Только — чтобы свою главную сущность не обнаружить... Да, да. Нужно слишком, что ли, напиться, чтобы обнаружить... Милый доктор, поверьте, я больше жизни люблю Екатерину Александровну, и если она откажет теперь, погибну. Это правда... Я узнал это вчера: вчера было последнее испытание, его

я не выдержал; хотя никакого испытания, конечно, не было, простое распутство,— ночью прискакал сюда, омылся красотой Екатерины Александровны и лунным светом и тем, что раскрылся... Милая девушка, я на нее взвалил все, что мне плечи натерло. А наутро послал к Саше кучера и велел сказать: «О барине, мол, не смей думать, барин женится...» Саша не выдержала — пешком сюда прибежала... Я знал, что она донесет.

— Все вы лжете! — вдруг воскликнул Григорий Иванович, хотел что-то прибавить, но заикнулся и снова принялся бегать, трепля бородку.

— Доктор,— едва слышно, просительно молвил князь,— подите к Екатерине Александровне, расскажите ей все,— она поймет...

— Не пойду и не расскажу! — крикнул Григорий Иванович.— Объясняйте сами. Я ничего не понимаю, а сумасшедших терпеть не могу.

Он прислонился горячим лбом к стеклу. Было совсем темно, и за деревьями, еще не светя, поднималась неправильным кругом оранжевая луна, словно зеркало, отразившее в себе печальный мир.

«Ну что я ей скажу? — подумал Григорий Иванович.— Что он эгоист и сумасшедший? Но ведь он любит ее? Не знаю... не понимаю такой любви. Я бы глядел на нее и плакал, даже не говорил бы ничего... Разве облаку скажешь, как любишь».

Пока Григорий Иванович раздумывал, луна просветлела, тронула холодным светом росу на листьях, погнала длинные тени. Над травой закурился легкий туман. Сквозь окно библиотеки лунный свет залил половину лица Алексея Петровича, руку его, зацепленную большим пальцем за жилет. На книжном шкафу заблестели медные уголки.

Вдруг Григорий Иванович вздрогнул: мимо окна быстро прошла Екатерина Александровна (он узнал ее по линии плеч, по гордой голове), оглянулась у поворота в аллею и побежала,— за спиной ее надулась белая шаль...

— Она в сад побежала,— обернувшись, быстро сказал доктор.

Князь вскочил и распахнул окно.

— Идем скорее, скорее! — прошептал он.

Они поспешно вышли.

Между канавой — границей сада — и длинными ометами стоял на выгоне деревянный амбар. Под навесом его были сложены сани и бороны. На двери, с квадратной дырой внизу — для пролаза кошек, висел большой замок.

За дверью были слышны вздохи и негромкий плач.

От канавы по выгону до амбара пробежала Екатерина Александровна, остановилась у двери, запыхавшись, опустилась на колени и, приблизив лицо к кошачьему лазу, окликнула:

— Саша, ты здесь? Ты плачешь?

Плач за дверью прекратился, и Катенька почувствовала на лице своем Сашино дыхание, даже различила ее глаза.

— Я бы тебя выпустила, — сказала она, — да ключа у меня нет.

Саша вздохнула. Катенька просунула руку и погладила Сашу по щеке.

— Я попрошу Кондратия, он потихоньку возьмет у папы ключ, мы тебя выпустим, только попозже. Саша, ты вот что мне скажи... Подставь-ка щеку, я тебя поцелую... Милая, голубушка, тебе очень больно? Я непременно устрою, чтобы он к тебе вернулся. Ты не поняла: он подшутил над тобой. Про меня он глупости рассказывал... Не ко мне же одной он ездил сюда — и к папе. А ты сама провинилась... Зачем при папе все рассказала... Сашенька, ничего плохого не случилось. Обдумай спокойно. Он завтра же к тебе вернется.

Но Саша в это время ужасно заплакала, стучаясь головой о дверь. Катя схватилась за виски, стала оглядываться — чем бы ее успокоить?

— Нет меня несчастнее, милая барышня, — проговорила Саша. — Я за него на пытку пойду, — и все знаю, что и врал он мне, и смеялся, и что лестно ему, когда я перед ним мучаюсь. А вот не вытерпела... Как конюхто прискакал и говорит: «Барин тебе приказал, чтобы думать о нем забыла. Да, говорит, еще велел, чтобы со мной спать легла». А сам смеется. Обмерла я... Глупый разум помутился, выбежала за ворота, думаю: к нему бе-

жать или в речку? А тут сестра моя двоюродная на телеге мимо ехала, да как засмеется. «Что, говорит, князя, что ли, не дождешься? Поди на дорогу, покличь...» И откуда у меня столько злобы взялось, сама не знаю... Все равно, думаю, пусть и вы, барышня, узнаете, каков он, наш-то...

Екатерина Александровна резким движением поднялась с колен и села на порог, лицом к пруду. На берегу стояли темные лошади. И уже высоко теперь плыл пустынный месяц, загасивший вокруг себя звезды.

Опираясь подбородком о ладони, Катенька думала, глотая слезы: «Что за глупости! Я отлично наказана и должна забыть его, забыть». И ей казался пушистым и неясным свет месяца в голубой пустыне.

— Барышня, — позвала Саша, — милая, ягодка, стерпись с ним, слюбись, ведь ты тоже баба. Кабы я могла, не уступила бы тебе его. Трудно мне. Ну, лето мое прошло, теперь твой черед страдать...

Не дослушав, Катенька встала и посмотрела на дверь, хотела ответить, но промолчала и пошла от двери; завернув же за угол амбара, тихо вскрикнула и стала.

На сложенных вниз зубьями боромах сидел князь.

— Который теперь час? — проговорила Катенька, глядя, как вдалеке на выгоне торчал доктор, делая князю отчаянные знаки.— Я думаю, папа ждет с ужином.

Князь пошевелился. Она быстро отвернулась и пошла к дому.

3

Волков, кроме всего, был упрям необыкновенно. Сватовство князя неожиданно устраняло все беспокойство и льстило Александру Вадимычу: Краснопольские вели имя от Рюрика и в свое время сидели на столе. Сообразив насчет Рюрика (по дороге из Милого к себе), Александр Вадимыч обиделся, представив, что князь может зазнаться, и тут же плечом прижал его в угол коляски, чтобы сделать больно. Но Алексей Петрович не понял этой тонкости, Волков же сердиться долго не мог и, чтобы об унижении больше не думать, тут же решил выдать невиданное приданое за дочь и уже проговорился об этом, как сразу же по приезде в Волково глупая баба устроила скандал. Все пошло к черту.

Сорвав первый гнев на Саше, Александр Вадимыч понял, что буйством помочь нельзя, но положение было действительно непереносимо, и, очень угнетенный, ушел он в кабинет, где и сел у стола.

«Разорвусь, а выдам ее за этого мошеяника», — думал Александр Вадимыч и ругательски ругал князя; потом обозлился и на дочь.

Долгие размышления привели Александра Вадимыча к неожиданной мысли, что все ерунда и никакой трагедии между Катей и князем нет, — мало ли, кто блудит, на то и свет разделен пополам, и безо всего этого была бы скучища, хоть подохни.

Тогда он ударил кулаком по столу и воскликнул: «Помирю!» И чтобы привести себя для этого в легкое настроение, умышленно принялся думать о вещах более или менее приятных.

Для этого он взял карандаш, разыскал заклеванный мухами листок бумаги и нарисовал зайца.

— Ишь улепетывает, косою, — пробормотал Волков. — А не хочешь — я за тобой лису пушу? — И нарисовал позади зайца лису. — Охота тебе зайчатинки, — продолжал Александр Вадимыч. — Ах, шельма, а волка боишься? Вот он, толстолобый, бежит — хвост поленом. Обоих вас сожрет, голубчики. А я на тебя — собачек, с подпалинами, — густопсовые, щипцатые. Ату его, милые, ату, голубчики, не выдавай, улю-лю!

Волков, нарисовав собак, до того разгорячился, что, приподнявши над стулом зад, хватил по нему пребольно рукой, думая, что это иноходец. Потом отложил карандаш, посмеялся и, довольный, вышел из кабинета, по пути приказывая звать всех к ужину.

Два кухаркиных сына помчались искать гостей. Волков же прошел к дочери. Катя, одетая, сидела на постели.

— Ну, дочка, побушевали и будет, приходи ужинать, — сказал он, и когда Катя отказалась было, он так засопел, что она тотчас проговорила:

— Хорошо, папа, приду.

Кухаркины дети нашли гостей на выгоне, где князь и доктор ходили от амбара до канавы. Князь, когда его позвали, поспешно повернул к дому, Григорий же Иванович принялся доказывать мальчишкам, что есть не хо-

чет, а просит дать ему лошадей. Потом рысью догнал князя.

В небольшой столовой Александр Вадимыч встретил гостей словами:

— Я, господа, полагаю, что бы там ни случилось, а вся сила в желудке,— прошу.

И, указав рукой на круглый стол, сел первый, обвязал вокруг шеи салфетку.

В это время вошла Екатерина Александровна, очень бледная, с тенью под глазами. Ни на кого не глядя, быстро села она против отца. Лицо ее было спокойное и гордое, только внизу, на открытой шее, на горле, чуть заметно вздрагивала и билась жилка.

— А вот и наша болящая! — воскликнул Александр Вадимыч.— Катюша, а ведь ты не здоровалась с князем...

— Здоровалась,— ответила Катя резко.

Алексей Петрович, словно ему не хватило воздуха, вытянулся на стуле. Григорий Иванович опустил лицо и вилок царапал скатерть.

Но не так-то легко было сбить с толку Александра Вадимыча. Захватив усы, оперся он о стол и обвел всех веселыми глазами. Молчание продолжалось. Кондратий, неслышно ступая, обносил блюда и лил в стаканы вино. Доктор, у которого даже ладони запотели, первый поглядел на хозяина,— у Александра Вадимыча прыгали неудержимым смехом глаза.

— Ерунда! — крикнул он, хлопнув по столу.— Надулись, как мыши. Подумаешь — беда какая! Катька, подбери губы — отдавят! А по-моему, коли доктор здесь, то я говорю, чтобы у меня был внук! Ага, шельмецы, стыдно? Вот и все устроилось... И — никаких!

При этом он для большего действия раскатился таким смехом, что, казалось, все, и даже Кондратий, должны схватиться за бока. Но сощуренные глаза Александра Вадимыча отлично видели, что смех не удался. Князь напряженно улыбался, Григорий Иванович поднес было ко рту цыплячью ногу, да так с ней и застыл, мучительно сморщив лоб. Катенька подняла на отца глаза, темные от злобы и тоски, и сказала, едва сдерживаясь:

— Папа, перестаньте, я уйду.— И сейчас же щеки ее залил густой румянец. Она поднялась.

— Стой! Не смей уходить! — уже гневно закричал Волков.— Я объявляю: вот жених, а вот невеста. Подойди, князь, вались в ноги, проси прощения.

Князь, страшно побледнев, медленно снял салфетку, встал, фатовски приподняв плечи, подошел, подрагивая коленками, и сказал омерзительным голосом:

— Надеюсь, дорогая, вы простите мне все прошлое,— при этом схватил и сжал ее руку.

Катя медленно, как во сне, высвободила руку, побледнела до зелени и тяжело ударила князя по лицу.

4

Так внезапно оборвался хитро задуманный Волковым ужин. Князь стоял, опустив голову, лицом к двери, в которую стремительно вышла Катя. Григорий Иванович закрыл руками лицо. Волков же, держа вилку и нож, свирепел, поводя глазами.

Вдруг вошел Кондратий. Рот его был решительно сжат, глаза колючие, большим пальцем он показал через плечо и проговорил:

— Конюшонок докладывает, что баба эта — давешняя — сейчас из амбара убегла и очень нерасторопна насчет воды...

— К черту с бабой! — не своим голосом закричал Александр Вадимыч.— Иди к черту с своей бабой! Понял?

Кондратий, мотнув головой, скрылся. Волков сдернул с шеи салфетку, подумал, рванул салфетку и, широко расставляя ноги, побежал в коридор за дочерью.

Князь же присел к столу, налил вина, подпер покрасневшую щеку и усмехнулся.

— Все это мелочи,— сказал он.

Григорий Иванович сейчас же отошел от стола, дрожа так, что стучали зубы. Вдалеке слышно было, как Волков дотопал до конца коридора, и оттуда донесся глухой его голос.

— Как смешно: «нерасторопна насчет воды»,— сказал князь.— Правда?

Он усмехнулся, дернул плечом и на цыпочках подошел к двери, на один миг припал, ослабев, к дверному косяку и вышел.

«Они все погибнут сегодня же,— подумал Григорий Иванович.— Что они делают? Все это князь... Он — как зараза. Почему не прогонят его?.. Выгнать и сказать: не огорчайтесь, Екатерина Александровна, я же люблю вас как... Что — как? Я просто дурак! Уйду отсюда пешком, сию минуту. Не понимаю здесь ничего. Какой любви им нужно? Им нужно мучиться — вот что, а не любить. А я и без нее проживу, у меня своего много, на всю жизнь хватит... А вот она отравится сейчас, непременно отравится, а я о себе забочусь. Чему обрадовался? Да я последний мерзавец, если так. Все только о себе думают: и князь, и Волков, и я, этим и замучили ее... Святая моя, несчастная...

Григорий Иванович запутался и в тоске не знал — уйти ли ему, или ждать? А чтобы не слышать ужасных этих голосов в конце коридора, отправился в сад, постоял у темных кустов, вспоминая, что же еще случилось скверного, и вышел на выгон к амбару.

«И Саша в этот водоворот попала,— думал он, глядя на раскрытую дверь амбара.— Как завертит вода воронкой — все туда затянет...»

И сейчас же понял слова князя: «Как смешно — нерасторопна насчет воды!» Саша бросилась в пруд... Конечно... Выбежала из этой двери, кинулась по выгону и — в пруд!

Григорий Иванович охнул и побежал, болтая руками. На берегу пруда, там, где вода была черная от тени ветел, стояли Кондратий и конюх. У ног их на траве навзничь лежала Саша. Конюшонок, сидя на корточках, глядел в ее неподвижное, с раскрытым ртом, белое лицо.

— Ничего, отойдет,— сказал конюх подбежавшему Григорию Ивановичу.— Как я ее потащил — дышала еще, отдыхается.

— Отдышится,— сказал Кондратий.— Обморок.

Григорий Иванович присел над Сашей, расстегнул, обрывая пуговицы, черную кофту и приложил ухо под ее твердую, высокую грудь,— она была еще теплая. Тогда он начал закидывать ей руки, нажимать на живот, приподнимать и опускать ее тяжелое тело. Конюх, помогая, рассказывал:

— Видим, баба бежит, непременно это она, говорю, и покликал: «Саша, а Саша». Она — ничего, подошла,

только трясется, как больная. Я спрашиваю: «Барин выпустил тебя?» — «Выпустил». И на воду глядит. «Куда же ты, говорю, пойдешь, Саша?» — «Прощайте», — отвечает, да так заплачет — и пошла к плотине. Я еще посмеялся — очень плакала шибко. А она зашла на плотину и зовет: «Конюх, ты здесь?..» — «Иди, проходи плотинуто», — кричу ей, а самому уж страшно... Вдруг она — бух в воду...

— Дяденька, она с плотины не тебя звала, — сказал конюшонок.

— А ты молчи, — цыкнул конюх и щелкнул конюшонка по стриженному затылку. — Мальчишка противный!

Григорий Иванович, наклонясь к Сашину рту, старался вдунуть в нее воздух, руками раздвигал за плечи ее грудь. Вдруг холодноватые губы ее дрогнули, и Григорий Иванович быстро отвернулся, словно от неожиданного поцелуя. Саша пошевелилась. Ее приподняли, посадили. Из раскрытого ее рта отошла вода. Саша закатила белки глаз и застонала.

— К садовнику в теплушку отнести женщину, — сказал Кондратий. — Ах, баба, дурья голова...

5

В конце белого коридора, прислонясь затылком к двери, покрытой ковром, стояла Катя и упрямо сжимала губы на слова отца, который все старался схватить ее руку, но она заложила руки за спину. Князь стоял неподалеку, под висячей лампой.

— Я тебя заставляю извиниться, — заикаясь от злости, повторял Волков. — Это откуда у тебя мода — по лицу драться? Ты от кого научилась? Дай-ка руку, дай! Я тебе говорю — извинись!

Но Катенька еще крепче прижалась к пестрому ковру, коса ее развилась и упала на плечо, круглое колено натянуло шелк серого платья, охватившего стан под высокой грудью.

Князь уловил это движение и, глядя на колено, почувствовал знакомую боль в груди. Чувство было острое и ясное. Нечаянно согнутое колено будто распахнуло перед ним все покровы, и Катенька представилась женой,

женщиной, любовницей. Он покусал пересохшие губы и двинулся вдоль стены.

— Да ты шутишь, что ли? Или я сплю? — продолжал Александр Вадимыч, с которым никогда не случилось столько неприятностей подряд. На мгновение ему показалось, что не сон ли это, и он сейчас же затопал ногами, крича: — Отвечай, каменная! — Но дочь продолжала молчать, и он повторял, теряясь: — Проси прощенья, ну же, проси прощенья!

— Нет, лучше умереть! — быстро сказала Катенька. Она глядела на медленно подходящего князя, и брови ее сдвигались. Она не понимала, на что он глядит, зачем подходит, и, следя, вытянула даже шею, и вдруг, поняв, залилась румянцем и подняла руку...

Александр Вадимыч потянулся, чтобы схватить дочь за руку, но не поймал и сердито крякнул, а князь, подойдя, проговорил глухим голосом:

— Екатерина Александровна, теперь еще почтительнее прошу вас не отказать мне в вашей руке.

Глаза его были сухие, немигающие, страшные, лицо обтянулось. Волков воскликнул:

— Ну вот видишь, Катюшка! Эх, дети, плюньте, поцелуйтесь!

Но Катенька не ответила, только нагнула голову и, когда отец подтолкнул было к ней князя, быстро скользнула за ковер, хлопнула дверью и щелкнула ключом.

— Видели?.. — закричал Волков — Нет, врешь!

Он приналег плечом на дверь, но она не поддавалась, и он принялся колотить в нее кулаками, потом повернулся и ударил каблуком.

— Не нужно, оставьте, уйдем, — зашептал князь в необычайном волнении. — Я знаю, что она ответит. Уйдем, ради бога.

Но упрямого Волкова долго еще пришлось уговаривать. Наконец он отер пот с лица и сказал:

— Вот, брат, не так-то просто дочерей замуж выдавать, — штука трудная, вспотеешь. Только уж ты, пожалуйста, молчи, не суйся. Я сам все устрою.

Когда в дверь перестали стучать и шаги затихли, Катенька легла ничком на кровать, обхватив обеими руками подушку.

«Так его и нужно, и хорошо»,— повторяла она, видя (словно подушка была прозрачная) глаза Алексея Петровича, сухие и страшные. Боясь понять то, что она прочла в них, Катенька повторяла гневные слова, но они уже потеряли и остроту и смысл, словно весь ее гнев ушел в тот безобразный взмах руки, словно этим ударом она связала себя с князем так сильно, как никогда не вяжет любовь.

«Господи, сделай так, чтобы не было сегодняшнего дня»,— повторяла она и не могла вздохнуть, не видела пути к освобождению. Ее ненависть, злоба, ревность, вся гордая воля разбилась, как стекло, от взмаха пощечины; и князь, конечно, захочет — и возьмет ее теперь, как свое, а захочет — бросит: все в его воле...

Словно огнем, обожгло ее воспоминание, как он подошел, застегивая сюртук: «Надеюсь, дорогая...» — «Конечно, притворство все это — ведь мучился же он тогда в беседке, рассказывая. А быть может, лгал? Ведь ни слова тогда не сказал про Сашу... Нашел кого любить!.. И не любовь это, конечно, а ужас, невыносимое распутство! Ведь недаром отец едва не задушил Сашу». В ушах Катеньки опять повторился давешний крик. Она быстро села на кровати. «Да кто же он такой, если по нем такая мука? В чем он лжет? Кого надо ему? Для чего он и ту, и Сашу, и меня?.. Кого любит? Для чего ему я? Значит, нужна для чего-то? Чужой он? Никогда меня не любил? Что делать? Знаю, знаю,— он будет настаивать, и я выйду за него, знаю. И выйду, выйду и отомщу, назло всем выйду за него. Пусть он не смеет равнять меня с теми... Нарочно на муки пойду. Не удалось любить, и не надо... Не хочу никакой любви».

Катенька спустила с кровати ноги в белых чулках, подперла щеки, и на платье ей, на колени, закапали частые слезы. И с новой остротой почувствовала, что нет ей теперь жизни, нет выхода, и подавила крик и — пуще заплакала.

Наконец долгие слезы облегчили ее. Еще вздыхая и вздрагивая плечами, Катенька медленно расстегнула смятое платье и подошла к зеркалу. В глубоком зеркале, освещенном с боков, увидела она свое лицо, совсем новое. «Красавица-то какая, милая, бедная Катюша»,— прошептала она в отчаянии, вглядываясь. И потом, дале-

ко за полночь, сидя перед зеркалом. думала о себе, грустно и тихо, как будто сегодняшним днем кончилась в жизни ее радость.

СУДЬБА

1

Князь остался в Волкове. Ему были отведены парадные комнаты, куда из Милого перевезли нужные для обихода вещи. Из парадных этих комнат Алексей Петрович не выходил никуда. С утра ложился он, тщательно одетый и выбритый, на софу и проводил на ней время, разглядывая ногти и думая. Когда в дверь просовывалась голова Александра Вадимыча, приносившего известие о судьбе переговоров с дочерью, князь показывал вид, что дремлет.

Алексей Петрович отлично сознавал, что только здесь, близ Кати, последнее его спасение. Он понимал также, что с каждым днем его пребывания в Волкове увеличивается надежда на согласие Кати: уже по всему уезду говорили о пощечине и о Саше, добавляя такие подробности, от которых дамы выбегали из комнат. Да и для самого Александра Вадимыча подобное положение вещей казалось самым подходящим. Он с утра отправлялся к дочери, садился в кресло у окна и говорил:

— Фу ты, как пудрой здесь воняет Прихорашиваешься? — и в ответ на равнодушный взгляд Кати фыркал и продолжал: — Чего этим девкам надо, не понимаю, — ангела, что ли, тебе надо? Вот твоя мать покойная — уж на что была женщина деликатная, с английским воспитанием, а приналег я на нее — и вышла за меня замуж, хотя плакала действительно много. Вот какие дела, дочка, — поплачешь, а будешь княгиня.

От дочери он шел к Алексею Петровичу и, если тот не притворялся спящим, садился у него в ногах на кушетке, трепал его за коленку и говорил:

— Сдается. Бес девка. И надо же было тебе так наблудить мерзко! Ну уж ошибся — должен молчать. Од-

ного не пойму, почему ты до сих пор не сватался? Повенчали бы уж вас,— за границу бы уехали.

— Действительно, не понимаю, отчего я раньше не сватался,— отвечал князь и после ухода Волкова смеялся про себя.

Первое свидание жениха и невесты произошло в саду, на скамейке. Волков привел сначала князя, потом Катю, сам же, воскликнув: «Батюшки, телята в малинник ушли»,— убежал.

Князь и Катя долго сидели молча. Катя перебирала концы платка, князь курил. Наконец он бросил папироску и сказал, отворотясь:

— Если бы вы своей охотой шли за меня, любили — я бы на вас не женился.

Катенька побледнела страшно, пальцы ее запутали бахромку платка. Она продолжала молчать.

— Давайте кончим это, повенчаемся,— сказал он тихо и печально.

Тогда краска стыда и гнева залила Катины щеки, она резко повернулась к нему.

— Я вас ненавижу! — крикнула она.— Вы мучаете меня! Вы губите меня нарочно! Другой вы разве не нашли на свете?

— Катя, вы страшно умны, вы все должны понять,— перебил князь поспешно.— На будущей неделе мы венчаемся? Да?

— Да,— ответила она едва слышно, поднялась, постояла мгновение и ушла, не оборачиваясь.

2

Употребление так называемой «щетки» — очень древнего происхождения. «Щетка» готовится из капусты, хрена, тертой редьки и огуречного рассола, едят же ее после пиров.

Но никакой «щеткой» нельзя было выгнать угара волковской свадьбы, на которую собрался почти весь уезд. Словно на веселую ярмарку скакали, поднимая пыль по проселочным и почтовым дорогам, коляски, шарабаны, тарантасы,— даже трудно было понять, откуда вдруг взялось столько дворян в уезде.

Только старики, дамы и девицы поместились в небольшой колыванской церковке, остальные гости расположились на паперти, держа цветы и овес, чтобы осыпать князя и княгиню.

Отец Василий, в золотом облачении, читал медовым голосом, молодые стояли рядом на пунцовом платке, около них мальчик в голубой рубашке держал образ. Вокруг шел легкий говор и шепот нарядных дам. Екатерина Александровна, со свечой в руках, глядела на огонь спокойно и серьезно.

— Ужасно мила! Ангел! — шептали дамы.

Князь, очень маленький от черного фрака, серьезный и бледный, внимательно исполнял торжественный обряд.

Когда священник поднес вино, князь едва коснулся краев корца, а Катя выпила все до дна, не отрываясь, словно жаждала. На клиросе запели «Исаия ликуй», священник соединил руки жениха и невесты. Катя, ударом колена преодолевая упругость шелка и волоча шлейф, быстро пошла вокруг анаоя, и все увидели, что князь сильно прихрамывает, стараясь поспеть за невестой.

— Нет, все-таки он мелок перед ней, — решили дамы.

Из церкви гости, с молодыми во главе, двинулись в Волково. При выезде из Колывани Катенька увидела доктора Заботкина, — он взлез на плетень и махал носовым платком. Она быстро отвернулась.

В большом зале Александр Вадимыч встретил молодых с иконой древнего письма — нерукотворным спасом, благословил и при гостях приказал внести приданое. Четыре парня в малиновых рубахах внесли большой серебряный поднос, на котором столбиками стояли червонцы.

— Вот, не осуди, князь, чем богаты, — сказал Волков.

Князь и княгиня после благословения вышли в разные двери, переоделись и, найдя друг друга в саду, просидели у пруда до тех пор, пока им не подали лошадей. Гости высыпали на крыльцо, набились в окна и громкими криками проводили молодых. Волков прослезился. Пир продолжался до заката. В сумерках в соседнем зале, где месяц назад в лунном свете кружилась Катенька, грянули с хор музыканты...

Но уже мало было кавалеров, способных двигать ногами, — девицам пришлось танцевать «шерочка с машерочкой». Весельчаки заперлись в курительной и там грототали. Старики сели за зеленое сукно. К полуночи капельмейстер, махая палочкой, до того намахался, что мотнул носом, ухватился за барабан и вместе с ним повалился как мертвый.

Этим окончились танцы, и дамы с дочерьми уехали, а молодежь и мужья без дам остались ночевать, и до утра — иные бились в карты, иные бушевали по дому. Ртищевы в саду показывали силу, Александр Вадимыч уже давно потерял голову и то разнимал буянов, то присаживался к карточному столу, без толку глядя на карты и свечи, и все что-то вспоминал.

Ни бледный рассвет, ни знойный июльский день не угомонили гостей, и только на трети сутки разъехались последние из них от Волкова и мчались на застоялых конях без дорог, в перегон и угон, завывая колокольчиками на страх мужикам, которые, сняв шапки, долго еще глядели вслед прокатившему, говоря:

— Ишь ты, как пропылил, дьявол гладкий!

3

Доктор Заботкин висел на заборе и махал платком вслед поезду новобрачных, выражая искреннее удовольствие тому, что все, наконец, устроилось по-хорошему. Все это время Григорий Иванович жил в умилении от себя и от людей. Умиление началось с того часа, когда перенеся Сашу в сторожку садовника на деревянную кровать, он остался сидеть один около заснувшей молодой женщины.

Огарок в бутылке, поставленной на бочке, освещал дощатые стены сторожки, паутину в углах, разбитое окно, заросшее черным и глянцевитым плющом, и между печью и стеной лежащую под полушубком Сашу.

Она вздрагивала иногда в ознобе, натягивала полушубок, отчего открывались голые ее ноги или сползала пола, — тогда Григорий Иванович вставал и заботливо поправлял одежду.

Наклонясь, он подолгу глядел ей в лицо, — оно было кроткое и во сне, и казалось, что он где-то уж и видел

и любил эти ясные, родные черты. На душе было тихо, весь сегодняшний день отошел далеко в память, и было бы странно подумать сейчас о каком-то другом еще мире, кроме этой ветхой избенки и спящей Саши.

Григорий Иванович вновь подсаживался к свече и, заслонив свет ее ладонью, слушал, как дышит Саша, или как птица, просыпаясь, ворочается в кусту, или вдруг принимаются шелестеть листочки осины. Ветерок, влетев в окно, колебал огонь свечи,— тогда Сашино лицо от скользящих теней во впадинах глаз точно хмурилось. Григорию Ивановичу казалось, что только эту тишину, полную таинственного значения, он и должен любить, и самому теперь нужно стать таким же тихим и ласковым, как тени на Сашином лице.

«До какого же отчаяния дошла, какая же мука была у нее, если, не жалуясь, побежала скорее, скорее и — в пруд, в воду, и — конец. Кто я перед этими муками? Комар, мразь,— думал Григорий Иванович.— Полез к богатым, до тошноты счастливым людям, явился со своим самомненьишком, с красной рожей... Очень, очень противно! А она проснется и спросит: как теперь жить? Что ей отвечу? Служить буду вам до конца дней,— вот что ей надо ответить. Вот задача — простая и ясная, вот в жизни и долг: послужи такой женщине, сделай так, чтобы забыла она...»

Григорий Иванович не замечал, что разговаривает вслух. Саша пошевелилась,— он обернулся и увидел, что она, приподнявшись, глядит на него большими темными глазами. Испугалась ли Саша этого бормотания, или вспомнила давешнее, или была еще слишком слаба,— только она подобрала ноги, натянула полушубок до подбородка и застонала.

Григорий Иванович тотчас присел у ее изголовья и, глядя ее волосы, стал рассказывать про все, о чем только что думал.

— Барин, милый, оставьте лучше меня. Ничего, ничего мне не надо, благодарю вас покорно,— ответила Саша, и заплакали и она и Григорий Иванович: она горько, он — от радостной жалости.

Первые дни, возвратясь домой, на постоянный двор, Саша жила так, словно забыла обо всем. Григорий Ива-

нович заходил ежедневно, спрашивал, не может ли ей чем помочь, и с папироской садился на крылечке. Саша, проходя мимо, говорила: «Зашли бы, Григорий Иванович, в светелку, а то здесь блох наберетесь», — и все что-то делала, работала по двору и по дому. Однажды он застал Сашу на огороде у плетня. Она глядела в степь, лицо ее было спокойное и важное, глаза мрачны, голова повязана черным платком.

— Уйти хочу, сил больше нет, думается, — сказала она.

Тогда Григорий Иванович почувствовал, что жить ему больше незачем. Он до того растерялся и упал духом, что мог проговорить только:

— Саша, если не очень уж я противен, вышла бы за меня замуж.

Саша помнила смутно, что рассказывал ей тогда ночью Григорий Иванович, и сейчас поняла: «Он несчастный», и пожалела его, и он стал ей вдруг мил, как ребенок.

Теперь каждый день она стала забегать к доктору. Вымыла его избу, окна и двери, чинила его белье, сама поправила печь в баньке, что стояла полуразвалившаяся на обрыве над речкой. Баньку она истопила и велела Григорию Ивановичу пойти попариться. Когда же он вернулся, распаренный, усталый и счастливый, Саша ждала его с самоваром, — в избе было чисто, пахло вымытым полом, шалфеем, восковой свечечкой, зажженной в углу.

Но когда он заговорил о свадьбе, Саша качала головой.

— Не нужно нам этого, Григорий Иванович, — грешно, нехорошо.

А потом увидела, что он плохо спит, и страдает, и вздрагивает, когда она нечаянно к нему прикоснется, и согласилась.

Плакала до того, что голову всю разломило, но согласилась: видно, против человеческого не пойдешь. Отец Василий, всем этим очень довольный, перевенчал их в конце лета. А на свадьбе выпил три рюмочки и даже сплясал: Григорий Иванович бил в ладоши, а отец Василий топтался, приговаривая: «Ходи изба, ходи печь».

Двумя свадьбами как будто благополучно окончилось лето. Григорий Иванович вместе с Сашей жил пока в избе, ожидая, когда отстроят земскую больницу.

Въезжую Саша сдала и все время теперь отдавала мужу, стараясь понять его, угодить, не раздражать бабьим своим видом; и хотя на селе тотчас прозвали ее «докторшей», она продолжала носить платочек и темные ситцевые платья. Григорий Иванович понял это и не настаивал на ином. Каждый день он читал ей вслух что-нибудь и старался также ни одного дела и ни одной мысли не скрывать от Саши, быть с ней — как один человек.

Молодые князь и княгиня Краснопольские катались по Европе, посылая открытки из разных городов, чему Волков, географию знавший слабо, много дивился: сегодня, например, пришло письмо из Италии, а завтра — из Франции. «Как блохи скачут», — говорил он Кондратию, который из вежливости произносил: «Тсс...»

Кончив уборку хлеба, Александр Вадимыч принялся отделывать в Милом княжеский дом. Партии штукатуров, обойщиков и столяров стучали молотками по высоким залам, повсюду воняя клеем, известкой и стружками. Сам Волков с утра являлся в Милое, причем для порядка до того громко кричал, что рабочие прозвали его «пушка-барин» и нисколько не боялись.

В конце сентября, когда с открытием в губернии конской ярмарки оживает весь уезд, начинаются вечера, охоты и свадьбы, стал поджидать Александр Вадимыч молодых и быстро закончил работы в Милом. Вдруг письма из-за границы прекратились. «Неужели в Америку махнули?» — подумал Волков и через несколько дней получил телеграмму: «Еду, Катя».

Всполошился Александр Вадимыч, выбрал лучшую тройку белых, как снег, коней (это был подарок молодым по случаю приезда) и долго колебался: уж очень хотелось самому выехать на вокзал, но сдержался, только строго наказал кучеру, стуча пальцами в его лоб: «Смотри у меня, духом лети, а как отвезешь князя и княгиню, сыпь обратно. Да не забудь сказать, что лошади — презент». Но едва тройка скрылась за горой, Александр Вадимыч расстроился, пригорюнился, сел у окна. Стало ему почему-то жалко дочь, Катю: «Выдал замуж сгоряча.

А девица хорошая, кроткая, сирота... И какого черта я тогда думал? Ах, боже мой, боже мой, вот ведь как это все не того... Не такого бы ей надо мужа...»

Вечером вернулся кучер верхом на меринке из княжеской конюшни. Соскочил у крыльца и вошел прямо к Александру Вадимычу, у которого даже голова затряслась от волнения...

— Ну что? Привез?

— Привез, Александр Вадимыч, слава богу, благополучно.

— Веселые приехали?

— Ничего, все слава богу...

— А что барин, князь?

— Вот его будто я и не видал...

— Как не видал? Да что ты молчишь!.. Говори, голову оторву!

— Да так, князь-то, видишь ты, не приехал. Одну нашу барышню я привез.

Александр Вадимыч только рот разинул. Вошел Кондратий со свечами. Волков, сидя в кресле, перевел на него глаза и сказал:

— Беда случилась, Кондратий Иванович...

— Что такое?

— Поезжай-ка ты туда сейчас, да и разузнай... Ах, боже мой, чуяло мое сердце...

5

Екатерина Александровна приехала действительно одна, без мужа. Встреченная управляющим, Катя прошла в зал, сняла дорожное пальто, шляпу и вуаль. Стоя у окна, долго глядела на парк, на Волгу внизу, на луга Заволжья. Глядела долго. Вздохнула и обернулась к управляющему, который, стянув на животе, сколько мог, синюю куртку, чтобы не так уж лезть в глаза утробой, почтительно ждал.

— Князь вернется через некоторое время, — нахмурясь, проговорила Екатерина Александровна. — Его задержали дела. Отчет по хозяйству и дому вы дадите мне, покажете все книги...

— Желаете, ваше сиятельство, сначала осмотреть дом или же принести книги? — спросил управляющий.

— Нет, нет, книги потом,— и она пошла по всем комнатам, спрашивая, где кабинет князя, где спальня, где больше всего любил он сидеть...

Залы внизу были холодные и высокие. Катенька поднялась наверх, в покои князя, но только заглянула туда и приказала все комнаты внизу и наверху, кроме столовой-зала, наглухо закрыть до весны; для себя же выбрала зальце с цветными стеклами и роялем и рядом небольшую, совсем белую комнату, где около изразцовой и круглой, как башня, печи поставили кровать и умывальник...

Когда управляющий, скрипя сапогами, ушел, Катенька вернулась в зал, села за колоннами у столика, облокотилась на зеркальную его поверхность (в ней опрокинулись красивые ее руки в узких до локтя рукавах), прикоснулась щекой к скрещенным пальцам и опять стала глядеть на парк, реку, луга.

Лицо у нее похудело, потемнели пышные волосы, окруженные короной вокруг головы, и дорожное темное платье с кружевами вокруг шеи было строгое и теплое, как у женщины, которая не разрешит себе ни резкого движения, ни опасной мысли, если это может нарушить покой.

Сад за окном увядал и осыпался. Между темных конусов елей нежно желтели поредевшие, поникшие березы, сквозь тонкие их веточки сквозило небо. Старый клен на поляне разлапился, весь налился пурпуром, вот-вот готовый хмуро уснуть. Еще зеленели липы, но высокие тополя совсем облетали, и бронзовые листья их устилали дорожки и скошенную траву. Глядя на это увяданье, на синюю реку внизу, где полз перевоз, думала Катенька, что теперь наступает долгий, страшно долгий покой.

Три прошедших месяца она твердо решила не вспоминать — запереть их на ключ и жизнь построить разумную, суровую.

Вдохнув запах увядания, вместе с ветром проникший сквозь полуотворенную раму окна, она почувствовала горячую каплю на щеке.

— Ну, вот этого не надо,— сказала она.— Раз решила, так и будет.

Она быстро обернулась, ища платок, встала, взяла сумочку, вынула платок, отерла глаза, налила на пальцы

духов, смочила виски и позвонила. Вошел лакей, и Катенька приказала ему достать из чемодана бьювар.

Настали сумерки,— их-то и боялась Катенька больше всего. Стоя спиной к окнам, ждала она, когда зажгут свет. Лакей принес бьювар из красного сафьяна, взлез на стул и одну за другой зажег свечи в люстре над столом.

Тотчас теплый свет залил лепной потолок, белые стены и погнал синеватые тени за колонны, затеплив позолоту на их завитках.

Катенька села к большому столу, подумала и написала:

«Алексей, я вас прощаю. Я много думала за эту дорогу и решила, что вы должны жить со мной, это необходимо для моего спокойствия. Мы будем как брат и сестра, как друзья».

Она перечла, постучала каблучком о паркет, подняла хрустящий листок письма, чтобы разорвать, но раздумала и запечатала.

В это время высокая дубовая дверь в глубине потихоньку начала раскрываться, и между половинок показалось морщинистое бритое лицо.

— Кондратий! — воскликнула Катенька.

Он, вскрикнув, подбежал и припал к плечу.

— Здравствуй, милый, голубчик,— проговорила она, взяв старика за виски и целуя.— Что у нас? Папа что?..

— Ненаглядная Катюшенька, истосковались мы, какое наше стариковское житье— все о тебе думали.

— Правда? Я так и знала. Конечно, надо было сейчас же к папе поехать, а я сюда. Но мне очень тяжело было, Кондратий.

— А князюшка где? — спросил он шепотом.

— Не знаю, Кондратий, ничего не знаю. Озлобилась я немного.

Она опять вынула из сумки платок и заплакала. Кондратий коснулся ее волос, заглядывая в лицо.

— Кондратий, ведь муж меня бросил,— сказала Катя.

— Батюшки-светы!..

Когда она успокоилась немного, рассказала все, как было. Кондратий долго молчал, поджимал трясущиеся губы, потом проговорил, грозя пальцем:

— Вот он каков! Нет, Катюша, это ему так не пройдет.

Катенька не захотела ночевать в Милом, и к полуночи она и Кондратий въезжали в Волково. Уже на плотине Катенька начала волноваться, вдыхая родимый запах прудов и грачиных гнезд. Фонари коляски освещали то лаз через канаву, то угол амбара у крыльца (оно показалось маленьким и тесным). В двух первых окнах был свет, и Катенька различила в окне склоненную голову отца.

— Смотри, ничего не говори, понял? — торопливо прошептала она, дергая Кондратия за рукав.

6

Когда Александр Вадимыч, поддерживая халат, выбежал в сени и припал к дочери, спрашивая: «Дочурка, радость моя, что случилось?» — Катенька солгала, — сказала, что князя задерживает в Петербурге неотложное дело.

Волков поверил — не такой он был человек, чтобы не верить, — хитростей не понимал, а какое дело задерживало князя — не спрашивал подробно: бог их разберет, чужие дела, примешься расспрашивать, да и влезешь как шмель в паутину.

Катеньку он сразу обозвал «княгинюшкой» и повел в малую столовую, где валил до потолка паром большой самовар.

— Хороша, ей-богу, породиста, Катерина, — говорил Александр Вадимыч, повертывая дочь за плечи. Сам налил ей чаю и предлагал всякой еды.

У Катеньки даже слезы навернулись, но она прогнала их, крепко зажмурясь.

— А я все хандрю без тебя, — говорил отец. — Отвык, знаешь, один жить... Не езжу никуда. Все на меня рассердились. А тут еще беда: купил я паровик, потащили мы его через Колыванку, он через мост и провалился. До сих пор из воды труба торчит. Ну, а ты, душа моя, как съездила? Я вас блохами обозвал. А князь? Ах, да. Что же, на старой кровати ляжешь спать? Утомилась, я чай, с дороги. Знаешь, Катюша, я весьма рад тебя видеть.

После чая Александр Вадимыч, болтая и суетясь, повел дочь в девичью ее комнату. Катеньке становилось все

тоскливее: так радовалась она, подъезжая, — но отец и слова его и все вокруг — все потускнело. Или отвыкла она от всего, или выросла? Прощаясь с Александром Вадимычем у двери, завешенной ковром, особенно поняла она, что одинока и нечем этому одиночеству помочь.

В комнате не было перемен. Катенькино сердце ужасно билось, когда, войдя, увидела она туалет, карельские кресла, кровать, даже туфельки свои на ковре. Но не прежний уют, запах духов или свежесть пролитой воды, а нежилой холодок охватил ее плечи, когда, сняв платье, села она на кровать и стала глядеть в темное окошко.

Как будто жила здесь другая Катенька, веселая и невинная, и умерла, и ее было очень жалко. Жалостным вспомнился и Александр Вадимыч — уж очень желал угодить: и суетился и болтал о мелочах, а сейчас, обиженный ее равнодушием и тем, что ушла она рано спать, даже не поцеловалась с ним на прощанье, наверно вздыхает у себя в кабинете.

Катенька встала и хотела пойти к отцу — сказать, что очень любит его и сама нуждается в ласке. Но, покачав головой, легла под влажные простыни.

«Жаль, что у меня нет сестры, — подумала она. — Я бы ее с собой сейчас положила, поцеловала бы милые волосы, объяснила, что «женщине очень трудно жить, очень трудно».

Все следующие дни у нее была ровная и тихая грусть. Катенька ходила медленно по дому, с улыбкой слушая отца, который повеселел и показывал разбираемые им теперь письма и дневники (новое чудачество), сидела на скамейке в саду, подняв голову, глядела, как увядший лист, зацепившись за паутину, покачивается — не может упасть. Деревья были словно из золота на темно-синем небе, — так бывает в хрустальные дни бабьего лета.

Потом она уехала в Милое. Ей слишком тяжело было скрывать от отца правду. Время пошло однообразно, не нарушаемое ничем. Разлетелись было помещики с визитом к молодой княгине, но всем было сказано, что Екатерина Александровна больна.

Помещики обиделись, а Цурюпа стал из-под полы распускать разные слухи.

Катя ждала ответа от мужа и, чтобы не думать, не очень скучать, ходила по хозяйству каждый день, надевая бархатную шубку, отороченную серым мехом.

Надвигалась осень. По утрам на пожелтевшей траве лежал иней, отчего зелень казалась сизой. Иней подолгу лежал и на скагах крыш, и у колодца, откуда черпали в глубокие колоды студеную воду, пахнущую илом, и на перилах балкона, и на листве.

Каждое утро заходила Катенька на конюшню, и конюхи весело отвечали ей на вопросы, улыбаясь, словно она была маленькой. Управляющий, завидев на дворе княгиню, кланялся издали и озабоченно уходил куда-нибудь в амбар, гремя ключами (Катенька невлюбила управляющего, а он, не приглашаемый к ее столу, обижался). Спросив у пастуха об овцах — не унес ли какую-нибудь волк этой ночью, — заглядывала она и на скотный двор, покрытый навозом. Скотница, сидя на скамейке, под коровой, доила парное молоко в звенящую дойницу; оставив соски, вытирала рот и наклоняла голову, — кланялась подошедшей барыне. Однажды скотница спросила, сколько Катеньке лет, и назвала при этом барышней и ягодкой.

На дворе около людской восемь поденщиц-девок начали рубить капусту в коротком корыте — весь день бойко стучали тятками. Кочаны лежали на пологе, и, сидя тут же на корточках, два чумазых мальчика грызли острыми зубами студеные кочерыжки.

Завидев барыню, девки повертывали к ней румяные лица и перешептывались. Катенька заглядывала в корыто, — пахло сладким и чесночным духом капусты, — спрашивала, много ли нарубили, и улыбалась здоровым девушкам, спрашивая:

— Вы ведь все девки — незамужние?

— Вот Фроську косую у нас пропить будут, только женихи все разбежались, боятся — с косого глаза впотьмах мужа не признает.

Они звучно смеялись над некрасивой Фроськой. Катенька, отойдя, думала с грустью, что нужно будет опять провести этот день одной.

Дома она, заложив за спину руки, ходила по комнате или, присев у печи и касаясь спиной и затылком теплых изразцов, глядела через окна на небо, по которому с севера шли облака, полные снега.

Снег выпал сразу — наутро покрыл всю траву, садовые скамейки, лег подушками на пнях. Деревья стояли в инее. Белый, словно опаловый, прохладный свет разлился по высоким комнатам. Топились печи. На полу разостланы были половики, у выходной двери наследили валенками.

В это утро Катенька, проснувшись, до того обрадовалась чистому этому свету, снегу на окне и горящим печам, что, поспешив надеть шубку и валенки, побежала через стеклянную дверь в сад.

Мороз ущипнул ее за щеки. В снегу от валенок остались глубокие следы до мерзлой травы. Катенька, захватив горсти снега, засмеялась.

— Как хорошо, господи, как хорошо!

И словно от этого снега, от веселых белых деревьев, поднявших из-под косогора неподвижные, залитые солнцем снежные верхушки, почувствовала она, что горе пройдет.

Как прежде, бывало, у себя в Волкове, подобрала она шубку и юбку и, выбрав гладкое место, скатилась вниз к реке по снежному скату. Смеясь, полезла было опять наверх, но запыхалась и подошла к воде. У берега подмерзло, а дальше по всей реке, пенясь и шурша, шло свинцово-серое сало. Катенька вздрогнула от холода и села под деревьями, лицом к реке. Потом наверху затыкала собака, и голос лакея позвал к столу.

Услышав лай, неподалеку из куста выскочил заяц. Катенька опять засмеялась, глядя, как собака, скатившись с горы комком, пошла за косым зверем.

Все в этот день радовало Катеньку, и она ждала, что по первопутку придет отец, но он не приехал, и пришлось одной провести вечер в кресле у печи.

Голова ли слишком разгорелась от мороза или натопили непомерно печь, только начался у Катеньки легкий озноб, и от затылка по спине пробежали мурашки... Она глубоко ушла в кресло, щеки у нее вспыхнули. Катенька усмехнулась, глядя на огонь, положила ногу на ногу... Представился ей Алексей Петрович, когда, настойчивый

и бледный, в первый раз (это было в Москве) стал ее целовать, говоря слова, о которых не нужно было, конечно, в этом одиночестве думать.

Спохватилась Катенька, хотела было встать, но истома легла на нее, не дала двинуться, и — словно кто-то принялся открывать и закрывать перед ней свет, показывая картинки, — понеслись в ее памяти воспоминания и волнующие запахи — все, что долго сдерживала она суровым смирением. Она крепко закрыла глаза, положила руку на грудь, и мечты, как метель, обожгли ее и ослепили.

8

Пришла коренная зима. Вдоль застывшей реки проносились метели, свистя голыми тальниками, перебрасывались в поля, крутили снегом и насыпали сугробы на замерзший куст, на стожок в степи, на упавшего путника.

Эту зиму Григорий Иванович много читал, выписывая из Петербурга книги и журналы. В журналах он сначала просматривал статьи, отмечая иные строки карандашом, и много раздумывал над всем этим, потом прочитывал Саше рассказы, ища в них ответа: как жить?

Принеся этим летом жертву, Григорий Иванович успокоился, но ненадолго: жертва была, пожалуй, и не настоящая, а похожа на удовольствие, ему же хотелось многого.

Время было тревожное, не то, что прежде. В газетах попадались прямо-таки дерзкие статьи, от которых дух захватывало, и студенческие годы в Казани казались мальчишеством. Одна газетная статейка (в провинцию она попала только подписчикам, в Петербурге же продавали этот номер за пятьдесят рублей) словно открыла Григорию Ивановичу глаза: он увидел, что есть верный путь для совестливого человека. Да какой путь! Можно голову положить за него.

Много тогда пришлось Саше не спать ночей, слушая Григория Ивановича, который бегал по избенке и доказывал ей, как должен честный человек жить. За ним по стене металась тень, на которую Саша со страхом поглядывала, внимая мужу. Доктор был очень горяч и решил, не откладывая, начать новую жизнь, но все это неожиданно плохо окончилось.

В студеную, вьюжную ночь Григорий Иванович си-

дел у соснового стола, читая. Саша возилась за перегородкой, и доктор по звону посуды знал, что скоро будет чай.

Снаружи, в углу избы, посвистывала метель, будто на крыше, поджав лапки, сидел черт, жалуясь на стужу.

— Вьюга-то какая, господи, кого еще занесет в степи,— сказала из-за перегородки Саша.

Доктор, заслонив ладонью лампу, поглядел в обледенелое окно. Иглистый лед и перья мороза на стеклах загорались иногда синим светом — это в страшной вышине, между обрывков туч, сыплющих снегом, нырял и летел месяц...

— А знаешь,— сказал Григорий Иванович,— я все думаю: в Петербурге, где-нибудь у стола, сидит умный и честный человек и пишет, а я здесь, за две тысячи верст, переживаю его мысли,— удивительно!.. Какое же я имею право оставаться в бездействии!

— Кто такой? — спросила Саша.— Здешний он или так где встретились?

— Ах, ты не понимаешь,— ответил доктор, положив руки на книгу.— Ты, Саша, пойми, я не так живу — слишком уютно и много покоя: бессовестно живу! Понимаешь?.. Так нельзя. Я не имею права жить с удовольствием, когда там за меня погибают. Нужно «поднять голову»,— вот здесь об этом говорится... И твоя обязанность — не тянуть меня назад в тину, а ободрить и зажечь. Так поступают настоящие женщины...

У Григория Ивановича от раздражения задрожал даже голос. Саша вышла из-за перегородки, стала близко за стулом мужа, сложила руки, опустила глаза, сказала негромко:

— Виновата, Григорий Иванович...

И надо было ему тогда засмеяться, объяснить Саше — она бы все поняла. Но он не сделал этого и, сердясь на себя за слабость, винил жену, создавшую, как он сейчас думал, «мещанский уют».

В это время за окном зазвенели подхваченные метелью бубенцы, заскрипел снег, и было слышно, как близко задышали лошади.

— Неужто поедешь, Григорий Иванович? Занесет ведь, вот беда,— сказала Саша, уходя опять за перегородку.

— Удовольствия мало,— проворчал он. — Кто-нибудь из помещиков животом валяется.— Откинул волосы, захлопнул книгу, встал и, с трудом толкая коленом, открыл набухшую дверь.

В сенях от повалившего клубами пара ничего нельзя было разобрать, но кто-то уже вошел. Григорий Иванович вгляделся, отступил и ахнул: на пороге стояла Катя.

Черную шубку на ней запорошило снегом, под капором покраснелось лицо, ресницы были белые. Она приотворила дверь, сняла рукавички, потопала ногами и сказала:

— Не ждали? А я чуть не заблудилась. Поехала к папе, а буря такой, что не пробраться через ваши мосты. Увидела свет и завернула. Принимаете?

Она расстегивала большие пуговицы. Григорий Иванович опомнился наконец, снял с нее шубку, которая была теплой внутри, пахла мехом и духами, взял ее капор.

Под капором волосы слежались, Катенька поправила их и села к столу.

— Где Саша? — спросила она.

— Там,— ответил Григорий Иванович, кивнув головой на перегородку.— Мы читали, собирались пить чай.— И сбоку поглядел на Екатерину Александровну, словно готовый спрятаться или удрать.

— Саша, это я, выходите,— сказала Катенька, оправляя кружево на темном платье, и вдруг усмехнулась.

Григорий Иванович раскрыл рот и с трудом вздохнул.

Саша, наконец, вышла, держа руки под черной кофтой, и достойно, медленно поклонилась одной головой. Катенька охватила ее рукой за шею и сказала, целуя:

— Все такая же красавица! Ну, как ты живешь, хорошо?

— Благодарю вас, все слава богу,— медленно ответила Саша, не поднимая глаз.

Катенька еще раз поцеловала ее, но Саша была как каменная, и Катя сняла руку с ее плеч. Григорий Иванович глядел на обеих женщин и мучительно морщился, понимая, как тяжела для Саши эта встреча. А морщась, все-таки сравнивал: Саша казалась грубой и тяжелой; у Екатерины Александровны все было изящно — и движения, и высоко подобранные тонкие волосы, и голос

был особенный, как музыка, и платье — мягкое и прелестное...

Григорий Иванович возмутился этими мыслями, но, сколько ни старался придать себе равнодушный вид, глаза сами видели то, чего не нужно и грешно было видеть, — завитки волос, приподнятый уголок рта, двигающиеся от дыхания складки платья на ее груди.

Наконец под коленкой у него начала дрожать какая-то жилка, как мышь. Это было так противно, что он проговорил грубым голосом:

— Что же, самовар, наконец, будет?

Саша медленно повернулась и ушла за перегородку. Было слышно, как она дула в самовар, гремела трубой. Запахло угарцем. Катенька перелистывала журнал, затем бросила книгу на стол, облокотилась и сказала:

— Я писала вам два раза, просила приехать, — была нездорова. Почему вы не приехали?

— Да я не мог, — ответил Григорий Иванович.

Саша внесла самовар и вытирала посуду, не поднимая головы, спокойная и сосредоточенная.

— А я все одна целые дни. Слушаю, как ветер поет... Думаю, думаю... Боже, во всю жизнь столько не передумала! А вот у вас даже ветер уютный, право... Мне нравится у вас... Даже завидно. — Катенька вдруг усмехнулась и прямо в глаза взглянула Григорию Ивановичу, — он даже голову втянул в плечи, не в силах оторваться от ее серых, холодных, странных глаз. Она проговорила: — А помните, как вы остриглись так смешно? Мне потом Кондратий рассказывал, как он вам косичку отстригал ножницами...

Григорий Иванович почувствовал, что багровеет, погибает. Наконец Саша сказала, оборачиваясь к двери:

— Григорий Иванович, сходи-ка в сени, принеси молока, крайнюю кринку, я-то в чулках. — И обратилась к Катеньке: — У нас две коровы, пестрая и красная, и бычок. Полное хозяйство.

«Вы видите, вы понимаете», — глазами сказал доктор и тотчас вышел. В холодных сенях он пошарил на полке: он знал, где стоит кринка, но хотел нарочно, чтобы упала какая-нибудь дрянь, но ничего не упало, взял ее и, стоя в темноте, прошептал: «Ах, черт!» — и хотел расшибить проклятый горшок, но сморщился только и цыкнул

языком, зная, что подлость уже сделана и несчастье (или счастье?) подошло.

— Этот, что ли, горшок? — грубо сказал он, ставя перед Сашей кринку, и сел в тень.

В избе после сеней сильно пахло духами. Григорий Иванович подумал, что это не духи, а волосы пахнут Катенькины, ее руки, платье.

Она не спеша пила чай, ее губы были красные, очень красные. Саша хоронилась за самоваром, перетирая чашки. Григорий Иванович подумал, что Саша потолстела, упряма и зла.

«А потом еще расплывется. Собственностью меня считает. Думает — сделала мне большую честь. Сидит — ненавидит, а я горшки носи! Ах, гадость, ах, гадость!.. Да и я-то — просто мерзавец в конце концов!»

Катенька спросила, много ли у него работы. Григорий Иванович, глядя в сторону, вкось, ответил, что много:

— Ездишь, ездишь по уезду, на человека не похож. Жизнь, знаете, у нас не княжеская. Живем по колёно в навозе. Не разжиреешь.

У Саши в это время выскользнуло блюдо из рук и разбилось. Катенька ахнула:

— Ах, какая жалость! — и сказала это с таким участием притворным, что Григорий Иванович задышал и вдруг проговорил дрожащим голосом:

— Нищеты вы не видели, что ли? Так вот она, глядите!

— Что ты, что ты! — испуганно подняв глаза, прошептала Саша.

У Екатерины Александровны задрожала ложечка в руке, задрезжала о стакан. Григорий Иванович отбежал к печке, повернулся, поджал губы.

— Убожества сколько угодно, больше, чем даже нужно, а дух все-таки горит, этим вы его не потушите, да-с! Не обидеть вас хочу, Екатерина Александровна, а мне больно, что вы смеяться над нами приехали. Так позвольте вам заявить, что смеяться-то и не над чем. Кроме этих вот горшков, есть кое-что поважнее, чем мы живем! И живем, как в огне горим, да-с! Идеями живем! А перед ними все это убожество — пустяки. И мне наплевать, что личная жизнь не удалась. Не удалась — вот вам новый боец!

Много еще в этом роде говорил Григорий Иванович. Катенька слушала, опустив голову. Наконец, когда он сел на лавку, словно сам стараясь разобраться во всей путанице слов, Екатерина Александровна поднялась из-за стола и проговорила:

— Вы не так поняли меня. Я живу совсем одна, не с кем слова сказать. Сегодня вот вспомнила вас и Сашу, вы мне показались близкими, приехала подружиться. Ну, видно, из этого ничего не вышло. Прощайте, друзья мои. Не судьба.

Она надела шубку, медленно застегнула пуговицы, натянула пуховые белые варежки, улыбнулась грустно, простилась и вышла.

Григорий Иванович не в силах был вымолвить слово,— все только что сказанное им будто вихрем вылетело из головы. Саша, сложив опять руки под кофтой, проговорила негромко:

— Все-таки гостя, Григорий Иванович, обижать-то не надо бы.

Тогда он, как был, в черной рубашке, без шапки выбежал на двор.

Месяц окончил небесную погоню и медленно теперь плыл в морозной высоте, круглый и ясный. Сивая тройка, запряженная в возок, позванивала бубенчиками. У крыльца намело голубоватый снег крутым сугробом. Увязая в нем по колено, Григорий Иванович подбежал к Катеньке,— она глядела на него, стоя у возка.

— Екатерина Александровна, я не хотел вас обидеть... Господи, боже мой, поймите меня.

— Я вас понимаю,— она подняла глаза и глядела на месяц.

— Екатерина Александровна, могу я вас проводить?

— Да.

Григорий Иванович бегом вернулся в избу, накинул полушубок и испуганно-торопливо проговорил Саше:

— Проводить хочу Екатерину Александровну, нельзя отпустить одну, к тому же обидели. Вернусь поздно, может утром,— и он замялся в дверях. Саша не отвечала, убирая посуду.

— Что же ты молчишь? — спросил он.— Не хочешь, чтобы провожал?

— Воля твоя, Григорий Иванович, делай, как знаешь.

— Какая там моя воля,— он отошел от двери, голос его дрожал.— Терпеть не могу таких ответов... Что же, и проводить даже не могу? Ну?

— Какие мои ответы, Григорий Иванович, на что сердись?

Он тотчас сел на лавку, прижал кулаки к вискам:
— Непереносимо!

За окном звякнули бубенцы — это Катенька садилась в возок. Григорий Иванович вскочил и сказал отчаянно:

— Не сердись ты, Христа ради, не могу оставить тебя такой.

— Ничего, потерплю,— ответила Саша и ушла за перегородку.

— Ну и к черту! — гаркнул он.— Не поеду! — И тотчас выскочил за ворота.

Лошади уже тронулись.

— погоди, погоди! — закричал Григорий Иванович и, увязая в снегу, побежал за широким задком саней.

9

В окно возка сквозь морозные зерна светил месяц и была видна тусклая, сливающаяся с небом равнина снегов. Скрипели полозья. Как стеклянные, звенели однообразно бубенцы. При поворотах возка выплывало из темноты тонкое Катенькино лицо, опущенное седым мехом, и в глазах ее загорались лунные искорки.

Григорий Иванович глядел на нее и чувствовал, что вот для этой минуты он протащился через всю жизнь. Теперь—только глядеть на это волшебное лицо, только вдыхать кружащий голову запах снега, духов, теплого меха.

— Вы знаете, что меня бросил муж? — сказала Екатерина Александровна, появляясь в синеватом свете.

Григорий Иванович вздрогнул, подумал, что нужно ответить ему на это, и внезапно, точно ждал только знака, начал рассказывать негромким и каким-то новым, особенным, но — он чувствовал — истинно своим голосом о том, что этим летом видел, как из реки поднимались облака и уходили за лес, и тогда его сердце наполнилось любовью, о том, как он увидел Катеньку, подъезжавшую к берегу в лодке, и понял, что любовь — к ней. Он рассказал о пчелах, крутившихся в траве, и

о том, что его любовь была так велика и так светла, — казалось — человеку невозможно вынести такую любовь, хотелось отдать ее небу, земле, людям.

— А как же Саша? — вдруг тихо спросила Катенька.

Лицо ее было такое странное в эту минуту, такой мучительной красоты, что Григорий Иванович застонал, откинувшись в глубь возка. Катенька погладила его по плечу. Он схватил ее руку и прижался губами к мягкой надушенной варежке.

— Люблю вас, — проговорил он. — Дайте мне умереть за вас...

Он держал ее за руку, повторяя эти слова глухим голосом, и на ухабах, когда возок подбрасывало, все словно кланялся. Лицо у него было некрасивое, взволнованное.

И Катенькой овладела тоска. Хотела было посмеяться над Григорием Ивановичем, сказать, что не к отцу сегодня ехала, а к нему, — нарочно, со зла и скуки, поехала мучить. Что он — жалок ей. А любовь его, как вот эти поклоны, — смешная, и действительно за такую любовь только и можно, что умереть. Но ничего этого она не сказала. Хотелось горько, надолго заплакать...

— Взгляните на меня... Полюбите меня на минутку, — проговорил Григорий Иванович.

Тогда Катенька выдернула у него свою руку. Он не сопротивлялся, только сполз к ее ногам, коснулся лицом ее коленей. От этого ей стало еще темнее и тоскливее.

И оба они не заметили, что возок начало валять на стороны, клонить и вдруг помчалось вниз. Кучер, не в силах поворотить молодых лошадей при спуске вбок, на дорогу, пустил тройку напрямиком с горы на речной лед.

Вздымая снег, раскидывая грудью сугробы, вынеслись кони на реку. Лед затрещал, возок качнулся, осел, и хлынула в него черная вода.

Катенька закричала. Григорий Иванович живо распахнул правую, не залитую водой дверцу. Между тонких льдин полыньи, в синей, с лунными бликами, текущей воде бились белые лошади. Коренник держался передними копытами о лед — и вдруг заржал протяжно, жалобно. Левая пристяжка храпела, — только морда ее была видна над водой. Правую затягивало течением.

— Тоне-ем! — вытянувшись на козлах, закричал кучер.

Григорий Иванович впотьмах обхватил Катеньку, как сокровище, высунул ее из возка, говоря: «Не бойтесь, не бойтесь...» Она ухватилась за решетку наверху кузова, подтянулась, возок сильно накренило, и Григория Ивановича залило по пояс.

ВОЗВРАТ

1

Алексей Петрович ехал на самолетском пароходе по второму классу от Рыбинска и вот уже несколько дней, не выходя из каюты, лежал, даже не от расстройства какого, а просто незачем было двигаться и разговаривать, — только пил и спал.

В кармане помятого его пиджачка были завернуты в газету последние сто рублей. Алексей Петрович притворялся, что сам не знает, зачем сел на пароход и едет: казалось, точно с больной собаки лезет с него шерсть клоками, до того было нечисто, гнусно и тоскливо.

После года беспутной жизни Алексей Петрович опустился на последнюю ступень — дальше была только смерть в ночлежном доме, и он чувствовал теперь некоторое удовлетворение, даже приятную остроту: не мучила совесть, ничто не вспоминалось, да и не было времени вспоминать. Проснувшись в каюте, откашливался он, выпивал водки и, присев к столу у зеркала, зевал или раскладывал пасьянс, пока от хмеля опять не одолеет сон...

Перед свадьбой, объясняясь в саду на скамейке, Алексей Петрович сказал Катеньке, что, если бы она охотой шла за него, он бы не женился. Тогда же Катенька поняла, что ему нужна «жертва». Алексею Петровичу действительно нужна была «жертва», но особого рода (это она не совсем себе уяснила): живая, теплая, вечная. Бывают жертвы глухие и бесповоротные, когда человек отдаст всего себя, пропадет и исчезнет, при воспоминании об этом мучает совесть и сам себе кажешься недостойным. Бывают жертвы огненные, радостные,

мгновенные, при воспоминаний о них жалеешь, что не повторяются они еще раз. Алексей же Петрович мог жить только так: если близ него находилась любящая женщина с измученным сердцем, без воли, всегда готовая отдать всю себя за ласковое слово. Он должен был чувствовать постоянный нежный укор, милую тяжесть, грусть оттого, что не в силах дать ей всего счастья, которое заслужила она, и в эту любовную меланхолию он погружался с головой, пил ее, как восхитительный, горький, дьявольский напиток.

Таковы были его отношения с Сашей. Когда же она от тихой жертвы перешла к бесповоротной, он пришел в ужас, и Катя тогда показалась ему единственным спасением. Она была любящая, нежная, прекрасная. Князь полагал, что их союз будет — как печальная осенняя заводь, — грустный, последний приют на земле.

Но после пощечины в нем вспыхнула злоба и страсть: пощечина напомнила прошлое, с той лишь разницей, что здесь властвовал, решал судьбу — он.

В первые дни свадебного путешествия Алексей Петрович, словно боясь, что Катенька опомнится и поймет весь ужас их союза, был до оскорбительности вежлив и предупредителен. Но она, сама не ожидая, став женщиной, внезапно и пылко влюбилась в мужа, точно из сумерек вышла на ослепительный свет. Это было жгучее ощущение самой себя, своей женственности, огнем закипевшей крови. Перед этим чувством все прошлое померкло, сгорело, — не стоило вспоминать.

И Катенька втянула мужа в водоворот женского первого чувства. Для Алексея Петровича, так же неожиданно, наступили дни забвения, взволнованной радости, счастливых забот о милых мелочах. Казалось — настала вторая жизнь, когда он видел только глаза Катеньки, полные восторга, почти безумия, когда для него не было ни прошлого, ни будущего, лишь этот взволнованный, бездонный женский взор.

Кружащее голову счастье продолжалось недолго. Алексей Петрович начал понимать, что не выдержит такого напряжения, и растерялся. Произошла первая ссора; Катеньке было оскорбительно и стыдно, что ее влюбленность встретила холод, почти насмешку. Она почувствовала, как они далеки с мужем, точно два чужих чело-

века. Это было вечером, в старом отеле в Венеции. Алексей Петрович стоял у окна, выходящего в узкий канал, красноватый от дождевого заката. Катенька лежала на диване и плакала.

— Ради бога, Катюша, перестань, никакого несчастья не произошло, — негромко говорил Алексей Петрович. — Ты хотела меня поцеловать — я был рассеян. Вот и все. Я думал, что мы в конце концов ничего, кроме ресторанов, так и не осмотрели толком в этой Венеции. Ты согласна? Просто, я думаю, в сумерки тебе взгрустнулось. Или мы устали...

Все это было верно, и плакать не стоило.

Но Катенька сама не знала, отчего ей так печально, словно солнце ушло навсегда за далекий край моря и теперь всю жизнь будет вот так же безнадежно и сумеречно.

Внизу бесшумно скользила черная гондола. Князь, облокотясь о подоконник, глядел, как узкий нос лодки разрезает красноватую воду. Сидящая в гондоле дама опустила лорнет и, подняв лицо, обернулась к лодочнику. Алексей Петрович узнал Мордвинскую.

Он отшатнулся от окна и взглянул на Катю. Она сидела теперь, опустив лицо. В сумерках белел платочек на ее коленях. Алексей Петрович почувствовал острую жалость к этой чистой и милой, так ничего и не понявшей молодой женщине. Он опустился на колени перед диваном, взял ее руку и прижался губами, но рука ее была неподвижна и губы его холодны. Ему стало ясно, что не ее он любил, а ту, и никакой жертвой не затопить той любви.

На другой день Краснопольские уехали в Рим, потом в Геную, в Ниццу, в Париж.

Алексей Петрович не мог достоверно сказать, была ли то Мордвинская, скользнувшая, как призрак, в черной гондоле, обмануло ли его случайное сходство. Но все равно, в нем распахнулась дверь в тайник, наглухо запертый и позабытый с той ночи, когда Анна Семеновна опутала его паутиной ласк, отравила поцелуями. Он знал теперь, что все это время обманывал себя, и обман, так ловко возведенный, рухнул от одного взгляда женщины; что все, даже удар хлыста по глазам, он простит и забудет за встречу с Мордвинской; что нет у него

ни воли. ни гордости, только измученное сердце, каждую минуту готовое залиться смертельным пламенем любви.

Ему стало вдруг безразлично, уйдет ли Катенька от него, или до конца дней будет страдать под боком, или, как Саша, принесет глухую жертву. Она молчала, грустила, но еще не решалась спросить, отчего он так внезапно переменялся.

В Париже Алексей Петрович иногда на целые дни оставлял Катеньку одну в отеле. Она садилась к окну и ждала. Внизу, на площади Оперы, скрещивались потоки экипажей, перебегали люди, слышались гудки, свистки, шумы колес, говор. Только малое пространство отделяло ее от этой суеты, но одиночество, обида чувствовались еще острее.

Алексей Петрович возвращался несколько раз очень поздно. Катенька с тоской глядела в его похудевшее лицо с измученными и словно невидящими глазами. «Не люблю, не люблю, все равно, пускай пропадает», — повторяла она, стискивая пальцы. Князь просил извинить его, объяснял, что бродил весь день по городу, и слова его были смутные, сбивчивые, непонятные... Потом он ложился в постель, протягивал руки поверх одеяла и закрывал глаза, притворяясь, что засыпает.

Катенька уловила из этой путаницы только одно — что муж настойчиво пытается встретить кого-то, заходит в рестораны, театры, кабачки, магазины, сидит в людных кофейнях, бродит по бульварам. Катенька пыталась узнать, кого он ищет, умоляла, грозилась и плакала, но князь молчал. Однажды под утро, глядя в позеленевшее от рассвета лицо его с ввалившимися, тусклыми глазами, Катенька села на постели, обхватила голову, проговорила:

— Не понимаю, ничего не понимаю... Все это безумие какое-то... Ложь, ложь, ложь!..

— Да — безумие и ложь, Катя...

Катенька более не сдерживалась, гордость ее была сломлена. Соскочив с постели, она босиком подбежала к окну и крикнула, что, если он еще хоть раз оставит ее одну в этой комнате, она выкинется на улицу под экипажи. Отчаяние ее было так велико и неожиданно, что Алексей Петрович будто опомнился, начал успокаивать

Катеньку и сказал с усилием, что пора — нужно ехать домой, в Россию.

Произошло все это оттого, что по приезде в Париж Алексей Петрович пошел в посольство и там ему сказали: «Мордвинская здесь, и одна, но адрес ее не известен». Тогда он стал искать Анну Семеновну по всему городу и действительно видел ее два раза издали, но подойти не мог: она была с каким-то рослым молодым человеком, по виду — содержателем скаковой конюшни.

За последнюю неделю Алексей Петрович не встречал ее больше нигде: должно быть, уехала на юг, в Биарриц или Ниццу, где начинался сезон.

В Петербурге была уже осень. Над городом тащились мокрые облака. В воздухе пахло железом. Прохожие, деловитые и злые, с испитыми от неврастения лицами, не раскрывали даже зонтиков — до того все привыкли к мокроте: пусть льет.

В один из таких дней Краснопольские с Варшавского вокзала проехали на Морскую в гостиницу. Катенька не хотела было останавливаться, но Алексей Петрович сослался на дела, и начались томительные и однообразные дни. Лил дождик, весь день горело желтое электричество в номере, князь отлучался ненадолго, остальное время проводил на диване, — то молчал, то раздражался на мелочи, то уговаривал Катеньку поехать с визитами к родным, но от этого она отказалась наотрез. Однажды Алексей Петрович ушел поутру и не вернулся ни днем, ни ночью, ни на следующий день.

Случилось вот что. Выйдя утром из гостиницы, Алексей Петрович, как всегда, взял извозчика и поехал на Шпалерную. Поравнявшись с домом Мордвинских, он от волнения закрыл глаза: вчера еще замазанные мелом, окна были вычищены, подняты шторы, и в глубине залы светилось несколько электрических лампочек. Алексей Петрович отпустил извозчика на углу и вернулся к подъезду. Сердце у него билось так, что надо было придерживать его рукой. Он позвонил, вошел в дом и передал лакею карточку. О том, что будет дальше — выйдет муж или она сама и как он в том или ином случае поступит, — князь не думал.

Лакей долго не приходил. «Негодяй, нарочно держит меня в прихожей», — подумал князь. Лакей появился в

глубине комнат и оттуда поглядел на князя — нагло, конечно, — и скрылся. Кровь бросилась в голову Алексею Петровичу, он взял с подзеркалья черную женскую перчатку и, дернув, разорвал пополам. Лакей снова появился, с пестрой метелкой, смахивая походя пыль. «Дурак!» — закричал Алексей Петрович, и голос его покотился по комнатам. Откуда-то позвонили, лакей исчез, и князь, со всей силой махнув парадной дверью, выбежал вон.

На улице моросил дождь, облака тумана тащились по крышам, и ржавый воздух проникал в кости. Алексей Петрович медленно двигался по тротуару. Он предвидел все, но только не лакея с метелкой.

«Теперь поскорее забыться, — подумал он. — Но только куда-нибудь погрязнее». Он ясно понял теперь, что это — конец, полтора года страшного напряжения разрешились метелкой и ржавым дождем. Иного, конечно, и нельзя было ожидать, потому что сам он — маленький, хилый, ничтожный, и, если пойдет дождь сильнее, смочет его дождем в канавку сбоку тротуара, унесет в подземную трубу. Тогда он вспомнил о Кате: «Нет, нет, до нее далеко. Нельзя. В трактир куда-нибудь».

На перекрестке оглянулась на него страшная, точно обсыпанная мукой, женщина в мокром боа.

— Что вы какой серьезный, миленочек? — прохрипела она и позвала к себе.

Князю стало до тошноты противно, и он сейчас же пошел за ней.

Женщина привела его в ободранную, затхлую комнату. Алексей Петрович, не снимая пальто и шапки, сел у непокрытого стола и глядел на фотографии каких-то вольноопределяющихся, прибитые над красным рваным диванчиком. Сквозь щель в двери была видна вторая женщина, полураздетая, с распущенными волосами. Заметив, что князь на нее смотрит, она показала изъеденные зубы и вышла. За ней появился рослый парень в малиновой рубахе, кудрявый, с мешками под глазами. На ремне через плечо у него висела гармонь. Он поклонился, тряхнул кудрями и, поставив ногу в лаковом сапоге на стул, перебрал лады.

— Да, да, пойте, — сказал князь. — Я заплачу.

Женщина с распущенными волосами подобрала сза-

ди канареечный капот, щелкнула пальцами и запела — неожиданно басом. Князь оглянулся на нее и взялся за бутылку, неизвестно как попавшую на стол. Набеленная женщина под села к нему и стала глядеть в рот. Глаза у нее были без ресниц, слезящиеся. Она поправила слезавшуюся прическу, и из-под накладных волос у нее вылез клоп.

Князь гадливо усмехнулся, сказал: «Хорошо» — и выпил полный стакан. Вино сильно ударило в голову. Женщина гудела басом: «Не разбужу я песней удалую роскошный сон красавицы молодой...» Князь пил стакан за стаканом сладковатое и тошное вино. Звуки гармони звучали все отдаленнее. Он привстал было, чтобы сорвать, наконец, этот страшный шиньон, полный клопов, но пошатнулся и, хватаясь за женщину, повалился на пол.

Проснулся он в незнакомой, но не вчерашней комнате, на железной кровати. Голова мучительно болела. Долго, сидя на грязном тюфяке, вспоминал он вчерашнее, потом, пошатываясь, вышел в прихожую. Там валялись узлы, баулы и на стуле стоял портрет какого-то генерала. На шаги князя отворилась кухонная дверь, в щель высунулась сморщенная старушка, поглядела и скрылась. Князь вышел на парадное, — дом был многоэтажный и каменный, а тот — деревянный. «Черт знает, что такое», — сказал он и долго брел пешком, не в силах ни позвать извозчика, ни сообразить, куда идти. Пробежал впереди фонарщик, и один за другим зажглись фонари. Алексей Петрович, глядя на желтые отблески под ногами, замотал головой и в тоске прислонился к сырой стене. Потом полез в карман за папиросами, но ни папиросочки, ни бумажника не оказалось.

Второй раз вспомнил он о жене. И теперь отметил с удивлением: до того уж загажен, измят и нечист, что думать о ней стало легко и сладко. Мордвинская же словно исчезла из памяти, образ ее расплылся в уличной грязи; должно быть, все, что было связано с ней, отжило в эту омерзительную ночь. И это наполнило его радостью, точно была окончена часть тяжелого пути, самое трудное и мучительное миновало.

Забрызганный грязью, промокший, но спокойный, Алексей Петрович добрался, наконец, до гостиницы. Швейцар не узнал его, и князь рассмеялся: значит,

сильно переменялся за эту ночь. Перед дверью номера он снял помятый цилиндр, ладонью пригладил волосы и постучал.

Катенька, закутанная в белый пуховый платок, стояла посреди комнаты. Лицо ее было совсем бледное, глаза огромные, сухие.

— Где ты пропадал? — спросила она, оглядела его и отвернулась. — Какой ужас!

Не отходя от двери, князь проговорил:

— Милая Катя, я весь мокрый, сесть не могу, испачкаю все у тебя... Но это именно очень хорошо, что так все случилось. — Он переступил с ноги на ногу и усмехнулся. — Встречу ли я тебя еще когда-нибудь — не знаю. Но теперь я спасен, Катя.

— У вас бред; вам нужно в постель, — поспешно проговорила она.

— Нет, нет, ты думаешь — я пьян? Я сейчас все тебе объясню.

Князь, вздохнув, оглядел комнату, посмотрел на грязные свои сапоги, потом, на одно мгновение, с огромной нежностью, почти с мольбой, взглянул Катеньке в лицо, опустил глаза и стал рассказывать все по порядку, начиная с видения на венецианском канале.

Слушая, Катенька подошла к дивану и села, — ноги не держали ее. Она поняла все, вплоть до сегодняшнего утра. Но то, почему и как исчез из сознания князя образ Мордвинской, осталось для нее неясным. Алексею же Петровичу только это и было важно сейчас. Он говорил о себе так, словно был уже новым человеком, а тот, вчерашний, чужой и враждебный, отошел навсегда. Ему все это представилось до того ясно и хорошо и было так ясно и хорошо на душе, что он никак не мог понять, почему Катенька с такой злобой смотрит ему в лицо.

— Ну, а обо мне-то вы подумали? — крикнула, наконец, она, и лицо ее порозовело. — Мне что теперь делать? Мне как жить с вами?

— Тебе? Ах да...

Действительно, весь этот разговор клонился к тому, что Катенька вот сейчас, в это мгновение, должна была принести огненную жертву, отдала бы всю свою чистоту, всю чудесную силу женщины, наполнила бы ею опустошенную душу князя.

Алексей Петрович понял это. Стало противно, как никогда: кто же в самом деле он — упырь? Только и жив чужой кровью — нажрется и отвалится.

— Катя, я ухожу от тебя, навсегда. Потом ты все, все поймешь, — проговорил он, и вдруг страшный восторг охватил его, голос оборвался. — Милая моя... Помни, помни: что бы ни было — я всегда верен, верен, верен тебе до смерти. Прощай.

Алексей Петрович поклонился низко и вышел. В тот же день он выдал жене векселей на всю стоимость имения и полную доверенность на ведение дел. Себе же взял только несколько тысяч. И в ту же ночь уехал в Москву.

Алексей Петрович не знал хорошенько, что будет делать в Москве. Поселился он в плохонькой гостинице и первые дни ждал, что та минута страшного восторга повторится, разольется в чудесную долгую радость. Но понемногу становилось ясно, что чуда неоткуда ждать, а прошлая жизнь, на минуту отпустившая, висит над головой, каждую минуту готовая снова придавить. Тогда настали дни невыносимой тоски, тем более острой, что не виделось иного выхода, кроме смерти. Вернуться к жене было невозможно. Да князь и не знал, где Катенька, что случилось с ней после его ухода.

Тоска усиливалась. Можно было почти указать, где находится она — посреди груди, под средней косточкой. В этом месте с утра начинало сосать, к вечеру же словно наваливался жернов. От рюмки вина боль ослабевала. Князь начал пить коньяк, потом перешел на водку. Тогда появились знакомые, довольно странные по виду, но все хорошие люди. Имен их князь не запоминал, а лица под конец дня все равно расплывались, трудно было отличить мужчин от женщин, да и не все ли это равно. Часто играли в карты. Князь проигрывал, и денег у него осталось немного.

Во время этого чада — забвения всего — мелькнула одна встреча, незначительная, но запомнившаяся. Князь проходил днем около Иверской. Часовня была словно островом, где на минутку отдыхали прохожие, снимая шапку, крестились, глядели на темный лик, на свечи. Князь тоже остановился и начал вспоминать молитвы, но ни одной не вспомнил, только смотрел на переливающиеся огоньки, на теплые отблески ризы. Сзади в это

время веселый голос произнес: «Христа ради прохожему, милый человек». Князь достал мелочь и обернулся. Перед ним стоял монашек и улыбался, лицо его было рябое, тощее, и на нем — светло-синие ясные глаза. Князь посмотрел в них и тоже улыбнулся, — показалось, будто монашек знает что-то очень важное, что и ему непременно нужно узнать...

— Вот медяки, — сказал Алексей Петрович, — а приходи ко мне — я тебе рубль дам.

Приходил ли монашек к нему, князь не помнил хорошенько, но, кажется, мелькнули на одно мгновение среди играющих в карты, за облаками табачного дыма, пытливые синие глаза.

Настала весна. Князю очень хотелось думать о Катеньке, и, чтобы не делать этого, он еще сильнее, беспробуднее пил. Однажды к нему в номер явился купчик, назвался волжанином, будто бы знавшим князя по имени, бойко выпросил про положение Алексея Петровича и рассказал между прочим о происшедшей зимою на против Милого катастрофе.

Из путаного рассказа купчика все же можно было понять, что произошло тогда, зимней ночью, на берегу Волги.

Возок слетел с горы в полынью, погрузился до половины, но не опрокинулся, поддерживаемый коренником, который уперся передними ногами о лед. Кучер успел перерезать вальки, одна пристяжная ушла под воду, другая еще билась. Кучер по оглоблям пробрался на коренной лед, ухватив за хвост, помог выбраться пристяжной, вскочил на нее и погнал через реку за народом в Милое.

Катенька лежала на верху возка в забытьи. Григорий Иванович, стоя на отводе, по пояс в воде (козлы тоже были затоплены, а взлезть наверх он побоялся, должно быть), обхватил Катеньку, положил голову на ее грудь и глядел в открытые ее глаза.

Снег повалил опять, окреп ветер. Вдоль реки дымом несло поземку, и снежной пылью стало засыпать у Катеньки словно мертвое лицо. Это было так страшно, что Григорий Иванович поднял голову и закричал. Забился и коренник, ослабевая. Возок раскачивало ледяным ветром. Катенька вдруг привстала, спустив ноги в тонких чулках, огляделась, всплеснула руками, обхватила голо-

ву Григория Ивановича и прижала к себе, словно боясь отпустить. Так просидели они молча, покуда из Милого не прискакали с веревками и шестами работники. Спешась у полыньи, они думали, что княгиня и доктор застыли, но потом заметили, что Екатерина Александровна немного поворачивает голову, следя, как накладывают шесты, закидывают веревки за возок и тянут на лед верного коренника.

Но вдруг произошло непонятное: совсем уже у края коренного льда, когда крепкие руки мужиков ухватили княгиню, Григорий Иванович поднял голову, раскрыл рот, и все слышали, как проговорил он коснеющим языком: «Не надо, не трогайте», — потянулся за Катенькой, застоялся и, не сгибаясь, рухнул с воплем в воду и сейчас же ушел, будто каменный, под лед.

Княгиню положили в сани, завалили тулупами и доставили в Милое. На другой день Александр Вадимыч перевез дочь к себе.

В этой истории Алексея Петровича особенно поразила гибель доктора Заботкина. Чем больше он раздумывал, тем ясней становилось, что гибель была не простая, не случайность, а восторг смерти, жертва.

Все эти мысли очень волновали. Князь не был даже уверен, жива ли Катенька. Остаться в Москве казалось невыносимым. Он завернул в обрывок газеты последние сто рублей и поехал на Ярославль. Там сел на пароход.

Одно время он решил было пробраться в село близ Милого и там разузнать о Кате, но потом раздумал. Просто нужно было проехать мимо Милого, вздохнуть один раз тем воздухом, а потом — наплевать, хотя бы смерть от белой горячки.

2

Алексей Петрович лежал на боку в одноместной каютке, обитой жестью и выкрашенной под орех. Около двери бежала вода в раковину. Дрожали жалюзи. Солнечный свет, отражаясь в реке, проходил сквозь щели жалюзей, играл на белом потолке зыбкими зайчиками.

На столике перед зеркалом стоял графин с водкой и тарелки да еще табак в газетной бумаге, на полу — раскрытый чемодан, почти пустой, и пальто в ногах.

Усыпителен в летний зной мирный стук машины, и легко дремать на мягкой койке, обдуваемой ветром через окно. Алексей Петрович похрапывал, лицо его было розовое, как у пьяниц. Он почти ничего не ел за последнее время, только пил, щипля невкусную пищу. Когда же слишком начинал жечь алкоголь и пересыхало во рту, он, морщась, просыпался, протягивал руку за бутылкой с квасом, отхлебывал и повертывался к стене, подогнув колени.

На реке есть хочется ужасно, и, кажется, не успели отобедать, а уже зовут к полднику. «Недурно бы теперь соленького», — подумал князь, когда услышал стук в дверь каюты, и сказал спросонок:

— Ау, — и приоткрыл глаз.

В дверь опять постучались. Князь проговорил дребезжащим голосом:

— Приготовь-ка мне, дорогой, похолоднее графинчик да что-нибудь там...

«Что-нибудь соленькое — это хорошо, — подумал он, — под тешку малосольную с хренком можно выпить».

Но стук в дверь продолжался.

— Что тебе нужно, черт? — воскликнул Алексей Петрович, спуская с койки ноги, и отомкнул задвижку.

Дверь осторожно раскрылась, и вошел монашек с косицей и в скуфейке. Кончики пальцев он держал в рукавах подрясника.

— А ты говоришь — черт, — проговорил монашек. — Здравствуй! — и низко поклонился, потом с улыбкой осмотрел беспорядок в каюте.

Князь с испугом глядел ему в синие-синие ясные глаза на рябоватом и мелком лице. Да и весь вид монашка был мелкий и не то что потрепанный, а казалось, трепать-то в нем нечего было.

— Я за милостыней, — продолжал монашек. — Капитан у нас хороший человек: «Ладно, говорит, проси, только не воруй». А мне зачем воровать, когда и так дадут. Про тебя он сказал — запойный. А ведь ты не совсем запойный, а? Уж тебя-то я хорошо знаю.

Он сел рядом и руки положил на колени Алексею Петровичу; князь отодвинулся, тараща припухшие глаза.

— Кабы не тоска, человек должен в свинью обратиться. Ведь так, милый? — спросил вдруг монашек.

Алексей Петрович кивнул головой, коротко вздохнул и ответил:

— Хуже, чем я, жить нельзя! — Потом спохватился и сказал сердито: — Послушай, я тебя не звал, ты зачем затесался? Уйди, пожалуйста, и без тебя скучно.

— Ни за что не уйду, — ответил монашек. — Ты, я вижу, совсем поспел. Нет, я от тебя не отстану.

Алексей Петрович потрянул головой, все у него перепуталось и поплыло. Потом проговорил тоскливо:

— Неужели ты мне представляешься? Да, значит, очень плохо. Послушай, ты водку пьешь?

— Зачем ее пить?

Алексей Петрович опять поднял мутные глаза, — лицо монашка словно плавало по каюте.

— Пей! Убью! — заорал Алексей Петрович не своим голосом. Но монашек продолжал улыбаться. Князь, обессиленный, лег и закрыл глаза.

— Ай-ай-ай! Дошел же человек до чего! — Помолчав, монашек проговорил неожиданно громким и резким голосом: — А я тебя другим хмелем напою. От моего хмеля сыт будешь, и сыт, и жив... Слушай меня... Много тебе было дано, а ты все растерял. Но ты для того растерял, чтобы не многое найти, а вечное. Встань и, куда прикажу, туда пойдешь.

«Не кричи, все сделаю, ушел бы лучше», — подумал князь. Монашек нагнулся над Алексеем Петровичем и погладил его по голове. Князь опять зажмурился.

— Милый, идем со мной, — продолжал монашек. — Верно говорю — обрекись. Скоро к Ундорам подойдем, там и слезешь; меня найдешь на берегу. Подумай хорошенько да приходи. Понял?

Он постоял тихонько, потом, должно быть, вышел, — щелкнула дверная щеколда.

Алексей Петрович продолжал лежать, с натугой собирая мысли, чтобы сообразить — действительно ли говорил с ним сейчас человек, или только привиделся?

Так прошло много времени. Зайчики на потолке давно погасли, в каюте становилось все темней, и скоро над зеркалом, раскаляясь, сама зажглась лампочка.

— Ерунда, — сказал князь. — Вчера вот тоже мне жокей какой-то мерещился в желтом картузе.

Он слез с койки, взглянул на себя в зеркало и, с тру-

дом волоча ногу, поплелся в рубку второго класса, где и сел в уголок, ни на кого не глядя, а чтобы не слышать разговоров, облокотился о стол, прикрыл уши ладонями. Лакей принес холодный графин с водкой и севрюжку. Князь налил запотевшую рюмку, поперчил, медленно выпил и, выдыхая из себя винный дух, покосился на рыбу.

Пароход в это время заревел и стал поворачивать. Штору в окне надуло, за соседним столом сказали уверенно:

— Ундоры...

Алексей Петрович сейчас же вскочил и спросил негромко:

— Неправда? — потом вышел на темную палубу.

Поворачивая к пристани, пароход взволновал черную воду. Из-под борта, освещенная иллюминатором, вынырнула лодка с двумя мальчишками: один греб, другой играл на балалайке. Лодка скрылась в темноте.

Князь, прислонясь к столбику перил, глядел, как приблизилась конторка, как бросили чалки на загремевшую крышу, как матрос и трое оборванцев навели мостки и, широко ступая, сбегали по мосткам грузчики в мешках, накинутах, как клобуки, на голову.

Потом из пароходного нутра повалил народ с котомками и сундучками за спиной, суя матросу билетки.

Алексей Петрович внимательно вглядывался и вдруг вздрогнул, заметив среди мужиков и баб знакомые глаза, но их сейчас же заслонил тюк с шерстью.

Князь поспешно сошел вниз, втерся в толпу и, кусая губы, нетерпеливо оглядывался.

С конторки он поспешил на берег, где с фонариками перед лотками сидели бабы, крича и тыкая в проходящих то жареным поросенком, то булкой.

На прибрежном песке Алексей Петрович совсем запутался в толкотне среди мешков и поклажи. Он помнил только, что необходимо ему найти кого-то и спросить: что делать дальше? Один раз показалось, будто кто-то очень знакомый наклонился над лотком. Потом вдалеке, между телег, будто помахали ему рукой.

— Заманиваешь, — прошептал Алексей Петрович и обходом, нагнувшись, побежал к возам.

Пароход в это время заревел и, отвалив, потушил огни.

— Эй, подождите, постойте! — ковыляя к мосткам, кричал Алексей Петрович уходящему пароходу.

Дорогу ему преградил коренастый крючник.

— Ай, баринок, пароход-то ушел!

Подошел матрос, бабы-торговки и озабоченный мужичок с козлиной бородкой. Окружив князя, все стали спрашивать: куда он и откуда едет? Не оставил ли денег на пароходе? Женатый ли? Охали, качали головами. Озабоченный мужичок всех больше хлопотал, будто он-то и остался, а баба одна, подсунувшись к самому носу Алексея Петровича, заявила вдруг, радостно удивясь:

— Да он пьяный!..

Тогда все успокоились и уже душевно начали относиться к Алексею Петровичу.

Но князю тошно стало от этих бестолковых расспросов, и он, протиснувшись сквозь народ, пошел прочь по берегу.

«Упаду где-нибудь и умру, и хорошо,— подумал он.— Никому я не нужен, пойду, куда сил хватит. Как жалко, ах, как жалко! Вот чем окончилась жизнь».

Алексей Петрович шел сначала вдоль песчаного берега, на который медленно находили невидимые волны, поднятые пароходом. Но скоро стрежни изрезали песок, князь споткнулся и повернул от реки на холм и в луга.

Только теперь, с трудом взобравшись наверх, увидел он частые звезды над головой. Трава была уже покосена и собрана в копны. Он постоял, слушая бульканье перепела невдалеке, и пошел быстрее,— не то, что у реки, где в песке увязали ноги.

«Куда я тороплюсь, будто гонятся»,— наконец подумал он и вдруг сообразил, что ни разу еще не оглянулся. Он до того испугался, что тотчас присел и медленно, из-за плеча, поглядел назад.

Позади, из-за холма, на сероватое от звезд поле поднималась темная фигура монашка в остром колпаке.

«Гонится,— подумал Алексей Петрович.— Надо спрятаться»,— и, пригибаясь к земле, быстро пробежал до первой копны и лег в сено, поджал ноги, стараясь не дышать. От увядающего сена пахло беленой и диким луком.

Алексей Петрович задыхался. Вдруг монашек быстро прошел мимо,— его глаза словно блеснули синим светом.

«Вот так черт,— подумал князь в страхе.— Я пропал! Увидит или нет? Прошел, слава богу... Нет, опять повернул. Обходит, как зверя... Только бы не закричать... А может, опять представляется: я в каюте лежу и вижу сон?.. Нет, вот земля, вот сено... А вот звезды. Милые звезды, я всегда вас любил... Господи, вот я сейчас верю в тебя».

Алексей Петрович, схватясь за сердце, повернул голову и застонал. А в это время монашек, выйдя из-за копны, присел над ним и погладил по плечу. С воплем вскинулся князь и тотчас упал навзничь. Широко открытые глаза его были безумны.

— А ты не бойся,— негромко сказал монашек.— Видишь, как тебя перекорячивает. Зачем от меня прятался, а?

— Не буду больше,— с трудом проговорил Алексей Петрович.— Теперь я вижу, что это ты, от Иверской. Как ты велел, так я и сделал...

Монашек улыбнулся, а князю опять показалось, будто усики у него раздвинулись и выскочил из-под них язык, как у ящерицы, — выскочил и спрятался...

Князь тотчас поднялся и побежал было, но монашек словил его и, вновь уложив на копну, сказал:

— Вот дурашный, ей-богу. Нечего делать, поспим и на траве. А я было сначала неровил с возами устроиться, на возах бы и выпались... Ну-ну, подремли, голубчик, а я тебе спою.

Он лег в сено рядом с князем и немного погодя запел тонким, протяжным голосом:

Задремал я, маменька,
В пору вещей снов.
Видал — будто по степи
Конь меня разнес.
Спала моя шапочка,
Сам я неживой..
Видно, не уйти мне
От судьбы лихой..
Отвечает матушка:
— Чей-то скачет конь,
На коне невеста,
В белом убрана,
В белом убрана,
Не твоя ль жена?

Когда утреннее солнце забралось под закрытые веки, Алексей Петрович проснулся и, приподнимаясь на руках, застонал — до того всего разломало.

Рядом в сене сидел монашек, разложив перед собой на полотенце ножик, хлеб и две луковицы.

Белыми зубами он грыз третью луковику. По рябоватому лицу его, у голубых глаз и под ошипанными усами, играли смешливые морщинки.

— Прошла одурь-то? — спросил он. — На, хлебни, для тебя припас, — больше не дам, ей-ей...

Он снял скуфейку, вынул оттуда и подал Алексею Петровичу пузырек, где было на глоток теплой водки. Алексей Петрович взял пузырек, с натугой вспоминая, что случилось. Когда хлебнул — память прояснилась, побежала быстрее кровь. Князь поднялся, оправляя измятое платье, потрогал шею, натертую воротничком, растегнул его и бросил.

— Душе легче, — сказал монашек. — Ну-ну, похлебай теперь вольного воздуха, — видишь, какой ты желтый.

— Постой, — спросил Алексей Петрович, — ты меня с парохода увел?

— Я.

— Зачем? Ведь я по делу ехал.

— Пустяки, какие у тебя дела.

— Зачем же ты меня увел?

— Жить. Чего же другое летом-то делать. А работать — ты не работник, — хилый и хромой. Вот зимой холодно. Зимой, милый, я норовлю в острог попасть. Пачпорт запрячу, явлюсь и говорю: не помнящий, мол, родства, и места жительства нет! Меня и кормят, — а к весне объявляюсь. Тоже били не раз за такие дела. Так-то.

Алексей Петрович слушал внимательно, сдвинув брови: неприятным казался ему монашек, но была в его словах ясность и сила. «Ну его к черту, — думал князь. — А что дальше, если и его к черту? Опять на пароход? Да куда же ехать? И зачем? С ним разве пойти? Смешно все-таки: мне вдруг — и шататься по дорогам».

— А знаешь ли ты, с кем говоришь? — спросил Алексей Петрович, прищурясь.

Монашек подмигнул лукаво:

— Да будь ты хоть король турецкий, мне все равно.

«Черт знает, ерунда какая,— подумал князь.— Кажется, действительно пойду с ним бродить. Где-нибудь и сдохну. Король турецкий!» И он сказал вяло:

— Ну, расскажи еще что-нибудь. Как же мы бродить будем?

Так они и пошли по скошенному полю, направляясь за дальний лес, над которым высоко клубились белые облака.

Облака медленно выплывали из-за леса, поднимались над полем, гоня под собою прохладную тень, и, обогнув небо, ложились кучами у противоположного края земли. Солнце стояло уже на девятом часу. В сизой дали играла искрами по всему водному простору синяя река, уходя за меловые холмы.

— Поди меня отсюда выгони,— сказал монашек, обертываясь к реке, потом к лесу.— Ничего не выгонишь. Я, как суслик, имею законное право жить где угодно. А знаешь, как суслики живут?

И он принялся рассказывать, как живут суслики. Поймал кузнечика и попросил у него дегтю. На вылетевшего из-под ног перепела захлопал в ладоши.

— Вот я тебя, кургузый!

Алексей Петрович шел, немного отставая, и щурился: ему начало казаться, что скоро кончится земля и они пойдут по хрустальному воздуху до облаков и еще выше, туда, где только ветер и солнце.

Скоро он устал идти и, присев у дороги, попросил есть.

«Удивительно, удивительно,— думал Алексей Петрович, после еды ложась навзничь.— Небо какое голубое. Пойти и странствовать в самом деле,— ведь бродят же по свету люди... Ветром выдуёт все лишнее, да, да,— ветер и облака! А что били меня, так и монашка били. Постой, постой, что он мне сказал у Иверской? Конечно: это странствие тогда же и началось, и свобода эта, и легкость, и весь мир как хрустальный. Удивительно — ничего не помнить, ни к чему не привыкать...»

К вечеру они вошли в лес, а ночевали на соломе в клетки у бабы, которая спросила только:

— А вы не жулики будете?

Утром они опять побрели в поля. С обеих сторон вол-

нилась спеющая рожь, в нее из-под ног прыгали кузнечики. Алексей Петрович стал жаловаться на ноги. Монашек снял с него башмаки, спрятал в мешок, а ноги князю обмотал шерстяными онучами, — в них идти было легко и мягко. Алексей Петрович делал все, что говорил ему монашек, и, прихрамывая, с палочкой, шел и думал, что вся жизнь теперь осталась позади, в той желтой каюте, а здесь перед лицом только ветер шумит по хлебу, ходят вдалеке столбы пыли, на меже — телега и около нее — дымок, а за сизой, волнующейся, как призрачное море, далью, невидимая отсюда, живет Катя.

— Знаешь, у меня здесь сестра живет, зовут — Катя, — сказал однажды князь, лежа во ржи и поглядывая, как в небе над головой покачиваются золотые колосья.

— И к ней, и к ней зайдем, — ответил монашек. — Лето долгое, а человек, милый, подобен облаку; сказано: возьми посох и ходи, — чтобы ты к дому не привыкал, не набирался подлости.

Но Алексей Петрович не дослушал до конца этого рассуждения, — он повторял только про себя, что «к ней, и к ней» они зайдут — и непременно вместе.

Монашек избегал больших сел, где живут становой или урядник, и князю приходилось ночевать то в овраге, где поутру над головой кричат острокрылые стрижи, то на гумнах хуторов или под телегой в поле.

И дивился сам себе Алексей Петрович, почему не противно ему ни вшей, ни грязи, ни конского навоза, когда усталый, валился он куда ни попало и наутро вставал веселый и свежий.

Повсюду путников принимали попросту, не спрашивали, кто они, а больше слушали рассказы монашка и понимали их по-своему: кто засмеется, не поверив; кто удивится, «как свет велик»; кто только головой покачает; а баба какая-нибудь вздохнет, сама не зная отчего. Князя называли «бариннок» и жалели, и Алексей Петрович удивлялся также, как много этой жалости на свете у простых людей.

— Много так-то нашего брата по дорогам шляется, — однажды сказал монашек. — Живет человек, все у него есть, а скучно. Я сам через это прошел. Водку пил — ужаси. Лежу, бывало, на полу, около меня четверть и стакан, не ем ничего, только пью, и весь черный.

До того допился, видеть стал — лезет из-под кровати лошадь с рогами, морда птичья, а сама голая. Долго я маялся. Много было. А другой до того дойдет — бац себя из пистолета, здорово живешь! Сколько их на себя руки накладывают. А то с тоски есть которые и людей режут, ей-богу. Представится ему, что ужасно, как и сегодня будет: поест, поспит и помрет потом. Остается блудить без ума, чтобы проняло, как иголкой, блудом. Отчего же в таком положении человека ножом не пырнуть?.. Очень просто, коли захотелось до смерти. Ну, а иные, которым себя-то уж больно жалко, уходят. Немало и я увел. Со мной прошлое лето, вроде тебя, товарищ увязался. Походил, походил, а потом взял да на себя и донес в убийстве.

— Верно все это, верно, — ответил Алексей Петрович (разговаривали они под прошлогодним ометом, на пригорке, глядя вниз на село, обозначившее темную линию крыш, скворечен и труб на закате). — Я вот, кажется, понимаю теперь, зачем хожу. Может быть, чище стану, и тогда... — Он вдруг замолчал, отвернулся, и глаза его наполнились слезами. Чтобы скрыть волнение, он окончил, тихо смеясь: — А ведь ты весь век бродишь, как лодырь, настоящий лодырь.

— Я считаю за пустяки подобные разговоры, — ответил монашек. — Всякому свое: бывают и такие, что, сидя у себя на стуле, большое веселье чувствуют, а есть и такие, что по городу на извозчике с гармоньей ездят и тоже много веселятся. Не это плохо, а то, что у человека муть в голове. А я, может быть, тоже от своей совести бегаю?.. Ты почему знаешь?

На десятые сутки подошли они опять к Волге. После разговора под ометом не пел больше монашек песен, а все думал, глядя под ноги. Думал и Алексей Петрович, ясно и радостно. Казалось ему, что все прошлое было наваждением, как душный бред, а вот сейчас он идет во ржи, под солнцем, — и любит, любит так, как никогда не любил...

В приречном селе, в тридцати верстах от Милого, монашка задержал урядник, а у князя посмотрел паспорт, покачал головой и сказал:

— Ну ладно, ступай. Только у нас не разрешается без занятий гулять... Да смотри, сукин сын, если еще попадешься, — в остроге сгною.

Алексей Петрович взял паспорт и ушел за село — в дубовую рощу, на речной берег. Когда настала ночь, на той стороне по горам, как звезды, засветились огни губернского города.

Тишина в роще, шелест и шорох реки и эти мигающие огни были знакомые и кроткие. Лежа в темноте на траве, Алексей Петрович плакал, думая: «Милая Катя, родная моя жена».

ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ

1

Вечером следующего дня у гостиницы Краснова, где помещался городской театр, был большой разъезд. Дождик смочил асфальтовый тротуар, освещенный матовым фонарем. Из подъезда, как в трубу, валил народ, разделяясь на тротуаре: кто спешил домой, кто в ресторан, кто оставался еще поглядеть на дам и на барышень.

Помещики из медвежьих углов распахивали публику крутыми локтями, говоря: «Виноват-с»; помещики-земцы вежливо сторонились, толкуя об идее пьесы: когда вышел предводитель, образец английского воспитания, соединенного с дородностью, швейцар, покинув двери, крикнул отчаянно: «Коляску!»

Чиновники, стоя по бокам подъезда, с любопытством разглядывали знать; гимназисты в картузах прусского образца сбились у самых дверей, чтобы видеть лучше барышень и знаменитой актрисе, которая давала спектакль, крикнуть «бис».

Дамы и барышни, чиновницы и купчихи, накинув шарфы и шали, ступали, приподнимая юбки, на сырой тротуар.

Наконец в дверях появились Волков и Катя.

— Краснопольская, Краснопольская, — зашептали гимназисты.

Мушкин, чиновник малого роста с четырехвершковыми усами, шарахнулся даже как-то из-под Катиных ног, задрав голову.

Действительно, Катенька была необычайно красива в белом пальто и маленькой шапочке из фиалок. Матовое, как слоновая кость, лицо ее было строго, рот надменно сложен, глаза пылали, — лихорадочные и большие.

Катеньку взволновала пьеса, где каждое слово было написано о ее прошлом. Мужчины из лож и партера, как нарочно, глядели на Краснопольскую нагло и бессовестно, ее мучили эти взгляды.

Швейцар, сняв картуз, спросил Волкова:

— Ваше превосходительство, как закричать?

— Кричи, братец, Петра, да погромче, — ответил Волков.

И швейцар гаркнул на всю площадь:

— Пет-а-а-р-р, тройку!

Ступая в коляску вслед за отцом, Катенька задела платьем за медную скобку и обернулась. «Катя!» — услышала она голос неподалеку, вздрогнула, вгляделась, потом сейчас же поднесла ладонь к глазам, опустилась в глубокое сиденье, и лошади тронули.

У фонаря стоял князь — оборванный, без шапки и в опорках. Вытянув шею, глядел он на уезжавшую коляску и повторял одно слово: «Катя...»

— Что стоишь? Пошел, пошел, — сказал ему городской.

Князь отошел от фонаря и сейчас же увидел Цурюпу, который с неистовым любопытством глядел на него в лорнет.

— Князь, что за маскарад? — воскликнул Цурюпа, схватывая Алексея Петровича под руку, затем крикнул свой кеб и, сколь князь ни вырывался, бормоча: «Так нужно, оставьте, я не хочу», силой посадил его в лакированный экипаж и велел гнать под гору, чтобы с последним паромом попасть за реку.

Алексей Петрович притих, согнувшись в экипаже, и на вопросы отвечал коротко, сдерживаясь только, чтобы не стучали зубы от неудержимой дрожи. Князь пошел: Цурюпа и все, конечно, естественно и просто сделают то, на что сам он никогда бы не отважился.

— Преглупая вещица, скажу тебе, — покачиваясь в коляске, говорил Волков дочери. — Не понимаю, о чем кричат, я даже вздремнул. А тебе, душа моя, не надо бы волноваться. Ты не устала?

— Нет, нет, папочка,— сжимая незаметно руки, ответила Катя.— Только мне не хочется ночевать в городе, поедemте домой.

— Ты прямо, Катя, без ума! Нас тетка Ольга с ужином ждет. Как можно обидеть старуху? Ну-ну, не волнуйся, перекусим, извинимся делами какими-нибудь и уедем. Ах, Катенька, не понимаю я теперешней молодежи. Суета у вас в голове, вертуны. Раньше проще жили.

2

Недаром упомянул о «вертунах» Александр Вадимыч, или «вертиже», как выражалась тетка Ольга. Туго пришелся Волкову этот год. Катенька прохворала всю зиму, а едва поправилась, как проговорился ей нечаянно Кондратий, что доктор утонул тогда в полынье, и у Катеньки в голове начался «вертиж». Александр Вадимыч даже уйти хотел одно время к черту, до того стало ему это несносно.

По ночам Катенька, полураздетая, приходила к отцу, дрожала, вглядывалась в темные углы, садилась на диван, подбирала ноги и не двигалась, уставясь на свечу. Потом по лицу ее проходили судороги, и она начинала биться, стиснув зубы, и рассказывала отцу в сотый раз все, что случилось в ту ночь. Чтобы как-нибудь сдвинуть ее с этих рассказов, Александр Вадимыч придумал и сказал дочери:

— Григорий-то Иванович не сам, по-моему, погиб, и ты тут ни при чем: так ему было назначено, обречено.

— Что ты говоришь? — словно вся затрепетав, спросила Катенька.— Обреченный? Значит, он — жертва?

И вдруг она успокоилась. И однажды заговорила о князе, просто, с одною горькой усмешкой на губах. Александр Вадимыч выругался. Она разговора не продолжала, но, должно быть, много думала, догадывалась о чем-то. Настала весна. Александр Вадимыч сказал однажды:

— Катюша, а съездим, друг мой, к тетке Ольге.

Катенька только пожала плечиком:

— Поедемте...

По-другому отозвалось несчастье это на Саше. Когда Григорий Иванович уехал с княгиней, Саша поняла, что он не вернется. А если и приедет, то чужой. Поняла она также, что ее жизнь с доктором была неверной и еще тог-

да, на огороде, надо было не поддаваться и уйти. Лежа за перегородкой, она думала, как наденет старушечий сарафан и побредет по дорогам, прося Христовым именем. Саша чуяла, что не в страсти будет она жить, как теперь, а в постоянном этом умилении перед небом, перед землей и перед людьми.

На рассвете в дверь постучались. Саша вся задрожала, как осинový лист, оправилась и пошла отпирать. В избу вошел отец Василий, взглянул строго и сказал:

— Утоп он, утонул, Григорий-то Иванович.

Саша наклонила голову, молвила:

— Господи помилуй,— перекрестилась, села на лавку — ноги не сдержали.

Отец Василий рассказал все, что ему передал колыванский мужичок, выручавший вместе с княжескими рабочими княгиню из полыньи. Саша выслушала все спокойно и сказала под конец:

— Вот тебе, отец, деньги, отслужи панихиду по рабу Григорию, не утоп он, а его утопили.

Всю зиму прожила Саша в избе, так же ходила за скотиной, смотрела, чтобы все было чисто и в порядке, по вечерам присаживалась к столу и глядела на книжки, которые любил Григорий Иванович. Когда очень сильно свистела вьюга на крыше, сдвигала Саша брови,— казалось, не вьюга это воет, а плачет непокаянная душа Григория Ивановича.

По весне она ушла из села, подвязав по-монашечьи ситцевый черный платок. С тех пор никто ее не встречал.

3

Сколько отец ни подмигивал круто, а тетка Ольга ни уговаривала, Катенька настояла, чтобы сейчас же после ужина ехать домой. На рассвете она уже сидела в своей постели, разбитая и переволнованная, дожидаясь, когда придет Кондратий, прибиравший Александра Вадимыча ко сну.

Катеньке всегда казалось, что князь еще устроит ей какую-нибудь последнюю обиду, она ждала этого и готовилась к защите. В ее представлении он всегда появлялся издевателем, она — безвинно обиженной. Вер-

нейшая защита была, конечно, — высказать равнодушие, презрительное, «ледяное» спокойствие при встрече. Но сейчас все эти глупые выдумки никуда не годились.

Князь, оборванный, несчастный, худой смутил ее воображение, разжег любопытство. Он был не торжествующий, не издеватель, а просил милости, умолял, словно ее взгляд был для него жизнью или смертью.

Так ей казалось теперь. И сердце разрывалось от горя. И всего страннее, что не чувствовала Катенька — хотя и хотела — злой, как прежде, обиды.

Наконец пришел Кондратий, притворил осторожно дверь и спросил таинственно:

— Что угодно-с?

— Кондратий, я видела князя. (Кондратий только кашлянул.) Я ничего не понимаю... Он просил милостыню. Несчастный, худой... Убил он, что ли, кого-нибудь?.. Почему скрывается?

— Очень просто, и убил, — сказал Кондратий.

— Ради бога, ничего не говори папе. Сейчас же поезжай в Милое или в город... куда хочешь... — На минуту голос ее оборвался. — Увидишь его, не говори, что я послала... Ах, все равно — скажи, что хочешь... Только бы не мучил он больше меня.

Кондратий ушел. Катенька сидела на кровати, глядя, как солнце сквозь листву положило отблески на старый паркет. В саду, за раскрытым окном, свистела иволга, грустил голубь, чирикали воробьи, сад был еще в росе, пышный и зеленый. В комнате о верхнее звено окна, не догадываясь опуститься ниже, билась глупая муха. Мухе казалось, должно быть, что голубое небо за ее носом, скользящим по стеклу, и деревья, и белые, как цветы, бабочки, и птицы, и роса — только сон, куда проникнуть можно, лишь забившись головой до смерти.

— Как надоела муха! — сказала Катенька, соскользнула с постели и, полотенцем ударяя по стеклу, выгнала муху в сад, потом заложила руки за спину и принялась ходить.

В ее памяти прошел весь этот тяжелый, страстный год жизни. Все было безотраднo. Но сейчас ни безнадежности, ни боли не чувствовала она, вспоминая. Словно все, что было, завершилось и отошло в туман, в сладкую печаль. Осталось чувство свободы и той необъясни-

мой радости, которая бывает еще у очень молодых, сильных и страстных людей.

Катенька крепко провела ладонями по лицу и по глазам, встряхнула головой и вдруг с необычайной ясностью заглянула в самую глубь души.

А заглянув, забылась, нежно усмехнулась, ясная и свежая.

— Ну, что же, — проговорила она. — Я готова.

4

В Милом вся прислуга княжеского дома собралась на кухне, слушая, как лакей Василий рассказывал о его сиятельстве князе, неожиданно прибывшем этой ночью неизвестно откуда.

— Вижу я, — бродяжка лезет в дом, я ему: куда, небритая морда? А он кланяется: «Здравствуй, говорит, Василий. Ну, что у нас — все благополучно?» Обмер я — вижу, он. А на нем одежда хуже, как у нашего пастуха Ефимки. Ну-с, повел я его наверх, в спальню. Он на кресло показывает: «Здесь, спрашивает, барыня сидела?» — «Сидела, отвечаю, везде сидела». А он на кресло глядит, будто оно — баба. Я едва со смеху не лопнул. «Теперь, говорит, уйди, я сам справлюсь, да приготовь ванную». А я в щель вижу — вот до чего он дошел: лег на барынину кровать и подушки обнимает. Наголодался. Общипали его в городе разные мадамки. Сейчас спит, суток двое проспит, если не будить. Да-с, жил я на многих местах, а таких чудес не видал.

Василий одернул жилет с двумя цепочками, достал княжеский (дареный) портсигар, закурил и завернул ногу за ногу.

— Как он теперь с княгиней разделается — не знаю. Очень будет ему трудно. Большие будут чудеса.

На кухне всех грызло любопытство. Прибегали и из людской слушать Василия. А князь все спал. И вдруг с черного хода появился Кондратий, в пыли, хмурый, и спросил отрывисто:

— Князь приехал?

— Приехать-то он приехал, — ответил Василий, — да будить не приказано.

— Ну нет, придется разбудить.

Кондратию пришлось долго покашливать около двери в спальню, постукивать пальцем. Наконец князь проговорил спросонок:

— Что? Встаю, да, да...— И, должно быть, долго сидел на постели, приходил в себя, потом иным уже голосом сказал: — Войдите.

Кондратий, поджав губы, вошел. Алексей Петрович несколько минут смотрел на него, соскочил с постели, подбежал, усадил его на стул и так побледнел, так затрясся, что старый слуга забыл все обидные слова, какими хотел попотчевать его сиятельство, отвернулся, пожевал ртом и сказал только:

— Княгиня приказали спросить о здоровье. Сами они едва по зиме не померли. А вас видеть не желают нипочем.

— Кондратий, она сама тебя послала? — Князь схватил его за руку.

— А вы сами понимаете. Мне нечего вам отвечать, когда поступили бесчестно. Приказано спросить о здоровье, и больше ничего.

Князь долго молчал. Потом, облокотясь о столик, заплакал. Сердце перевернулось у Кондратия, но он все-таки сдержался.

— Вот, все-с.— И попятился к двери.

— Не уходи, подожди, — проговорил князь, потянувшись через столик, — я напишу.

И он, брызгая ржавым пером, принялся писать дрожащими буквами:

«Милая Катя... (он зачеркнул). Я ничего не прошу у вас и не смею. Но вы одна во всем свете, кого я люблю. У меня был спутник, он теперь в тюрьме, он научил меня любить... Когда я думаю о вас — душа наполняется светом, радостью и таким счастьем, какого я никогда не знал... Я понимаю, что не смею видеть вас... Все же — простите меня... Если вы можете простить... я *приду на коленях...*»

5

К вечеру в Волково приехал Цурюпа (он частенько стал наезжать за это лето), прошел прямо в кабинет к Александру Вадимычу и, ужасно возмущенный, стал рассказывать о князе. Но Волков обрезал гостя:

— Знаю все-с, считаю большим несчастьем и сам даже поседел, а о стрикулисте прошу мне больше не напоминать-с.— И, подойдя к окну, перевел разговор на сельское хозяйство.

В это время на двор въехал Кондратий на двуколке. «Куда это старый хрен мотался?» — подумал Волков и, перегнувшись через подоконник, закричал:

— Ты откуда?

Кондратий покачал головой и, подъехав к окну, объяснил, что привез письмо для барыни. «Угу!» — сказал Волков и, закрыв окно, пошел к дочери.

Цурюпа впал в необыкновенное волнение, догадываясь, что письмо от князя.

Но не прошло и минуты, как вбежал Волков, тяжело дыша, красный и свирепый.

— Чернил нет! — закричал он, толкая чернильницу.— Куда карандаш завалился? — И, схватив быстро подсунутый карандаш, с размаху написал: «М. Г.» — на том листе бумаги, где на оборотной стороне год назад были нарисованы заяц, лиса, волк и собачки, потом откинулся в кресло и отер пот.

Цурюпа спросил осторожно:

— Что случилось? Посвятите меня, не могу ли помочь?

— Ведь это наглость! — заорал Александр Вадимыч. — Нет, я отвечу. Вот пошлый человек! «М. Г., не нахожу слов объяснить столь дерзкий поступок», — написал он.— Понимаете ли, просит извинения, письмецо прислал, будто ничего не случилось! Вот я отвечу: «Моя дочь не горничная, чтобы ей посылать записки. Не угодно ли вам действительно на коленях (он подчеркнул) прийти и всенижайше под ее окном просить прощения...»

— О, не слишком ли резко? — сказал Цурюпа, с моноклем в прыгающем глазу, читая через плечо Волкова.— Хотя таких нечутких людей не проймешь иначе. Я бы посоветовал передать дело адвокату. А что с Екатериной Александровной? Расстроена она?

— Что! — заорал еще шибче Волков.— Плачет конечно. Да вам-то какое дело? Убирайтесь отсюда ко всем чертям!

Но Катенька не плакала. Ожидая, когда вернется Кондратий, она то стояла у окна, сжимая руки, то садилась

в глубокое кресло, брала книгу и читала все одну и ту же фразу: «Тогда Юрий, полный благородного гнева, поднялся во весь рост свой и воскликнул:— Никогда в жизни». Откладывала книгу и повторяла про себя: «Нужно быть твердой, нужно быть твердой». А мысли уже летели далеко, и опять она видела электрический шар, под ним на мокром асфальте жалкого человека и его глаза — огромные, безумные, темные... Катенька закрывала ладонью лицо, поднималась и опять ходила, брала книгу, читала: «Тогда Юрий, полный благородного гнева...» Боже мой, боже мой, а Кондратий все не ехал, и день тянулся, как год.

Наконец по коридору раздались грузные шаги отца, дверь с треском распахнулась, и вошли Кондратий и Александр Вадимыч с письмом.

Катенька побледнела, как полотно, сжала губы. Отец разорвал конверт и сунул ей листик. Она медленно стала читать. И, не дочитав еще до конца, поняла все... что чувствовал князь, когда царапал эти жалостные каракули. На душе у нее стало тихо и торжественно. Она передала письмо отцу. Он быстро пробежал его и спросил пересмякшим от волнения голосом:

— Сама ответишь?

— Не знаю. Как хочешь. Все равно...

— Ну, тогда я отвечу,— рявкнул Александр Вадимыч.— Я ему отвечу... Пускай на коленках ползет... Хвалится — на коленках приползти... Ползи!

— Его сиятельство не в себе-с,— осторожно вставил слово Кондратий.— Они весьма расстроены.

— Молчать!.. Я сам знаю, что делать! — заревел Александр Вадимыч, сунул письмо князя в штаны и выбежал из комнаты...

Катенька крикнула:

— Папа, нет, я сама... Подождите! — И побежала было к двери, но остановилась, опустила руки.— Все равно, Кондратий, пусть будет что будет.

— Приползут, на коленях за тобой приползут,— сказал Кондратий.— Они в таком состоянии, что приползут-с.

Письмо отправили князю на другой день, чуть свет. Катенька знала, что написал отец, но сердце ее было спокойно и ясно.

С утра поползли серые, как дым, облака на Волково, от хлебов и травы шел густой запах, вертелись по дорогам столбы, уходя за гору, погромыхивал гром, поблескивало, а дождь все еще не капал, собираясь, должно быть, сразу окатить крышу, и сад, и поля теплым ливнем.

В мезонинном окне барского дома над крыльцом, за ветками березы, сидел Александр Вадимыч с подзорной трубкой и, закрыв один глаз, глядел на дорсгу.

Дворовые мальчишки залезли на крышу каретника и глядели туда же, где дорога, опоясывая горку, пропадала между хлебов.

В раскрытых воротах каретника стоял серый жеребец, запряженный в шарабан. Кучер сидел тут же у стены на бревне, похлопывая себя по сапогу кнутовищем. Скотница, выйдя из погреба, поставила ведро с молоком на траву и тоже принялась всматриваться, сложив под запоном руки.

Приехал мужик на телеге, снял шапку, поклонился барину в окошке и слез, стоял неподвижно. Все ждали.

Катенька, одетая, лежала на постели, зарывшись головой в подушки. Нарочный, возивший в Милое письмо, прискакал с ответом, что князь уже пополз.

Часа три назад навстречу ему выехал Кондратий. Сейчас, по расчету Александра Вадимыча, князь должен был взлезать на песчаную гору, откуда начинаются прибрежные тальники и куда даже лошади с трудом втаскивают экипаж.

Вдруг мальчишки на крыше закричали:

— Идет, идет!

Волков, шлепая туфлями, поспешил к дочери. Но Катенька была уже на крыльце. Косы ее развились и упали на спину. Держась за колонну на крылечке, она пронзительно глядела на дорогу, вдаль.

Мужик, стоявший у телеги, спросил скотницу:

— Тетка, губернатора, что ли, ждут?

— Кто его знает, может, и губернатора, — ответила баба, подняла ведро и ушла.

На дороге из-за горки появился пеший человек, и мальчишки опять закричали с крыши:

— Женщина, женщина идет, нищенка...

Тогда Катенька оторвала руку от колонки, сошла на двор и крикнула:

— Скорее лошадь!

Серый жеребец с грохотом вылетел из каретника. Катенька вскочила в шарабан, вырвала у кучера вожжи, хлестнула ими по жеребцу и умчалась — подняла пыль.

Облако пыли долго стояло над дорогой, потом завернулось в столб, и побрел он по полю, пугая суеверных, — говорят, что если в такой бродячий вихрь бросить ножом, столб рассыплется, а на ноже останется капля крови.

На песчаной горе, поднимающейся из тальниковых пусторослей, на середине подъема, стоял на коленях Алексей Петрович, опираясь о песок руками. Голова его была опущена, с лица лил пот, горло дышало со свистом, жилы на шее напряглись до синевы.

Позади его, держа за уздечку рыжего мерина, который мотал мордой и отмахивался от слепней, стоял Кондратий, со вздохами и жалостью глядел на князя.

Слепни вились и над Алексеем Петровичем, но Кондратий не допускал их садиться.

— Батюшка, будет уж, встаньте, ведь горища, — говорил он. — Я на мерина вас посажу, а как Волково покажется, опять поползете, там под горку.

Алексей Петрович с усилием выпрямил спину, выбросил сбитое до запекшихся ссадин колено в разорванной штанине, быстро прополз несколько шагов и вновь упал. Лицо его было серое, глаза полузакрыты, ко лбу прилипла прядь волос, и резко обозначились морщины у рта.

— А ползти-то еще сколько, — повторял Кондратий, — садитесь на мерина, Христом-богом прошу!

С тоской он взглянул на песчаную гору — и обмер.

С горы, хлеща вожжами серого жеребца, мчалась Катенька. Она уже увидела мужа, круто завернула шарабан, выпрыгнула на ходу, подбежала к Алексею Петровичу, присела около и торопливо стала приподнимать его лицо. Князь вытянулся, крепко схватил Катеньку за руку и близко, близко стал глядеть в ее полные слез, изумительные глаза...

— Люблю, люблю, конечно, — сказала она и помогла мужу подняться.

ПРИМЕЧАНИЯ¹

КРАТКАЯ АВТОБИОГРАФИЯ

Впервые напечатана под заглавием «Мой путь» в журнале «Новый мир», 1943, № 1, январь. Написана в конце 1942 года по просьбе отдела кадров Академии Наук СССР, действительным членом которой был А. Толстой.

Дополненная и с некоторыми исправлениями стилистического характера, озаглавленная «Алексей Толстой (Краткая автобиография)», вошла в книгу А. Толстого «Повести и рассказы (1910 — 1943)», изд. «Советский писатель», М., 1944.

Эта автобиография самая поздняя по времени написания и наиболее полная.

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

АРХИП

Впервые напечатан в «Новом журнале для всех», 1909, № 12, октябрь.

В статье «Как мы пишем» А. Толстой вспоминал, как трудно давался ему вначале язык прозы: «...рассказ «Архип» (про конокрада) доставил мне немало огорчений, — я переписывал его пять раз, меняя расстановки слов и фраз, заменяя одни слова другими. Но прочности текста так и не получилось: можно было без ущерба еще раз все перечеркнуть».

Рассказ «Архип» автор включал в цикл произведений, объединенных общим заглавием сначала «Заволжье», а позднее «Под старыми липами».

¹ В основу настоящего издания положен текст Собрания сочинений в десяти томах, ГИХЛ, М., 1959—1961.

Впервые под названием «Неделя в Туренева», с подзаголовком «Повесть», с иллюстрациями В. П. Белкина напечатана в художественно-литературном ежемесячнике «Аполлон», 1910, № 4, январь.

В автобиографии А. Толстой вспоминал: «Осенью 1909 года я написал первую повесть «Неделя в Туренева»... об эпитафиях дворянского быта той части помещиков, которые перемалывались новыми земельными магнатами — Шелобаловыми. Крепко сидящее на земле дворянство,—перешедшее к интенсивным формам хозяйства — в моей книжке не затронуто, я не знал его».

После творческих поисков, идущих еще в русле подражаний, писатель, как он сам говорил, «напал на собственную тему»: это были рассказы его матери, его родственников об уходящем и ушедшем мире разоряющегося дворянства.

Уже в рассказе «Архип» писатель использует некоторые моменты и детали знакомого ему быта поместного дворянства Самарской и Симбирской губерний. Сюжет «Недели в Туренева» построен на подлинном эпизоде, и почти все персонажи имеют своих прототипов.

В воспоминаниях Марии Леонтьевны Тургеневой — сестры матери А. Толстого (ЦГАЛИ) — рассказывается об одном из ее племянников — Левушке Комарове. Этот повеса, не окончивший шести классов гимназии, «попал,— как пишет Тургенева,— в руки одной пожилой дамы из общества... много юношей она сгубила — приучая их пить и вести рассеянную жизнь». Затем «его подцепила знаменитая камелия Мунька». Мария Леонтьевна, узнав, что эта пара, продав и заложив все, что у них было, бедствует, с помощью своего друга Евгения Степановича Струкова уговорила их ехать вместе с ней в имение Тургенево, которым она управляла после смерти отца, еле сводя концы с концами.

О жизни Л. Н. Комарова и Марии Антоновны (Муньки) летом 1906 года в Туренева Мария Леонтьевна пишет: «...они каждый день выпивали, тонких вин не было. пили водку и играли в карты... что меня поставило в окончательный тупик, это то, что Лева увлекся барышней Гумилевской, которая гостила у тургневской учительницы».

А. Толстой хорошо знал Л. Н. Комарова, Е. С. Струкова, несколько раз встречался с Марией Антоновной, много раз бывал в Туренева. Образ попа Ивана, насколько можно судить по воспоминаниям Марии Леонтьевны, имеет много общего со священником Григорьевым из другого имения семьи Тургневых—Коровино.

Вскоре после напечатания «Недели в Туренева» — 18 февраля 1910 года — М. Л. Тургенева писала А. Толстому: «Дорогой Алеханушка, прочла повесть,— но я не могу быть судьей — слишком это близко, и те чувства, которые так недавно пережиты и болезненны в душе, затемняют самую повесть. Осталось тяжелое чувство взворощенных, незажитых ран. Но все же и я чувствую тонкий юмор, который во всей повести».

Значительной переработке повесть подверглась в 1921 году. Писатель усилил черты распущенности и похотливости Николуш-

ки, что определило новое заглавие произведения, и некоторыми штрихами придал характеру тетушки больше твердости. Последнее позволило изменить концовку повести.

Для усиления динамичности развития сюжета был снят эпизод приезда врача к больной тетушке и некоторые отступления.

В новой редакции повесть под заглавием «Петушок», с подзаголовком «Неделя в Туренева» и с датировкой «1910—1921 гг.» вошла в сборник рассказов и повестей А. Толстого «Китайские тени», изд. «Огоньки», Берлин, 1922.

МИШУКА НАЛЫМОВ

(Заволжье)

Впервые под заглавием «Заволжье», с посвящением жене, напечатана в литературно-художественном альманахе «Шиповник», 1910, книга 12.

Сюжет повести и ее центральные образы навеяны семейными хрониками. По воспоминаниям М. Л. Тургеневой, одна из ее сестер — Ольга Леонтьевна — была влюблена в своего дальнего родственника Сергея Шишкова, «а он ухаживал, но не всерьез, — что ни город, то новое увлечение». В 1882 году Ольга Леонтьевна вышла замуж за старшего из братьев Шишковых — Николая, а через год умерла от скоротечной чахотки, — по семейным преданиям — от несчастной любви. Сергей и Николай Шишковы, которых А. Толстой знал уже в более поздний период, послужили ему прообразами Сергея и Никиты Репьевых.

Для образа Петра Леонтьевича Репьева А. Толстой взял некоторые факты биографии и отдельные черты характера своего деда — Леонтия Борисовича Тургенева. О нем Мария Леонтьевна пишет: «...отец мамину часть (земли.—Ю. К.) продал за 30 тыс., все деньги затратил на суконную фабрику, и эта фабрика сгорела не страхованная, отец никогда не страховал ничего...» (ЦГАЛИ). Мягкий по характеру, мало практичный, Леонтий Борисович в 90-х годах разорился и жил некоторое время у своей сестры, а затем у родственницы — М. Ю. Шишковой в имении «Репьевка — Архангельское тож».

Одну из фамильных фотографий, на которой снят Леонтий Борисович со своей сестрой, А. Толстой использовал для описания внешности брата и сестры Репьевых в начале второй главы повести.

Создавая образ Мишуки Налымова, писатель, видимо, использовал биографические данные и отдельные черты характера дальнего родственника Тургеневых — Михаила Михайловича Наумова, — предводителя дворянства одного из уездов Симбирской губернии. М. Л. Тургенева пишет в своих воспоминаниях, что родня называла его Мишукой.

По сравнению с «Петушком (Неделя в Туренева)» в «Заволжье» значительно больше художественного вымысла и в сюжете и в обрисовке персонажей. Писатель, взяв для сюжетной завязки эпизод семейной хроники, дал в повести иные родственные связи действующих лиц, усложнил ситуацию отношением Мишуки

Налымова к Вере Ходанской. Для более яркой типизации персонажей А. Толстой прибавил к отдельным фактам из биографии прототипов эпизоды, взятые из жизни других людей.

Повестью «Заволжье» писатель открыл свою первую книгу прозы «Повести и рассказы», вышедшую в изд-ве «Шиповник» в конце 1910 года.

В дальнейшем автор ставил повесть на первое место во всех сборниках произведений, темой которых, по его определению, была «трагикомедия остатков погибшего класса», а персонажами «либеральные чудаки, вымирающие зубры, деклассированные господа, сохранившие от бывшего величия подусники и «красный околыш».

В 1922 году повесть «Заволжье» подверглась значительной переработке. Кроме большой стилистической правки, коснувшейся почти каждого абзаца, автор значительно развил характеристики действующих лиц. В частности, были усилены черты самодурства Мишуки Налымова, названо его официальное положение предводителя дворянства и несколькими штрихами раскрыты его политические воззрения.

В новой редакции, под названием «Мишука Налымов», со сноской к заглавию: «Новый вариант повести «Заволжье», напечатана в альманахе «Струги», книга 1, изд. «Манфред», Берлин, 1923.

ЧУДАКИ

Роман

Впервые под названием «Две жизни» напечатан в литературно-художественном альманахе «Шиповник», 1911, книги 14 и 15.

В основу сюжета романа и образов большинства его героев положены семейные хроники Тургеневых. Дед А. Толстого Л. Б. Тургенев был женат на дочери генерала от кавалерии А. Ф. Боговут. Рано овдовев, Боговут снова женился. Его вторая жена была, — как пишет в своих воспоминаниях М. Л. Тургенева, — «оригинальная особа. Красива собой в молодости — влюблена в деда до безумия, ревнива невероятно — даже ревновала к покойной жене и говаривала, когда уже похоронила деда, что он теперь с Мари, а не с ней. Во всех походах деда она участвовала, ездила всегда верхом за дедом, боясь его увлечений» (ЦГАЛИ).

В образе Смолькова писатель воплотил некоторые черты мужа своей тетки Варвары Леонтьевны Тургеневой — Н. А. Комарова, чиновника министерства иностранных дел. Игрок, много увлекавшийся женщинами, он испортил жизнь жены и дочери. «Приданое Вари пошло Комарову, чтобы откупиться от француженки, с которой он жил», — пишет М. Л. Тургенева (ЦГАЛИ). Многие сцены из жизни Смольковых, описанные в романе, являются художественным претворением эпизодов из жизни Комаровых, рассказанных М. Л. Тургеневой.

Н. А. Комарова А. Толстой знал лично и в письмах к родным всегда отзывался о нем резко отрицательно.

Во многом близок к деду писателя — Л. Б. Тургеневу — образ старого Репьева. Если в «Мишуке Налымове» для Петра Леонтьевича Репьева А. Толстой взял от своего деда главным образом

мягкость и непрактичность в житейских делах, то для Ильи Леонтьевича Репьева в романе были отобраны и подчеркнуты своеобразные религиозно-философские взгляды Л. Б. Тургенева. Писательзнакомился с ними по семейной переписке. В конце 1910 года он сообщал М. Л. Тургеневой о письмах ее отца. «Теперь я целые дни занимаюсь разборкой и чтением его писем, нужных мне для второй части романа».

По записным книжкам А. Толстого, воспоминаниям М. Л. Тургеневой, письмам ее отца, а также сведениям из разной переписки Тургеневых о Боговутах и Комаровых видно, что для романа «Две жизни» писатель провел тщательный отбор известных ему фактов и деталей, отбросил второстепенное, нехарактерное и значительно обогатил материал семейной хроники творческим вымыслом. При этом в последующих переработках своего первого романа А. Толстой, стремясь к более яркой типизации образов, в ряде случаев все дальше уходил от их прототипов.

Роман несколько раз подвергался значительной авторской правке. Наиболее коренные переделки А. Толстой предпринял при первом переиздании романа в 1916 году.

В первой публикации роман состоял из двух частей. Основным содержанием второй части была характеристика новой полосы жизни героини — Сонечки. Она с мужем — в Париже, здесь созревает окончательный разрыв между ними. Сонечка уходит от мужа к поэту Максиму, но тот не может ответить на ее чувство. Потеряв последнюю надежду на счастье, тяжело больная после попытки самоубийства, Сонечка в итоге всего пережитого ищет спасения в религии, в католичестве.

При переработке романа писатель отбросил почти всю вторую часть. Осталась от нее в измененном виде только сцена смерти генеральши. Заново была написана последняя глава о Сонечке, оставшейся с отцом после разрыва с мужем. Значительные сокращения А. Толстой провел в первой части романа, достигнув более динамического развития сюжета, устранив некоторую композиционную рыхлость.

Поскольку историю Сонечки, сюжетную линию, связанную с ее судьбой, А. Н. Толстой сильно сократил, становилось мотивированным в новом издании романа и его новое заглавие — «Земные сокровища» (старое же название «Две жизни» сохранилось лишь в подзаголовке). В таком виде роман был напечатан в VIII томе Сочинений А. Толстого, «Книгоиздательство писателей в Москве», 1916.

В 1923—1924 годах роман был снова переработан и под заглавием «Чудаки» вошел в I том Сочинений А. Толстого, изд. И. П. Ладыжникова, Берлин, 1924.

Почти не меняя общей композиционной структуры романа, писатель значительно развил характеристики отдельных персонажей и изменил концовку романа, в которой зазвучала оптимистическая устремленность героини к радостям жизни.

В 1925 году автор снова сделал ряд исправлений в тексте. Они сводились главным образом к устранению оставшихся мотивов мистики и богоискательства у Сонечки и Репьева.

Ю. Крестинский

ХРОМОЙ БАРИН

Роман

Впервые напечатан в «Сборнике первом издательского товарищества писателей», Петербург, 1912.

Роман «Хромой барин» завершает цикл произведений писателя, посвященных изображению жизни старого заволжского дворянства. «Чудаками» и «Хромым барином», как указывал впоследствии сам Толстой, «оканчивается мой первый период повествовательного искусства, связанный с той средой, которая окружала меня в юности. Я исчерпал тему воспоминаний и вплотную подошел к современности...» (см. «Краткую автобиографию»).

Будучи связан тематически с предшествующим ему циклом рассказов о заволжском дворянстве, «Хромой барин» дает, однако, более усложненный в смысле психологической разработки тип дворянина-последыша — князя Краснопольского. Кроме того, в романе дан новый тип героя — разночинца-интеллигента — сельского врача Заботкина. Этот образ честного, скромного труженика, проявляющего гуманность к народу, задумывающегося над судьбами своей родины, как бы открывает в творчестве А. Толстого целую серию близких ему героев-интеллигентов, которых писатель будет нередко изображать во многих своих произведениях.

После первой публикации роман несколько раз подвергался большой авторской правке.

Значительную переработку произведения, коснувшуюся содержания романа и характеристики главного героя, писатель сделал при первом переиздании «Хромого барина» в 1914 году (5-й том Сочинений «Книгоиздательства писателей в Москве»). Меняется содержание и планировка глав. Выбрасываются и перерабатываются отдельные эпизоды; наряду с этим делаются вставки новых эпизодов. Более развернуто даются некоторые диалоги, чем достигается большая полнота психологического рисунка характеров героев. В обрисовке взаимоотношений главных героев (Кати и князя) и их сложных переживаний писатель достигает большей углубленности, психологической насыщенности и драматизма.

В первой редакции романа, в эпилоге, намечалась своеобразная «политическая» линия развития дальнейшей судьбы князя Краснопольского: уход его — дворянина, помещика, князя — в революцию и его гибель, которой придан был характер особой жертвенности.

Вот этот эпилог, время действия которого 1905 год:

«Князь и княгиня Краснопольские жили в Милом тихо, почти никого не видя. Князь постарел за это время, а Катенька очень хотела иметь дочку, но не могла забеременеть. Настал страшный, всем памятный год. Катенька возобновила переписку с Варей Котовой, бежавшей в Швейцарию. Князь говорил речи, много читал, виделся с какими-то людьми, приходившими тайком, потом, однажды, уехал верхом за реку и больше не возвращался. Внезапно умер от удара Волков, раздраженный поджогами. Катенька осталась одна. До нее иногда доходили слухи о князе, которого видели то на Афоне, то будто бы в Н..., на баррикадах. Потом она прочла его имя в списке казненных.. Тогда Катенька

продала имение и переехала в Петербург, чтобы принять участие в том, новом для нее деле, веря в которое погиб князь».

В новой редакции А. Толстой снял эпилог.

Надо полагать, что писатель вынужден был это сделать именно потому, что все оказалось мало мотивированным и плохо вязалось с образом Краснопольского, каким он был показан в романе.

Следующая редакция романа относится к 1919 году, когда А. Толстой, будучи за границей, заново перерабатывал ряд своих произведений дооктябрьского периода. В новой редакции роман вышел в 1923 году в изд-ве З. И. Гржебина. (Автор указывает в конце текста дату написания и дату переработки романа: 1914—1919.)

Общая композиция и сюжет романа здесь не подверглись изменениям. Планировка по главам осталась той же. Переработка выразилась главным образом в следующем: переживания героев, их внутреннее состояние, разного рода психологические моменты даны были теперь коротко, с гораздо большей четкостью и выразительностью, некоторые описательные места были сокращены; сама языковая ткань — построение фраз, лексика, а также такие средства образности, как метафоры, сравнения, эпитеты, — подверглась некоторой переработке в направлении большей четкости, лаконизма и реалистичности.

Говоря о переработке текста романа, следует подчеркнуть, что писателем делались местами и некоторые вставки. Так, например, в главе «Лунный свет», где показано разочарование, которое пережил доктор Заботкин, соприкоснувшись с ужасами деревенской действительности, А. Толстой дал ряд новых выразительных подробностей и черт, как бы дорисовывающих в особенно мрачных тонах картину бедственного, безвыходного положения русской революционной деревни.

Из всего произведения в наибольшей степени изменены были главы «Лунный свет», «Судьба», «Возврат» (первая подглавка) и «Глава последняя». Устранены из текста эпизоды второстепенного значения и существенно переработаны следующие места романа: 1) Характеристика князя, его образа жизни в Петербурге, знакомство его с Мордвинской — подглавка II главы «Ядовитые воспоминания». 2) Описание душевного перерождения Григория Ивановича, его намерения «служить» Саше — подглавка III главы «Судьба». 3) Возвращение князя в Милое после скитаний; заключительный момент встречи их на дороге — подглавки IV—VI «Главы последней». 4) Объяснение Григория Ивановича и Кати дорогой в возке, когда он говорит ей о своих чувствах — подглавка IX главы «Судьба».

Переработка текста «Хромого барина» для последующих изданий носила уже стилистический характер.

А. Алпатов

СОДЕРЖАНИЕ

В. Щербина. А. Н. Толстой	3
Краткая автобиография	47

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Архип	61
Петушок. Неделя в Туренева	83
Мишука Нальмов (Заволжье)	122
ЧУДАКИ (Роман)	167
ХРОМОЙ БАРИН (Роман)	303
Примечания	425

А. Н. ТОЛСТОЙ
Собрание сочинений
в восьми томах.
Том I.

Редактор тома
Ю. А. Крестинский.
Иллюстрации художника
П. Я. Караченцова.
Оформление художника
Р. Г. Алеева.

Технический редактор
А. И. Шагарина.

Сдано в набор 16/IX 1971 г. Подписано к печати 27/III 1972 г.
Бумага типогр. № 1. Форм. бум. 84×108¹/₃₂. Объем 23,20 усл. печ. л.
24,53 уч-изд. л. Тираж 70 000 экз. Изд. № 699. Зак. № 2810.
Цена 90 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография
газеты «Правда» имени В. И. Ленина. 125865, Москва, А-47, ГСП.
улица «Правды», 24.

Индекс 70756

